

С (Уйгур) 17

А 13

181024 СБ.

Хизмет Абдуллин

По древним  
тропам



Хизмет Абдуллин

По древним  
тропам

Роман  
Рассказы

*Перевод с уйгурского*



МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1981



Хазмет Абдуллин — один из видных уйгурских советских писателей, ярко проявивший себя за последнее десятилетие. Им созданы книги повестей и рассказов — «Узелки», «Орлы на вершине», «Неукротимый бубен», романы «Под небом Турфана», «Земляки», несколько сборников стихов и поэм.

В предлагаемую книгу включены роман «Под небом Турфана» и ряд рассказов. В этих произведениях получили художественное реалистическое отображение история освободительного движения уйгурского народа, его участие в революции и в Великой Отечественной войне.

Действие романа «Под небом Турфана» происходит в Китае, в его национальных окраинах. Автор разоблачает проявляющийся великоханьского шовинизма, умаление национального достоинства «малых» народов Китая.

Художник *Лилия ЗУБАРЕВА*

Под  
небом  
Турфана



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Второй день над Турфаном мечутся раскаленные, как в гончарной печи, пыльные вихри. Они проносятся над посевами, воют в покосившихся мазарах, свищут вдоль улочек, взвивая на перекрестках столбы песка и пыли. Порой ветер стихает, словно для того, чтобы прислушаться к человеческим шагам, а потом с новой злобной силой начинает мести и кружить, свистеть и выть, как будто в насмешку над тем, кто обманулся мимолетной тишиной. Бессильно гнутся и ропщут деревья, скрипят ворота, глухо стонут высокие минареты. На базарной улице, где всегда простор илюдно, где снуют арбакеши с двуколками, сейчас пусто. Лишь один упрямый арбакеш терпеливо ждет возле кузницы случайного пассажира. Лошаденка повуро опустила голову, тщетно стремясь укрыться от колючей пыли, ветер треплет ее гриву и хвост, покрывает лошадиные бока густой рябью. Не видно солнца, не видно неба, не увидишь и людской тени. И только в одном из дворов, перед тяжелой, плотно запертой калиткой жметя к высокой глинобитной стене худенькая девушка. Ветер бьется оземь, рвет тонко заплетенные косички Захиды и, как бешеная собака, треплет легкое ситцевое платье. Девушка одной рукой придерживает подол, а другой тщетно пытается собрать разлетающиеся косички и прижать их к чуть выступающей груди. Ветер ее не страшит, она продолжает стоять у калитки и жадно смотреть в щель.

На улице никого и ничего, кроме пыльных вихрей. Только один-единственный раз из соседнего двора показался торговец Зордунбай, подошел к калитке, где стояла девушка, заглянул в щель и, многозначительно покрутив свой длинный черный ус, ушел обратно. После него долго никто не показывался, однако девушка терпеливо продолжала высматривать. Она не слышала, как отворилась дверь, не видела, как из дома вышла мачеха.

— Кого ты там выглядываешь? — прокричала Нурхан-ача, протирая заспанные глаза.

Девушка от неожиданности вздрогнула.

— Мама, я боюсь, как бы папа не попал в беду.

— Кову подоила?

— Подоила, мама.

— А ужин приготовила?

— Мне показалось, что еще рано, мама... Но хорошо, я сейчас приготовлю.

Девушка с такой кротостью посмотрела на мачеху, что у той шевельнулась совесть: пожалуй, не стоит слишком грубо обращаться с девчонкой... Но когда Захида легким шагом проходила мимо, мачеха, увидев ее острые груди, не удержалась:

— Только о мужиках и думаешь!

— Боюсь за папу, — повторила Захида, чувствуя, как влажнеют ресницы. — Посмотрите, какая буря, мама!

Захида вошла в дом, закрыла за собой дверь. Две слезинки медленно скатились по ее щекам и остановились в уголках губ...

\* \* \*

После ужина Нурхан-ача взяла полотепце и медленным движением пухлых рук стала вытирать лицо, излишне полное, но все еще не утратившее миловидности. Нурхан-ача никогда не слыла злой и сварливой женщиной, но в этом доме она почему-то с каждым днем становилась все раздражительнее и все больше испытывала неприязнь к своей падчерице и ее стареющему отцу.

Тщательно протерев лицо, Нурхан-ача повернула голову направо. Захиде показалось, будто она прислушивалась к свисту ветра за стеной. Но Захида ошиблась: мачеха повернулась направо для того, чтобы, помедлив мгновение, достать из ниши зеркало. Она слегка подвила у виска локон, чуть оттопырила сочные губы, улыбнулась, обнаружив привлекательные ямочки на пухлых щеках.

— Пропала моя жизнь в этих проклятых стенах, — проговорила она.

Девушка сначала не поняла ее слов, но когда взглянула на мачеху, то увидела на ее лице выражение мучительной тоски и скуки.

— Мама, а не лучше ли нам положить манты в казан? Вдруг папа придет ночью, а ужин холодный.

— Отдадим собаке!

— По дороге могла случиться беда, мама...

— У твоего отца есть деньги, и он еще в состоянии погонять ишака. Не пропадет!

Девушка обиженно промолчала и стала убирать чашки со стола.

— Ты лучше разбей эти чашки о мою голову, чем так стучать ими, негодница! Не можешь как следует собрать посуду!

Нурхан-ача оглядела комнату, словно стремясь найти предмет, на который можно было излить свое раздражение.

— Да постели постель! Все мое тело разламывается в этих стенах...

Захида безмолвно постелила мачехе постель и потихоньку достала из-под кошмы книжку.

— Погаси светильник! Не то твоя книжка сейчас же полетит в печку! Надоела мне твоя грамотность.— Нурхан-ача с ненавистью посмотрела на книгу в руках Захиды.— Ни одного священного зята не знает, а сидит целыми днями над какой-то безбожной книжкой. Про любовь, наверно?

\* \* \*

Захида молча погасила светильник и легла в постель. Она долго не могла уснуть, мысли то и дело возвращались к отцу. Где он сейчас, что с ним?.. Девушке хотелось забыть, подумать о чем-нибудь другом, но вой ветра за стеной снова возвращал ее к предположениям о возможной беде, и она снова и снова жалела отца... Наконец усталость взяла свое, и Захида сомкнула ресницы. Однако уснуть ей не удалось — послышался стук в калитку, осторожный, вороватый. Захида моментально очнулась, прислушалась. Нурхан-ача похрапывала, обняв руками подушку. В калитку снова постучали.

— Мама, папа приехал,— проговорила Захида, подняв голову. Мачеха не отзывалась. Девушка протянула руку, но побоялась коснуться мачехи и снова, громче прежнего, позвала: — Мама, проснитесь, мама!

Сейчас, в тревожной темноте, девушка неожиданно

вспомнила родную мать. Два года тому назад она лежала на этой постели, больная, ослабевшая, но все равно нежная, добрая...

— Кто-то стучится, мама,— робко проговорила девушка.— Может быть, папа приехал?..

— А ты что, не можешь выйти и спросить, кто там? — сонным голосом проворчала мачеха, но тут же поспешно остановила Захиду: — Ладно уж, встану сама.

Нурхан-ача поднялась с постели и вышла. Захида чуть-чуть прислушивалась, надеясь услышать голос отца, но во дворе было тихо.

Мачехи долго не было. Наконец она вернулась и с порога заговорила, словно оправдываясь за свое долгое отсутствие:

— Опять эти «товарищи» приходили. Полуночники! Завтра, говорят, на собрание! Я сказала им, что хозяйина нет дома. Опять, наверно, будут звать в общину. Ох, и надоели новые порядки! Зачем нам эта дурацкая община! — Мачеха помолчала.— Отправила их. Только не надо говорить об этом отцу, доченька, чтобы не расстраивать...

Неожиданное слово «доченька» показалось Захиде подозрительно ласковым. Да и вообще мачеха вернулась со двора какой-то изменившейся, подобревшей. Она зажгла светильник. Глаза ее загорелись, выражение тоски и скуки сменилось возбуждением, она часто дышала, отчего ее полная грудь поднялась еще выше.

— Если хочешь почитать книжку, читай на здоровье. Только пойдя в другую комнату.— Нурхан-ача погладила девушку по голове.

От этого ласкового жеста Захиде захотелось показать мачехе свою признательность, и она уже хотела было отказать от чтения — успеется, будет еще завтра день, послезавтра... Но Нурхан-ача, видно, заметила этот порыв девушки и уже с меньшей лаской настойчиво велела уйти ей в другую комнату.

— Да не греди там и не беспокой меня!.. — напутствовала Нурхан-ача, плотно прикрывая дверь.

Темные стены каморки в перовном свете коптилки мрачны, черные тени в пинах похожи на пасти дракона. Боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть, не привести в движение зловецкие тени, девушка долго стояла непо-



движно, держа коптилку в руках. По-шакальи плачущий ветер бился о промасленную бумагу, наклеенную на решетку окна. То и дело пыльные струи врывались в каморку сквозь дырку в бумаге, и тогда хилый язычок пламени метался и припадал, готовый оторваться и унести прочь, как осенний листок под ветром.

Коптилка погасла. Захида бросилась к двери и остановилась: мачеха с кем-то разговаривала вполголоса. Дрожая от страха, Захида крепко прижала косички к груди, будто пытаясь прикрыть ими свое сердце, присела на порожек.

Через минуту бормотание прекратилось. Наступила тишина. Захида поднялась с порога и подошла к оконцу.

Ветер утих. Сквозь пыльную ночную завесу просвечивала луна. Захида рассмотрела черные ворота и белеший на них засов.

Луна как будто остановилась прямо над их домом, бумага на оконной решетке стала золотисто-прозрачной. Захида неотрывно смотрела на ворота сквозь дырку в бумаге и ждала, что вот-вот они растворятся, войдет отец и избавит ее от одиночества, от непонятных и тревожных чувств.

Она оторвалась от окна, услышав снова бормотание за стеной. Скоро послышался скрип двери, и кто-то вышел во двор. Захида прильнула к окну и увидела Зордунбая, высокого, грузного мужчину, заглядывавшего днем в щели калитки...

\* \* \*

Пыльный ветер утих на рассвете. Песчаная долина между Турфаном и Астаной, безмолвная, таинственная, взрытая ветром, в этот тихий предрассветный час была похожа на поле битвы. Легкие барханы перекочевали вплотную к каризам<sup>1</sup> и выстроились вдоль них, словно крепостной вал. Местами в долине остались плешины, гладкие и чистые, как подметенный ток, в других же местах, наоборот, ветер свалил в кучу все, что можно было поднять в воздух. Трудно было путнику найти дорогу, она

---

<sup>1</sup> Каризы — своеобразная система колодцев, соединенных подземными каналами. (Здесь и далее примечания переводчика.)

то и дело уходила под наметенный ураганом песок, мягкий и нежный, как мучная пыль.

Подводы торговой общины выехали из Астаны на рассвете и к полудню не прошли и половины пути из-за трудной дороги. Когда солнце стало подниматься к зениту, возчики решили сделать привал, чтобы покормить лошадей и мулов, дать им немножко передохнуть.

Садык шел возле первой повозки, время от времени понукая лошаденку: «Но, сивая, шагай, шагай!..»

— Эй, Садык, давай отдохнем! — слышался крик идущего сзади.

Но Садык продолжал понукать лошадь, не обращая внимания на окрики. Он явно что-то увидел впереди. А вскоре и задние возчики заметили, к чему стремился Садык. Впереди, шагах в пятидесяти, на занесенной дороге, увязнув в песок по самые ступицы, стояла одинокая повозка, запряженная ишаком. Подводы общины приблизились. На повозке без движения лежал старик. Он не мог говорить, до того был утомлен и беспомощен. Старика напоили водой, он приподнялся, и тогда один из возчиков узнал его.

— Эх, Сопахун-ака, понесла тебя нелегкая в такую погоду! Старый, а все гонишься за наживой, не мог переждать непогоду дома.

— Абдугаит, не обижай старого человека, — вмешался Садык. — Он и без того плохо себя чувствует. Видишь, даже голоса не подает. Отец, вы откуда?

— Он из Турфана, — ответил за старика неугомонный Абдугаит. — Это купец Сопахун. Я этих богатеев с детства не люблю...

Садык с другими возчиками вытащил повозку из песка, молча перенес поклажу старика на свою телегу. Телегу вместе с ишаком он решил пристроить к какой-нибудь не слишком уставшей лошади.

— Только к моей телеге не цепляйте, — с прежним упрямством проговорил Абдугаит.

Старик выпил пшалу горячего чаю, что-то пожевал и наконец заговорил:

— Спасибо, сынки, спасибо!

Двинулись в путь. Старик, почувствовав в Садыке человека добрее других, рассказал ему о своих злоключениях:

— Вечером мне показалось, что ветер вот-вот утихнет.

Думаю, не стоит ждать утра, приеду ночью при луне. Дома ведь меня ждут, беспокоятся. В доме, кроме меня, мужчин нет. Да и сам я какой мужчина! Старость не радость, хуже всякой хвори. — Старик вздохнул и продолжал: — Но что поделаешь, надо как-то кормиться и семью кормить. У меня дочка есть. Вот выдам ее замуж и тогда отправлюсь в Мекку, чтобы стать ходжой, уважаемым человеком...

— Скажи, отец, кроме ишачьей повозки, у вас больше ничего нет в хозяйстве? — спросил Садык.

— Есть лошадь. С упряжью. Но я отдал ее...

— В общину?

— Нет. Соседу. Зордунбаю. Он купец, торговые телеги держит...

— А почему не вступаете в общину? Купцу Зордунбаю верите, а народной власти — нет?

— Как сказать, сынок. Народу верю... Но все-таки думаю съездить в Мекку.

— А разве народная власть запрещает?

— Да нет. Говорят, даже посылает за свои деньги. Но кого? Опять только мулл да имамов. А таким, как мы, надо рассчитывать только на свои деньги.

— Значит, у вас много денег?

— Нет, сынок. Вон тот парень назвал меня купцом, не верь ему. Какой я купец, кое-как перебиваюсь.

— Сейчас, отец, надо понимать, где настоящая жизнь, а где так себе. Вы, старые люди, часто живете по поговорке: «Кто в аду привык, тот и в рай не захочет». Вы привыкли промышлять в одиночку и не хотите присмотреться, как живут люди в общине «Бяш юлтуз», как будто слепые, света белого не видите...

— Эх, сынок, легко говорить! А ведь мы, считай, своего прожили. Да к тому же жить в общине за чужой счет — это преступление перед богом. Уж лучше питаться одним кипятком без хлеба, да своим, чем сидеть на чужой шее.

Поняв, что этот разговор не нов для старого Сопахуна и что ответы собеседника заучены им, как молитва, Садык замолчал.

Вскоре показались минареты окраины города. В полном молчании обоз подъехал к глиняным мазарам возле высокого, устремленного в небо минарета.

Глядя на древние строения, Садык испытывал стран-

ное, нелегкое чувство, чем-то напоминающее пыльную темную тучу, что поднимается во время бури над Турфаном. В дальних поездках Садык ненадолго забывал об этих удручающих памятниках и сейчас, очутившись перед древними мазарами, снова с душевной болью размышлял о судьбе своего народа.

В который раз в родном городе вдоль узких улочек он видел наседающие друг на друга лавчонки частников, всевозможных купчишек, торгующих всем на свете. Вот они вереницей проходят перед его взором: один — надутый и жирный, как индюк, — видать, довольный прибыльным делом; другой — вертлявый и юркий, как лиса, способный разбиться в лепешку ради того, чтобы сбить свой товар; третий — разочарованный и грустный, видимо, от длительных неудач, четвертый — уже совершенно равнодушный, отрешившийся от мирской суеты, ни во что не верящий наркоман, похожий на тощего теленка, сонно жующего грязную тряпку, как собственную смерть.

Одна за другой проходят перед глазами Садыка разные и в то же время одинаково безрадостные картины. Эти людишки, подобно насекомым, роятся на чем-то уже отжившем, переставшем существовать. Невольно хотелось схватить огромную метлу из таволги и вымести всю эту нечисть...

— Вот кто мутит чистую воду каризов! — проговорил вслух Садык. — Кристальную воду каризов, которую парод ценой своей крови и жизни добыл из-под семи слоев земли...

Сопахун не сразу понял смысла этого восклицания, но по гневным интонациям своего молодого спасителя догадался о его душевном состоянии.

— Прежде, сынок, в Турфане было спокойнее, — несмело заговорил Сопахун. — Не было такого беспорядка... Беспорядки пришли вместе с машинами. Страшное дело — эти машины! Чего доброго, они скоро совсем разрушат наши ветхие лачуги.

— Да, машины разрушат не только лачуги, они разнесут по ветру всю старую жизнь, — резко подтвердил Садык, словно только и ждал именно такого предположения старика.

Сопахун ничего не сказал.

Телега поравнялась с темными воротами Сопахуна, и старик подал знак остановиться. Садык отвязал повозку

купца, помог выпрячь ишака. Тот приблизился к Садыку, проговорил несколько благодарственных слов и протянул руку. Садык, думая, что тот прощается, подал старику руку, но тут же отдернул ее — в руке старика были деньги.

— Отец, мы помогли вам выбраться из песка не для того, чтобы получить два юаня. Оставьте эти деньги для себя.

— Сынок, в народе говорят: «За хлопоты — достойная плата». Возьми, не отказывайся.

— Не все распенивается на деньги! — сердито ответил Садык и вскочил на свою повозку.

Старик без всякого смущения опустил в карман два юаня и, глядя на Садыка, как на ребенка-шалунушку, не знающего, что такое настоящая жизнь, проговорил:

— К деньгам, сынок, нельзя относиться с таким пренебрежением. Не зря в народе говорят: «Если у тебя есть деньги, то и в дремучем лесу для тебя найдется жирный суп».

Слова старика о непоколебимой власти денег задели Садыка за живое. Ведь совсем недавно этот несчастный умирал в песке — и ведь не деньги, а люди его выручили!

— Отец, почему ты не поел жирного супа, когда застрял в песке со своими деньгами? — едко спросил Садык.

Распахнулась калитка, и из нее, как птица из клетки, вылетела Захида. Она бросилась к отцу, обняла и поцеловала его. Потом, опустив руки, глянула на Садыка.

Садыку показалось в облике юной, неожиданно появившейся перед ним незнакомки что-то нежное и вместе с тем тревожно влекущее.

Снова заскрипела калитка. Со двора, едва протиснувшись через узкий проход, вышла Нурхан-ача. Тревожно-ласковое мгновение оборвалось. И снова жизнь, подобно двуколке старого арбакаша, вошла в привычную колею.

Садык хлестнул вожжами лошадь, и повозка тронулась. Захида проводила ее долгим взглядом. И когда телега свернула за угол, девушке захотелось броситься вслед, догнать и уехать в неведомое вместе с этим парнем, державшим вожжи. Ни Сопахун, ни Нурхан-ача не почувствовали, что творилось в душе Захиды. Да и сама она не понимала, почему так трепетно забилося сердце, почему стало ей так печально и радостно.

## II

Садык был членом демократического союза молодежи, в который он вступил осенью прошлого года, и работал в недавно организованной торговой общине. Разъезжая по селам и деревням на скрипучих арбах по делам общины, молодежь рассказывала населению об общинах и кооперативах, выступала как бы добровольным агитатором. По инструкции уездных руководителей они объясняли, что подлинная революция не та, которая произошла в тысяча девятьсот сорок четвертом году в Кульдже и ограничилась освобождением от гоминьдановцев только трех северных округов Синьцзяна — Или, Алтая и Тарбагатая. Новая революция освободила весь Синьцзян и поэтому считалась неотделимой частью общекитайской революции.

Молодые агитаторы говорили о предстоящих земельной и культурной реформах и с присущей молодежи восторженностью в розовом свете рисовали будущее. Как положительные примеры они приводили отдельные дехканские и торговые объединения — ширкаты — и вновь созданные школы. Но многие турфанцы, как и другие жители Синьцзяна, не очень-то верили подобным рассказам, сомневались в преобразовательной силе революции.

Горький опыт веков мешал им правильно воспринимать и поддерживать новое.

Как кашгарцы до сих пор хорошо помнили предательство своих ходжей и беков, приведшее к гибели сотни тысяч людей на ледниках Хан-Тенгри во время перехода в Кокандское ханство в прошлом веке, так и турфанцы не забывали древнего расцвета и затем упадка культуры в своем крае, бывшем в десятом веке центром государства караханидов — Уйгурии. В памяти турфанцев свежи были и события десятилетней давности, когда население города поднялось против гоминьдановцев с оружием в руках, но восстание было потоплено в крови восставших.

Предатели сделали так, что вооруженные отряды трех освобожденных областей севера бездействовали, не помогли Турфану...

Садык был еще совсем мальчпшкой, когда впервые услышал слово «революция». Он не понимал смысла этого слова и не знал, где находится северный Сипьцзян и Или, в которых в то время происходила эта самая непопятная для него революция.

Он видел взбудораженность и волнение окружающих его взрослых солидных людей и представлял, что «революция» обозначает нечто вроде бушующего пожара или бурана.

Садык рос сиротой и в те дни бродил по городским харчевням в поисках еды и какой-нибудь простой работы, которую могли доверить взрослому ребенку. Ему запомнился день, когда он разговорился с одним манджаном — поваром, по имени Саид-ака.

Они вместе растапливали печь, Садык подносил повару саксаул. Саид-ака подал ему палочку шипящего шашлыка и заговорил, будто сам с собой:

— А на белом свете, брат, революция... Хорошо это или плохо, один бог знает. Но теперь все должно перемениться. Человек я неграмотный, но вижу, что новые перемены печалят наших грамотеев, особенно тех, кто побогаче. Эти перемены как будто написаны на их лицах... А зачем я тебе это говорю? Тебе-то что от перемены? Ты, как утка, в любом водовороте будешь наверху... Однако же, брат, бестолковым жить на белом свете — не велика заслуга. Учиться надо. Многие тогда будешь понимать лучше нас, стариков, многое...

Садык слушал молча и даже перестал жевать вкусный шашлык.

Слова старика волновали его ожиданием каких-то светлых новостей и в то же время вызывали огорчение: надо же, Саид-ака сравнивал его с беспомощной уткой, которой все равно, где плавать.

В глубине кухни громко застучали по жаровне, и слышался голос старшего повара:

— Эй, Саид-ака, поддай огня под соусный котел!

Старик не спеша поднялся, похлопал юношу по плечу.

— Вот так, брат, учиться тебе надо. Тогда и плавать, и вырваться будешь легче, лучше, не утонешь в волнах жизни... А сейчас возьми вот эти гроши и сбегай за насыба-

ем на базар. Только бери у старого Насыра, у него самый лучший.

Саид-ака подал Садыку несколько мучяней — китайских бумажных денег, похожих на почтовые марки, и пошел под навес за кураем, сухим тростником.

Садык шагал на базар. Солнце поднималось все выше. Жаркие его лучи все больше накаляли воздух. По узким улочкам снешили на базар люди, их четкие тени двигались по глиняным стенам домов, по высоким дувалам. В корзинах, в касканзах, а то и просто завернув в скатерку, на подносах, в больших кастрюлях кто на голове, кто на коромысле, кто на плечах, несли люди на базар всякую всячину. Тут можно было увидеть яблоки и урюк, лепешки, пресные и сдобные, жареных куриц, куропаток, перепелок. Несли душистые листья табака, искусно сделанные кувшины, конскую сбрую, деревянные подносы и кетмени. Вели упирающихся жирных, откормленных для продажи, баранов.

Любители бараньих боев, оглядывая круторогих самцов-кошкар, со знанием дела делились замечаниями. Откуда-то доносилась глуховатая дробь бубна, слышался топот разгоряченного пноходца, и люди вспоминали о приближении айта — религиозного праздника. Оживление царило повсюду в этот утренний час, казалось, что и птицы пели по-особому. Временами слышались протяжные голоса брадобреев.

Пристроившись возле арыка, они лихо правили на ремнях бритвы, сделанные из обломка старой косы или серпа, пробовали лезвие на ногте и зазывали на разные голоса:

— Эй, подходи, народ, кому побрить голову! Бритва острее острого, не бреет — ласкает! Даже самый нетерпеливый может уснуть от удовольствия. Эй, подходи, садись — и миг не будет волос на твоей священной голове!..

А рядом шашлычники развеивали синий дым над старыми мапгалами и вразнобой похваливали мясо. Арбакеши с громким чмоканьем понукали своих коней, стараясь обогнать передних, и желтая пыль клубами стлалась над узкими улочками древнего города.

Но вся эта сутолока, голоса, гомон не могли отвлечь мыслей Садыка от слов старого Саида-аки: «Учись грамоте... Тогда поймешь слово «революция». Непонятное, чу-



додейственное слово... Наверно, много надо учиться, чтобы понять его. Даже дядя Вахид не знает его, а ведь он навзусь читает коран. Значит, нужна какая-то особая грамота.

Саид-ака своими словами согрел сердце мальчика, и Садыку не хотелось теперь с ним расставаться.

Когда он, купив насыбая, возвращался в харчевню, возле табачных лавок он услышал громкий и заунывный голос. Садык увидел в толпе медленно бредущего старого дервиша. Он шел и пел:

У аллаха свои заботы,  
Дать в джахаве людям работу,  
Суд над миром свершится скоро,  
И не будет вражды и горя...

Старый дервиш, казалось, прочитал мысли мальчика о переменах и сейчас пел о них. Слова предвещали что-то доброе, но неведомое.

В таком состоянии пять лет тому назад застал Садыка ветер великих перемен. За это время он научился грамоте и все еще мечтал «о настоящей учебе», присился в столицу — Урумчи.

\* \* \*

Однако сегодня он от вахлынувших воспоминаний, от всего увиденного пришел в общежитие мрачный, с камнем на сердце.

В комнате вместе с Садыком жили не только его сверстники, семнадцатилетние юноши, но и конторские служащие постарше, и кадровые работники. Когда Садык вошел, каждый продолжал заниматься своим делом. Одни читали, другие просто лежали на топчанах, отдыхая. В дальнем углу кто-то тихо пощипывал струны тамбура. Садык устало опустился на свою койку. Рядом парень лежал читал газету. Вдруг он неожиданно встал и протянул газету Садыку, указывая на одну из статей:

— Прочти.

Садык нехотя взял, развернул газету, пробежал глазами выделенные заголовки и стал читать статью, заинтересовавшую соседа. Описывалось зверское убийство девушки, выданной замуж насильно. На следующий день после свадьбы девушку бросили в покинутый старый дом и обрушили на нее еле державшуюся толстую стену. Это

было ритуальное убийство. Так погибала в старину невеста, оказавшаяся нецеломудренной.

— Какое зверство! Какая страшная жертва мракобесия! — Садык поднялся с топчана. — Неужели такая дикость и бездушие свойственны нам, уйгурам?

Он отчетливо представил задумчивый и печальный взор дочери Сопакхуна. С волнением вспомнил он взгляд черных глаз, полных сиротливого одиночества, нежную улыбку, исполненную благодарности, румянец, вспыхнувший на чистом лице, когда их взгляды встретились.

— Мы говорим «парод», «наш парод», — с возмущением проговорил сосед. — А знаем ли мы, помним ли мы, что любой человек из этого народа может поубивать нас всех, защищая свои религиозные предрассудки?!

Горячность его была очевидна, Садык понимал это, но возразил мягко:

— Если мы считаем себя светом, а парод — темнотой, то почему бы нам не стараться просветить эту темноту?

— Против религиозных предрассудков не в силах бороться даже государство, — стоял на своем парень. — А что можем сделать мы?

— К сожаленью, очень мало, — согласился Садык. Тут и он не мог противопоставить словам друга ничего, кроме недовольства.

— Если бы мне дали власть, — продолжал парень, — я бы велел вешать каждого, кто совершил преступление! Пересажал бы и всех частных торговцев.

Парню никто не ответил, и разговор прекратился, в комнате стало тихо.

Тишина угнетала Садыка, и он вышел во двор. Там на зеленой траве сидели два парня с дутаром и тамбуром. В одном из них Садык узнал своего друга Абдуганта. Щемили и непонятно баюкали душу звуки этих инструментов. Дутар звучал, казалось, из глубины священных каризов — монотонно и необыкновенно гулко. Тамбур, подобно струе воды в прохладной ночи, звелел то светлым звоном, то густо и томно, подобно меди колоколов. Порою звуки утихали, затем появлялись вновь из каких-то незримых пространств и все выше уносились в тишину ночи.

С дальнего конца улицы доносилась одинокая несня, негромкая и мелодичная. Садык прислушался. Голос был высокий, слегка дрожащий и приятный. Тот, кто цел, под-

ходил все ближе и ближе, песня росла и зазвучала наконец в полный голос. Музыканты перестали играть.

Абдугаит стал потихоньку подыгрывать песне, тамбур зазвучал по-новому, словно песня вдохнула в него новую жизнь.

Певец, удаляясь, неожиданно оборвал песню. Сидящие переглянулись. Их черные глаза радостно блестели, лица просветлели. «Какая жалость!» — подумал Садык с досадой. Ему показалось, что и эту прекрасную песню кто-то сейчас задушил, сгубил или проглотил ее какой-нибудь тунглюк<sup>1</sup>.

Абдугаит встал и возбужденно заговорил:

— Друзья, я думаю, что лучше уйгуров никто в мире не поет!

— Не все уйгуры поют так, как этот, — отозвался Садык, прикуривая сигарету.

— Не все... Но любят песню все!

— Любят — это другое дело. Свои песни любят, наверно, не только уйгуры, но и другие народы.

— Конечно, — вмешался дутарист. — Песню, музыку, оказывается, даже муллы любят. Я в этом убедился, когда в прошлом году из Урумчи приезжали к нам артисты. В первых рядах сидели одни муллы.

— И ты вместо артистов видел затылки чалмопосев? — пошутил Абдугаит.

— Муллам тогда досталось, — ответил парень. — Им показали такие номера, что они не рады были, что пришли на концерт. Один торговец, сам того не желая, дал жене уш талак<sup>2</sup> и лишился ее, бедняга.

— Друзья — перебил друга Садык, — меня очень увлекло все это: ваша игра, рассказ... эта песня... У нас в общепитии немало молодежи. А сколько ее вне общепития? Пусть работа у нас разная, но цель одна: пропагандировать всюду новое. Не успеешь одного дехканского сыва привлечь в новую школу, как другой уходит к мулле. А трагический случай, описанный в сегодняшней газете?

---

<sup>1</sup> Тунглюк — отверстие в потолке вместо окна в старом уйгурском доме.

<sup>2</sup> Уш талак — буквально: «трижды развод». По шариату после «трижды развода» жене нельзя возвращаться к мужу до тех пор, пока не выйдет замуж за другого и пока второй муж, в свою очередь, не разведется с ней.

— Да, такие случаи все еще встречаются, — сказал Абдугант с досадой и отшвырнул потухшую сигарету.

Садык продолжал:

— Почему мы должны заниматься только своей работой? А почему бы нам не наладить агитацию среди отсталых слоев населения, не повлиять на них? Почему бы нам не организовать кружок любителей искусства? Именно об этом говорил вчера секретарь уездного комитета.

— Но мы не знаем, как это делается. Среди нас нет знатока, который бы что-нибудь смыслил в этом деле.

— Нам помогут уездные руководители. А мы сами должны перво-наперво выявить способных, одаренных людей из молодежи.

— Вот бы нам таких, как давешний певец! — сказал Абдугант.

— Я думаю, его нетрудно найти. Спроси любого из Кузнецкой слободы, он тебе укажет этого певца. Знай себе договаривайся. Не так ли, мой друг? — обратился Садык к Абдуганту.

— Да, все это прекрасно. Только по идее. А что выйдет на самом деле, пока трудно сказать... Я завтра же пачку искать этого удивительного певца, — решительно сказал тот.

### III

После дорожных злоключений Сопахун запемог. Он лежал неподвижно и думал о своей заветной мечте — о паломничестве в Мекку.

Нурхан-ача, как обычно после сытного обеда, с дутаром на коленях отдыхала на суфе под навесом. Хотя и не очень ласкал дугар Нурхан-ачи слух старого Сопахуна, однако он отнесся к занятию жены равнодушно: «Пусть себе играет. Может быть, дутар разгонит ее скуку».

Нурхан-ача по-своему перестроила дутар и, тихонько наигрывая, замурлыкала песню. Обычно под аккомпанемент дутара поют грустные, мечтательные песни, но они не удавались аче — голос у нее был слишком груб для таких песен. Слова для своей песни она придумала сама и находила их весьма красивыми.

«Молодость резвости полна», «молодой хочет играть, а старик — спать», — в таком духе пела она. Однако, глядя на Захиду, о резвой молодости и не вспомнишь. Она все

время занята, хлопочет без усталл. Вот и сейчас Захида мается около больного отца. То прикладывает ладонь к его голове, то разминает одепепевшие от неподвижности руки отца, то отгоняет мух опахалом из конского хвоста. Подает ему напиток, заботливо предлагает то одно, то другое. Забота близкого человека способна исцелить без лекарств.

— Не осталось ли немного лагмана, дочка? — еле слышно спросил Соплахун.

— Осталось, папа. Подогреть?

— Нет, не надо подогревать. Что-то хочется поесть холодного. Авось поможет.

— Я сейчас, папа, — сказала Захида и побежала в кухню. Она и впрямь думала, что холодный лагман может оказаться целебным.

Кто-то постучался в ворота, позвали Соплахуна.

Нурхан-ача, уже было задремавшая, ожила. Она быстро достала из кармана халата зеркальце и незаметно подправила в ниточку тоненькие дугообразные брови, подвинула в колечко прядь у виска. Косясь на свою тень, она одернула халат и пошла к калитке. Во двор вошел Зордунбай и громко спросил:

— Неужто слег Соплахун-ака? Ей-богу, не верится — только недавно ходил здоровешенек.

В полутемной передней Зордунбай ущипнул Нурхан-ачу за талию, та прыснула в рукав, но тут же закрыла лицо и пропустила вперед гостя. Войдя к Соплахуну, она сделала грустные глаза.

— Вы только подумайте! Слег старина. Только вчера был здоров. Помогай вам бог, Соплахун-ака... Аминь-аллаху-акбар! Как вы себя чувствуете? Что с вами?

— Проходи, Зордун-ука, садись... Мне уже лучше. Да вот ноги еще не держат. Обессилел я.

После того как Зордунбай и Соплахун обменялись, по обычаю, расспросами о житье-бытье, после сочувственных слов Зордунбай и ощупывания пульса больного перешли к деловому разговору.

Соплахун огорчил Зордунбая, сказав, что часть его товаров осталась несбытой. Потом Зордунбай пожаловался, что у него и без того залежалось много товара, который Соплахун уже давно обязан был сбыть, и что товар потеряет цену, если Соплахун долго пролежит.

Соплахун пожаловался, что ему, старому человеку, тя-

жело ездить по далеким деревням и селам. Зордунбай резко оборвал его:

— В таком случае нам придется расчитаться, Соплахун-ака. Я вынужден нанять другого человека. А вы остались должны мне сто шестьдесят юаней.— Зордунбай нервно поерзал, потер руки.

— Не слишком ли много, ука? — занскиваяще спросил Соплахун.

— Нет, не больше половины барыша, который вы получили от продажи моих товаров, ака. Если мне удастся нанять кого-нибудь подешевле, я сделаю вам уступку. Не будьте скупым!

— Эх, Зордун-ука! «Не будьте скупым!» Бедность и скупость не одно и то же. Раньше я мечтал о Мекке. Теперь вижу — такой мечте не сбыться. У меня, ука, единственное желание: поехать в наш Кашгар, посетить священный мазар Аппака-ходжи и умереть у его ног. Я собирался продать подводу свою, думая уступить ее тебе за небольшую сумму.

Соплахун замолк. Он сидел понуро, исподлобья, неподвижно глядел на свои вытянутые ноги. Его жилистые, буро-черные руки с твердыми, неразгибающимися пальцами, словно безжизненные, лежали на коленях.

Зордунбай пристально посмотрел на старика и не увидел на его изможденном лице ни малейшего движения. Беспойно блестели только одни глаза, глубоко ввалившиеся. Изрезанное морщинами лицо его было обветрено, высушено и черно.

Зордунбай решил изменить свой первоначальный замысел. Его решительное требование возратить деньги произвело впечатление: Соплахун не хотел расставаться со ста шестьюдесятью юанями. Теперь не стоит разговаривать с ним языком угроз и неоспоримых требований. Румяное лицо Зордунбая расплылось в улыбке, глаза сузились, он заговорил занскиваяще, притворно доброжелательно:

— Об этом, Соплахун-ака, вы мне ничего не говорили. Я знал, что вы добродетельнейший человек, но если бы я услышал, что вы хотите посвятить себя душевноснительному подвигу, я бы не позволил себе того, что вам уже говорил. Я не могу не уважать ваши чувства. Посети нас аллах своими милостями за ваше доброе сердце и благую мысль. Коммерция только богатство приносит, Соплахун-

ака, а посещение святых мест — возвышает душу, очищает ее от житейской скверны.

Сопахун весь превратился в слух и, медленно повернувшись к Зордунбаю, смотрел на него затуманенными от подступивших слез глазами и не знал, как благодарить за добрые слова.

— Пусть паду я искупительной жертвой на мазаре Аппака-ходжи за тебя, дорогой Зордун! — взволнованно сказал он.

— Вы меня глубоко тронули, Сопахун-ака, — продолжал расчетливый Зордунбай. — Но если вы намереваетесь распродать свое имущество для того, чтобы посетить священный мазар, то этого делать не следует. Мне ли напоминать вам, что посещение святых мест вовсе не разоряет истинного мусульманина. Берите, ака, у меня столько денег, сколько вам понадобится, чтобы совершить хадж или побывать в священном Кашгаре.

— Спасибо, ука, спасибо! Бог заронил в твое сердце благосклонность к бедным людям и ко мне. Молиться я буду за тебя, за твоих детей. Если не я, то аллах отблагодарит тебя за твою милость! У меня, Зордун-ука, конечно, есть кое-какие соображения. Но мой священный фарз<sup>1</sup> тебе известен. — Сопахун кивнул в сторону двери. — Я не могу умереть спокойно, пока моя дочь не выданье.

Этого разговора и ждал Зордунбай. Он знал, что Сопахун не отправится ни в Мекку, ни в Кашгар, пока не выдаст дочь замуж. В Захиде он видел красивую жену для своего сына и здоровую, работающую соху. И тех, кто намеревался сватать дочь Сопахуна, Зордунбай заранее предупреждал, что она страдает падучей и что мать ее умерла от чахотки.

Зордунбай был готов взять на себя все расходы, связанные с посещением Сопахуном Кашгара и даже священного храма Каабы. Зордунбай отдаст еще столько, если Сопахун не вернется оттуда. Старик не раз говорил, что готов даже умереть, стать шейтом<sup>2</sup> возле мазара Аппака-ходжи. Тогда всем, что принадлежит Сопахуну, в том числе и Нурхан-ачой, завладеет Зордунбай. Это бы-

<sup>1</sup> Фарз — долг по шариату, религиозное предписание для мусульман.

<sup>2</sup> Шейт — погибший за веру мусульманин, святой покойник.

ло давней мечтой Зордунбая. И теперь он надеялся, что мечта его скоро превратится в действительность.

Сопахун был у Зордунбая с ответным посещением на следующий же день.

— Я думаю, свадьбу справим накануне моего отъезда,— сказал Сопахун.— И лучше, если шуму будет поменьше.

— Я рад, Сопахун-ака, что вы точно угадали мои мысли. Вы правы: шумная свадьба, пир горой — теперь не для нас с вами, ака. Не дай бог, пронюхают эти безусые активисты...

— Все теперь зависит от тебя, Зордун-ука...

Помедлив, Зордунбай прошел в другую половину лавки, где приказчик торговал мануфактурой, и вернулся со свертками разноцветных тканей в руках.

— Вот, посмотрите, Сопахун-ака, шелк оливкового цвета. Из Шанхая. Прошу вас передать это скромное подношение уважаемой тетушке Нурхан. А вот эта драгоценная алая ткань из Дели. Лучшей для красной девицы и не найти.

Сопахун не был поражен щедростью Зордунбая. Дочь его заслуживает более ценных подарков, и Зордунбаю не следовало бы скупиться. Но Сопахун всегда терялся при встрече с этим человеком и не мог вымолвить ни слова. И сейчас его маленькие глаза из своих щелок подобострастно уставились в лицо лавочника. Со слезами на глазах Сопахун принял подарок и расцеловал руки Зордунбая.

— Свадебные подарки уже готовят,— сказал Зордунбай.— Я не забыл и о вас. По заказу из Урумчи вам доставят ичиги с галошами, отрез бекасама<sup>1</sup> и шелковый тюрбан...

— Бог с тобой, Зордун-ука, к чему все это? Мне ничего не пужно. Пожалуйста, не делай никаких заказов.

— Нет-нет, Сопахун-ака. Вы собираетесь посетить священные мазары чудотворцев. Вы будете присутствовать на молениях ученнейших и почтеннейших старцев, посещать дома для странников, обители дервишей и медресе. И везде вы должны быть одеты не как какой-нибудь любопытствующий асвака, а достойно своего будущего звания.

<sup>1</sup> Б е к а с а м — сорт шелковой ткани, идущей на халаты.



Соплахун не слышал, о чем еще говорил Зордунбай, он видел себя уже не просто Соплахуном, а уже Соплахуном-ходжой. Воображению его представилась неземная чудесная жизнь. Вот встают перед ним величественные мазары древнего и великого Кашгара, возвышаются минареты мечетей, проходят святые, шейхи и дервиши; а вот лежат избавленные от недуга, исцеленные живительным бальзамом паломники, бесплодные в прошлом женщины, которые теперь способны быть матерями благодаря чудодейственной силе аносмы — любовной травы. За всем этим чудом таится невидимая рука добрых духов, небесных покровителей...

Соплахун шел домой, услаждая себя предвкушением близкого счастья, мысленно рисуя картину будущей жизни. От приятного возбуждения у Соплахуна шла кругом голова, туман сказочных видений застилал ему глаза.

Оставшись один, погрузился в свою думу и Зордунбай. Однако он думал, в отличие от Соплахуна, не о сказочном рае. Его голову трудно было одурманить волшебными видениями. Он всегда думал о том, как удобнее устроить свою жизнь. И никогда Зордунбай не позволял себе обмануться внешним, показным благополучием. Поэтому он решил еще раз тщательно взвесить то, чего он достиг сегодня.

«А если вдруг заинтересуются, почему Соплахун пал «искупительной жертвой»? А вдруг заподозрят убийство? Начнут дознаваться, умышленное оно или случайное?»

Зордунбай взвесил все за и против. То ему казалось, что тугой клубок его изобретательности никто не сможет распутать, то, наоборот, казалось, что оба конца нити, смотанной в клубок, слишком заметны и спрятать их невозможно.

Но отказаться от задуманного Зордунбай не мог. Он решил, что излишняя боязнь и мнительность, которые в нем так быстро растут, совершенно необоснованны. «В самом деле, почему мне чудится, что везде следят за мной? Кто может следить и на каком основании? Если Соплахун долгое время был моим поверенным и развезжал по деревням с моим товаром, то это может служить только в мою пользу. А Нурхан-ача — моя сватья. Не оставлять же ее одну на произвол судьбы?»

Зордунбай быстро встал.

«Итак, этого старого хрыча Шавкат-мулла приковит в Кашгаре».

И Зордунбай, точно так же, как Сопахун, предался сладостным мечтам о спокойной жизни, о том времени, когда наконец удастся ему разрушить стену, разделяющую его с Нурхан-ачой...

#### IV

Абдугаит страстно взялся за создание кружка самостоятельности. Юношеский пыл его не охлаждался от насмешек. «Артисты!» — говорили остряки с нескрываемой пронией. «О театре думает, а в башке пусто!» — откровенно смеялись другие. «Надо начинать с основы, дорогой, с основы!» — поучали третьи.

«А разве пародный театр Урумчи создали не такие же люди, как мы? Они тоже не с пеба свалились. Правда, талантливые, одаренные. Но нужно отыскать таких и у нас и суметь сплотить их в один коллектив», — думал Абдугаит. И он был уверен, что удастся сплотить. Непременно удастся! Только одно беспокоило: он не видел возможности привлечь в кружок девушек. Абдугаит поделился своими соображениями с Садыком, и они решили еще раз посоветоваться в парткоме уезда.

— Пока действуйте сами, без них, — сказал секретарь. — Подбирайте жизнерадостных, энергичных, остроумных парней. Хороших музыкантов, певцов. А там начнете привлекать и женщин. А начинать, конечно, пуждо с тех, кто состоит в союзе молодежи. Таких много в жепской вечерней школе. Там вы найдете немало талантливых. Только привлекать в самостоятельность надо умело, иначе они могут расстаться со школой: запрут их родители — и все тут.

— Да, это не исключено.

— Полагайтесь только на убеждение. Любой другой путь может привести к весьма нежелательным последствиям.

Выйдя из комитета, Садык решил сегодня же пойти в жепскую вечернюю школу. Абдугаит напомнил ему о певце из Кузнецкой слободки.

— Ты еще помнишь его? — весело спросил Садык.

— Его песня до сих пор звучит в моих ушах, — меч-

тательно сказал Абдугант.— Боюсь только, что не найду я этого певца.

— Ты, оказывается, плохо знаешь Турфан. Турфан — это та же махалля<sup>1</sup>, только не одна, а много собранных вместе. Я же говорил: иди в Кузнецкую слободку, спроси любого встречного, и тебе как по пальцам перечислят всех певцов. Ну, до вечера!

Абдуганту действительно не долго пришлось искать талантливого певца.

— А, это, должно быть, Шакир, сын Зордунбая, — сказал ему сразу же, едва он заговорил о песне и о том впечатлении, какое она на него произвела.

— Где он работает?

— Не для того он сын Зордунбая, чтобы работать! Когда ему нужны деньги, он идет в лавку отца, а не на работу.

«Веселись, сынок! — говорил Зордунбай сыну с детства. — Ничего и никого не бойся. Пока я жив и пока стоит моя лавка, горе будет обходить тебя стороной». Шакир оказался сыном, достойным своего отца. Зордунбай со временем мог только удивляться своему сынку, превзошедшему самые смелые отцовские ожидания. Зордунбай с каждым днем все больше убеждался, что выпестовал он бездельника, готового пропить все состояние отца. Больше всего Зордунбая беспокоила страсть сына к игре. Шакир все чаще стал заходить в игорные дома, водиться с темными людьми. Поэтому и решил Зордунбай поскорее женить Шакира в надежде, что семья образумит его.

Когда Абдугант подошел к лавке Зордунбая, откровенный разговор между отцом и сыном подходил к концу.

— ...Пока зрачки моих глаз не погасли, я хочу увидеть своих внучат, сын мой, — говорил Зордунбай.

Шакир сидел, шумно втягивая из пилалы крепкий чай и отправляя по изюминке в рот. С большой головой, разбитый и мрачный, он чувствовал себя мерзко после вчерашнего кутежа. Он молчал. И молчал не потому, что был безразличен к словам отца. Последнее время Шакир

<sup>1</sup> Ма х а л л я — село, деревня, слободка.

чувствовал какую-то перемену в себе. В нем боролись непреодолимое желание выпить, заглушить тоску и в то же время отвращение к собутыльникам, к той своей братии, с которой он проводил дни и ночи.

Молчание Шакира Зордунбай принял за послушание, тем более что Шакир часто в разговоре с отцом выходил за пределы должного повиновения. Чтобы не осталось никакой неясности, Зордунбай сказал:

— Ты знаешь дочь Сопахуна. Ее не целовала даже родная мать. Я хочу увидеть вас счастливыми и радоваться вашему счастью. И потом придется тебе хоть на время забыть дорогу в мейхану<sup>1</sup>, дорогой мой.

«Дорогу в мейхану!» Шакир резким движением протянул руку за чайником, чтобы налить чаю. Но чайник оказался пуст.

— Мне самому надоела вся эта чертовщина, — сказал Шакир и встал, чтобы наполнить чайник.

— Вот и хорошо! — заключил Зордунбай. — Все остальное я улажу сам.

Шакир не придавал особого значения этому разговору. Всем своим видом он как бы говорил: «Посмотрим...»

Абдугант зашел в лавку Зордунбая. Покупатели подходили без конца, и мало кто уходил с пустыми руками: навязчивая старая лиса — продавец всячески изощрялся, чтобы сбыть товар.

Продавцы общественных магазинов могли ему только позавидовать. Здесь товары стояли дорожке, а брали их охотно, и покупатели уходили довольные, признательные. Залежалую ткань продавец ловко выбрасывал наверх и говорил, сожалея, что ткань уже копчется. И добродушные простаки из далеких деревень спешили схватить «остаток». В довершение того что торгаш совал покупателям истлевший ситец, он еще и безбожно обмеривал их.

За прилавком появился молодой человек. Он бесцеремонно, как хозяин, прошел мимо приказчика и, глядя на него с улыбкой, сунул руку в кассу. Набрал полную горсть денег, он перемахнул через прилавок и вышел на улицу.

Недоумевающий Абдугант вмиг все понял.

---

<sup>1</sup> М с й х а н а — вишняя лавка, кабак.

«Когда ему нужны деньги, он идет в лавку своего отца, а не на работу», — вспомнил он.

Вслед за Шакиром около приказчика появился Зордуббай. Он сделал вид, что внимательно осматривает полки, и, будто спохватившись, начал «отчитывать» приказчика:

— А ты набльного ситца совсем не оставил?! Я же тебе говорил, что солданные люди просили оставить кусок. Ай-яй-яй! Что ты наделал!

Приказчик повял хозяина и ответил, что ситец еще остался, хотя и немного. Сразу же трое покупателей напихнулись на продавца. «Мне, ака, небольшой отрез», «Для очень важного подарка, ака, сделайте одолжение...»

«Клюет», — подумал Абдугант. Он вернулся в общезитне, обманутый в своих ожиданиях: такого купеческого сынка, как Шакир, в самодеятельность и калачом не заманишь.

Выйдя из лавки отца, Шакир направился прямо в мейхану. Расторопная и почтительная прислуга встретила его с подобострастной улыбкой. Через минуту к Шакиру подсадились приятели, за столом стало тесно.

После мейханы друзья направились в один из удивительных домов городской окраины, где можно было и выпить, и сыграть на деньги.

Играли в четыре асыка. Заправлял игрой развязный и наглый Нодар, которому никто не смел прекословить. Удача, как всегда, сопутствовала ему. Один из партнеров Нодара, высокий, худощавый парень, проиграл ему все свои деньги, но выбывать из игры не хотел.

— Ставлю в долг сто юаней — сказал он, надеясь вернуть проигрыш одним коном.

Но опять выиграл Нодар. Не отрывая глаз от своего должника, он тщательно, не спеша расставил четыре асыка на широкой ладони.

— Ставишь свою жену? — спросил Нодар.

В замешательстве все притихли. Кто-то не выдержал:

— Нодар-ака, ты старше всех нас, мы тебя уважаем. Но это оскорбление!.. Давайте копчат игру! Послушаем лучше музыку.

Нодар сразу вызывающе выпрямился. Кто смеет давать ему советы?.. Хасан взял тамбур и громко заиграл.

Нодар промолчал. А долговязый пудачник тем временем за спиной сидящих выскользнул на улицу.

Время от времени слышалось бульканье джуна. Шакир наливал из узкогорлого кувшина в пиалу и пил. Он был чем-то раздражен.

Хасан играл с упоением, нежная и грустная мелодия лилась, не прерываясь. Затем она сменилась бодрым и радостным «Аджамом». Нахун<sup>1</sup> тамбуриста извлекал иногда звуки, напоминающие ясный стук мелкой дробы о медь. Хасан исполнял «Аджам» виртуозно, одну и ту же музыкальную фразу он повторял по-разному, изощряясь в технике исполнения. Надо сказать, что эту классическую мелодию исполняют только искусные музыканты, мастера варнаций.

Шакир резко прервал тамбуриста:

— Эй, Хасан! Чего это ты крутишься на одном месте?!

Хасан в недоумении опустил тамбур. Все повернулись к Нодару. Тот не успел произнести своего решающего слова, потому что Шакир продолжал самым отчаянным образом:

— Тамбур не раваб, не яшьчинь... и не калун<sup>2</sup>. Это инструмент особый, понимаешь? Особый! Он султан инструментов! Он создан не для бренчания. Не для кривляния! Он рыдает... рыдает, как мужчина, оплакивающий отца. Взятся играть — так играй!.. Играй так, чтобы звуки нас возвышали, а не оскверняли душу своим дрыганьем.

Нодар рассмеялся. Однако в его смехе не чувствовалось веселья, он смеялся сухо, с каким-то остервенением.

— Не кричи, Шакир, не владай в ненужную ярость, — сказал он, криво улыбаясь. — Ты лучше возьми тамбур да покажи, как надо играть.

Шакир, показывая свое пренебрежение к словам Нодара, потянулся к кувшину, наполнил джуна и выпил. Нодар, не спуская глаз с паглого Шакира, согнал с лица улыбку. Все замолкли, ожидая от Нодара чего-то коварного. Неизвестно, чем бы кончилось непродолжительное

---

<sup>1</sup> Нахун — медиатор из струны, поматывается на кончик указательного пальца.

<sup>2</sup> Раваб — щипковый музыкальный инструмент, яшьчинь и калун — род гуслей.

молчание, если бы в эту минуту не вернулся долговязый проигравшийся.

— Ну, браток, продолжим игру? — сказал он, впиваясь глазами в Нодара.

Тот хищно привстал на одно колено и, готовый кинуться на дерзкого парня, угрожающе протянул:

— Рассчитывайся сначала ты, живой труп! А потом будешь петушиться!

— Получишь ты свои деньги. А сейчас — кинь! — настойчиво продолжал должник.

— Если тебе так приспичило, я тебе сказал — ставь жену! — Нодар рассмеялся зло.

В мгновение ока парень выхватил из-за голенища нож, по самый корень отхватил им свое левое ухо и бросил его на кон, словно пельмень в казан.

Нодар расхохотался, поднял синееющее, еще теплое ухо, положил его на ладонь и вместе с четырьмя асыками швырнул на кон: «Даттикам!» Ухо, словно живое существо, убегающее от этого мерзкого человека, упало с ладони и покатилось в сторону своего хозяина. Сидящие вздрогнули.

Несколько азартных игроков замерли, следя за асыками. Когда они в один голос закричали: «Поза! Поза!»<sup>1</sup>, глаза их были прикованы к четырем асыкам, и никто не глянул на ухо, жалкое и растоптанное. Казалось, что членовредительство было для них обычным, привычным делом.

Исход игры не интересовал только одного Шакира. Поливая из кувшина в ладонь, он медленным движением руки мыл джуном окровавленное лицо безухого. Глядя со стороны, трудно было понять, из жалости он умывал жертву бессмысленного азарта или это тоже было обычным проявлением внимания, как бывает, например, у сабутыльщиков, когда один с дружеской услужливостью сует закуску в рот другому.

— Мое посещение прошло успешно, — сказал Садык Абдуганту вечером в общежитии. Если бы ты видел, какие там девочки! Голоса звонкие, как колокольчики. Поют что надо! Даже такие есть, которые сами сочиняют. Почти половина из них записалась в наш кружок.

<sup>1</sup> Поза — одно из выигрышных расположений асыков.

Дела у кружковцев постепенно наладились. Они стали давать концерты каждое воскресенье, и посещали их с большим удовольствием не только горожане, но и дехкане из пригорода и близлежащих селений. Уверовав в свои силы и способности, Садык и другие кружковцы мечтали о спектакле, о небольшой одно-двухактной пьесе. Мысль о спектакле особенно увлекла Садыка. Будущее их маленького кружка рисовалось его воображению самым заманчивым. В мыслях Садыка беспрестанно возникали образы и сюжеты будущих пьес, и ему казалось, что достаточно только взяться за перо, как сразу на бумаге появится интересное произведение. Но на деле оказывалось, что отдельные разрозненные сценки никак не соединялись в единое целое, Садык не знал, с чего начать и чем кончать.

Он вновь и вновь возвращался к заветной своей мечте — написать поэму. Садыка преследовал образ трагически погибшей молодой девушки. Он мысленно видел, как с ритуальной торжественностью ведут несчастную невесту с обмазанным сажей лицом, как готовят ей погребение живо. Ее похоронят за то, что она любила жизнь и отдалась своей любви. Садык думал о своей героине, но перед ним возникала Захида. Несчастливая невеста и Захида казались ему одним и тем же лицом, и их судьбы живо переплетались в его воображении. Что у них общего, у той, несуществующей, и у этой, живущей неподалеку?..

По обыкновению, Садык поднялся рано — едва начала развеиваться почная синеватая мгла. Когда он выехал за город, на востоке заметно посветлело. Скоро лучи солнца озарили затянутае пыльной дымкой дали и белесое небо над Турфаном. Мгла, нависшая над горизонтом, заметно ослабляла, поглощала прямые лучи, и потому солнце, красноватое, как во время заката, походило на огромный единственный глаз раскаленной пустыни. Поднимаясь, оно как пламенем обдавало все: и листву редких, чахлах кустарников, и землю, покрытую трещинами, накаляло песок. Воздух недвижно спокоен. Изредка еле заметный легкий ветерок приятно обдаст лицо, про-



берется под рубаху и прохладной волной мурашек пробежит по телу.

Садык, тихо покачивавшийся в телеге, оживился, подбодрил коня: до его слуха донеслись еле слышные отдаленные голоса. Вскоре на возвышенности справа от дороги, где тянулись каризы, замаячили человеческие фигуры.

Подъехав к одному из колодцев, Садык слез с телеги и подошел к рабочим с обычным в таком случае приветственным пожеланием: «Бог в помощь».

Понурив голову, напрягая мускулы на груди, мерно переступала ногами лошадь. Она шла по кругу, приводя в движение колесо над колодцем. С жалобным скрипом колесо выбирало канат, а когда показывалась корзина, наполненная доверху вязкой глиной, песком и камнями, несколько рабочих относили ее в сторону и опрокидывали на пологий пригорок. Потом лошадь шла по кругу обратно, и под скрип колеса корзина уходила под землю. Через некоторое время из глубины колодца глухо, как из бутылки, доносилась команда, лошадь трогалась, снова скрипело колесо, натягивая струной канат под тяжестью груза. И так беспрерывно — наматывается и разматывается толстый канат на деревянной оси.

— Будьте добры, сверните мне закурить... — К Садыку подошел дехканин средних лет с огромными кулаками. Отирая пот со лба локтевым сгибом, он улыбался. Тяжелая работа даже в такой нестерпимый зной, казалось, была ему по душе...

Садык протянул сигарету, дехканин прихватил ее уголками рта и прикурил от зажженной спички.

Подняли очередную корзину. Молодой человек, оставшийся один у колодца, принял корзину и понес ее. Он крепкий, с развитыми, как у борца, мускулами, которые играли под смуглой кожей ног и рук, словно перепелки. Посадаль сидели два старика — наблюдали за работой. Один из них с предупредительной заботливостью проговорил:

— Сынок, ты готов надорвать себя, лишь бы показать силу. Один не берись. — Потом старик обратился к другим: — Еще немного усилий, джигиты, скоро закончим!

Глядя на стариков, Садык понял, что они дают советы по очистке карпзов. На своем веку им пришлось не-

мало поработать самим. Садык смотрел на сплывших и мужественных людей, на тяжелую мокрую корзину, на тугой канат и как бы на своей спине ощущал, какого физического напряжения требует эта работа.

На прощанье Садык оставил дехканам песколько пачек сигарет и поехал дальше. Он думал о тех, кто в течение тысячелетий создавал каризы, прорывал подземные галереи, соединяя ими сотни колодцев на глубине иногда восьмидесяти метров, о тех, кто дал иссушенной солнцем земле живительную влагу, подпаял великолепные сады Турфана, Астапы, Караходжи, Буюлука, кто взрастил плоды и умерил горячее дыхание солнца.

Садык думал об отце, которого никогда не видел. Ему рассказывали, что отец погиб под обвалом, когда рассчитал одну из самых опасных подземных галерей между двумя колодцами. Может быть, потому что отец погиб именно на такой работе, Садык почувствовал никогда не испытываемое волнение: он впервые увидел очистку кариза.

Садык подобрал вожжи — лошадь пошла крупной рысью. От толчка Садык откинулся назад, ощутил от нахлынувшей грусти.

Вскоре он подъезжал к селу, где должен был оформить кое-какие документы по своей работе. В прошлое воскресенье у дехкан не было денег, и Садык часть товаров отпустил в кредит.

Кроме того, он должен был встретиться с председателем дехканской общины Масимом-акой. Но Масим-ака неожиданно встретился на дороге у села. Он вынырнул из посевоп пшеницы рядом с телегой Садыка.

— По какой дороге приехали? — спросил он вместо приветствия. — Значит, видели людей на чистке кариза?

— Да, видел.

— Ну как вода? Прибывает?

Садык замялся. Ему стало неловко перед Масимом. Проезжая мимо кариза, он не заинтересовался самым главным. И вообще он не разбирается в дехканских делах.

— Старики сказали, что осталось совсем немного чистить, — только и мог сообщить он.

— Слава богу: значит, нашли обвал... Хлеб сохнет, брат. Нет воды... А как мое порученно?

— Привез!

— Тогда поехали...

Садык закончил свои дела в правлении и мог возвращаться в Турфан. Но Масим-ака пригласил его к себе домой. Садык познакомился с председателем недавно и дома у него никогда не бывал. Из уважения к старшему Садык принял приглашение и согласился заночевать у Масима.

Масим-ака говорил много, но спокойно. Садык заметил, что он щурит глаза, когда с размышлением о чем-нибудь рассказывает.

— Я забыл поблагодарить вас, Садыкджан, — сказал вдруг Масим. — Мы все очень вам благодарны...

Садык с удивлением посмотрел на Масима-аку.

— Вы спасли нашего Сопахуна от явной смерти. Если бы не вы, он погиб бы на дороге... Что было бы с его дочерью, моей племянницей. Чего только она не терпит! И все из-за бесхарактерного отца... Старик совсем стал рабом этих городских лавочников.

Оказывается, Захида обо всем рассказала дяде, не забыла и о том, как отец обидел юношу, желая расплатиться с ним за спасение.

— Это долг каждого, Масим-ака, — сказал Садык, скрывая приятное волнение. — Любой на моем месте не оставил бы старика в беде. А что касается обиды... поверьте мне, янисколько не обиделся. Я сам сгоряча наговорил ему дерзостей... — Садык старался казаться безразличным к тому, что сообщил Масим. — О том, что вы родственники, я услышал только сейчас...

— Она хочет жить у меня, — продолжал Масим. — Для нас с женой Захида — все равно что родная дочь. Она всегда напоминает мне покойную сестру. Когда последней слезой заблестели глаза сестры, она сказала мне: «Тебе и Зорахан я оставляю мою Захиду. Не забывай ее!..» А я, признаюсь, мало заботился о девушке. Старик совсем выжил из ума: женился на молодой да скверной женщине. Сейчас, мне кажется, мачеха и вовсе медведицей стала — загрызет она бедную девочку.

Садык вспомнил, как, едва протиснувшись через калитку, вышла тогда со двора Сопахуна грузная женщина с тяжелой поступью.

Когда телега въехала во двор, из дома выбежала Захида. Садык оторопел от неожиданности. Захида кинулась было навстречу дяде, но остановилась. Краска смущения разли-

лась по ее щекам, большие черные глаза вспыхнули, и девушка стала еще прелестнее.

Садык был настолько смущен, что чувствовал себя скованным. Только во время ужина он немножко освоился и разговорился.

— Вы читали журнал «Алга»? — спросил хозяин Садыка. — В нем много интересного! Нам Захида читает... Не считаешь нам еще что-нибудь, дочка?.. Садык тоже послушает.

Девушка пошла в другую комнату, Масим наклонился к Садыку:

— Как смогла она научиться читать? До сих пор не могу понять! Ведь дома ей даже поддержать не дадут книгу!..

Он выпрямился и продолжал: — Смотреть и слушать, как она, маленький человек, читает, великое — для меня наслаждение, Садыкджан-ука! Сам я никак не научусь читать или писать. Рука, Садыкджан, если она привыкла к кетменю, оказывается, плохо держит перо или книгу. А слушать, брат, я люблю!

— Говорить — тоже, — добавила Зорахан и рассмеялась. — Розги муллы Савутахана ничему не смогли его научить.

— Укоры жены куда большее плеток муллы! — пошутил Масим. — И курить заставила бросить, а живительной влаги я не видел целую вечность... Хоть бы в честь гостей, что ли, поднесла, жена, по маленькой.

— Целую вечность не видел, а у самого в голове бродит хмель, — отозвалась Зорахан, еще во дворе заметившая, что муж приехал навселе.

— Нет, родная, это не хмель. Мы выпили по глотку той влаги, которую нам русские братья достали из-под седьмого пласта земли!

Вошла Захида и протянула Садыку журнал в бледно-розовой обложке.

— Почтайте нам, пожалуйста, сами, — попросил юноша.

— Я плохо читаю, — смущилась девушка.

Садык взял журнал. Его внимание привлек очерк о крестьянских объединениях, созданных самими крестьянами. Садык неожиданно для себя увлекся чтением очерка вслух. Закончив читать, он заметил пристальный взгляд Захиды и почувствовал, что краснеет. Он невольно

глянул на девушку, глаза их встретились. До сих пор Садык знал Захиду задумчивой и грустной. Сейчас же он увидел другую Захиду, с удивительно живыми глазами. Садык подумал, что мир был бы совсем другим, более интересным, если бы люди больше улыбались друг другу. Захида была оживлена, ей не сиделось на месте, она хлопотала на кухне вместе с Зорахан. Точеное, с тонким носом, с красиво очерченным подбородком и яркими, чуть припухшими губами лицо ее озарялось тихим и спокойным светом глаз.

Есть люди, при встрече с которыми запечатлеваются в вашей памяти одни глаза их. Как волшебное зеркальце они отражают душу человека. Именно такими были глаза Захиды. Может быть, не все запомнит Садык, о чем она говорила в этот вечер, он может забыть звук ее голоса, но на всю жизнь в памяти его останется взгляд ее чистых счастливых глаз.

Садык заговорил с Захидой, но на его вопросы отвечали или дядя Масим, или тетя Зорахан.

— У Захиды, должно быть, много книг?

— Порядочно, — ответил Масим. — Не меньше, думаю, ста. Правда, дочка?

— Не знаю, дядя. Я не считала.

— Тогда попроси Садыка, чтобы он научил тебя, как вести учет своему товару. Это по его части.

Садык, слушая Масима, покраснел.

— Вы все смеетесь надо мной, Масим-ака?

На прошлой неделе, подсчитывая стоимость сданных Масиму товаров, Садык ошибся на четыре юаня, и теперь ему показалось, что хитро улыбающийся Масим намекает именно на тот случай. Но Масим уже не помнил об этом. Сказав, что им необходимо управиться с хозяйством, пока светло, он вышел вместе с Зорахан на двор.

Книги свои Захида хранила в небольшой нише на кухне у Зорахан. То были в основном сборники стихов и переводы книг русских писателей. Книги большого формата и журналы занимали середину ниши, а по обеим сторонам лесенкой располагались книжицы меньшего формата. Перед каждой стопкой, закрывая корешки, стояло по одной книге в самом изящном переплете.

Захида соблюдала опрятность и чистоту во всем. Зем-

ляной пол комнаты, очаг, который здесь уже давно не топился, и даже порог были гладко смазаны глиной. Этот с детства знакомый запах сухой глины сразу же почувял Садык, когда вошел в комнату. На глинобитном возвышении, суфе, было расстелено одеяло из разноцветных лоскутьев, из-под одеяла виднелась циновка, сплетенная из чия. Вся нехитрая мебель в комнате состояла из табурета и складного стула с кожаным, глубоко продавленным сиденьем. В середине комнаты висела детская люлька.

На одной из стен комнаты были наклеены разноцветные рисунки, вырезанные из журналов. На другой стене висел портрет женщины в рамке за стеклом.

— Это моя мама! — пояснила Захида, видя, что взгляд Садыка скользнул по портрету. Глубокая тоска разлуки плеснулась в глазах девушки.

Садык внимательно посмотрел на портрет. Лицо в морщинах, блестящий взгляд запавших глаз, полных ласки, неподвижные губы.

— Бедная мама! — произнесла Захида.

В глазах девушки Садык увидел мольбу. Он схватил маленькие руки Захиды и, задыхаясь от волнения, прижал их к своему сердцу.

Захида боялась шелохнуться. Это было неожиданно для нее, хотя она с нетерпением ждала такого жеста.

Эта минута сблизила Садыка и Захиду, как людей, переживших вместе общее горе.

Стоя у окна, они вытирали слезы и, будто встретившись после долгой разлуки, хотели сказать о многом, но не знали, с чего начать.

— Я не помню отца, — сказал Садык, — а мать — помню. Только очень смутно, как во сне... Вот смотрю сейчас на вашу маму, и мне кажется, что вижу свою. «Мама!» Знаете, Захида, я всегда тосковал об этом слове. Когда другие дети говорили «мама», мне хотелось плакать. Я знал: мне никогда не придется произнести это слово.

— И мне то же самое кажется, когда я ухожу из этого дома. Так и чудится, что мама здесь скучает обо мне, плачет. Хотела портрет ее взять домой, но мама не разрешает: «Не пристало, говорит, нам, правоверным, портреты на стену вешать. Душу покойной матери не возмущай». Не понимаю, что тут грешного. Ведь это память о самом дорогом человеке!

— Самое лучшее — это не расставаться с дорогим человеком, — сказал Садык, не думая о том, как можно истолковать его слова.

— Знаете, Садык, мне кажется, что вы и теперь уйдете от меня, как тогда. Завернете за угол, и я вас больше не увижу.

— Теперь каждый день я буду приходить к вашим воротам...

— Вы можете заходить к нам в гости. Папа вас помнит и очень вам благодарен. Только если вы придете с книгой, то будьте осторожны, лучше, чтобы родители не видели книгу. — Помолчав, девушка с огорчением призналась: — Вот только мачеха не очень хорошо относится к активистам. Как только не бранится, когда о них говорит. Я и спросить боюсь, почему она к ним так плохо относится.

— Мы будем встречаться так, чтобы они не видели.

— Да... У нас в саду в одном месте свалился забор. Папа там новый плетень поставил, но пройти можно. Только смотрите — в плетне колючки!

Садык рассмеялся и, видя, что девушка смутилась, снова взял ее руку.

— Только бы вы смогли из дому выйти, я-то пройду!

— Каждую пятницу я остаюсь одна, — сказала Захида, — после молитвы в большой мечети папа с мамой гостят у Зордунбая. Иногда они мне приносят плов: «Поешь, дочка. Этой священной еды касались руки почтенных мулл». А я не ем, отдаю голубям... Знаете, однажды у нас был мулла, и у него руки были в волдырях от чесотки. С тех пор я не могу смотреть на «священную еду, которой касались руки почтенных мулл».

В словах, в движениях Захиды было много детского, непосредственного. Садык с умилением слушал ее.

— С того дня я только о вас и думаю, — призналась Захида.

— И я тоже.

Вошел Маспм-ака.

— Ну как, Садыкджан, интересные книги у Захиды? — спросил он. — Я-то в них не разбираюсь. Для меня самая хорошая книга — новая. Теперь вы нам привозите побольше хороших книг. Захида заберется вот сюда, в люльку, и будет себе читать.

— Я вас просила, дядя, убрать эту люльку.

— Я ее не буду снимать, дочка. Знаешь, я недавно смотрел кино. Там девушки качались в люльках из сетки и читали. Честное слово, это умилительно! Скоро и тетя твоя станет грамотной, и я для нее сделаю люльку.

Они засмеялись.

## VI

Напрасно просили Масим и Зорахан оставить Захиду еще на несколько дней — Сопахун увез ее в Турфан.

— Пожила неделю, дочка, и хватит. Ты уж не маленькая. Не пристало такой девушке, как ты, жить где попало, — поучал отец.

На этот раз Захида прпехала в Турфан со светлым настроением. Садык, встречи с ним, его слова, ее чувства — все это вселяло надежду.

Люди часто считают, что судьба их в их собственных руках, в то время как судьба эта поставлена уже на карту и другие думают о ней больше, чем тот, кому она принадлежит.

Именно так и случилось с Захидой. Все было решено за нее другими и, по обычаю, без ее участия. Приготовления к свадьбе были окончены, и теперь Зордунбай ждал отъезда Сопахуна в Кашгар. Захиде никто не говорил ни слова. Только Сопахун однажды осторожно намекнул, что намерен совершить хадж. «Посетить Каабу мне не суждено, — сказал он. — Дай бог дойти до мазара Аппака-ходжи. Но прежде я должен исполнить свой отцовский долг...»

Захида не поняла. «Значит, отец едет в Кашгар, — рассуждала она — это, понятно, воля бога. Я это время, наверно, буду жить у дяди. Но что значит «отцовский долг»? Неужели бедный папа влез в долги?»

Сопахун был обеспокоен теперь только тем, как бы поскорее исполнить свой долг перед богом, а Зордунбай и другие ахуны теперь старались как можно быстрее образумить Шакира, который в последнее время совсем отбил от рук.

У Зордунбая волосы встали дыбом, когда он услышал от жены, болезненной и хилой старухи Гулямхан, что Шакир не хочет жениться. Зордунбай готов был избить бедную старуху за такое известие. С Шакиром он пока воздержался говорить. К тому же Шакир совсем не стал являться



домой. Зордунбая беспокоило своевольное сына. Он думало том, как сломить упрямство Шакира. Узнав, где он ночует, с кем из девушек водится, Зордунбай решил прибрать сына к рукам. Для этого он намеревался использовать Нодара. Зордунбай слышал о том, что Нодар и Шакир любят одну женщину, которая отдает предпочтение Шакиру. Но Нодар не теряет надежды жениться на этой женщине, как только у него будут деньги.

Переговорив обо всем за чайником зеленого чая, Зордунбай высказал свое окончательное решение:

— Рубленный дом в центре города твой, Нодар-ука.

— Из-за чего затеяли драку? — спросил Шакира следователь.

Шакир поднял голову, посмотрел на следователя и вместо ответа спросил:

— А нельзя ли узнать, что это за человек? — оп кивнул в сторону молодого китайца, сидящего справа от стола.

— Из политотдела, — спокойно ответил следователь.

— Значит, вас интересуют и мои политические убеждения?

— Какие у вас могут быть политические убеждения? Ваши убеждения — мордобой... Мы хотим знать, что вас связывает с этим подонком Нодаром.

— Хорошо, я расскажу вам. Но у вас будет еще возможность узнать, есть ли у меня убеждения. Для начала я вам скажу, что я не признаю законов. Мне наплевать на них! Закон — это тиски. — Шакир говорил презрительно, как о чем-то бесконечно низменном. Он прикурил, помолчал и наконец принялся рассказывать: — Нодар-ака слывет у нас сорвиголовой. Он меня научил в драке не жалеть кулаков. Научил пить, играть. Немало отцовских денег я потратил вместе с ним. Да что деньги — прах! Миллион никогда не добудешь честным трудом. Поэтому нечего жалеть миллионера, и отца я не жалел. Но все же отец есть отец!

Следователь посмотрел на молодого китайца. Тот сделал знак не мешать рассказу, хотя и не понимал по-уйгурски, надеясь на перевод потом. Он с любопытством следил за каждым жестом и выражением лица Шакира.

— Отец хочет меня женить на одной молодой девушке-

ке,— продолжал Шакир.— Но я хочу жениться на другой. Она сирота, никого у нее нет. Отец об этом не знает. Я хотел жениться по своему выбору, взяться за ум, но тут вмешался Нодар-ука... Однажды он мне сказал, что та, на которой я хотел жениться, бывает не только со мной. Я ему не поверил.

Нодар пригласил меня к одной старухе, ее дом мне был известен. Когда-то я дал этой бабе-яге сто пятьдесят юаней вместо пятнадцати и взял с нее слово, чтобы она оставила в покое мою девушку...

Когда я вошел в дом старухи, Нодар сидел с Марпуой. А ведь мы с ней договорились никогда больше в этом доме не встречаться! Увидев меня, Марпуа растерялась, слезы выговорила слова приветствия и встала, чтобы уйти. Нодар схватил ее и силой потащил в другую комнату. Старуха забеспокоилась и умоляюще посмотрела на меня. Нодар-ука с девушкой скрылся за дверью. Старуха что-то проворчала и села на теплый кац<sup>1</sup>. Подумав, она хитро улыбулась и сказала: «У молодницы хороши капризы, а у девушки — слезы, сынок».

Я дрожал от гнева. Я услышал крик Марпуи, подбежал и изо всей силы толкнул дверь. Она распахнулась. В комнате было темно, и я ничего не увидел. Раздался самодовольный смех Нодара. Смех придавил меня, как мельничный жернов. Я выскочил на улицу.

Нодар вышел за мной и положил руку мне на плечо. «Что, тебе жалко эту потаскуху?» — сказал он. Не успел Нодар договорить, как я повалил его и начал душиТЬ. Вот тогда нас схватили и привели сюда.

Шакир замолчал.

В продолжение всего рассказа следовательно с любопытством смотрел на этого стройного молодого человека с прямым носом, с большими красивыми глазами. Шакир был хорошо одет. Вышитая по вороту и рукавам рубашка, витой шелковый пояс оливкового цвета с кистями, вельветовые брюки, хромовые сапоги — все это шло ему и говорило о его хорошем вкусе.

Следователь и молчаливый китаец долго говорили между собой по-китайски. Слушая непонятный разговор, Шакир чувствовал себя вещью, о цене которой никак не могут сговориться. Он поднялся.

<sup>1</sup> Кац — дымоход, проведенный по полу.

— Ну что дальше? Выпишите свое решение. Я вам не обезьяна в клетке!

— Можете идти,— сказал следователь и опять повернулся к китайцу.

Шакир был в недоумении.

— Можно идти? Почему?

— Мы судим только преступников, а вы всего лишь бедняга, попавший под влияние Нодара.

Это была для Шакира горькая правда. Он стоял как вкопанный, не зная, что делать, потом сказал:

— Умный вы человек, я вижу. Однако не торопитесь называть меня беднягой. Я не боюсь Нодара.

— Значит, вам нравится такая беспшабашная жпзнь?

— А что делать? Не такое сейчас время, чтобы с дубиной в руках города брать.

— А что толку от вашего пьянства и драк? Не лучше ли взяться за какое-нибудь дело, Шакирджан? — следователь встал из-за стола. — До свиданья. У Нодара есть и другие преступления. Если вы нам понадобитесь в ходе следствия, мы вас вызовем.

— Я думаю, что к его делам впредь я не буду иметь никакого отношения,— ответил Шакир и вышел.

Когда вечером Шакир вернулся домой, отец не ответил на приветствие сына.

Больная Гулямхан рассказала сыну о решении отца женить его, обнимала и плакала.

— Отец ругает тебя, сынок. «Нет, говорит, у меня сына, если он не считается с желанием отца». Проклятие отца — это самое страшное, сынок! И мне из-за этого совсем нет покоя. Каждый божий день слышу только одни оскорбления. Если умру я в эти дни, то и в могиле не смогу лежать спокойно. Если ты жалеешь меня, послушайся отца! Ведь и после женитьбы ты будешь свободен, никто тебе не будет мешать веселиться. Неужели поссорить нас с отцом перед моей смертью, сынок!

Шакир любил мать. Он знал, что совсем убьет ее, если не даст согласия жениться. И Шакир пожалел мать.

— Пусть он делает так, как ему хочется! — сказал он.

В это же именно время Садык и Захида сидели под тенью старой яблони, сквозь листья которой пробивался свет луны. В голосе Садыка чувствовалась неясная тревога, которая передавалась и девушке. Сегодня утром в районном комитете молодежи ему сообщили о том, что его по-

сылают учиться в Урумчи. Садык обрадовался, но тут же подумал о Захиде, о предстоящей разлуке. Целый день он ждал встречи с любимой. Как-то она сказала: «Вы как свободная птица! Летите куда хотите. А я вынуждена сидеть в четырех стенах. Мне кажется иногда, что я для того и рождена, чтобы вечно жить в одиночестве». И сейчас на скамейке под яблоней, держа в своих руках руку Захиды, он вспомнил ее слова.

— Захида,— сказал он, не в силах больше молчать.— Я должен ехать в Урумчи учиться. Мне грустно, Захида.

— Я ждала этого,— сказала Захида спокойно.— И я рада за вас.

Садык с удивлением глянул на девушку. Лицо ее светилось улыбкой, хотя в глазах была тоска и грусть.

Садык обнял Захиду, коснулся губами ее горячих щек. Она вдруг обвила его шею своими трепетными руками и, казалось, этим движением хотела сказать, что всей душой она предана ему и дает клятву всегда любить его. Садык целовал девушку, и она не сопротивлялась.

Когда они вышли из темноты, Захида поправила волосы и помятое платье. Теперь они стыдились друг друга, будто совершили преступление.

— Захида, любимая,— шептал Садык.— У меня есть друг, Абдугаит. Он все знает о нас. Когда я уеду, он будет вам сообщать все новости обо мне. И письма будете получать через него. И сам я, как только будет возможность, буду приезжать. Верьте мне.

— Я буду вас ждать до конца вашей учебы. А друзья пусть ко мне не ходят.— Она обняла Садыка, поцеловала его и поспешила домой.

Садык долго смотрел ей вслед, продолжая стоять и тогда, когда фигурка девушки растаяла в темноте.

## VII

Садык, наскоро простившись с Саидом-акой, ехал в Урумчи, а на свадьбу Захиды уже собирались гости. Нурхап-ача привела четырех расторопных молодых, которые должны были наряжать невесту.

Захида была так потрясена неожиданно свалившейся на нее бедой, что не могла даже плакать. Она равнодушно смотрела на серьги и бусы, которыми украшали ее говорливые женщины, и чувствовала себя овцой, окруженной

мяспкками. Она ни о чем не думала. В первое мгновение, узнав о свадьбе, Захида вспомнила о той молодой невесте, которая была задавлена глинобитной стеной развалил на следующий день после свадьбы. И теперь ей казалось, что ее наряжают, чтобы подготовить к смерти. Захида не боялась смерти, ею овладело безразличие ко всему. Она понимала свое бессилие, невозможность избежать предстоящего. Так пожелал отец, и она выполняет его волю, как выполняли ее все дочери и сто, и тысячу лет тому назад...

На свадьбе Захида молча сидела в своем углу и думала о том, что очень скоро она встретится с матерью на том свете, будет ей помогать стряпать, и они избавятся навсегда от земных мук.

Жены мулл и пмамов, которые пришли послушать, по обычаю, причитания невесты, недоумевали, почему Захида, укрывшись шалью с головой, сидит и молчит. «Если невеста не плачет, значит, она рада-радешенька, что уходит от родителей», — судачили они. Солахун не придавал этим разговорам значения, но Нурхап-ача не выдержала. Она подошла к Захиде и зашептала ей на ухо: «Бесстыдница, поплачь хоть для вида! Какой срам!» Захида вздрогнула, будто кто-то разбудил ее, но плакать не стала и опять погрузилась в свои думы.

«Умереть я не боюсь. А как же Садыкджап? А наши мечты? Что он может подумать обо мне? Как он все это перенесет? Я погибла! Садыкджан... Садыкджан...»

В просторную комнату, где благодристойные старцы — аксакалы — только что поели свадебный плов, вошли музыканты. Они разместились около порога и стали настраивать свои инструменты. Смуглолицей молодой джигит в фетровом малахас набекрень, щелкая о звонкий бубен, начал с газелей Шамашраба. Газели были антирелигиозного содержания, и некоторые муллы заелозили на своих местах. Наклонившись друг к другу, они шептались и поглаживали свои священные бороды, как бы ограждаясь от богохульных газелей. Но через несколько куплетов ритм бубна резко изменился, и все музыканты одновременно перешли на бодрый «Доланский сакам».

Присутствующие оживились, стали подбадривать музыкантов восклицаниями.

Один из стариков вышел в круг. Оркестранты заиграли старинный танец «Хукмет». Несмотря на преклонный возраст, старик оказался подвижным, легким, жесты его бы-

ли изящны. С удивительной ловкостью он выделявал различные акробатические штуки, стаповился на четвереньки, переворачивался на спину, в такт бубна касался пола то коленом, то локтем. Молодые женщины, украдкой наблюдавшие танец в окно, громко захолопали, забыв, что смотрят тайком. Несколько белобородых с возмущением обернулись на женщин. Музыканты сыграли еще и удалились.

В доме остались почетные аксакалы. У них не было друг от друга секретов, и от веселой шутки они могли перейти к серьезной беседе.

— Эта новая власть, говорят, запретит теперь такие свадьбы, и правоверные будут жениться без вещания. Огради нас, аллах, от неслыханного кощунства!

— Что свадьба! Теперь и есть в своем доме запретят. Все будет общее.

— А как же пашет мечети? Что с пей-то будет?

— Разве вам, Шавкат-ахун, не известно, что уже теперь вместо пятикратного намаза в мечети мы с вами совершаем один? А что будет дальше, знает только аллах!

— Надобно бояться гнева аллаха! — воскликнул имам Ильяс. — Хазрет Али даже во время битвы не нарушил намаза. Мы, правоверные мусульмане, преданные великому пророку Мухаммеду, не должны поддаваться безбожникам и склонять головы перед ними. Мы должны защищать свою веру и свои обычаи. Муфтий из Кашгарского медресе сказал, что если мусульманин не в состоянии совершить хадж, то он может стать ходжой и в том случае, если посетит священный мазар Аппака-ходжи. Торжество веры незыблемо во все времена! Только нужно защищать веру от неверных.

Кто-то уважительно поддержал имама Ильяса:

— Я думаю, особенно важно теперь оградить молодежь от пагубного влияния новых порядков.

— Вот именно! Вы совершенно правы.

В жепской комнате совершался обряд показывания приданого и подарков невесте. Каждая женщина по-своему оценивала подарки жениха. Одни подарки расхваливали, говорили, что перед ними не устоит и дочь шаха. Желы торговых конкурентов Зордунбая состязались в насмешках. Они уязвляли некоторые из подарков. «Какой стыд, — шептали они. — Это же платье Хадиччи-ханум. Зна-

чит, они выпросили его только на время свадьбы. А вот этот камзол тоже ее!» Они из кожи лезли, чтобы осрамить Зордунбая.

Наконец эта свадебная церемония была окончена.

— Возьмите, пожалуйста, свой дутар, тетя Сепням. Сыграйте нам что-нибудь,— попросила женщина с выражением скуки на лице.

Сепням взяла дутар и спросила:

— Спеть вам или будете танцевать?

— Спойте, пожалуйста, новую песню!

— Подите прочь с вашей новой песней! Идите на улицу и пойте ваши новые песни своим активистам! — одернула ее одна из айим<sup>1</sup>, которая, окутав голову белым платком, сидела как мумия.

— Уважаемая тетюшка, вы шестьдесят лет смотрели на белый свет только через тузлик. Вам мало этого? Хоть теперь повеселитесь,— сказала Сепням, видя, что молодая женщина растерялась.

Другая пожилая женщина решила поддержать айим:

— Еще посмотрим, что принесут вам новые песни. Даст вам бог кетмень вместо дутара и отруби вместо хлеба!

— «Проклинала собака своих блох!» Играйте, Сепням, не слушайте их! — послышался дерзкий голос молодой женщины.

В комнате поднялся шум. Однако, когда Сепням заиграла на дутаре, все стихли. Она запела веселую песню. Соседка Сепням, молодая женщина, встала и, прежде чем пойти танцевать, поклонилась всем сидящим. Пожилые женщины с отвращением отвернулись и стали громко переговариваться между собой. Потом они поднялись, расковырявая по карманам сушеные абрикосы, изюм и другие сладости, которые успели прихватить, когда собирали дастархан<sup>2</sup>. Поблагодарив хозяев, поспешили оставить неблагодаристойных девиц.

Послышался голос Зордунбая, провожавшего аксакалов.

— Как говорится, по одежке протягивай ножки, дорогие гости. Не осудите нас, если что было не так.

<sup>1</sup> Айим — почтенная женщина, жена духовного лица.

<sup>2</sup> Дастархан — скатерть, накрытый стол.

— И на том большое спасибо вам, Зордунбай. Исполни бог все ваши желания. Дай бог счастливой жизни вашим детям и много внучат вам! Аминь-аллаху-акбар!

В одной из комнат веселилась молодежь — в основном сыновья торговцев, мулл, имамов и муэдзинов. Был здесь и жених — Шакир. Он держал кувшин с джуном, молча пил и слушал песни. Но скоро ему наскучило все.

Ничто не развлекало Шакира. И джун не избавлял от тяжкой думы о Марпуге и об этой несчастной девушке, его невесте. Шакиру казалось, что гости собрались для того, чтобы насильно завязать ему глаза, поставить на краю пропасти и смотреть, что будет дальше. Он знал крутой и жесткий нрав отца, но не предполагал, что так ошеломляюще быстро свершится все задуманное Зордунбаем.

— Друзья! — воскликнул он. — Если есть среди вас святоша, который не пьет, он может убираться, пока цел! Я виноват сегодня. Из-за меня двое безвинных плачут кровью. Я хочу джуном залить свое горе. — Он снова палил себе и своим друзьям — музыкантам.

Один из джигитов сказал:

— Друг, ты сегодня — настоящий султан Джамджима! Знаете, что говорил этот щедрый султан? Он говорил: «Есть у меня пять тысяч беркутов и десять тысяч соколов». Не знаете, так слушайте. Его соколы так обучены, что пригоняли гусей стаями и сбивали их под такт музыке там, где веселился султан во время прогулки. В одну из таких прогулок он остановил своего знаменитого музыканта Абдугаита и сказал: «Абдугаит! Скоро будет конец света, и тогда соединятся все страдающие в любви. Будет свадьба Вамука и Хузры, Лейли и Меджлуна, Фархада и Шириц, Гериба и Сапам, Тахира и Зухры. Вот тогда я крикну: «Абдугаит!» Ты мне ответь: «Слушаю!» — «Играй», — скажу я. Тогда ты играй вот эту мелодию!» Вот как он сказал!

— И для меня сегодня уже настал конец света, друзья! — воскликнул Шакир. — Поэтому пейте, веселитесь! — Он еще палил себе джуна и разом выпил.

Зордунбай вошел в компату джигитов. Шакир дремал, обхватив руками кувшин с джуном. Зордунбай с отвращением посмотрел на него и с напускной вежливостью обратился к сидящим:



— Спасибо вам, дети мои! Говорят, кто сумел, тот устроил пир горой, а кто не сумел, положил на стол головку луку. Не осудите своего друга Шакира, если он вас не так припаял.

— Спасибо, Зордубай-ака! Не беспокойтесь, мы погуляли на славу,— заговорили в один голос и стали подниматься джигиты.

Услышав голос отца, Шакир открыл глаза. Он хотел проводить гостей, но Зордубай строго осадил его взглядом.

Свадьба кончилась, хотя и не все обычаи были соблюдены,— не был совершен обряд венчания. Впнюю тому был жених. Но один мулла не станет венчать пьяного жениха.

Никто не подозревал, что Шакир напился умышленно.

Зордубаю оставалось утешать себя тем, что, как ни противился Шакир в последние дни, как ни пытался держаться, по из сыновнего повиновения не вышел и подчинился воле отца.

Шакир вошел в отведенную для молодых комнату и запер дверь на крючок. В дальнем углу слабо горела копилка. В комнате было так тихо, будто все здесь притаилось в ожидании грома. Шакир услышал всхлипывания в темном углу. Невеста плакала. Шакир подошел к девушке, сдернул с ее головы платок. Он знал, что, по обычаю, жених должен был поступить именно так. После этого невеста должна снять с него сапоги. Даже в темноте Шакир ясно увидел, как расширились и сверкнули испуганные глаза девушки, а губы задрожали.

Шакир вспомнил, как несколько дней тому назад он пришел к Марпуе. Он вошел во двор и услышал писк птенцов. Шакир поднял голову и увидел ласточкино гнездо. Из которого высунулись желторотые птенцы. По балке к гнезду с шипением ползала змея, высунув длинное жало. Не найдя ничего, чем можно было бы прибить змею, Шакир схватил ее за хвост, ударил о землю и стал топтать. Вышла Марпуа, но Шакир не видел ее, он в ярости топтал гадюку.

Шакир смотрел на свою невесту и думал о птенцах и змее. Шакир оглянулся, сжал сильные руки в кулаки.

— Сестра! — позвал он тихо.

Захида посмотрела на Шакира, не веря своим ушам.

Девушке показалось, что Шакир плачет. Где-то в глубине ее души вместе со словом «сестра» зародилась надежда на спасение.

— Сестра! — Шакир приблизился к девушке и погладил ее голову. — Вы моя сестра! Я не змея... Не бойтесь, я вас не трону.

Захида припала к ногам Шакира и стала целовать его сапоги, руки и заплакала так, точно хотела выплакать все слезы, дарованные ей природой.

— Вот и все! — сказал Шакир, поднимая девушку. — Я могу стать вам братом, если хотите — отцом. Только не плачьте. А то я заплачу. И возненавижу всех... И самого себя... Бросьте мне сюда подушку и сами ложитесь где хотите. — Он снял сапоги и швырнул их прочь.

Будто очнувшись от кошмарного сна, Захида попыталась встать, чтобы прибрать сапоги, но не смогла. Она целый день просидела неподвижно, поджав под себя ноги, и они так отекли, что она едва лишь приподнялась на колени. Шакир понял это и встал, чтобы помочь ей.

— Я сама, — Захида смутилась, отстранила Шакира. Она с усилием поднялась, поставила сапоги к стене и снова вернулась в свой угол.

Зордунбай знал о том, как прошла брачная ночь. Забыв о приличии, он тайком пробрался к окну новобрачных и подслушал их разговор. Утром, когда постельные свахи подняли было шум, ужаснувшись при виде чистой простыни, старуха Гулямхан заставила их молчать за определенное вознаграждение. Зордунбай делал вид, что взаимоотношения молодых его не интересуют. Старуха Гулямхан считала своим долгом скрывать от мужа случившееся, наивно полагая, что только она одна знает обо всем. А между тем невведение для нее было тяжелее печальной действительности, о которой знал Зордунбай.

«Мир полон коварства и обмана! — думал Зордунбай. — Даже твоя жена хочет скрыть от тебя правду. Даже родной сын тебя обманывает. А что можно ждать от чужих! Мало вокруг меня скорпионов, так еще в доме они объявились! Этот мир — скопище гадов, которые так и поровят смертельно ужалить один другого. Если не хочешь быть проглоченным, так уничтожай врага сам!»

Эти свои мысли Зордунбай стал претворять в жизнь очень скоро. Он отправил старика Сопахуна в Кашгар. Он не сомневался в том, что дом его сватья Нурхан-ачи и его собственный дом будут одним домом, как только придет известие о смерти Сопахуна. Зордунбай только боялся Шакира, боялся Захиды и ее дяди — Масима. Шакир, вероятно, недолго пробудет братом своей жены, думал он: спелая груша не удержится на ветке. Рассуждая так, Зордунбай постепенно свел на нет и ту опасность, которая угрожала со стороны Масима. Что может противопоставить тонко продуманным действиям Зордунбая деревенский мужик? В самом худшем случае Зордунбай потеряет лавку — и только. Ему на всю жизнь хватит тех денег, которые он выручит скоро, сбыв часть своих товаров. К тому же хозяйство Сопахуна никуда от него не уйдет.

Известие о неожиданном замужестве Захиды потрясло Масима и Зорахан. Получилось так, что старик продал свою дочь и пошел умирать на могилу Аппака-ходжи. Однако Масим несколько успокоился, узнав, что Захида особенно не противилась этому браку. Он только хотел, чтобы Захида, как прежде, приезжала к нему в деревню. Когда Масим узнал, что Зордунбай не отпускает сноху, держит ее взаперти, он сообщил об этом местным властям. Зордунбаю сказали, что держать сноху в клетке не следует и пусть она, как и прежде, ездит в гости к своим родственникам.

Шакир решил уехать в деревню Масима. Зорахан и Масим обрадовались, приготовились к приему гостей, отвели им отдельную комнату и стали ждать. Однако «перо судьбы неумолимо». Вскоре они узнали, что их радость, длившаяся так недолго, обернулась несчастьем.

### VIII

Урумчи располагался в местности малопривлекательной, среди голых сопок. Почва здесь была бесплодной, каменистой и питалась только дождевой и талой водой. Редкие деревья — чахлый, как саксаул, карагач и преждевременный облысевший тополь — прижимались к глинобитным

домам с плоскими крышами, палками торчали за высокими дувалами. Над городом стояло пыльное марево с запахом шахты и каменного угля. Узкие кривые улицы и убогие дома окраины, сплошные дувалы и лавочки вдоль них соседствовали с современными зданиями, которые возвышались на центральной площади. В них размещались государственные учреждения. Особо выделялось здание народного театра, недавно выстроенное. В его архитектурном стиле удачно сочетались европейские колонны с узорной лепкой и цветные фрески среднеазиатских минаретов.

Садык с облегчением смотрел на этот храм культуры. Во всем остальном он был явно недоволен столицей. Садык представлял себе город в окружении живописной природы, какую показывают в кино. Он ожидал увидеть и здешних жителей совершенно иными, а они оказались почти такими же, как турфанцы. Здесь можно было встретить и дехкан, которые, подобно Масиму-аке из Караходжи, носили белые фетровые колпаки-малахан, широкие белые рубашки, сапоги с высокими голенищами, славившись простотой в обращении и громким, заразительным смехом. Но, в отличие от Турфана, здесь на улицах было гораздо больше женщин — и почти все они были без паранджи. Многие из них носили модные европейские костюмы и платья и обязательно кучарские тюбетейки, шитые узором из разноцветного бисера.

Садык чувствовал себя в столице полугородским-полудеревенским человеком. Первое время он описывал свои впечатления в стихах и посылал их в Турфан — Абдуганту. Но стихи оставались без ответа, а потом до Садыка дошел слух о том, что Захида вышла замуж и очень довольна своей семейной жизнью. Садык был ошеломлен. Он хотел написать самой Захиде, узнать, как же это могло случиться, но затем передумал, опасаясь, что своим письмом может навлечь беду, а от посредничества Абдуганта в свое время отказалась сама Захида. Ему оставалось похоронить в душе все, что было связано с Захидой... Садык надеялся, что этому будет способствовать новая жизнь в столице.

Сверх учебной программы Садык упорно изучал русский язык и литературу. Времени для воспоминаний о прошлом не оставалось. Однажды он вместе со своим товарищем с отделения общественных наук Момуном и девушкой Халиной зашел в урумчинский музей. Здесь хра-

нились многие древности, и Садык невольно вспомнил седой Турфан, село Караходжу, дядю Маспма, Захиду, и щемящее волнение овладело им... Таинственные рукописи под музейным стеклом вместе с воспоминанием о недавнем прошлом подняли в душе Садыка желание заняться их расшифровкой и толкованием, поведать о них большому миру.

В музее хранились подлинные сокровища. Здесь была «Искандернаме», книга об Александре Македонском, переведенная с древнегреческого на уйгурский язык в XIV веке поэтом Маулавлм Лутфи — автором знаменитой поэмы «Гул ва Нуруз», уйгурский вариант «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси. Вместе с переводными произведениями в музее хранились оригинальные рукописи знаменитых поэтов: дидактическая поэма «Хибатул Хаканк» — «Подарок истины» слепца Ахмета Югникий, который жил в конце XII и в начале XIII века, «Фархад и Шярия» Алишера Навои с пояснением, в котором говорилось, что этот экземпляр написан рукой самого Алишера в уйгурском городе Кучаре, а затем уже переписанные копии распространились в Хами и в Индии. Тут же хранились рукописи поэтов позднего средневековья: Хиркати «Мухабатнаме и Мехнаткам» — поэма о взаимной любви Соловья и Цветка, о посредничестве между ними Саба — эфира; произведения великого уйгурского поэта Низарии и знаменитая «Зупарнаме» — «Книга баталий» кашгарского поэта Моллы Шакира, в которой, в частности, описано восставле уйгуров в 1863 году против маньчжурских поработителей. На полях некоторых рукописей сохранилось множество рисунков буддийского содержания, нарисованных до распространения ислама в здешних местах.

— Вот это да! — воскликнул Момун, обращая внимание Садыка и Хашипы на пояснение одной из книг.

«Эта книга написана кашгарским поэтом Турди Гарипом в тысяча восемьсот сорок первом году. В ней мастерски сопоставляются тридцать два ремесла. Автор в пылких философских диалогах раскрывает сильные и слабые стороны каждого ремесла, а в конце книги, символически подчеркивая связь всех ремесел, отдает предпочтение ремеслу земледельца и каменщика — строителя».

— Это ведь очень современно! Почему бы не перепечатать такую вещь сейчас? — с восхищением проговорил Садык. — А вот, смотрите, какое сокровище лежит под стек-

лом — и никому оно не ведомо! Удивительно, какие ценности создавались людьми сотни лет тому назад!

Садык не знал еще историко-культурного наследия своего народа, которое знал почти весь образованный мир, и поэтому он так безудержно восхищался.

— Ничего в этом нет удивительного, сынки, — заметил пожилой человек в халате, вышедший из своей рабочей компании. — Большинство рукописей собрано за одну только поездку по стране. А сколько их еще хранит народ, сколько их зарыто в земле, в гробницах!.. Но здесь немало и таких книг, которые еще задолго до нас спасены добрыми людьми других стран. Должно быть, вы слышали о «Кудатку билиге»<sup>1</sup> Юсуфа Баласагунского и о «Диване Лугатитурк»<sup>2</sup> Махмуда Кашгарского?

Более хладнокровный Момуп с дружеской усмешкой, но и с удовлетворением наблюдал за Садыком, который с жадностью ловил объяснения старого книпхана — библиофила. Ханипа разделяла переживания Садыка, но, со свойственной для нее скрытностью, не показывала вида...

Когда друзья вышли из музея, Садык долго молчал, напряженно о чем-то думая.

Нередко молодые талантливые люди, которые не получили, в силу разных причин, образования, познакоившись вдруг с культурным или научным наследием, становятся словно слепыми, до того неожиданно озаряет их сознание это открытие. Притом одни молодые люди по возможности скорее стремятся восполнить недостаток знаний, а другие, те, которыми движет больше чувство, чем разум, переживают процесс усвоения культуры долго, ибо для них само переживание — удовольствие.

Так и Садык, когда учился, жадно впитывал знания, которые давались в Дарил фпнуве, двухгодичном Синьцзянском университете. С любовью и вниманием он слушал лекции Линь Юня, преподавателя всеобщей китайско-синьцзянской истории. Старый учепый Линь Юнь, по происхождению арджанзы — сын уйгурки и китайца, — был потомком тех уйгуров, которых еще двести лет тому назад переселили из Кашгарии в Пекин — прислуживать в императорских дворцах.

<sup>1</sup> Самый древний памятник тюркско-мусульманской литературы, написанный на уйгурском языке.

<sup>2</sup> Многотомный толковый словарь тюркских языков с обширными примерами уйгурского фольклора. Написан в XI веке.

Из уст Линь Юня Садык впервые услышал подробную историю красавицы Ипархан, о которой раньше он знал очень мало.

— Если бы в те годы уйгурская земля не была раздроблена на враждующие ханства и если бы отец Ипархан, влиятельный Аппак-ходжа, не надеясь на одну только религиозную силу ислама, объединил весь Восточный Туркестан, то императорские войска не смогли бы завоевать Синьцзян.— говорил Линь Юнь.— Народ свято чтит героев Уйгурстана, таких, как полководец Джашир и его луноликая невеста Ипархан. С мечом в руках она сражалась в одних рядах со своим возлюбленным. Под их предводительством кашгарцы показывали небывалую отвагу и стойкость на поле брани и не раз обращали в бегство неметные толпы врага...

Старый ученый рассказывал о подробностях трагической и славной судьбы Ипархан, хотя это и не входило в учебную программу. Слушая Линь Юня, впечатлительный Садык видел, как везут плененную Ипархан в Пекин, чтобы представить ее императору как драгоценный подарок из покоренной Кашгарии. Император был ослеплен красотой пленницы. Он выстроил для нее роскошный дворец, но гордая красавица не покорилась и отвергла любовь завоевателя. Император пригласил известного художника из Венеции и велел ему написать портрет Ипархан. Тот написал и увез свое творение в Италию. В Урумчи хранилась копия.

После лекций Линь Юня Садык уходил в музей и подолгу стоял перед портретом грациозной девушки в воинском чекмене, с полуобнаженным мечом в руке. Брови ее напоминали ласточкины крылья, мипдалевидные глаза были чуть приподняты к вискам...

Романтический облик девушки, ее судьба, ставшая легендой, мапили Садыка в глубь веков, и ему хотелось говорить и думать только стихами.

## IX

Прошло полтора года.

Под жарким небом Турфапа времена года не так резко отличались друг от друга, как в других краях. В городе ветер одинаково и летом и зимой приносил и развевал не-

сок, который оседал всюду ровным слоем, словно мучная пыль на мельнице.

В жизни города смена времен года имела такое же важное значение, как и в жизни дехкан.

Приход весны для дехкан — радостное событие. Одни впрягают в плуг лошадей и ослов, другие, победнее, — коров и выходят в поле. В садах разгребают хворост, под которым с осени упрятаны виноградные лозы, подвешивают их на специальные подпорки, сушат на солнце. А нарядные, в ярко-красных платьях, в вышитых бисером тюбетейках девушки и женщины придают весеннему кишлаку праздничный и веселый вид. Своими задушевными песнями они словно вдохновляют на труд своих мужей и братьев, которые идут за плугом или машут в поле тяжелым кетменем. Песни мягко льются над садами, полями, долинами.

Масим-ака с женой окончательно переселились из кишлака в поле. Их балаган одновременно был и конторой дехканской общины, и своего рода детсадом. Дети дехкан, работавших в поле, играли вокруг балагана. Весь день занятая ими, готовя им пищу, успокаивая плачущих, забавляя капризных, Зорахан не замечала, как текло время, Масим-ака тоже был занят работой: копал с дехканами канал, сеял.

Зордуббай только однажды разрешил Шакиру и Захиде съездить в гости к Масиму-аке и больше ни на шаг не выпускал их из дому. Он знал о тайне Шакира и Захиды и потому держал их в поле зрения.

— Завтра поеду в город, — сказал Масим-ака, ворочаясь в постели. Уже было далеко за полночь, но он не сомкнул глаз. — Поеду в город и привезу Захиду, хотя бы дней на пять-шесть.

— Я тоже соскучилась по Захиде, да и она, наверно, истосковалась. Вот уже целый год, как мы не виделись с ней, — сказала Зорахан.

— Нурхан-ача стала невыносимо злой... Прошлый раз даже толком не поговорила со мной!

— Вообще-то она глупая женщина и не от нее все зависит. Всем правит в их семье проклятый Зордуббай.

Для Шакира и Захиды единственным утешением в доме Зордуббая была мать Шакира Гулямхан. Простая и ласковая, Гулямхан была переполнена любовью к сыну и ненавистью к Зордуббаю, от которого она не раз защищала



сына, порой рискуя жизнью. Она выглядела намного старше своих пятидесяти лет: редкие волосы ее напоминали кукурузные космы; когда-то веселые, с огоньком, глаза теперь стали бесцветными, окруженными морщинами; высохшие губы ее дрожали как в лихорадке. Старая Гулямхан страдала какой-то тяжелой болезнью, которая медленно подтачивала ее силы. И потому здоровый Зордунбай, со щеками как свежие лепешки, вместе с пышнотелой Нурхан-ачой называли между собой бедную Гулямхан не иначе как «живой труп». Порой старуха слышала это, но делала вид, что не слышит, и уходила в комнату Захиды, которая с утра до вечера сидела там одна.

Позабыв о чести и совести, Нурхан-ача чувствовала себя полной хозяйкой в доме Зордунбая. Шакир видел это, но не знал, что делать. Он много думал о том, как бы выволочь свою забитую мать и Захиду из этого ада. В последнее время он оставил своих дружков, потерял интерес к азартной игре, покупал новые журналы, газеты, книги и приносил их Марпуе и Захиде. Иногда он оставался ночевать у Марпуи, но чаще, жалея мать, старался засветло приходиться домой.

— Захида, вы спите? — спросил как-то Шакир, сидя в углу комнаты и тихонько папгрявая на тамбуре. Время было позднее, за полночь.

— Нет.

— Я хочу отвезти вас к дяде. Если отец будет упорствовать, то я с Марпуой уеду из этого города. А может быть, нам всем вместе поехать в деревню к Масиму-аке? — Шакир закурил и, глубоко затянувшись, продолжал: — Марпуа не похожа на вас. Может быть, похожа, но чуть-чуть. Она круглая сирота. Некоторые попосят ее, но напрасно. Бог даст, сами узнаете, увидите, какая она... Нам всем надо любой ценой вырваться из этого ада.

— А как же тетя Гулямхан? — взволнованно спросила Захида.

Шакир вздохнул, снова зажег потухшую папиросу.

— Вот поэтому я не могу сейчас осуществить свой план. Мать подозревает о нашей с вами тайне. Она бы уехала с нами, только не может никак вырваться из лап моего отца-дракона.

— Я тоже не могу ее бросить здесь. Вы целыми днями не бываете дома. Она больная, мне ее жалко. Ее нельзя оставлять одну.

В комнате воцарилось молчание. Шакир снова взял тамбур и, словно отгоняя свои тяжелые думы, твердо ударил по струнам. Слушая мелодичные звуки, Захида долго не могла уснуть.

На другой день Шакир не пришел домой почевать.

Поздно ночью Гулямхан зашла к Захиде и увидела, что девушка сидит у светильника и плачет.

— Ну что теперь делать, дочка, — сказала, вздохнув, старуха. — Друзей своих встретил и загулял. Ну что теперь поделаешь? Не плачь, дочка...

Захида посмотрела на свекровь большими, полными слез глазами и едва заметно грустно улыбнулась. Девушка вытащила припрятанную под кошмой книгу и достала из нее фотокарточку своей матери. Гулямхан испугалась, но пересилила себя и стала с любопытством рассматривать фотокарточку. Старуха всего два или три раза за всю жизнь видела фотокарточки.

— Это моя мама, — шепотом сказала Захида. — А карточку принес мне Шакир-ака. Только не надо говорить об этом свекру.

— О боже! — проговорила старуха. — Как хорошо сделала твоя мать, что оставила на память свое изображение, хотя и грешно так делать... — Гулямхан помолчала. — А я-то думала, что ты плачешь оттого, что нет Шакира.

— Нет, тетя. Я не беспокоюсь за Шакира-аку, я знаю, куда он ходит. И вы тоже не беспокойтесь.

— Что, что ты говоришь, дочка? — оторвав взгляд от карточки, растерянно проговорила Гулямхан.

— Шакир-ака ходит к одной женщине. Он, наверно, очень любит ее, — проговорила Захида и, спохватившись, осознав, что говорит лишнее, сама испугалась.

Гулямхан не на шутку разволновалась. Она вспомнила слова Зордунбая. На прошлой неделе он проворчал как-то: «Ты слышишь, твой шалопай, оказывается, все еще ходит к своей шлюхе. И даже не собирается бросать ее. Всех вас я выкину на улицу, дармоеды. Хватит, пора знать меру!»

Сдерживая волнение, старуха спросила Захиду:

— Захида, доченька, вот уже больше года как ты пришла в наш дом. Хорошая я или плохая, но я мать и тебе, и Шакиру. Я подозреваю, что у вас с ним есть какая-то тайна. Почему вы скрываете от меня? Я потеряла покой. Ты называешь меня «тетей», а Шакира — «братом». Расскажи мне все, доченька!

Захида положила свою голову на плечо Гулямхан, поцеловала ее руки и рассказала ей о своей сокровенной тайне, об отношениях с Шакиром, о том, что с первой брачной ночи они друг для друга брат и сестра. Не скрывала Захида и того, что хочет уехать в деревню к дяде и что женщина, у которой бывает Шакир, тоже поедет с ними. Только ничего не сказала Захида о своей первой любви, о Садыке. Не потому, что не хотела признаваться, а потому, что едва она пыталась заговорить о нем, как сердце невольно сжималось и язык словно отнимался.

— Ой, боже, как я не догадывалась!.. — воскликнула Гулямхан. — Будь счастлива, дочь... Будьте счастливы вы, мои детки. А моя жизнь прошла в этом доме. Если бог изволит еще немного потерпеть, то здесь я и умру. Вы должны быть свободны, счастливы. Как я этого хочу!.. Только одного боюсь — проклятия Зордунбая! Проклятие отца для сына страшнее всего. Шакирджан никому ничего плохого не сделал. Сердце у него доброе, но оно полно горя. Пусть он женится на своей любимой. Наверное, и она страдает зря, а злые языки плетут о пей всякие пебылицы. Ведь и о Шакире говорят только плохое, а он хороший, добрый и честный.

— Для меня Шакир-ака дороже родного брата! Я знаю, что он никогда вас не оставит одну. Шакир-ака мог уже давно отвезти меня к дяде в деревню. Но я не хочу расставаться с вами, — сказала Захида, прижимая к груди карточку матери.

Гулямхан нежно и ласково гладила Захиду по голове и глядела на нее глазами, полными любви и благодарности...

Чуть заметно забрезжил рассвет. На другом конце города в одной из полутемных комнат сидел человек. Он курил и молчал. Рядом с ним лежала молодая женщина. Вот она приподняла голову и, освободив из-под одеяла полную руку, похожую на крупную живую рыбу, обняла сидящего джигита. Он посмотрел в грустные глаза женщины, наклонился и поцеловал ее.

— Шакир, — тихо сказала она. — Уж больше трех месяцев... Что будем делать?

— Не печалься. Я же сказал, что не оставлю тебя в любом случае.

— Знаешь, дорогой, от людей не скроешься. Что они скажут? Осуждать будут. Может, пойти к бабке, избавиться?

— Если что-нибудь сделаешь, меня больше никогда не увидишь,— ответил Шакир тихо, но решительно.— Скоро я заберу с собой в деревню тебя и мать,— продолжал он после небольшой паузы.— Ты знаешь, что наш мир укасен, каждый день в нем творятся безобразия, совершается преступление за преступлением. Я догадываюсь об одной страшной вещи. Мне кажется, что отца Захиды Сопахуна прикончили мой отец и Шавкат-мулла. Они послали Сопахуна в Кашгар на поклонение святым местам и там его убили. Теперь их допимает животный страх. Я уверен, что это их грязных рук дело, но у меня нет доказательств. А если бы они и были, что толку? Зордунбай все же мой отец, и я не смогу отправить его в тюрьму. А во-вторых, мне совсем не жалко Сопахуна, потому что он продал за деньги свою единственную дочь, как скотину. Если бы Захида попала в руки другого, то ей бы досталось... Вообще всякие смутные мысли не дают мне покоя...

В последнее время Зордунбай, жалуясь на нездоровье, все реже стал выходить из дому. Но зато он начал все чаще и чаще поговаривать о том, что причиной его болезни стал Шавкат-мулла. Почему виновником недуга стал вдруг Шавкат-мулла, близкие Зордунбая не могли понять и потому не придавали особого значения его жалобам. Только один Шакир не пропустил их мимо ушей и задумался, строя самые разные предположения.

Но труднее всего было Захиде. С одной стороны, Шавкат-мулла, приехав из Кашгара, неизменно часто рассказывал подробности о том, как умер ее отец Сопахун, как стал он теперь шейтом, как сразу же попал в рай. Его вазойливые рассказы действовали на девушку удручающе.

С другой стороны, Зордунбай стал все чаще и чаще приглашать ее к себе, просил ее выполнить какую-нибудь маленькую просьбу, погладить, растереть, например, сиппу, потому что сам он этого сделать не может, болен. Захида с отвращением прикасалась к Зордунбаю. Толстые, уродливые руки и ноги этого злого человека вызывали у девушки страх и отвращение.

Однажды Зордунбай послал Нурхан-ачу позвать Шавката-муллу и, оставшись в доме вдвоем с Захидой, позвал ее жалобно: «Иди сюда, потри мне спину, ужасно разламывается». Захида подошла к свекру, не замечая его вороваато заблестевших глаз, опустила на колени и, сдерживая брезгливость, приготовилась выполнять его просьбу. Но Зордунбай, вместо того чтобы лечь на живот, вдруг повернулся на бок, устался на грудь девушки. Захида растерялась. Зордунбай взял ее за локоть и заговорил как-то непонятно и страшно. Захида онемела от испуга. Зордунбай положил руку на талию девушки и попытался привстать. Его рука с растопыренными шевелящимися пальцами была похожа на черепаху, взобравшуюся на раскаленный камень. Рот его то открывался, то закрывался, казалось что его черное злое сердце лопнуло, и Зордунбаю не хватает воздуха. Тяжело дыша, он привлек девушку к себе, но она опомнилась и рванулась прочь...

В дверях она столкнулась с Нурхан-ачой. Та сверкнула глазами на Зордунбая, потом на выбежавшую из комнаты Захиду.

Глаза ее налились яростью.

Вечером Нурхан-ача слегка приоткрыла дверь в комнату Зордунбая и подслушала разговор с пришедшим неожиданно Шавкатом-муллой.

— Скажите, мулла, я вас ничем не обидел? Мне кажется, вы что-то замышляете против меня,— жалобно проговорил Зордунбай.

— Брат мой Зордун. Долг — тяжелая вещь. Долг, который человек не выплатил, точит его, как червь, как туберкулез, и рано или поздно сведет в могилу,— многозначительно ответил Шавкат-мулла.

Услышав о долге, Зордунбай преобразился:

— Разве я вам должен? В тот раз мы с вами ясно договорились: за то, что Сопахун остался в Капгаре и стал шейтом, вы получите еще один чапан. Вы его получили.

— Допустим. Я стал обладателем двух чапанов. А вы, Зордунбай, стали обладателем двух, а может быть, даже и трех жён да завладели еще одним двором и имуществом Сопахуна. Я же получил вдобавок к чапанам только горе и разорение. За опиум для Сопахуна, за его похороны я уже раздал больше десяти чапанов в знак милостыни, чтобы смыть грех, взятый на душу, и явиться перед богом непогрешимым. Какая в этом для меня выгода? И все из-за

вас, Зордунбай. Вот почему, чтобы рассчитаться перед богом и перед людьми, я вынужден приложить все свои силы, всю свою находчивость.

— Ну ладно, ладно, не надо сердиться, мулла. Лучше скажите, чего бы вы желали получить от меня, чтобы мы были в расчете? — заискивающе заговорил Зордунбай.

— Дорогой Зордун, говоря честно, лично мне не пужно никакого богатства. Мне нужны деньги, нужны эти противные бумажки только для того, чтобы смыть перед богом грех за Сопахуна. А чтобы смыть грех, потребуется немало противных бумажок...

— Ну, сколько, сколько нужно за кровь этого старого хрыча?! — ветерпеливо и раздраженно воскликнул Зордунбай.

— Раньше, если паломники умирали в Мекке или Медине, то никаких денег не требовалось. Теперь настали другие времена... К тому же Сопахун умер не по своему желанию, а по вашему. И это ваше желание было осуществлено нами, — мулла не без умысла говорил о себе во множественном числе.

— Ой, что вы говорите, мулла? Кто, кроме вас, может еще знать об этом? — испугался Зордунбай.

Шавкат-мулла, отметив его замешательство, продолжал:

— В этом вся соль, дорогой Зордун. У меня для вас есть только одно утешение: мой сообщник вас пока что не знает. Но мне от этого ничуть не легче. Он вымогатель! Он требует с меня столько денег, что скоро превратит меня в нищего!

Лицо Зордунбая налилось кровью. Он не знал, куда деваться. Ему ничего не оставалось делать, как достать пачку юаней и супуть ее в руки вымогателя. Что происходило в этот момент в душе муллы, понять было трудно, его восковое лицо совершенно ничего не выражало.

— Такой суммой я, конечно, заткну глотку этому педофилю, — сказал мулла, принимая деньги. — Но не знаю, надолго ли, дорогой Зордун.

Тем временем, немного освоившись и осознав свою оплошность, Зордунбай требовательно сказал:

— Надо навсегда заткнуть эту глотку! Подумайте над тем, как и его сделать «шеитом».

— Но ведь это не так просто, — усмехнулся Шавкат-мулла. — Он не такой глупый, как Сопахун.

В злорадной усмешке муллы выразилась уверенность в том, что он еще не раз воспользуется трусостью своего собрата.

## Х

Садык, Момун и Ханипа с увлечением посещали различные студенческие кружки. Сегодня они вновь собрались, чтобы продолжить разговор о развитии уйгурской национальной культуры.

Садык плохо знал китайский язык и потому не мог пользоваться многими источниками. Но за два года он перечитал немало древнеуйгурских книг и в споре с товарищами доказывал, что уйгуры с древнейших времен стремились к развитию самобытной культуры.

— Только в результате независимого развития мы можем сохранить наши национальные традиции, — говорил Садык.

— И потому, — добавил хорошо знающий китайский язык и часто цитирующий китайские источники Ризайдин, — мы должны защищать как зеницу ока свою национальную культуру, язык и письменность. А для этого нам необходимо избегать влияния чужой культуры, чужих обычаев! Правы те, кто требует абсолютной самостоятельности Синьцзяна! В противном случае все здесь перемешается...

— Ну и что страшного, если перемешается? — вступил в разговор Момун. — Обычай, вкусы! Разве уйгуры не любят китайские приправы — хаджу или пунтузу? Разве китайцы не едят манты? Что страшного будет в том, если мусульмане станут есть свинину, а христиане — конину? Вы что, хотите разделить человечество на роды и виды, как мир животных? Стихия рыбы — вода, верблюда — пустыня, джейрана — горы, соловья — сады. Я тоже, Садык, как и ты, знаю, что раньше уйгуры имели свое сильное независимое государство. Но знаю и о том, что если бы в эпоху капитализма и империализма Синьцзян не опирался бы на поддержку великих друзей, то враги немедленно разорвали бы его в клочья... А раз так, то вряд ли стоит бояться того, что наши национальные культуры будут развиваться в органическом единстве.

Момун посмотрел на Садыка. Тот в знак согласия кивнул головой. Момун заключил:

— Конечно, уйгуров притесняли при Миньской и Циньской династиях, но ведь и у китайского народа императоры высосали немало крови. Надо все это правильно понять, Ризайдин.

— В любом случае надо иметь чувство национальной гордости, — отозвался Ризайдин. — А вы, наоборот, ратуете за новую китайскую транскрипцию...

— Но договорились же наши руководители, что синьцзянские уйгуры примут алфавит, как у советских уйгуров. Что вам еще надо? — теряя обычное самообладание, продолжал Момул.

— Это временная тактическая уступка со стороны китайских великодержавных шовинистов. А на деле, вот увидите, они нам навяжут свою транскрипцию, и этим самым не дадут нам приобщиться к советским уйгурам и лишат нас общепринятой арабской графики, с которой связана наша тысячелетняя история и культура.

— А какая разница, к кому приобщаться, все мы строим коммунистическое общество?!

— Значит, по-вашему, нам теперь остается превратиться в игрушку в руках великодержавных шовинистов?

— Я, конечно, так не думаю. Я говорю о неизбежности и полезности влияния культур разных народов.

— Так говорили и говорят космополиты, жженштернационалисты.

— Но об обособлении нации говорят только националисты.

Спор накалялся. Хаппа обеспокоенно поднялась и направилась к двери.

— Ладно, друзья, хватит. Давайте прогуляемся по городу, где-нибудь отведаем анланфы, — предложил Садык, пытаясь прервать спор, грозящий перейти во взаимные оскорбления.

Ризайдин то краснел, то бледнел. Момул был обеспокоен. Когда Ризайдин, выходя из комнаты, сильно хлопнул дверью, он слегка улыбнулся вслед.

Садык был сторонником спокойного, объективного спора и поэтому недоумевал: «Почему они пытаются задеть, уязвить, оскорбить друг друга? Какая в этом польза?..» И он высказывал Момулу свое недовольство:

— Слушай, друг, если мы в споре не будем справедливы, если мы будем думать не об истине, а лишь о том, как бы позлить противника, уколоть его, то от этого пользы бу-



дет мало. По-моему, каждое замечание должно высказываться в доброжелательном тоне.

— Значит, по-твоему, каждое замечание надо подавать как деликатес, с улыбкой, на золоченом блюдечке? Но в споре это не всегда удается и не всегда полезно. Для здорового желудка иногда полезна горькая пилюля: переварит. Вот, например, чем резче, чем остроумнее мне возражают, тем больше я загораюсь. Не люблю мягкотелых. Каждый из нас должен чувствовать себя солдатом, стоящим в рядах боевой армии. Мы с тобой должны быть верны этой армии, ее наступательному боевому духу, не так ли?

— Конечно, — задумчиво согласился Садык.

Придя в общежитие, Садык вспомнил свое недавнее прошлое, вспомнил, как там, в Турфане, в кооперативе, он считался ученым человеком и пользовался уважением. Перед его глазами предстал весельчак и музыкант, совершенно неграмотный Абдугаит, которого Садык не раз поучал, читал ему наставления и вообще во многих отношениях считал себя выше друга и внутренне гордился этим. Сейчас Садыку было стыдно за себя прежнего, за свое высокомерие по отношению к землякам. Сейчас отношение Момуна к себе он невольно сравнивал со своим прежним отношением к Абдугаиту. Момуна не выпячивал свою персону, но всегда говорил с большой внутренней силой. Порой, слушая Момуна, Садык думал, что голова друга полна готовыми докладами, философскими сообщениями и трактатами.

«Конечно, умение Момуна отстаивать свои принципы не означает желания унижить других, — думал Садык. — А я? Я же пытался поставить себя выше неграмотного Абдугаита! И может быть, он, от природы неглупый парень, замечал мою слабость?! Если не замечал в то время, то сейчас, наверно, понял меня. Вот уже два года, как я не пишу писем ни ему, ни другим знакомым в Турфане. Интересно, как поживает сейчас старый Саид-ака?.. Как там добродушный Масим-ака и его приветливая жена?.. Как живут те добрые люди, которые открыли мне глаза на мир, дали первые наставления? Я попытался их позабыть, после того как потерял Захиду. А ведь ни один из них ничего плохого мне не сделал, они ничем не заслужили забвения. Я еще не способен правильно понимать жизнь и по-настоящему оценивать людей. Может быть, как говорит Момуна некоторым товарищам, я только себя умею защищать?..»

Поначалу среди обычного шума и споров, игр и гомопа студентов задумчивость и замкнутость Садыка не были особенно заметны. Но прошло немного времени, и друзья Садыка, особенно Ханипа — чувствительная и мечтательная девушка из Кумула, стали замечать иногда его странное поведение.

Девушкам нередко свойственно интуитивно чувствовать настроение и перемену в характере юношей. Такие девушки мысленно представляют блестящее будущее этого юноши и сами радуются картинам, которые рисует их воображение. Но девушки не любят, когда парни много говорят о своих мечтах и делах, потому что все их мечты и планы выглядят обычно бледнее тех картин, какие они сами нарисовали.

Может быть, оттого, что Садык и Момун очень мало говорили о себе, а также оттого, что они, в противовес Ризайдину, не пытались угодить ей, а держались скромно и естественно, Ханипа в последнее время все больше думала об этих юношах.

Ее подружки рассуждали иначе: «Садык и Момун все свободное время о чем-то рассуждают и спорят. Они не умеют беззаботно веселиться, не любят петь, не участвуют в забавных играх. А Садык даже танцевать не умеет и не хочет учиться, стесняется. Дружок же его Момун красив только тогда, когда говорит. А замолчит, так становится похож на пень, не знает, куда руки девать...»

Однажды, готовясь с Ханипой к последнему экзамену, Садык сказал:

— После учебы, куда бы меня ни направилц, я обязательно съезжу в Турфан. Бывает, что теленок, привязанный к колышку, оборвет веревку, но, сам того не замечая, вертится рядом, не отходит от колышка. Так и я не могу куда-нибудь уехать, не побывав в городе, к которому когда-то был так крепко привязан.

Ханипа медленно закрыла книгу, положила ее на колени.

— Разве можно соскучиться по своему городу? — спросила она, словно глядела прямо в сердце Садыка. — Я, например, когда вспоминаю Кумул, то скучаю не просто по городу, а по родителям, сестрам, слышу песни, которые там поют.

— Нельзя, конечно, скучать по городу вообще. Скучаешь по людям, по его жителям. Но у меня, как вы знае-

те, нет ни отца, ни матери, ни родственников. Может быть, поэтому для сироты близки сердцу все люди, — сказал Садык и смолк.

В саду появился радостный Ризайдин, размахивая бумагой, словно знаменем. На нем был стального цвета новый габардиновый костюм и красный галстук с драконами, которые будто подчеркивали его возбуждение.

— Слыхали: Пекин не согласился с нашими языковедами. А этот «философ» Момул вешает на нас ярлыки... Вот теперь ему приготовили, — Ризайдин развернул бумагу и протянул ее Хаппе.

Ханипа взяла листы и вопросительно посмотрела на Садыка: «Читать?»

— Что это, Ризайдин? Чем вы так сильно обрадованы? — спросила девушка.

— Прочтите — узнаете!

Это был фельетон, в котором резко критиковали Момуна и некоторых других молодых студентов за то, что в своих суждениях они высказывали ошибочные мысли о национальной культуре и национальных традициях, якобы охаживали памятники уйгурской культуры и не уважали нацию. В конце фельетона говорилось, что, мол, те, кто болтает о необходимости интернационального развития, подобны дрессированным обезьянам. Эти слова были подчеркнуты. Внизу стояла подпись «Литератор».

— Почему автор не поставил свое имя? — спросил Садык. — Значит, он не уверен, в своей правоте?

— По-моему, если автор скрывает свое имя, то ему стыдно за свои пакостные слова, — решительно проговорила Ханипа. — Я уверена, что ни один журнал, ни одна газета не напечатают его.

— Вам, Ханипа, следовало бы обратить внимание на смысл фельетона, — многозначительно сказал Ризайдин, забирая бумагу из рук Садыка.

— Я, например, не понял, что хочет сказать в этом фельетоне таинственный автор, — сказал Садык. — Вся эта писанина отвратительна и умышленно искажает мысли Момуна.

— Ха! Значит, надо фельетоны начинять медом! Момул называет нас буржуазными националистами. И мы должны ответить ему, кто такой он сам и под чью дудку пляшет.

— Надо было поговорить с самим Момуном,— сказала Ханипа.

— С этими демагогами и говорить нечего,— пробурчал Ризайдин и стал листать свои бумаги.

Садык и Ханипа переглянулись, встали и направились к общежитию. Фельетон испортил им настроение. Хотя они и знали, что вряд ли его напечатают, но тем не менее он мог попасть в другие руки, мог способствовать распространению нехороших слухов и рано или поздно причинить неприятности Момуну. Поэтому они решили предупредить товарища. Кроме того, думали Садык и Ханипа, Момун действительно был не всегда прав и о некоторых вопросах национального языка и литературы имел довольно поверхностное представление.

\* \* \*

Момун сидел за столом, щелкал на счетах и записывал цифры. Садык и Ханипа поздоровались с ним, тоже сели, заинтересовались, что за проценты высчитывает их товарищ.

— Готовлюсь к экзаменам, а заодно пишу статью об экономике,— ответил Момун и назвал несколько цифр, которые, по его мнению, наглядно показывали некоторые послереволюционные преобразования в Синьцзяне.

— Наверно, Ризайдин из-за этого и ополчился против тебя,— Садык думал, как завязать разговор о только что прочитанном фельетоне.

— Да, он никогда не симпатизировал мне. Пусть себе ополчается.

— На этот раз... он намерен биться с тобой не на жизнь, а на смерть.

— Состряпал какой-то пакостный пасквиль и говорит, что это принципиальный фельетон,— вставила Ханипа.

— Сейчас пасквили не в моде,— спокойно ответил Момун.

— Дело не в форме,— не понимая равнодушия друга, прервал Момуна Садык.— Можно назвать материал как угодно, но, как правильно выразился Ризайдин, главное — содержание.

— Ну, допустим, они пайдут приемлемую форму и название, их пасквиль напечатают — так иногда бывает,— но в таком случае на них и падет позор.

— Ведь не все в состоянии правильно понять, Момун,— сказала Ханипа.

— Но, товарищи, для нас прежде всего важно мнение понимающих...— Момун был явно доволен своей логикой.

— Мне кажется, именно в этом кроется твой недостаток, Момун,— сказал Садык, чувствуя, что настала минута для решительного разговора.— Нельзя мерить всех своей меркой. Допустим, что ты убежденный интернационалист, а Ризайдин и другие твои противники — неубежденные, подсознательные, певольные, что ли, националисты. По крайней мере, ты иногда так их рисуешь. Представь себе, они ловко использовали некоторые твои запальчивые рассуждения и изобразили тебя явным космополитом. Ей-богу, кое-что в фельетоне звучит убедительно.

— Значит, ты хочешь сказать, что я продаю интересы своего народа в угоду другим народам, так, что ли?

— Что ты!.. Я ж так не говорю,— растерялся Садык. Но затем с какой-то неожиданной обидой выпалил:— Но я должен сказать, что ты все же чересчур увлекаешься «большой политикой», отрываешься от почвы, на которой вырос, недостаточно выикаешь в настроения своего народа: не хочешь замечать перегибов этой «большой политики».

— А в чем конкретно выражается какой-нибудь перегиб?

Садык не был подготовлен к серьезному спору и примера привести не смог. Но зато внимательно слушавшая их Ханипа вступила в спор:

— Возьмем хотя бы вопрос о языке,— сказала девушка, и на ее смугловатом, как у индианки, лице между тонкими бровями появились морщинки, словно при скрывае-мой боли.— В последнее время в уйгурский язык искусственно вводится масса китайских слов,— продолжала она.— Почему мы должны называть уйгурские вещи по-китайски? Это правильно по отношению к предметам, которые пришли к нам из китайского обихода. Но какая надобность называть по-китайски наши вещи или те, которые пришли к нам от русских?

— Например? — спросил внимательно слушавший Момун.

— Например,— продолжала спокойно Ханипа.— Урумчи, Турфан, Кашгар, Кумул... Названия наших городов и многие этнографические, исторические... даже интерна-

циональные термины начали заменять насмешливыми придуманными китайскими.

— Она права,— Садык умоляюще посмотрел на Момуна.

— Но, Ханипа, раньше вы говорили, что только иероглифы объединяют в единое целое различные диалекты китайского языка.

— Речь идет не о словообразовательных свойствах иероглифной системы,— возбужденно заговорил Садык,— а о шовинистическом отношении терминологических и других комиссий к истории и культуре других народов... Такое отношение, по крайней мере, должно оскорблять наши национальные чувства!

— Ты цитируешь тот самый пасквиль? — спросил Момун.

Садык замолчал. Ханипе стало неловко за Садыка, но, переведя взгляд на Момуна, она с облегчением вздохнула. Момун правильно понял состояние товарища, он добродушно улыбался.

Момун встал с места и, засунув руки в карманы, прошелся по комнате.

— Я хочу спросить вас,— безжалостно продолжала Ханипа,— почему мы должны мириться с тем, что официальные китайские деятели так и стараются приписать себе многие исторические и современные достижения нашей литературы и искусства?

— И каризы Турфана, и «Тысяча комнат» Кучара<sup>1</sup>, все-все археологические находки, даже наши лауреаты международных фестивалей считаются китайцами!

— Сам Лу Синь, великий китайский писатель-демократ, назвал китайскую стену «великой проклятой стеной», — проговорил Садык. — Я не понимаю, почему мы должны ее восхвалять? И в то же время как, например, каризы Зайкаш<sup>2</sup> или Ак остьяп<sup>3</sup>. Каризы по своей протяженности не меньше пресловутой стены. Но разве можно сравнить значение колодцев, питающих водой людей и землю, с бессмысленной стеной? А сколько нужно искус-

---

<sup>1</sup> Знаменитый пещерный храм («Тысяча комнат») в горах Хап-Тепгри около города Кучара, с архитектурными и скульптурными украшениями, фресками, ценный памятник древней уйгурской культуры.

<sup>2</sup> З а й к а ш — система каналов для осушки болот в Кашгарии.

<sup>3</sup> А к о с т я п — знаменитый Илийский канал длиной 500 км.

ства, умения, трудовой отваги, чтобы создать каризы. Без всякой техники, с кетменем, корзиной и веревкой проложить многокилометровые подземные тоннели?

— Да-а,— Момун снова присел к столу. Друзья перешли его к стене своими доводами.— Действительно, что-то здесь неладно,— слегка прищурившись, сказал Момун, стараясь по обыкновению привести в стройную систему серьезные, хотя довольно сумбурные доводы друзей.— Я думаю, что сейчас вряд ли кто из наших руководителей ответит на этот вопрос откровенно и обстоятельно. Но мы не безъязыкие и не безголовые, нам самим надо выносить такие вопросы на обсуждение. Надо стараться не только выявлять ошибки, но и давать им правильное толкование и исправлять их. Иначе мы можем удариться в другую крайность. К примеру, наш вчерашний разговор о древних памятниках, об их нынешней принадлежности,— Момун обратился к Садыку: — В твоих рассуждениях о вашем и нашем много поэтического чувства, но мало логики и здравого смысла. При коммунистической культуре вообще не будет повода для деления на ваше и наше. Какой смысл будет в том, если уйгуры начнут искать в Тихом океане воды рек Или, Тарыма или воду турфанских каризов? Хотя по закону природы в этом океане несомненно будет хоть капля воды из Или, из Тарыма и из турфанских каризов. Нам надо искать не отдельные капли, а пути быстрого проникновения к великому океану цивилизации.

— И с благодарностью исчезнуть в морском пространстве, хочешь сказать? — пробурчал Садык.

— Да никто не угрожает нам потопом. И вообще, мне не нравится, что ты, литератор, вечно копаешься в музее, в древних памятниках. Ведь поэт, особенно молодой, должен прежде всего воспевать своих современников. Как вы думаете, Ханипа?

— Поэту виднее... — уклончиво ответила девушка.

— Теперь в музей я больше не пойду, — решительно заявил Садык.

— Почему? Разве кто-нибудь тебе запрещает?

— Незачем ходить туда. Портрет Ипархан теперь у меня в общежитии.

— Ипархан не хотела жить в Пекине, во дворце императора, как же она согласилась перейти к тебе в общежитие? — пошутил Момун.

— Потому что Садыкджан собирается писать о ней поэму, — поддержала шутку Ханипа.

Садык не нашелся как ответить друзьям, он только посмотрел на Ханипу, потом на Момуна, сунул руку в карман и вытащил тетрадь.

— Вот, Момун, посмотри на Ипархан и еще раз вспомни о своих славных предках, — сказал он, показывая портрет девушки, одетой в чекмень воина, с мечом в руках.

Момун внимательно посмотрел на маленький портрет и сказал:

— Не знаю, что получится у тебя с поэмой, но за то, что ты украл музейный экспонат, наказание будет.

— Я не воровал его — просто перерисовал. Срисовать сумел, а вот воспеть ее — таланта не хватает. Но будь что будет, как только закончу поэму, отдам на обсуждение.

— Он мне прочитал несколько страниц. Очень неплохо, — призналась Ханипа и виновато глянула на Садыка: не сказала ли чего-нибудь лишнего?

— Скорей завершай, почитаем. — Момун снова поднялся, посмотрел на часы и спросил: — Может, и вы пойдете на заплата нашего кружка?

Садык вопросительно посмотрел на Ханипу. Девушка сдержанно улыбнулась:

— Лучше я уведу Садыкджана в кино. Знаете, Момун, теперь я, вопреки нашим древним национальным обычаям, буду развлекать вашего друга.

## XI

Садыка не забывали в Турфане и не раз о нем вспоминали... Скучал по нему Саид-ака, для которого мальчишесирота был словно родным сыном, вспоминал о нем Масима-ака, добрая душа, и беспросветно горевала Захида.

Абдугаит, встретив Масима-аку, вспомнил, как они с Садыкджаном водили подводы торговой общины, как ездили в село Караходжу, как Садык спас от смерти покойного теперь Сопахуна. Но Абдугаит не рассказал о том, что между Садыком и Захидой вспыхнула любовь. Не стоило об этом говорить, потому что любовь быстро потухла. Абдугаит подумал: «Наверное, и сам Масим-ака это почувствовал. Зачем я буду тревожить его душу».



— Ака, а мы теперь стали настоящими артистами,— сказал Абдугаит.— Клубок самодеятельности, который организовал вместе с нами Садык, теперь стал уездным ансамблем. Скоро поедем в Кашгар на гастроли, а когда вернемся, возможно, поедем и в ваше село.

— Обязательно приезжайте! А сейчас зайдем, браток, в харчевню, я проголодался. В Турфане я хотел попросить у уездного начальства трактор, но услышал, что в большинстве дехканских общин тракторов совсем нет. А у нас одна есть, значит, можно потерпеть. К новому году, наверно, придут тракторы от русских. Эту помощь советских друзей не забудут и наши потомки!..

— Наверно, в этом году хороши посевы, ака?

— Если бог даст, план выполним, кое-что людям выдадим на руки, и еще останутся средства на строительство школы.

— Да-да, раньше всего надо взяться за школу, ака. Учеба в частных заведениях не даст хороших результатов,— вздохнув, сказал Абдугаит.— Не дай бог остаться малограмотным, как я! Благо, что с прошлого года хоть немного читать научился...

Они зашли в столовую на центральной улице, сели за круглый низенький стол и заказали обед. Им подали салат со свежими пампушками и чай, а затем принесли горячие блюда.

— Приятного аппетита,— сказал им опрятно одетый степенный человек.— Что-то вы плохо кушаете. Или не вкусно приготовлено?

Абдугаит, не справившийся с пловом и мантами, не знал, что ответить. Этот солидный человек, по всей вероятности, был заведующим столовой и обратился к посетителям, видимо, не случайно.

Выслушав благодарность Масима-аки, заведующий обратился к Абдугаиту:

— Вы, браток, меня не узнали, а я вас сразу узнал.

— Правда, не помню вас, ака...

— От Садыкджана письма получаете?

— Вот теперь узнаю вас, Саид-ака! Однажды Садык привел меня в харчевню Туды-манджана и сказал: «Этот человек кормил меня шашлыком» — и познакомил меня с вами! Да-да!.. Значит, вы теперь здесь устроились, Саид-ака?

— Так получилось, браток. Двадцать лет в харчевню

Туды был истопником, после чего доверили лапшу тяпуть. А теперь на старости лет власти назначили меня в этой столовой начальником. В прошлом году от Садыкджана пришло одно письмо. Что и говорить, я такой грамотный, что даже не смог ответить. С тех пор от парпя нет никаких известий. Наверно, его учеба заканчивается?

— Я слышал, что он уже кончил учиться, женился и остался, кажется, в Урумчи...

— Где бы он ни был, дай бог ему здоровья. Живы будем — увидимся. Почаще заходи, браток, не забывай старых друзей, — пригласил Саид-ака, когда гости встали из-за стола.

За пустой свободный стол в углу сел молодой человек. Он извлек из кармана широких бархатных штанов бутылку джуна, наполнил до краев пшалу и залпом выпил. Не закусывая, он выпил еще и продолжал угрюмо и молча сидеть, как бы прислушиваясь к самому себе. Потом он поставил глиняную бутылку на стол и поднял взгляд на подошедшего к нему заведующего столовой.

— Пожалуйста, ака, выпейте со мной, — предложил посетитель.

— Благодарю, ака, не пью...

— Если не пьете, тогда не беспокойте меня.

Но заведующий подошел к молодому человеку неспроста, он хотел сказать, что по новому порядку пить здесь запрещается.

— Ука, — проговорил Саид-ака, — этот шипан теперь перестроен в общественную столовую. Здесь нельзя распивать спиртные напитки. Иначе нас...

— Могут привлечь к ответственности, хотите сказать вы? Хорошо, хорошо, не тревожьтесь, — перебил парень заведующего и позвал официанта: — Эй, приятель, вылей-ка эту мочу шайтана на помойку!

— Выливать не пужно, — мягко сказал Саид-ака. — Если принесли, то пейте, молодой человек, по...

— ...Второй раз пусть этого не случится, так вы хотели сказать? Хоп, ака. Ну, а теперь дайте мне возможность попрощаться с этой штукой наедине.

Слушая красивого и ловкого на язык парпя, Саид-ака улыбнулся и отошел к другим посетителям. Когда парень вышел, Саид-ака заинтересовался у официанта, кто это. Ему ответили, что это сын Зордунбая.

— Знал бы я, кто он, выгнал бы его из столовой. А я подумал, что это какой-нибудь спесивый уполномоченный из центра! — открыто удивился Саид-ака.

Шакир, выйдя на улицу, постоял минуту в раздумье, не зная, куда направиться, и решительно зашагал домой. Высокие каблуки его сапог стучали по затвердевшей дороге, а носки вздымали облачка пыли. Не обращая внимания на встречающих, не замечая знакомых в опускающихся сумерках, он торопливо шел по дороге, как лошадь, стремящаяся поскорее вывезти свою телегу в гору.

В его затуманенной вином голове полыхало и рвалось наружу пламя нестерпимой ненависти: он до боли сжимал кулаки в карманах и ускорял шаги.

Как ни крепился Шакир, как ни старался сдержаться себя, во двор он вошел взвинченный, будто только что ушел от погони. Мгновение постояв, он неторопливо направился к открытым дверям дома, стараясь, чтобы его старая мать, как раз выходящая через садовую калитку с чайчайзой<sup>1</sup> в руках, ничего не заметила...

Спавшая под навесом со своим дутаром в обнимку младшая жена отца Нурхан-ача не заметила прихода Шакира. «Мерзавка! Мою старую больную мать заставляет работать, а сама лежит!» — с ненавистью подумал Шакир. Войдя в прихожую, разделявшую две больших комнаты, он остановился в растерянности: Зордунбай стоял у двери в комнату Захиды и, не замечая, что на пороге появился сын, просил:

— ...Захида, душа моя! Открой дверь, дорогая. Мы одни с тобой, больше никого нет... Не могу больше терпеть! Я только поглажу твою ручку...

— Теперь над пей хотите надругаться! Крови ее отца вам мало! — отчетливо проговорил Шакир.

Зордунбай отпрянул от двери. Как матерый волк, внезапно увидевший над своей головой беркута, он собрал все силы, злобу и ярость и медленно двинулся па сына. Он шел, как тигр, крадущийся к своей жертве, не спуская с сына ненавидящего взгляда...

Шакир стоял не шевелясь, стиснув зубы и сжимая кулаки в карманах, хмельной туман в его голове рассеялся.

Зордунбай заметил гневное спокойствие Шакира и понял, что не может уже сломить его волю. Он изо всей силы

<sup>1</sup> Чайчайза — небольшая мотыга.

ударил сына по лицу. Шакир дернулся, голова его удари-лась о ступу, но он не упал; Зордунбай ударил его еще раз и пнул в живот. На этот раз Шакир оказался во дворе. Но тут же, догадавшись, что отец может запереться изнутри, он рванулся вперед. Зордунбай, окончательно потерявший самообладание, схватил Шакира за горло и стал душить его. Зордунбая бесило, что сын молчал и даже не моргал, а только брезгливо, с отвращением смотрел на него. Он отпустил горло Шакира и, рыча и хрипя, как бешеная собака, впился ногтями в его лицо.

Спотыкаясь и падая, к ним подбежала старая Гулямхан. Она повисла на руках Зордунбая, но тот, озверев, схватил старуху за волосы и пнул ее коленом в бок; Гулямхан упала и съежилась, как халат, слетевший с плеч. Глаза Шакира заволокло пеленой, его занемевшие кулаки сами собой вырвались из карманов. Он схватил отца за шиворот и отшвырнул его в сторону. Зордунбай свалился, как медведь, сраженный пулей. Подбежала заспанная Нурхан-ача, вытаращила глаза и принялась вопить во весь голос...

Шакир осторожно поднял мать на руки...

— Мама! Мама!.. Прости меня, мама! — шептал, как когда-то в детстве, Шакир.

Его сердечные слова дошли до слуха матери. Собрав последние силы, Гулямхан глубоко вздохнула и открыла глаза. Узнав сына, она погладила его руку и шевельнулась, намереваясь встать. Ее губы со струйками крови в уголках задрожали, как бы истомленные жаждой.

Шакир опомнился:

— Сейчас, мама! Сейчас... Захида, Захида! — позвал он и огляделся по сторонам. Страшная тревога охватила его.

Зордунбай и Нурхан-ача кричали во весь голос во дворе, собирав прохожих. Как будто с неба свалившийся Шавкат-мулла тоже оказался во дворе и принялся вопить: «Связать этого подлеца — и в мечеть! Смерть вероотступнику, поднявшему руку на отца!..» Но один из полицейских, зашедший тем временем во двор, выразительно погрозил ему пальцем. Зордунбай поднялся и, опираясь на Нурхан-ачу, пошел в дом.

Гулямхан гладила слабыми пальцами лицо Шакира, она как бы хотела залечить его раны. Шакир сказал ей, что исчезла Захида.

— Пожалуйста, разыщи ее, сыночек! Как бы она не убежала куда-нибудь со страха! Мне стало лучше, за меня не беспокойся,— проговорила Гулямхан прерывающимся голосом.

Шакир позвал старую соседку, попросил ее побыть с больной, а сам ушел разыскивать Захиду.

Он искал ее под навесами, в амбарах, в саду. Сердце его билось все тревожней, подсказывая, что Захиды здесь нет и что она ушла навсегда.

Шакир оседлал коня и направился на окраину города. Наступила ночь. В чернильной тьме ему чудились сказочные драконы, проглотившие беззащитную девушку. Отчаявшись что-либо рассмотреть, он громко звал: «Захида!» Но ответом ему было могильное молчание.

Он выехал на какую-то дорогу и, приглядевшись, определил, что она ведет в Караходжу. Шакир хлестнул камчой коня, как бы стремясь спастись бегством от города, напоминающего ему чудовище.

Масим-ака был поражен, услышав на рассвете плохую новость о племяннице. Выйдя из дому, он зачем-то захватил с собой заряженное ружье. Тетя Зорахан разрыдалась, приговаривая: «Захида, девочка моя, где же ты?! Что с тобой случилось!» Истосковавшийся по охоте пес Бойнак, заметив, что хозяин седлает коня и вынес ружье, важно вышел на дорогу. Но никто не обратил внимания не только на услужливый вид пса, но и на то, что он бежит следом.

На заре Шакир и Масим-ака добрались до кладбища возле Турфанского минарета. Навстречу им вышел дряхлый шейх, казавшийся составной частью древнего кладбища, поэтому Шакир, даже не взглянув на него, ткнул коня в бок и проехал мимо. Но Масим-ака поздоровался с шейхом и спросил:

— Отец, не приходила ли сюда вечером или ночью какая-нибудь женщина?

— Жевшипа, сынок? — голос у старого шейха звучал глухо, как будто из могилы.

— Да, да. Не видели ли вы здесь женщину?

— Глаза у меня слабые, сынок, не вижу я. Хотя ночью слышал будто что-то похожее на плач. Я решил, что тревожится кто-нибудь из духов, и для успокоения прочитал аят. Здесь часто бывают всякие чудеса, сынок. Кладбище ведь тоже целый мир. Аминь-аллаху-акбар!

Масим-ака вложил в руку старого шейха один юань и

попросил его следовать за ними на кладбище. Возле глинобитного маленького склепа Масим-ака остановился и спросил:

— Отец, не эта ли могила жены торговца Сопахуна?

— Сопи, что умер в Кашгаре?

— Да.

— Как раз она и есть. Покойный — не помню, в прошлом году или в позапрошлом — навещал ее вместе с дочерью...

«Может быть, Захида приходила сюда сегодня ночью и плакала на могиле матери? — подумал Масим-ака. — А потом она, наверное, заблудилась или...» — страшная мысль пришла в голову Масима-аки.

Шакир обошел склеп с другой стороны и вдруг громко воскликнул:

— Смотрите! Бусы Захиды!.. — Он подобрал с земли несколько бусинок и подал Масиму-аке.

Тот взял их в руки, и глаза его затуманились слезами. Он сказал:

— Теперь мы найдем Захиду, была бы только она жива. — Масим-ака позвал собаку. — Бойнак, Бойнак! Нюхай, друг! Ищи!

Бойнак жадно обнюхал бусы, опустил голову и обжег несколько раз вокруг могилы. Потом бросился по направлению к песчаной пустыне, на восток.

Шакир и Масим-ака вскочили на коней и поспешили следом за Бойнаком. Они достигли сыпучих песков и увидели следы Захиды, но следы не предвещали добра. Много тропинок идут от кладбища, по Захида не пошла ни по одной из них...

Они проскакали несколько верст. На восточном крае пеба занялась заря. Багровое зарево как бы напоминало о кровавой трагедии. Масим-ака готов был стрелять в этот кроваво-красный край пеба и мчавшуюся в том направлении злосчастную собаку.

Вдали показались земляные отвалы каризов. Издалека можно было заметить копавшихся возле них нескольких дехкан. Затекиные кровью глаза Шакира прояснились, когда он увидел людей.

— Масим-ака, видите, людей возле карпза? — спросил он, испытывая радостную надежду.

Масим не ответил и продолжал нахлестывать копя. В песках, где не было ни тропинки, кони часто спотыка-

лись и, тыкаясь мордами в песок, фыркали, но продолжали скакать.

Дехкапе стояли вокруг кариза, лица их выражали смутное беспокойство. Они спросили подъехавших:

— Вы из города?

Прискакавшие все появились без расспросов: собака повисла над колодецем.

— Удивительно, как попала сюда эта девушка, как она могла свалиться в колодец?! — недоумевал старший из дехкап.

— Жива ли она, ака?! — спросил Масим.

— Дышит. Бедняжка никак не могла прийти в себя, совсем обесспела. Вашп, наверное, уже довели ее до больницы...

Масим-ака поворотил коня, не спрашивая больше ни о чем. Шакир, как ребенок, последовал за ним. Бойнак, удовлетворенно высунув язык, спокойной трусцой побежал за всадниками.

После того как утомленные путники отъехали, дехкапе вздохнули, посмотрели на молчаливые минареты благочестивого Турфана, на башни, смотрящие на людей свысока, и молча принялись бить землю древними кетменями, как бы стараясь похоронить в ней очередную беду.

После долгого забытья Захида пришла в себя. Перед ее взором прошли ужасы вчерашнего дня — окровавленное лицо Шакира, озверевший Зордунбай, Гулямхан... По бледным щекам девушки медленно потекли слезы.

— Захида, доченька моя! — Масим-ака опустил на колени перед кроватью племянницы и заплакал, не в силах сдержать себя.

Неожиданно слезы взрослого мужчины, внешне спокойного и невозмутимого, произвели на Шакира сильное впечатление и ослабили его волю. Глядя на бледное лицо Захиды, он прошел на другую сторону кровати и тоже опустил на колени.

Захида погладила ему лицо.

— Захида, мы рады, что вы живы. Доктор сказал, что через три-четыре дня вы совсем поправитесь, если не будете плакать. Так ведь, Масим-ака?

Он посмотрел на Масима-аку, не зная, о чем можно говорить еще.

Масим-ака, скрывая вновь набежавшую слезу, прикрыл

глаза рукой и отвернулся. Захида торопливо и тихонько прошептала Шакиру:

— Ака, вы... не могли бы остаться со мной?

Пока Шакир растерянно молчал, не находя ответа, к ним подошел врач с серьезным лицом.

— Это что же, вместо того чтобы поддержать девушку, вы сами хлюпаете носами? Разве так навещают больных?!

Шакир и Масим-ака виновато переглянулись. Прощаясь, Шакир обещал Захиде привести к ней ее старшую сестру.

Масим-ака то ли не понял его последних слов, то ли не обратил на них внимания, но, поднимаясь, он сказал:

— Завтра утром придет тетя Зорахан...

Масим-ака несколько успокоился за племянницу, но зато совершенно не понимал отношений Шакира и Захиды.

Он гладил и целовал голову Бойнака, а сам всматривался в лицо Шакира. Его удивило то, что Захида называла Шакира братом, а он ее — сестрой, и еще Шакир обещал привести к Захиде «ее старшую сестру». Что за сестра?

За день совместных мытарств в поисках Захиды Шакир почувствовал к Масиму-аке расположение, и ему захотелось доверить этому человеку свою тайну.

— Масим-ака, пойдемте со мной, попросим Марпу прийти посидеть с Захидой, — пригласил Шакир Масима.

— Упаси господь заходить к вам! Если я сейчас увижу Зордуна, я пристрелю его как стервятника. А я-то, дурная голова, поверил, что вы живете хорошо!

— Я не к себе вас зову, а к Марпуе на квартиру. А у вас с Захидой отношения хорошие, ака...

— Разве от хорошей жизни человек бросается в кариз?

— Я вам говорю правду. Сейчас я отведу вас к вашей невестке и все вам объясню. Хотите — верьте, ака, хотите — не верьте...

— О какой невестке вы говорите, ака? Ничего не понимаю.

В жизни бывает так, что события, которые на первый взгляд кажутся невозможными, непередаваемыми, необъяснимыми, находят вдруг себе объяснение в двух-трех словах. Несколько на первый взгляд обыденных, незначительных слов в минуту полной искренности совершенно меняют отношения между людьми, и грусть у них сменяется радостью, а ненависть уступает место любви.



Именно после нескольких вот таких слов вдруг просветлело лицо у Маспма-аки, разгладились собравшиеся и застывшие с утра морщины, набежавшая улыбка постепенно захватила все лицо и засверкали блестящие, как перламутр, зубы.

— Довольно, ука, довольно. Все понятно. Теперь я прямо поскачу к жене. Она, наверно, все глаза проглядела. Успокою ее. А ты... теперь и ты нам близкий человек, если был для Захиды братом.

## XII

Трое суток проспдела Марпуа у постели Захиды, ухаживала за девушкой, рассказывала о себе, о Шакире. От искреннего разговора обе почувствовали душевную близость, будто с первых дней жизни росли вместе и теперь наконец встретились, как сестры после разлуки. Захида не скрыла от Марпун, что сначала думала о ней плохо, и, откровенно признавшись, даже не ощутила неловкости.

Когда Захиду выписали из больницы, Шакир и Марпуа вместе с ней поехали в кишлак Караходжу. Шакир вступил здесь в дехканскую общину к Масиму-аке.

Зорахан была рада приезду Захиды. Но для полного счастья этой доброй женщины не хватало ясности. Ей весьма странным казались отношения между Захидой и ее мужем Шакиром. У них не было детей, и называли они себя не мужем и женой, а братом и сестрой. Зорахан не знала, как ей вести себя по отношению к приехавшим. Она представила себе, как будут удивляться люди в кишлаке, когда узнают о странных отношениях в этой семье из Турфана. Зорахан казалось, что их прежней спокойной жизни с Масимом-акой грозят неприятности. Из любви к Захиде эта простая добрая женщина готова была пожертвовать чем угодно. Зорахан жила теперь одной заботой — как бы не пошли в кишлаке неприятные для ее семьи разговоры.

Кишлак Караходжа был одним из старинных селений под вебом Турфана и являл собой во всех отношениях памятник прошлого. Вокруг него располагалась так называемая Восточная Помпея — развалины древних городов Дахъянис и Идутх-балык. Здесь жители хранили разные предания об этих городах, а вместе с преданиями горко оберегали древние порядки и обычаи. Но вместе с тем за последние годы появились и здесь приверженцы по-

ного. Одни твердо встали на путь революционного преобразования, другие же, разбившись на группы, продолжали выжидать, высматривать, обдумывать, чем все это кончится. И, как всегда бывает с появлением нового, распространились в кишлаке разные сплетни и слухи.

Иная ретивая сплетница, едва протерев глаза ото сна, торопится во двор, чтобы первым делом заглянуть к соседке. Если там покой и тишина, сплетница сожалеет, что рано встала. Если же соседка уже подоила корову и лепит кизяки, сплетница огорчится, что проспала. Но как бы там ни было, к утреннему чаю обязательно состряпает про соседку какую-нибудь небылицу.

Прямодушный Масим не обращал внимания на всякие разговоры и кривотолки. Постепенно и Зорахан перестала волноваться и, как истинно любящая мать, стала проникаться бодрым настроением молодежи, радовалась их трудовой суете, их песням, которые доносились с поля, с виноградника... Когда недели через две Марпуа повела разговор о переходе на квартиру, Зорахан возмутилась:

— Боже мой, неужели там тесно в четырех комнатах?! Я уж к вам привыкла, дочка, и не хочу расставаться.

Захида быстро поправилялась. На похудевших и побледневших ее щеках снова показался нежный румянец, безучастно глядевшие на мир глаза оживились и повеселели.

На лицах детей, переживших тяжелые муки, навсегда остаются следы этих страданий. Они обнаруживаются даже тогда, когда дети смеются, а когда грустят, то боль, лежащая в глубине их душ, выходит наружу, и ваше сердце охватывает острое чувство горечи.

В доме Масима никто не обижал Захиду, и постепенно эти внешние признаки душевной боли день за днем стирались. Только однажды Марпуа, сама того не желая, печально разбередила ее душевную рану.

Захида и Марпуа обрезали виноградник и присели отдохнуть в беседке. Захида, ласково глядя на Марпуу, сказала:

— Разрешите, сестра, я вам заново заплету косы!

Марпуа несколько не удивилась просьбе, она уже привыкла к тому, что Захида часто восхищалась ее густыми и длинными волосами. Теперь, когда Марпуа была беременна, уважение и нежность к ней стали еще больше.

— Теперь давайте я вам заплету косы, — сказала Марпуа, кокетливо повернув красивой головкой, как бы желая

проверить, хорошо ли лежат на спине крепко заплетенные косы.

Захиде всякий жест и манера Марпуи казались обаятельными. Наблюдая, как Марпуа готовила обед, стирала, шила, Захида испытывала удовольствие, как от музыки или танцев.

— Захида, зачем вы носите две косы, теперь-то вам нечего бояться,— заметила Марпуа, быстро расчесывая волосы девушки.

— Мне, сестра, нельзя носить мелкие косички,— грустно проговорила Захида.

Марпуа растерялась.

«Как же так! Ведь Захида и Шакир не стали мужем и женой, они были как брат и сестра... Почему же она считает себя женщиной? Кто лишил ее права носить мелкие косички?!»

Однако в мыслях Марпуи не было ревности, подозрений, она справедливо подумала о другом.

— Вас обманул какой-то нечестный парень?! В этом отношении наши судьбы одинаковы,— проговорила Марпуа, поглаживая волнистые и черные как смоль волосы Захиды.

— Нет, его нельзя назвать нечестным. Он не виноват... Наше счастье разбил отец и его безжалостный бог. Мне помог Шакир-ака. О том, что меня выдали замуж, Садыкджан не знал...

— Почему же вы до сих пор не напишете, не объясните ему?

— Объяснить невозможно, сестра. Услышав об этом, Садык, очевидно, отрекся от Турфана. С того времени, как он уехал учиться, он еще ни разу не появлялся в Турфане. И говорят, женился он. На девушке, с которой вместе учился. Вы ведь слышали, что говорил дядя? «Однажды я попал в город и встретил парня по имени Абдугайт. Мы зашли в столовую и там разговорились с неким Саидом. Не знаю, кем он приходится Садыкджану — дядей или какой-то другой родней. По его словам, Садыкджан женился и, ваверно, не вернется в Турфан. Пусть будет счастлив. Он добрый парень...»

Марпуа сожалела о том, что не обратила внимания на рассказ Масима-аки, не придала ему значения.

Молодые женщины обнялись и заплакали.

Масим-ака, осматривая виноградник, подошел к беседке и, увидев девушек, свернул в сторону. Через минуту до его слуха донеслась из беседки песня:

Ловко вылетел ястреб  
Из рук моих,  
Одним махом  
Турфанской горы достиг,  
На мой громкий зов  
Не вернулся.  
Опустился в другой, видно,  
Райский сад.  
Ловко вылетел ястреб  
Из рук моих...  
Где сейчас он гостит?  
Средь друзей каких?

Масим подошел к джигитам, которые делали самау. Среди них был и Шакир. Он стоял в яме с большим кетменем в руках и ворочал похожую на тесто глину. Работая с дехканами, Шакир окреп, и мускулы его четко выделялись и говорили о незаурядной физической силе. Он не жалел себя, стараясь привыкнуть к тяжелому труду, работал кетменем, серпом с увлечением, обнаруживая в себе силу и ловкость. В первые дни, видя, что парню трудно и непривычно, дехкапе подбадривали его. Шакир, веселый и добрый джигит, пришелся им по душе. Они терпеливо помогали ему втянуться в нелегкий дехканский труд.

— Идут дела? — Масим-ака приветствовал джигитов. — Теперь Шакирджан не жалуется на усталость?

— Он уже забыл те времена, когда обматывал ладони бинтами.

— А помните, когда снопы вязал во время жатвы, валки подбирали погами.

Шакир улыбнулся. Вытерев потный лоб, он сказал:

— Без вас, Масим-ака, они меня боятся. А вот теперь разговорились, молчаливики. Жалят, как пчелы.

— Масим-ака, — продолжал веселый джигит, — Шакир очень спокойный человек, если не считать сбитой им шапки с парнивого Ренмши. Шакир сильный, как медведь.

— Шапку Ренмши он принял за улей. А потом смотрит, там не мед, а сплошная короста.

— Да-да!

Своему новому товарищу ребята дали кличку Медведь

за то, что во время курбан-айта<sup>1</sup> Шакир повздорил с шаманом Реимшой.

В тот праздничный день Шакир со своими друзьями вышел на окраину кшплага посмотреть на борющихся джигитов. Шаман и в то же время первый в кшплагке силач Реимша, голый по пояс, в одних шароварах из облезлой овчины, как разгулявшийся бык, ходил по середине пустой площадки и вызывал:

— Ну, кто желает бороться?

Все знали его силу и не осмеливались выйти. Джигиты подталкивали друг друга локтями:

— Ну, выйди, попробуй! Если упадешь — не страшно, земля выдержит.

Но как только Реимша, широко расставляя ноги, приближался со словами: «Ну, давай!» — джигиты сразу замолкали.

В один из таких моментов, когда Реимша казался не шаманом, а ошестинившимся зверем, вышел на круг стройный незнакомый парень, оюясапный кушаком.

— Что, задело? — спросил высокомерно Реимша. — Ну, давай-давай, помну тебе бока! — и стал заходить справа.

Парень с легкой улыбкой, как бы подражая возгордившемуся силачу села, тоже слегка наклонился вперед и, вытянув правую руку, зашел слева. Они медленно приблизились и схватились. Затаив дыхание, толпа настороженно следила за борцами.

Вот незнакомец ловко протянул правую руку под мышкой Реимши и схватил его сзади за пояс. Реимша здоровыми, обросшими шерстью руками тоже схватил парня за кушак и стал тянуть к себе. Тот, опасаясь неожиданного рывка, опустил на левое колено, быстро подставил правое бедро и перекинул через него Реимшу. Шаман ударился лбом о землю, но тут же подпнулся. После очередного приема шаман снова ткнулся головой в землю. Больше он не мог выносить этого. Выбрав удобный момент, призвав на помощь святых, Реимша поднатужился, оторвал от земли своего противника и свалил...

— А этот паршивый, оказывается, силен! — сказал Шакир одному из своих товарищей.

Его оскорбительные слова долетели до ушей Реимши. Шаман уставился на Шакира:

<sup>1</sup> Курбан-айт — праздник жертвоприношения.

— Ну, давайте, дорогой гость, выходите на круг, если желаете!

Шакир, как бы извиняясь, улыбнулся в ответ.

Считая себя победителем, Реимша гордо взял из рук парнишки свою шапку, такую же облезлую, как и шаровары, вложил в нее свой выигрыш и нахлобучил на голову.

— Пусть теперь начнется собачья борьба малышей. Наверно, гость хочет бороться с ними? — сказал он.

— Не хвастайте слишком, силач, — сказал Шакир, задетый за живое.

— Хотя вы и справляетесь с двумя девушками, по против меня вам не устоять! — с насмешкой выпалил Реимша.

Шакир, сбросив с себя плащ — актак, вышел в круг, начал обход противника справа. Не успел Реимша волосатыми руками дотронуться до противника, как Шакир молниеносным пинком сбил с него шапку. Растерявшийся Реимша на миг замер, машинально почесал шею и под разразившийся хохот попытался обелить себя:

— Ты, друг, можешь справиться с двумя бабами.

Шакир ринулся на шамана.

— Ты знай, что говоришь!..

Товарищи еле удержали Шакира.

И вот сегодня в шутках они намекали на тогдашний случай. Шакиру было неловко за себя. Но как бы то ни было, с этими простыми и здоровыми дехканскими парнями он начал дружить.

### ХІІІ

Турфанский ансамбль прибыл в Алтышар — край шести городов — и побывал в древней столице — Кашгаре — и окружающих его селах. Участников ансамбля интересовало и увлекало здесь очень многое: исторические памятники Кашгара, мазар Аппака-ходжи и проходившие возле него знаменитые массовые моления — сайля. Абдуганту особенно запала в память история Аппака-ходжи и его рода, а также ритуальное чествование памяти известной красавицы Ипархал. Его сильно взволновала массовость сайля, в котором участвовали тысячи паломников, приехавших к мазару из далеких городов и сел.

Внутри мазара монотонно читали проповеди и толкования корана, а снаружи, у стен его, просто посредище ули-

цы, неумолчно тянули «эикр» дервиши и блаженные: «Хум-м, алала-ху! Хум-м, алала-ху!» Одни просили бога об отпущении грехов, другие самозабвенно рассказывали древние былины и сказания. Религиозное возбуждение вначале сильно смутило Абдугаита, но постепенно он успокоился, и в нем проснулся присущий его натуре интерес к народному искусству; особенно его заинтересовали маддахи — певцы и сказители, выразительно читающие стихи из старинных дастанов.

Абдугаит задержался возле одного старика маддаха.

Одетый в лохмотья, с нечесаной бородой, с темно-медным от загара худым лицом старый маддах воспевал сражение хазрета Али с язычником Жунабилом: «...Вышел Заркум — сын Жунабила — на бой с мечом в сорок аршин, и пожелал он сразить батыра Али, который разрушил крепость Хайбар...»

Ударил хазрет Али булавой  
В щит Жунабила,  
И тот в землю ушел  
Почти с головой,  
Похоже, зарылся крот.

Доспехи прозвиз  
На груди у Али,  
Волосы встали, как лес.  
И северного выдернул он из земли  
И бросил  
Выше небес!

Маддах читал с подъемом и восторгом, он жестикулировал, беспрестанно двигались его лицо, глаза, усы и борода. Неизвестно, верил ли старец сам в то, что воспевал, но картину битвы он передавал убедительно, захватывающе. Его слушали восторженно. Абдугаит чувствовал себя участником легендарного поединка и видел своими глазами, как хазрет Али силой меча и беспримерными подвигами обращал народы в ислам.

Малограмотный Абдугаит еще не мог ясно представить себе, что эти религиозные торжества в течение веков обрекали уйгурский народ на варварство. Он не знал, что с установлением господства ислама было уничтожено двухтысячелетнее наследие уйгуров-буддистов в области живописи и художественной архитектуры. Ислам запрещал живопись как неугодное аллаху явление. Абдугаита поразили песни и музыка Кашгарии. Здесь все юноши и девушки были певцами, гвицорами, музыкантами. Они пели

и на работе, и во время прогулки на улице, и на молотье, и на мельнице, пели в ритм своим рабочим движениям.

Здесь не было музыкантов-профессионалов, каждый играл на чем-нибудь. О любви кашгарцев к музыке говорило обилие замечательных инструментов: дутар, тамбур, сатар, гиджак, калун, янджин, рузгаб, дап, думбак, карнай, сурнай и еще много других.

Содержание здешних песен и танцев было самым разнообразным для стариков и молодых, для мужчин и женщин. В них рассказывалось о прошлых и нынешних событиях. В этом крае, как ни в каком другом, сохранились все варианты и вариации «Двенадцати мукамов» — великой музыкальной сокровищницы уйгурского народа.

Абдугаит и его товарищи с восхищением наблюдали танцы доланских кокеток и шутниц, кучарских нежных и стройных красавиц, пляску озорных, физически сильных и отчаянных кашгарских джигитов.

В танцах и плясках изображались картины труда и отдыха, выражалась любовь к женщине, доброе, человеческое отношение к ней, поддержка и защита женщины в беде, сила и выносливость мужчины и в то же время вдохновляющее влияние на него нежной женской любви, почтения и уважения.

Участникам ансамбля предстояло проехать в Аксуйскую и Хотанскую области. Их радовала возможность посетить знаменитый город Аксу с историческими памятниками, родину шелководства и ковроделия — город Хотан.

Все радовались вслух, один только Абдугаит рассеянно молчал. Товарищи заметили его удрученное настроение. Неужели это от зависти к музыкантам-виртуозам, которые играют на тамбуре, рубаве лучше, чем он?..

Нет. Абдугаит думал не о кашгарской экзотике, не о радениях фанатиков в мечетях, не о сказителях — маддах и не мечтал сейчас научиться игре у мастеров... Вечером он взял свой рубаб и направился в городской клуб Кашгара.

— Ребята, наверное, Гаит влюбился в одну из танцовщиц жаркого юга, — сказал кто-то.

Вчера на концерте он не сводил глаз с танцовщицы Хавахан, а с ней был джигит с дапом в руках. «Будут репетировать тапец под дап», — подумал Абдугаит. В прошлый раз он видел Хавахан в национальной одежде — в длинном атласном платье, длинных панталонах с бархатными ман-



жетами, в отделанном золотом камзоле из зеленого сукна и в шапке из выдры. А сегодня девушка была в будничном одеянии — в ситцевом платье с короткими рукавами, в туфлях на низком каблуке и без чулок. Сейчас она показалась Абдугаиту еще лучше.

С первыми ударами дама девушка, словно легкая птица, собирающаяся вспорхнуть, быстрыми шажками подбежала к краю сцены и поклонилась залу. Абдугаит не отрывал взгляда от танцовщицы.

Хавахан улыбалась, и Абдугаит принимал это на свой счет. Разрумянившаяся, с глазами, полными радости и счастья, Хавахан поклонилась зрителям. Все встали со своих мест:

— Bravo!.. Яшанг, Хавахан!

Когда все успокоились, Хавахан сошла со сцены и пошла прямо к Абдугаиту.

— Мне понравилось ваше исполнение танца каризчи-лар,— сказала девушка Абдугаиту.

На них не обращали внимания. Одни копошились на сцене, готовя очередные номера репетиции, другие, разойдясь по углам, настраивали свои инструменты, проигрывали стрывки, разучивали песни.

— Вы остаетесь? — спросила Хавахан.

— А вы?

— Я каждый день вижу это. Пойду домой.

— Можно мне проводить вас?

— Пожалуйста.

Всю дорогу они говорили об искусстве и людях искусства. Когда, прощаясь, подали друг другу руки, Абдугаит посмотрел в лицо девушки, освещенное лунным светом, и пожалел, что они так рано расстанутся.

Если труппе Абдугаита не предстояла бы поездка в Урумчи, где его друг детства Садыкжан, он бы задержался в Кашгарии из-за Хавахан.

\* \* \*

А в столице в это время для Садыка и его друзей наступила та трудная пора, когда мечты у одних сбываются, у других — нет. Многим хотелось остаться в Урумчи. Но в молодых специалистах нуждались другие города и селения.

Однажды, когда Хамина шла в общежитие, за ней увязался Ризайдин:

— Таким образом, дорогая Ханипа, кончилась наша учеба. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Мне предлагают остаться в университете. Но... по это зависит от... как бы вам сказать. Вы сами, вероятно, знаете, от кого вообще зависит моя дальнейшая судьба... Я же откровенно сказал об этом некоторым почтенным людям.

— О чем это вы? — Ханипа смущенно умолкла, потому что намек Ризайдина не был ясен ей до конца.

Ризайдин истолковал смущение девушки в свою пользу и пустился в сентиментальные рассуждения о будущем. Возле общежития Ханипу ждал Момун и Садык. Ризайдин растерялся, когда девушка неожиданно оставила его одного. Ризайдин метнул сердитый взгляд в сторону товарищей и зашагал своей дорогой...

— Ханипа, оказывается, вы уже читали поэму Садыка? — спросил Момун. — А я даже не знал, что он ее закончил.

Ханипа весело перебила его:

— Разрешите мне сперва поздравить вас с окончанием университета, а затем поговорим о поэме, верно, Садык?

Ханипа пожала руку Момуну и долго держала ее, не найдя что сказать. Она волновалась. В прежнее время для мусульманина такой жест показался бы бесчестным, Ханипа впервые в жизни подала руку мужчине.

— Вы считаете сдачу экзаменов важнее рождения поэмы? — Момун заметил волнение девушки. — Экзамены сдает каждый студент, а произведение искусства создает, быть может, один из тысячи!

Садыку показались обидными его высокопарные слова.

— Ты вообще можешь говорить, не задевая других? — упрекнул он Момуна.

— Что же, по-твоему, я должен говорить, обращаясь к ветру?

— Перестаньте спорить, — попросила друзей Ханипа. — Давайте договоримся, когда будем вместе читать поэму.

Момун охотно согласился.

— Да, нам втроем обязательно надо прочесть до обсуждения. Вообще-то я не очень симпатизирую потомству ходжей. Особенно ненавижу главного мракобеса нашего средневековья — Аппака-ходжу. Инархан была его дочерью, и в нее почему-то влюбился наш современник Садык. Пусть она будет красавицей, но она дочь мис-

сионера, который одурманил наш народ исламом до мозга костей.

— Да перестань ты! — оборвал его Садык. — Не все же такие политиканы и философы, как ты. Наташа Ростова была дочерью графа, Татьяна Ларина — дочь помещика, Анна Каренина — аристократка... Неужели, по-твоему, Пушкин и Толстой меньше нас разбирались в политике и в поэзии?!

— Да ты сам не морочь нам головы именами великих людей! — рассердился Момун. — Не забывай, что кроме Пушкина и Толстого были Горький и Маяковский! Я не знаю, стоит ли еще говорить о твоём сочинении «Ипархан» как о поэтическом произведении...

Момуну не пришлось участвовать в обсуждении поэмы Садыка. Утром следующего дня его срочно вызвали в Кульджу.

Он вернулся через несколько дней и узнал, что обсуждение «Ипархан» состоялось. Момун не стал вникать в подробности, ибо, как и всех выпускников, в эти дни его занимали мысли о своей дальнейшей судьбе. К тому же Момун вообще не придавал большого значения литературным увлечениям Садыка. Он считал любителей художественного творчества чуть ли не бездельниками, не приносящими никакой практической пользы обществу. Садык чувствовал пренебрежительное отношение Момуна к своим литературным занятиям, но не мог осуждать его.

Сомнение, как и самоуверенность, — неизбежные спутники творчества. В литературе и на подступах к ней есть немало ремесленников и карьеристов, которые, сидя в башне из слоеной кости, никого не признают, а по адресу литературных авторитетов отзываются весьма сдержанно, чтобы в сравнительном плане печально не ущемить собственную персону. Нечто подобное наблюдалось и среди студентов. Выпускники университетов ходили задрав носы, ждали случая для выявления своих «неограниченных» способностей, которые развивались на демагогических диспутах и дискуссиях, ошибочно поощряемых в Сибьязяне в первые годы после революции.

Садык не мечтал о литературной славе, он был поэтом по натуре, поэтом, если можно так сказать, невольным.

На обсуждении «Ипархан» присутствовало несколько

признанных поэтов, историки из Синьцзянского филиала Академии наук Китая, а также несколько непривычных почитателей поэзии — представителей местной власти — китайцев.

«Никто из этих достопочтенных гостей не читал «Ипархан», — недоумевал Садык. — Как же они могут решать судьбу поэмы?..»

Садык по наивности не знал, что представители власти считают своим первейшим священным долгом решать судьбу любого явления, будь то литература, искусство, промышленность или сельское хозяйство.

И вот сейчас, сидя в одиночестве в общежитии, Садык вновь и вновь пересматривал страницы рукописи и вспоминал обсуждение.

«...Как будто не хотят понять меня, обвиняют в чем-то совершенно целепом!.. Но были же люди, которые воспринимали «Ипархан» именно так, как мне хотелось. Меня упрекают за образ отца — Аппака-ходжа, но при чем тут его дочь, ее любовь и верность родине?! Ипархан имеет свои заслуги, независимо от мракобеса отца...»

Садык перечитывал замечания на полях рукописи.

«Ипархан по происхождению не была чистокровной уйгуркой. Историки доказали, что она родилась от китайки, на которой женился Аппак-ходжа, и его дочь-красавица и военачальник Ипархан самоотверженно сражались за уйгурский народ во имя ислама, который был навязан уйгурам. Какой же смысл посвящать поэму этим миссионерам, считать их национальными героями уйгуров?»

В другом месте на полях рукописи утверждалось совершенно иное «...Вновь и вновь восхваляя красоту и батальные подвиги Ипархан, поэт превращает ее в перишту — ангела. Где же народ, предводителем которого была вана героиня?»

А в конце рукописи была совершенно другая оценка:

«...Нет и не было в нашей литературе поэмы такой художественной силы! Твоя «Ипархан» и по содержанию, и по поэтической форме своей потрясла меня... Даже страшно становится, когда подумаешь, какие муки ты пережил, чтобы с такой неподдельной правдой воссоздать образ исторической личности, приоткрыть ширму веков над нашим восточным Вавилоном!.. Ты нам показал, как надо смотреть на историю, на ее бессмертные цепности. Этим ты и сам творишь историю!..»

Но у секретаря комсомольского комитета Турсуна сложилось такое мнение.

«Восхваление сегодня таких исторических лиц, — говорил он вчера, — как Аппак-ходжа, явное противоречие нашей политике. Это наносит идеологический ущерб укреплению дружбы народов, единства нашего великого государства. А вы, товарищ Сабитов Садык, открыто смакуете столкновение двух народов. Доходите до того, что воспеваете их взаимное истребление. Какое дело народу до того, что дочку Аппака-ходжи — посланца каганата — взяли в плен маньчжурские войска, а затем увезли в Пекин и подарили ее своему императору?! Какое воспитательное значение для народа имеет ее любовь к другому ходже — Джахангиру, ее неземная красота и самоубийство в гареме императора? Наконец, чем вы отличаетесь от того венецианского художника, который так же, как вы, был восхищен только внешней красотой Ипархан? Одумайтесь, товарищ Сабитов! Что вы воспеваете, чему вы служите своим пером?! Мы, материалисты, презираем религию. Это вам известно. А известно ли вам, что Аппак-ходжа, все его предки и потомки были самыми заядлыми исламистами, а время их правления в Синьцзяне — самым мрачным временем? Зря вы потратили столько сил и красок для воскрешения забытой народом клики ходжей. Такая безыдейность говорит о предпочтении живым мертвых...»

Садыку было ясно, что поэма не увидит света, но он все еще не мог оторваться от рукописи, словно мать, изнуренная своей любовью и заботой к умирающему ребенку. В ушах его звучали голоса вчерашних ораторов, то теплые, и восторженные, то холодные и тяжелые, как чугун. В конце обсуждения зал как-то гнетуще, траурно молчал, никто не осмелился пожать на прощанье руку Садыка. Только одна Ханипа шла вместе с ним до самого общежития, готовая разрыдаться от своей беспомощности...

«Да, кажется, зря я начал трясти пыль веков», — подумал Садык. Он снова глянул на тетрадь с поэмой. Теперь она показалась ему чем-то чужим, причиняющим только жестокую боль...

Сомнение перешло в отречение.

Садык обеими руками медленно поднял тетрадку на уровень груди, точь-в-точь как отцы-мусульмане несут умершего ребенка хоронить, и понес ее к печке. Осторож-

но, бережным движением он открыл дверцу печки, положил туда тетрадь, принес спички и опустился на колени... Помедлив, он чиркнул спичкой и механически поднес пламя к тетрадке.

Тетрадь не загорелась. Садык нервно теребил ее и одну за другой подносил горящие спички. Наконец тетрадь задымилась, съезжилась и воспламенилась, Садык, как бы выйдя из оцепенения, ясно увидел строки и буквы своей поэмы, единственный экземпляр которой превращался на его глазах в пепел. Он инстинктивно встрепенулся и, видя катастрофу и понимая бесполезность своего вмешательства, закрыл глаза руками.

Кто-то постучал в дверь. Садык вскочил. В комнату вошли Момун и Ханипа. Девушка посмотрела на догорающую в печке бумагу, затем на Садыка и догадалась о случившемся. Она в растерянности перевела взгляд на Момуна, словно говоря: «Как же нам теперь быть?!»

— Что это горит?— спросил Момун.

— Ипархан,— ответил Садык и вздрагивающими пальцами поправил волосы.

Он старался казаться спокойным, что, к сожалению, не удавалось ему. (Да и кто из поэтов мира оставался бы спокойным в подобные минуты!)

— Значит, ты меня так и не познакомил с Ипархан? Предал ее кремации?! Ты поспешил. Ведь и мертвеца полагаются держать три дня.

Садык болезненно улыбулся и, глядя на обиженное лицо Ханипы, признался:

— Я, кажется, поторопился, когда писал. И поэтому сжег.

— Мы пришли за тобой, давай собирайся,— приказал Момун.— Поедем в горы.

— На чем?

— Садык, вы забыли наш уговор? — преодолев растерянность, проговорила Ханипа.— Мы же решили до Уламбая пройти пешком.

— А не сможете без меня?

— Ну что ты, Садык!..— Момун с редкой для него искренностью обнял друга.— Это же последний, наш прощальный студенческий поход. Хватит, мы с тобой и так за годы ученья прослыли аскетами, а теперь девушки вообще могут перекрестить нас в шейхов.

Как и предполагал Садык, в горах, где собрались выпускники повеселиться и отдохнуть, зашел разговор о его поэме. Опять завязался спор. Ничего не поделаешь, человеческое суждение что родник — сколько ты его ни сдерживай, он все равно вырвется на простор.

Садык, пытаясь уйти от разговора о поэме, упрасивал рубабиста сыграть что-нибудь.

— Что сыграть? Похоронную «Марсию»? — огрызнулся рубабист. Ему, весельчаку, не нравилось скучное философствование на открытом воздухе.

— Нет, не «Марсию», — вмешался Момун. — Если умеешь, сыграй ту мелодию, которую играют при рождении человека. Например, у русских есть «Колыбельная».

— И у уйгуров тоже есть — «Мархаба».

— Это, по-моему, узбекская, — неуверенно заметил Садык.

— Узбеки тоже исполняют ее, но она уйгурская, — настаивал рубабист.

Момун не преминул внести историческую ясность в мимолетный спор:

— Музыка никогда не была достоянием только одного народа. Она, подобно соловью, перелетает из одного сада в другой: чей сад лучше располагает к песне, там она и звучит.

Рубабист сыграл «Мархабу», под которую обычно исполнялся грациозный тапец. Ханипа пригласила на круг девушек, не занятых приготовлением завтрака. Подошел и Ризайдин и во всеуслышание, как вызов, бросил Момуну:

— Нет, мой друг, вы опять не правы. Музыка не соловей. Музыка бывает не только в садах, она гремит и в боях, и в тюрьмах. Каждая мелодия создается определенными людьми в определенных условиях и является собственностью определенного народа.

— Ризайдин прав, — поддержал его один из товарищей.

— В буквальном смысле — да, — спокойно отстаивал свое суждение Момун. — Действительно, соловей не может вторить канонаде. Если так придирчиво разбирать сравнения, то в жизни вообще нет явлений или предметов, идеально похожих друг на друга. А если смотреть шире, то

певье соловья и музыка, как и другие произведения искусства, являются общечеловеческими, а паспорта им нужны только для установления адреса.

Когда рубабист заиграл, привлекая к себе внимание, Садык тихо поднялся и по тропинке пошел к речке.

— Куда девался Садык? — спохватился Момун, как только кончили петь.

— Он, наверно, купается, — отозвался молодой поэт. — Пусть, ему это пойдет на пользу. Хорошо, что он ничего не сделал с собой. Ужас как попало ему за «Ипархан»!

— Не сумел ваш друг подать хороший материалчик, — с упреком молодому поэту изрек Ризайдин.

— Я не читал, поэтому не знаю, как она написана, — сказал Момун, обращаясь к молодому поэту.

Тот ответил:

— Его поэма — как вспыхнувшее пламя! Жаль, что Садык не сумеет восстановить ее.

Подошла Ханипа и, сразу поняв, о чем идет разговор, торопливо сказала:

— А может ли поэт восстановить рукопись, не помня ее наизусть?

— Все мы говорили сейчас о произведении, которое только что родилось и сразу погибло, — вдохновенно заговорил молодой поэт, как видно, долго думавший на эту тему. — Поэт тем отличен от матери, что придает своему плоду железную форму еще во чреве своем, если можно так выразиться. Он мобилизует для творчества свою душу, а душа в свою очередь дает толчок мозгу, и затем они сообща готовят образы и закрепляют их в сознании. На бумаге они только отшлифовываются, пеленаются, как ребенок. Поэты и тогда похожи на матерей, когда им указывают на недостатки произведений. Отличие только в том, что мать не сжигает своего ребенка, каким бы он ни был. А поэты сжигают. Но сжигают только внешнее выражение творчества — строки на бумаге. А подлинный отпечаток сохраняется в сердце до тех пор, пока оно будет биться, пока будет гореть душа.

Страстные слова молодого поэта особенно понравились Ханипе и Момуну.

— Вы, оказывается, не только поэт, но и психолог, — заметил Момун.

Ризайдин и на этот раз не упустил случая подковырнуть:



— А вы думали, что только философы разбираются в высокой материи?

— Нет, мы не исключаем и вас, энциклопедистов.

Ребята засмеялись от неожиданно возникшей перепалки.

— Минуточку, друзья! — воскликнул вдруг молодой поэт, вытаскивая из кармана потрепанный блокнот. — У меня есть что подарить Садыку! Готовясь к обсуждению, я выписал несколько строф из его поэмы. Вот послушайте, как хорошо изображает он Ипархан!.. Венецианского художника специально привез император, чтобы тот написал портрет девушки:

Венеция!

Ты — арсенал великих кистей.

Сам Шекспир тебе отдал

Пламя любви своей.

Но и тебя восхитила бы Ипархан,

До чего же красив

Неземной ее стан!

Столько грусти в глазах

И румянец так ал,

Что заморский художник

Все краски ругал...

Подобные строфы некоторые критики с легким сердцем относят к риторике, что действительно преобладает в нашей поэзии, — горячо продолжал молодой поэт. — А вот и дидактика:

У любого народа

Есть святиня своя,

Есть и враг, что опасней,

Чем в джунглях змея.

Потопил ты Кашгарию

В слезах и крови,

Иссушил ее дочь,

Эту розу любви.

Это приговор китайскому императору, вынесенный его же старым советником. Разве это безыдейность! Разве лучше этого скажешь о человечности, о дружбе, о дружбе и справедливости?! Диву даюсь, что у Садыка, которого мы считали только любителем поэзии, обнаружился такой талант!

Ненадолго наступила тишина. Хапица заметила идущего от речки Садыка. Он причесывал на ходу мокрые волосы. Хапица с беспокойством стала торопить всех:

— Ну, Ризайдин, принимайтесь жарить каубаб. Момун, сойдите со своей кафедры и тащите дрова. Вот, кстати, и Садыкджан идет... Мы с вами, Садыкджан, назначены ответственными за жаркое!..

— Я и сам этого хотел, — с улыбкой ответил Садык. — Есть хочу, как волк. Это, наверно, от рюмочки джуна.

— Пойдемте, пойдемте со мной, я вас немедленно покормлю, — на ходу оборачиваясь к Садыку, проговорила Ханипа, и во всей ее стройной и гибкой фигуре, во всем облике выделась какая-то родная, бесконечно необходимая человеку печальность.

Это был последний для Садыка и его друзей совместный пикник. Уже через два дня все они должны были расстаться.

Момун получил назначение на преподавательскую работу в университете, Садыка пригласили литературным сотрудником в один из столичных журналов. Ханипа собиралась на свою родину — в Кумул.

Ханипа стала задумчиво-грустной. За эти годы она сроднилась с девушками и ребятами и переживала приближающуюся теперь разлуку.

«Странно устроена жизнь, — думала девушка. — Вместе учились, сколько пережили вместе радостей и горестей, и теперь, оказывается, надо расстаться. Все поедут в родные места с легким сердцем... Тяжело, наверно, лишь Садыкджану: возвратиться в Турфан и увидеть свою любимую замужем за другим человеком... Как он одинок и несчастлив! А Момун? Он как будто несколько не грустит и не печалится, ему, кажется, все равно — что лето, что зима... Почему он никогда не говорит о своей жизни, не делится своими планами? Вопросы любви и семьи он считает, очевидно, ничего не значащими. Момун похож на звезду, светлую, но холодную.

А Садыкджан — душевный, он рожден для любви и печали. Его сердце теплое, словно турфанское солнце».

Ханипа проснулась рано и долго лежала в постели, думая о друзьях. Наконец она откинула одеяло, встала. Из-за гор поднималось солнце и заглядывало в комнату. Ханипа накинула на плечи халат и растворила окно.

Цветы пестрели вдоль дувала и будто улыбались солнцу, которое, как расплавленная золотая тарелка, поднима-

дось над горами. Взлетевший на дувал молодой петушок испуганно посмотрел в сторону калитки.

В саду появился Садык и украдкой стал рвать цветы. Ханипа хотела вспугнуть его окриком, но раздумала и спряталась за занавеской. Садык сорвал несколько цветов, сложил их в букет и посмотрел на раскрытое окно Ханипы. Сердце девушки учащенно забилось. Садык решительно направился к общежитию, но Ханипа неожиданно захлопнула окно. «Почему я решила, что цветы для меня?» Она не видела, что в этот час было раскрыто только ее окно. Ханипа устыдилась своего волнения.

Садык остановился в нерешительности. Букет выпал из рук, и Садык долго стоял и смотрел на него. Ему почему-то вспомнился Турфан, сад старого Сопухуна, скамейка под одинокой яблоней, Захида...

Нежные цветы валялись на тропинке, в пыли, и в этом был виноват Садык. Он осторожно поднял букет и сдул с лепестков пыль. Но лепестки потеряли первоначальную прелесть, стали жалкими. «Зачем я их сорвал? — пожалел Садык. — Никому они теперь не нужны. Турфан, Турфан — родина моя! И мечты, и любовь — все осталось там!..»

#### XIV

Зордунбай рад был, что Шакир и Захида ушли из дому. Он как лютого врага ненавидел сына за то, что тот застал его у двери Захиды.

Обычно люди типа Зордунбая хотя и говорят много о доброте и человечности, сами этих нравочепий не придерживаются. Наоборот, прячась за маской благочестивости, они хитрят и изворачиваются самым непристойным образом. Такие люди живут по пословице: «Правда на небе, а путь к ней — через деньги».

После ссоры с сыном Зордунбай надолго слег, лавки его закрылись, товары кончились, продавцы взяли расчет и ушли. Зордунбаю вести с ними тяжбу было трудно, потому что он хорошо понимал, что нынешние власти не защитят его и вообще дни его сочтены. Новой власти нельзя даже преподнести подарок.

Кроме муллы Шавката и двух-трех торговцев, к нему никто не приходил. Нурхан-ача, собрав свои пожитки, ушла в старый дом, оставшийся ей в наследство от Сопухуна. К ней ходил с уговорами мулла Шавкат: — Нурхан-

ача не хотела возвращаться. Скоро черные ворота Сопахуна не стали открываться и перед муллой Шавкатом.

По мрачному и угрюмому, как кладбище, двору торговца ходила только одна Гулямхан; тихая, слабая, она, подчиняясь законам шариата, выполняла обязанности жены: подавала Зордунбаю теплую воду для омовения, готовила еду, несмотря на свою слабость, старалась выполнять все прихоти мужа. Гулямхан верила, что, только поступая таким образом, женщины добиваются благословения мужа и спасают себя от адских мук на том свете.

Зордунбай внушал жене: «Теперь нам надо заботиться только о том свете. Мы натерпелись на земле, а на небе проживем счастливо...» С другой стороны, он держал забитую женщину в страхе: «Если бы не ты, я проклял бы сына с кораном в руках! Кто заслужил проклятие отца, тот умрет собачьей смертью!»

Легко уладив неурядицы с Гулямхан таким образом, Зордунбай не переставал думать о том, как вернуть обратно Нурхан-ачу. Убедившись вскоре, что от хлопот муллы Шавката толку не будет, Зордунбай решил прибегнуть к помощи шариата и главного муллы медресе. Возможно, их ученые наставления подействуют на простодушную Нурхан... Зордунбай поделился своими планами с муллой Шавкатом.

— Дорогой Шавкат, передайте дамилле, чтобы он завтра со своими приближенными пожаловал ко мне. Вот ему деньги на извозчика,— сказал он и сунул в руку муллы десять бумажных юаней.

Мулла Шавкат сразу прикинул, что на извозчика хватит половины, а вторую можно оставить себе. Скрывая радость, мулла Шавкат поднялся и, жалобно помычав, сказал:

— Как, по-вашему, почтенный Зордунбай, если мы приедем к ужину?

Зордунбай, появив, что мулла Шавкат причисляет и себя к завтрашним гостям, сказал:

— Да-да, передайте, пусть они приходят к ужину.— Он особенно подчеркнул слова «они приходят», но мулла Шавкат с давних пор приучил себя пропускать мимо ушей некоторые невыгодные для себя памеки.

Мулла рассудительно продолжал:

— Вы сказали — нанять одного извозчика... Но я ду-

маю нанять двоих, чтобы с почтенными людьми ехать более или менее свободно, не стеснять друг друга.

Когда мулла Шавкат уже открыл двери, Зордунбай не выдержал:

— Деньги отдайте им. Как захотят, так пусть и распорядятся. Если пожелают, пусть приходят пешком. Себя вы не утруждайте!

— Хорошо, хорошо, на этот счет мы договоримся с дамуллою, вы особенно не беспокойтесь, бай... — с этими словами Шавкат удалился.

— Вот шакал, всякий раз меня обдуривает! — сказал Зордунбай в сердцах старухе Гулямхан, которая подносила Зордунбаю чувяки, думая, что он выйдет провожать гостя. — Я ему поручил позвать двух-трех почтенных лиц из медресе, а он сам решил явиться вместе с ними!

— А что я смогу приготовить для почтенных? Руки и ноги мои совсем обессилели, господин... — сказала Гулямхан, растерянно глядя мужу в глаза.

— Сколько раз я говорил, что надо привести в дом какую-нибудь крепкую молодуху, чтобы она за нами, стариками, ухаживала!

Эти слова были совсем не по душе старухе, но она молча сложила голову и стала глядеть в пол.

— Нам с тобой, — продолжал Зордунбай, — надо крепиться. Если я слягу — могу совсем не встать. И горести и болезни все усиливаются, дорогая. Но если будешь крепиться, то можешь выдержать. Завтра же почтенные люди что-нибудь нам посоветуют. Приготовишь жуту<sup>1</sup> с луком и со сметаной.

— Жуту приготовить легче, но надо идти за мясом...

— Чем думать о том, что легче, ты бы думала о том, что дешевле. На пустой прилавок никто мне денег не положит. А твой детина, вместо того чтобы помочь отцу, сошелся с какой-то шлюхой — и был таков!..

— Ладно-ладно... Жуту приготовлю, и она хороша для стариков...

Настоятель медресе Ильяс-дамулла был не только служителем ислама, но и крупным историком-пантюркистом, толкователем крана. Он владел арабским и фарсидским

<sup>1</sup> Ж у т а — сладные блинчики с овощами.

языками, читал древние восточные книги. Но никто не мог пользоваться немалыми познаниями Ильяса-дамуллы, накопленные мысли древних гнили под его желтым тюрбаном так же, как гнили книги в темных погребах медресе. Светло-желтая густая борода дамуллы почти сливалась с пышными усами, густые светло-желтые брови и ресницы прикрывали глубоко сидящие карие глаза, чуть заметные морщины, покрывавшие мясистое белое лицо, говорили о том, что он прожил долгие годы, не зная трудностей.

На обеде Зордунбая дамулла сидел прямо, осанисто, не уподобляясь другим старцам, его тюрбан из дорогой кремовой материи был гораздо больших размеров, чем у других. Ильяс-дамулла, несмотря на присутствие своих мюридов — последователей, учившихся ранее с ним в Стамбуле, и на свою солидную должность святого, был человеком словоохотливым и разговорчивым. На обеде не шла речь о том, зачем Зордунбай пригласил священнослужителей. И хотя все догадывались о причине приглашения, старались отложить деловой разговор напоследок. Негоропливо, степенно говорил Ильяс-дамулла. Он начал с истории Текли-Макан, рассказал о принятии уйгурами ислама, наконец дошел до китайских завоеваний и высказал всю свою злобу в адрес новой власти...

— Эти неверные начали осуществлять свои тысячелетние мечты. А наши деятели-предатели раболепствуют перед ними, хотят растоптать мусульманское достоинство. Но ислам — всемогущая сила! Если мы даже погибем, то мусульмане-уйгуры, бежавшие в Пакистан и Иран, будут оплакивать нас и молиться за упокой наших душ...

Страстная убежденность дамуллы сильно подействовала на присутствующих и еще более укрепила их веру в ислам, в его вечные блага. Слушателям особенно пришлось по душе рассказ Ильяса-дамуллы о судьбе желтых уйгуров, живущих в провинции Ганьсу, которые были предками современных уйгур и которые уже к концу средних веков были полностью подчинены китайцам. Все думали о том, как дальше действовать, как продолжать борьбу с новой властью и новыми порядками.

— Падать духом не следует. Если коммунистов, создавших этот губительный колониальный режим, — единицы миллионов, то приверженцев пророка Магомета — десятки и сотни миллионов, — этими словами закончил дамулла свою беседу.

Зордунбай после встречи с дамуллою не без удовольствия представлял, как через день-другой служители большой мечети зайдут на чай к Нурхан-аче и уговорят ее вернуться в дом Зордунбая.

Уснул Зордунбай в хорошем настроении, видел благостные сны и проснулся отдохнувший, веселый. Но светлое настроение Зордунбая, едва он вышел на улицу, улетучилось, словно сон.

У дальнего края дувала стоял рослый мужчина. Он был одет в серый самотканый чекмень и туго подпоясан шелковым кушаком. Один конец кушака небрежно свисал, грудь мужчины была раскрыта по самый пояс, на голове белый фетровый малахай. Маленькие глаза его были тусклы и невыразительны, землистое лицо изрыто шрамами. Увидев Зордунбая, он, как стервятник, покрутил головой на тонкой змеиной шее.

Зордунбай зашагал от него в противоположную сторону, но мужчина, отделившись от дувала, размашисто последовал за ним.

— Приветствую вас, бай! — сказал он громко.

Зордунбай рывком обернулся и, едва сдержав испуганное восклицание, широко улыбнулся.

— А-а! Нодархун! Где ты был, где пропал, браток?..

— Слава богу, жив-здоров, вашими благодеяниями.

— Молодец, молодец...

Они шли рядом, искоса поглядывая друг на друга.

— Я, Нодарджан, не понял даже, почему вас забрали. Одни говорят: «Осудили на два года», другие говорят: «Осудили на три года», а за что — никто не знает.

— А вы бы спросили у своего сына.

— Я, брат, этого сукина сына совсем прогнал. Мне кажется, этот благодарный болван подвел и вас?..

— Значит, вы прогнали Шакира из сожаления ко мне? — Нодар резко переменял тон: — О нем поговорим потом, а сейчас скажите, за что вы убили Сопахупа?

Зордунбай остановился. Его глаза забегали из стороны в сторону.

— Чего вы испугались, бай, я ведь мог просто пошутить. Хотя знаю, что так оно и есть, — сказал Нодар, хлопая Зордунбая по плечу.

— Хорошо... Я тебе заплачу... Но... по, — бай не мог овладеть собой. — Но кто тебе рассказал?

— Вы сперва отдайте, что обещали. А я смогу принести вам пользу и впредь...

Лицо Зордунбая оживилось. Он вдруг понял, что с помощью Нодара можно одним выстрелом убить двух зайцев...

Перекинувшись несколькими фразами, два стервятника вышли на центральную улицу и затерялись в густой толпе.

## XV

Оставшимся работать в Урумчи после окончания университета Момуну и Садыку вскоре предложили ехать в деревню. Начиналась очередная кампания по всему Китаю: повышение идейно-политического уровня населения и создание сельхозкоопераций, которые затем должны были «скачком» перейти в коммуны. Руководящие кадры автономного района целиком занялись проведением бесконечных политических дискуссий, а молодые специалисты, средняя интеллигенция, независимо от профессии, поголовно направлялись в деревню для создания кооперативов.

Трудно было Садыку оставить литературную работу в редакции, куда он устроился, но в то же время его неодолимо тянуло в Турфан. Садык удивился, когда услышал, что Момун собирается ехать в Кумул. Почему именно в Кумул? Ведь он из Илийского края. Раз уж не едет к родным, то почему бы ему не поехать в Турфан вместе с Садыком?

Дни были беспокойными, всех торопили ехать, и Садык вынужден был отправиться в Турфан, так и не поговорив с другом по душам.

Момун уезжал на следующий день. Он встал рано и пошел в столовую. Пыль, поднятая дворником, туманом висела в воздухе. Со многих дворов через высокие дувалы валил дым, он медленно поднимался, пеленой расстилался над улицей; детвора выгоняла коров, которых где-то за городом ждал «злой пастух»; с центральной улицы доносились громкие звуки радио.

Момун перешел центральную, единственную асфальтированную в городе, улицу и направился в сторону базара, где находилась «Гапгзя» — знаменитая в Урумчи харчевня. День был не воскресный, а базарная площадь была пуста. «Не сочтут ли меня за лунатика или обжору, в та-



кую рань бредущего в «Гангзя»?» — подумал Момун, приближаясь к харчевне. Из ее окон и из-под навесов валил дым и пар.

Из ближнего переулка, погоняя навьюченных ослов, вышли два дровосека, вскоре вслед за ними прошел человек с двумя козлятами, предназначенными то ли для продажи, то ли для забавы.

— Да-хошан, с-хошан, самсы из курдюка! — выкрикивали танджаны — зазывалы из «Гангзя».

Момун напрасно опасался привлечь внимание к своей одинокой персоне в столь ранний час — за столами сидели несколько посетителей, причем один из них уже наполовину опростал бутылку джуна и с нетерпением ждал закуски. Момун едва узнал Ризайдина.

— Как ты оказался здесь в такую рань? — удивился Момун, подсаживаясь к бывшему сокурснику.

— Салам, салам, Момун-эфенди!.. Какими судьбами? — отозвался Ризайдин. Он попытался сделать по-прежнему надменное выражение, но на распушем от пьянства лице появилась только жалкая гримаса.

«Борец за уйгурскую литературу...» — подумал Момун насмешливо, но выразился совсем иначе:

— Как ваши дела, друг, где обитаете?

— Вот здесь, — Ризайдин показал на бутылку. — В другом месте нас не повяли. — Неожиданно вспомнив о прежних спорах с Момуном, он схватил бутылку: — Выпьем? От этого, надеюсь, не рухнет единство нашего государства?

Ризайдин после университета нигде не работал, и Момун как-то слышал, что он уже успел отличиться в каком-то националистического характера скандале. Пить Момуну не хотелось, слушать Ризайдина — тем более, и потому Момун сказал резко:

— Но в результате заоя, надо полагать, не расцветет уйгурская литература! И вообще, дружок, вам и это занятие, — Момун указал на бутылки, — оказывается, не вдет впрок.

Наступило продолжительное молчание. Момун, наскоро всев прищесенную ему самсу, встал и, не промолвив ни слова, направился к выходу. Спohхватившийся Ризайдин посвешил за ним.

— Одну минутку, Момунджан, подождите, — с неожиданной искренним волнением попросил он. Момун оглянувшись с пренебрежением и нехотя замедлил шаг. — У меня

к вам есть одна просьба,— продолжал Ризайдин.— Я слышал, что вы едете в Кумул...

— Ну и что же?

— Мне хотелось сказать на прощание... Я и раньше думал, что вы способный, настоящий философ, но говорил об этом с насмешкой. Мне мешала признавать вас серьезно... в основном Хапица... Говоря откровенно, я ревновал ее к вам и к Садыку. Теперь у меня к вам просьба: пожалуйста, когда встретитесь с Хавипой, передайте, что я на самом деле не такой, каким казался... Вот что хотел я вам, Момун-эфенди, сказать на прощанье.

Момун заговорил неторопливо, словно размышляя вслух:

— Значит, я должен сказать Хавипе: «Оказывается, Ризайдин понимал все правильно, но только из-за любви к вам и ревности хотел всячески опорочить своих товарищей перед вами, поэтому, мол, и стал националистом. Но теперь, познав бренность мира, он от всего отрекся и предался джуну». Так мне сказать Хавипе?

Ризайдин молчал. Момун повернулся и пошел к остановке автобуса, идущего в Кумул... «Если он не сошел с ума,— думал Момун, ожидая автобус,— то, наверно, потерял душевное равновесие и катится по наклонной плоскости. В нашем современном обществе происходят сложнейшие процессы, не сразу разберешься, что к чему. Есть немало пагубных обстоятельств, которые могут привести людей к душевному кризису. Но при всех трудностях что, кроме смерти, может абсолютно лишить человека возможности бороться хотя бы со своими собственными слабостями...»

Позже Момун понял, что не только Ризайдин, но и некоторые деятели из сивьзьянских патриотов вняли в те дни в уныние и отчаяние оттого, что своевременно попытались ударить в пабат и ничего из этого не получилось. Они оказались вне общественной жизни не из-за поспешности, не из-за бессилия, а потому, что раньше других стали понимать новинистические планы Пекина. Но, оказавшись в опале, такие люди, как Ризайдин, без особых на то прав стали ридиться в одежду страдальцев за правду, великомучеников. Сложив руки они ждали, когда сбудутся их предсказания, вместо того чтобы со всем народом терпеливо и последовательно бороться за свои права.

Садык трясся в кузове машины по пути к Турфану. Машина шла у подножия гор и, словно строптивый конь, бросалась из стороны в сторону. Там и сям в оврагах и ущельях вблизи воды и зелени мелькали аульные юрты. Проехали мимо старой деревни с обветренными и голыми, как саксаул, деревьями, с ветхими постройками и легкими фанзами, с навесами, похожими на козырек старой кепки.

Горы, бесконечные, обдутые ветром, голые, как громадные гончарные печи, как мазары... Безжизненные Турфанские горы!.. От тысячелетней жары они растрескались, раскрыли пасти, ссутулились, чтобы прыгнуть к ручейкам, убегающим вдаль от безмолвных громад.

Эти разноцветные, причудливо выветренные скалы были похожи то на сказочные храмы и пагоды, то на львов и сфинксов, а отдельные громады будто скалили зубы, напоминая дракона, кое-где виднелось нечто похожее на балконы и колонны... Громады стояли безжизненно, безмолвно, словно мираж. Сначала они привлекали внимание своим видом, а затем стали угнетать душу своим каменным безмолвием.

Долго чередовались повороты, подъемы и спуски, пока машина наконец не выскочила в долину великих турфанских песков. Здесь гулял ветер, немилосердно палило солнце.

Садык закутался в плащ, сел спиной к кабине и, глядя на убегающую назад дорогу, с тоской подумал о друзьях — Момуне и Ханипе. Два дня тому назад, когда Момун сказал, что решил ехать в Кумул, Садык заподозрил его в тайном сговоре с Ханипой и подумал, что друзья были неискренни с ним.

«В чем же они провинились передо мной? Если даже Момун и Ханипа любят друг друга, виноваты ли они в этом? Значит, были у них причины не говорить другим о своих, может быть, еще не определившихся отношениях... Все же странно, почему Момун перед расставанием ни словом не заикнулся о Ханипе? Я ведь нередко оказывал Ханипе внимание, и она могла смеяться надо мной. Окажись положение. Они твердили мне, что я будто слишком сентименталец, что на жизнь надо смотреть более практично...»

Садык встал на ноги и, держась за кабину, повернулся лицом к ветру.

Ветер дул из Турфана. Оттого что он дул из родного города, а кругом лежали родные пески, в воображении Садыка встали картины прежней жизни: шумные улицы, журчание воды в глубоких каризах, запах шашлыка и самсы, Саид-ака, Масим-ака, Абдугаит, и наконец Садык живо представил себе сад Сопахуна и старую яблоню, в тени которой они с Захидой познали первую любовь. Садык вновь пережил первое прикосновение девушки, почувствовал ее трепет и увидел глаза — большие ласковые глаза самого близкого человека...

Машина остановилась. Справа от дороги зеленела необычная для пустыни полянка, и посреди нее, как большое зеркало, блестела вода родника. Вместе с молодым шофером из кабины вышел и аксакал, который ехал из Кульджи в Кашгарию через Турфан.

— Ну как, дружище, самочувствие? — обратился шофер к Садыку.

— Как в мельнице, — сказал Садык, стряхивая с себя пыль.

— Осталось немного. Пойдемте освежимся и закусим.

— Есть не хочется, но напиться родниковой воды можно.

Вокруг родника рос молодой тальвик и несколько тополей. На всех ветках, даже на прошлогодних кустах курая, виднелись разноцветные тряпицы, кое-где около земляных очагов торчали конские хвосты, бараньи черепа, под водой поблескивали кольца и монеты разных времен и разной величины.

— Это, сынок, не просто вода! Это — милость аллаха, — объяснил аксакал, наскоро совершив омовение. Он развязал большой кушак, расстелил его на земле и опустился на колени для полуденной молитвы.

Садык знал, что эта безжизненная долина лежит па двести метров ниже уровня моря. Своеобразная, словно кора, поверхность огромной впадины говорила о том, что здесь было когда-то дно моря. Садыку не захотелось с ним зря связываться, объяснять. Наскоро окончив молитву, аксакал продолжал:

— Издревле этот родник считается священным — Авлия-булак. Представьте себе, сколько бедняков он спас от гибели, сколько людей исцелил от хвори. Даже прока-

женные, принося ему пожертвование, излечивались от недуга. Поэтому каждый мусульманин, проезжая мимо, должен спешиться и принести в жертву что-нибудь. — С этими словами аксакал достал из торбы лепешку, отломил половину, опустил ее в воду, а другую половину стал вяло жевать, словно тряпку.

Шофер взял ведро, чтобы налить в радиатор воды.

— Эй-эй! — закричал аксакал. — Не опускай свое грязное ведро... Не положено!..

Шофер посмотрел так, как будто хотел сказать: «Совершать в этой воде омовение — ничего, а зачерпнуть воды для машины — грех?»

— Машина тоже, как и люди в пустыне, жаждет воды. Если ей не дать воды, она захворает. Как говорится, ака, не напоишь — не поедешь, — рассудительно сказал шофер.

Аксакал не нашелся что ответить, недовольно кряхтя, поднялся и направился к кабине.

Через час они въехали в город.

\* \* \*

Турфац предстал перед Садыком таким же, каким он, очевидно, был тысячу лет тому назад: те же узкие пыльные улицы, те же мечети и минареты и те же арбакеши, — кажется, ничего в нем не изменилось... Только теперь Садык чувствовал себя в нем чужим.

Он прошел по всему городу и не встретил никого из своих прежних знакомых. А ведь раньше почти во всех магазинах и ларьках знали его. Где теперь друзья детства? Куда исчезли любящие его лавочники, пожилые седобородые собеседники? Значит, город за эти годы не изменился, но жизнь в нем стала иной. Судьбы людей, как ручейки, прошли по разным дорогам.

На следующий день Садык направился в старую харчевню, в которой когда-то служил подручным у Саида-аки.

Он еле узнал Саида-аку — тот помолодел, несмотря на то что усы его совсем побелели. Зато ясные, с какой-то робостью глаза выдавали прежнего доброго повара. Старик радостно встретил своего бывшего воспитанника.

— Долго вы, Садыкджан, браток, учились. Говорят, много учиться — вредно для здоровья. Помните, я говорил вам: смышлепому человеку бы выучиться читать.

До остального он сам дойдет. К чему нам с вами было знать, что значат все эти «революции», «реформа» и прочее?

— Да, Саид-ака, смысл этих слов, оказывается, постичь до конца невозможно. Мне кажется, суть революции и реформ будет ясна тогда, когда они окончательно осуществятся.

— Нет, браток, я уже понял, в чем тут суть, — уверенно сказал Саид-ака и засмеялся своим открытым дехкашским смехом. Видя, что молодой гость не разделяет его веселья, Саид-ака изменил тон разговора и серьезно спросил: — Ну, рассказывайте, Садык-ака, чему вы научились, за какое дело думаете теперь взяться?

— Думаю учить детей. Но не знаю еще, куда направит районное начальство.

— Сейчас не только дети, но и такие, как мы, старые пши, тоже потянулись к грамоте...

Саид-ака чувствовал в поведении Садыка неуверенность, которая, очевидно, и толкнула старого манджава на непривычное для них обоих «вы». Саид-ака никак не мог перейти на прежний откровенный, простецкий тон.

— Вряд ли я могу чему-нибудь научить вас, Саид-ака.

— Вот тебе па! К чему такая застенчивость?.. Да что же мы здесь торчим, в конце концов? Поехали ко мне. Теперь, Садык-ака, есть у меня и дом, и семья... Словом, и революция, и реформы...

По дороге Саид-ака рассказал о том, что при конфискации владений богачей ему достался дом. Став хозяином, он женился на бедной вдове с двумя детьми, очень хорошей женщине.

— Она у меня очень добрая. Я ей рассказывал о тебе, ака. Кстати, недавно был у нас в гостях Абдугант. Молодчина, настоящим артистом стал. Такие представления показывает, люди в клуб битком набиваются. Он говорил, что есть, мол, у них одно представление, которое когда-то вы написали?! Правда ли это?

— Не может быть, — удивился Садык. Он вспомнил первую свою пьесу. Перед его глазами снова промелькнул печальный образ Захиды. — Нам надо бы, Саид-ака, пойти Абдуганта.

— Его сейчас нет в городе. Все ездит по селам и городам. Говорят, на этот раз поехал в сторону Караходжи.

«Значит, друзья неподалеку. Значит, куда бы меня ни направило начальство, я успею сперва съездить в Караходжу или в Астану и увидеть прежних друзей, узнать у них все, что произошло в Турфанае за эти годы...» — подумал Садык.

Садык побывал на приеме у начальника уезда, откуда был направлен в отдел народного образования. В отделе ему сказали, что он будет учительствовать в селе Буюлук и еще должен включиться в кампанию по созданию высших сельхозкоопераций и коммун.

Саиду-аке не хотелось снова расставаться с Садыком, но задача, выпавшая на долю его воспитанника — учить дехканских детей, — в его понятии была одной из священных человеческих задач. К тому же в Караходже, рядом с Буюлуком, жили такие друзья, как Массим-ака и Зорахан.

Перед отъездом Садык прошелся по знакомому переулку, где стоял дом с темно-красными воротами. Он никого не увидел. Да и кого же мог он теперь встретить? Ни старого Сопахуна, ни милой Захиды там давно уже не было.

«Да и зачем теперь искать встречи с пей?! Неужели только для того, чтобы показать: смотри, мол, какой я ученый человек! А ты — рабыня какого-то ухаря-головореза! Забитая, измученная. Сохрани бог от подобной подлости!»

Садык прогнал от себя мрачные думы и широко шагнул на окраину, в сторону песчаной долины, по дороге, вдоль которой тянулись древние селения.

## XVI

Недаром Кумул называют «Сиротливым»: он стоит особняком, далеко от других городов Уйгурстана. Быть может, потому Халипа была рада приезду Момуна.

Момуна интересовало здесь все: исторические места, школы, жизнь дехкан и ремесленников. Он заметил некоторые характерные отличия здешнего уклада жизни

от жизни в Илийской и Урумчинской областях. В Кумуле, как и в других старинных уйгурских городах, были сильны пережитки и религиозные верования.

История Кумула хранит немало интересных преданий и легенд.

В период маньчжурской династии губернатор Урумчи — Джан-Джун вызвал якобы кумулского ванга (князя) и велел ему узаконить бракосочетание маньчжур с уйгурами. Но кумулский ванг ответил: «Нельзя». Маньчжурский губернатор настаивал: «Почему нельзя? Что будет?» Кумулский князь вынул саблю из ножен, приставил ее к своему горлу и со словами: «Вот что будет!» — перерезал себе горло.

Плодородным будет и кумулский камень,  
Если он возделан нашими руками.  
Только вам за это тумаки да крики, —  
Такова уж «милость» грозного владыки.

Эта популярная песня говорит о жизни кумулских уйгуров, об их угнетателях, приходивших из Внутреннего Китая через пустыню Дуи би — «Дорогу дьявола». Кумулцы любят петь на гуляньях, на пире шаманов, во время работы на току, мастерски рассказывают о прошлом своего края и о чудесах ислама. В течение веков здесь укоренилось чувство национальной неприязни к китайским и маньчжурским завоевателям.

Можно представить, с какими трудностями была связана работа учителей в таких условиях. Они ходили по домам и терпеливо уговаривали родителей отдать детей в школу, всячески стремились оградить молодежь от пагубного влияния знаменитых кумулских ученых-чудотворцев, монахов, отшельников и других мракобесов. Учителю приходилось быть как бы в роли акушера при рождении нового человека — и руководить и руководствоваться стихией здешнего населения.

— Разве можно вмешиваться учительнице в домашние дела своих учеников? Как бы почтенные муллы не возненавидели тебя, доченька!.. — не раз говорила мать Ханины.

Отец же, несмотря на то что тоже служил муллой в одной из городских мечетей, был своеобразных взглядов человеком. Многим сурам корана он давал такие толкования, что у других мулл уши вяли.



«Все свои положения и законы Магомет не привез с небес на крылатом коне-«броахе», а продиктовал, основываясь на своем личном жизненном опыте и познаниях. Но чтобы люди верили и беспрекословно подчинялись законам, он преподносил их от имени аллаха. Чтобы привить людям чистоплотность и необходимость телодвижений для снятия усталости, он требовал по пять раз в день совершать намаз, с целью экономии — месячный пост — уразу. Паломничество в Мекку и многие другие законы также не лишены практического смысла, доченька. Людям надо правильно разъяснять положения Корана. По моему мнению, учителя должны использовать полезные стороны религии. Во всяком случае, доченька, остерегайся противопоставлять науку религии. Ибо народ будет не только против нас, но и против всего нового. Человека надо перестраивать постепенно, всему свое время...»

Слушая полужитейские-полурелигиозные рассуждения отца, Ханшпа задумывалась над тем, как же ей практически заняться своими учительскими делами, завоевать авторитет у родителей.

— Вчера мне стало известно, что еще три девочки и один мальчик не будут посещать школу. Один из них решил якобы учиться в медресе. Как вы думаете, это делается по желанию детей? — спросила Ханипа, глядя в глаза отцу.

— Конечно, это делается по желанию родителей. Дети из твоего класса?

— Нет, из другого класса.

— Кто учитель?

— Учитель... гм... забыла его имя. Но все ученики о нашей улшпы. Если бы вы, папа, когда читаете проповеди, разъясняли родителям, что школы не приносят вреда, вам бы поверили.

— Правильно, поверят. Мы тоже не хотим морочить людям головы и не позорим школу. Поэтому я и говорю, что если дети уходят из школы, то в этом в основном повинны учителя. Если разумный учитель, стараясь воспитать детей в антирелигиозном духе, настраивает их против религиозных родителей, то в конце концов он настроит детей против себя, потому что родители им дороже. Я по этому поводу беседовал с вновь прибывшим молодым человеком, которого зовут Момун; он серьезно

вадумался над моими суждениями. Надо оставить мысль искоренить религию одним махом.

На вчерашнем собрании тот самый учитель, имени которого Ханипа не назвала, заявил: «Хоть тысячу лет будет учиться дочь муллы в университете, она не сможет стать учительницей!..» Хапипе тяжело было слушать эти слова. Конечно, оратора крепко раскритиковали за необоснованные нападки, но все же боль в сердце Ханипы не прошла. Иногда она соглашалась с отцом, а иногда думала, что прав этот грубый учитель, предложивший открыто действовать против религии.

Девушка была рада приезду в ее город умного и волевого Момуна. Но, занятые работой, они могли встречаться редко, только по выходным дням. Момун, как и все учителя, в свободное от занятий время работал с дехканами.

Как-то Ханипа вдвоем с подругой зашла к Момуну домой. Момун обрадовался приходу девушек и засуетился, желая угостить друзей.

— Момун, не беспокойтесь. Мы зашли по пути и сейчас уйдем, — сказала Ханипа.

— Спасибо. Очень хорошо сделали, что не побоялись прийти ко мне. Вас, оказывается, кумулские муллы называют безбожниками.

— Но зато вас могут подвергнуть порке — «дарри» в мечети?

— Нам-то положено. Не случайно, когда родители отдают мальчика в учебу мулле, говорят: «Мясо ваше, кости наши».

Момун попросил девушек подождать его и вышел.

Внимание Ханипы привлек мелко исписанный лист.

— Письмо Садыкджану... Тому Садыкджану, о котором я тебе рассказывала. А что, если мы его прочтем?!

Не дожидаясь ответа подруги, Ханипа стала торопливо читать письмо.

«Садык! Ты прости меня, друг. На следующий день после того, когда мы с тобой расстались, я зашел к тебе. Двери твоей комнаты были широко раскрыты. Я очень сожалел, что не сказал тебе обо всем. Я даже не знаю теперь, куда посылать это письмо. Но невысказанные мысли не дают мне покоя. Во-первых, теперь я хочу сказать: когда я был в Урумчи вместе с тобой, я не совсем понимал твою душу и твои переживания... Вполне мо-

жет быть, что ты обиделся на то, почему я не пожелал ехать в свои родные места, а попросился в Кумул? Я выбрал Кумул потому, что раньше в нем не был. Кроме того, передо мной встал образ нашего общего доброго друга — Ханипы.

И действительно, ее отношение ко мне оправдало все мои надежды: Ханипа ухаживает за мной, как за дорогим гостем. Ее душа полна любви к людям... Особенно она воспламеняется, когда мы вспоминаем тебя. Ей-богу, иногда я тебе завидую, Садык! Но это тоже для меня новое и приятное ощущение. Жаль, что мы не вместе. Видишь, каким я стал сентиментальным...»

Здесь письмо прерывалось... Ханипа отошла к окну, в ее больших черных глазах выступили слезы, губы дрожали.

Говорят, в капле воды отражается весь мир, но как трудно бывает человеку увидеть в той капле отражение своего мира, так же трудно увидеть и передать словами бесконечные чувства в сердце девушки. В памяти Ханипы встали и беседы в парке университета, и минуты, когда она ожидала Момуна с экзамена, голос Садыкджана при чтении «Ипархан», букет, который он утром собирал в саду, и его грусть во время последнего свидания...

Вернулся Момун и, как будто все поняв, попытался веселыми прибаутками разрядить обстановку.

\* \* \*

Пока письмо Момуна шло до Турфана, Садыка тем временем арестовали. Едва он прибыл в селение на работу, как через два дня его водворили в Турфанскую тюрьму, в камеру, где сидели картежники, воры, курильщики аваша и другие преступники. Ему было предъявлено обвинение в том, что он зарезал ни в чем не повинного Шакира и тот, истекая кровью, умирает.

\* \* \*

Шакир тяжело переживал разлуку с матерью, больной, оскорбленной, измученной. Он жалел о том, что в тот кошмарный день не смог забрать ее с собой. Он знал,

что мать скорее умрет, чем расстанется с мужем, данным ей богом.

Шакир мучительно искал выхода. С надеждой он думал о том, что, когда родится сын, возможно, мать захочет увидеть внука. Захида тоже жалела старую женщину и рвалась проведать ее, помыть ей голову, расчесать волосы. Но Шакир и слушать не хотел, чтобы Захида пошла в этот страшный дом.

И вот Марпуа родила сына. Шакир поспешил сообщить матери о своей радости. Он приехал в город и, нигде не задерживаясь, направился домой. Хотя ворота были не заперты, на дверях дома почему-то висел большой замок. Шакир оторопел. «Хорошо, что нет дома сегодня отца, но где же мать?!» Он осмотрелся. Нигде никого. Шакир подошел к двери и услышал за ней слабый стон. Шакир забеспокоился.

— Мама! Мама!

— Шакирджан... Сынок! — слышался слабый отклик из-за двери.

Шакир ухватился за ручку и изо всей силы рванул дверь. Замок сорвался вместе с цепью, соскочившая с одного шарнира толстая дверь с гулом ударилась о стену.

В углу полутемной комнаты на ветхом одеяле, постланном на полу, лежала старая Гулямхан. Шакир опустился на колени. Лицо матери было отекившим, глубоко запавшие глаза еле мерцали, словно стекляшки под водой. Вся она горела. У Шакира перехватило дыхание. Мать, забыв о себе, гладила лицо сына, стоявшего перед ней на коленях, взяла его руку своими ослабевшими пальцами и приникла к ней губами.

— Что он с тобой сделал, мама?!

Старуха почмокала высохшим ртом: она не могла шевельнуть языком. Силы ее иссякли, она уронила голову на подушку. Шакир осмотрелся — нет ли воды. Все в доме было покрыто пылью. Кухонная посуда, ведра были пусты, бочка рассохлась. Шакир не верил своим глазам. Он взял ведро, принес воды.

— Мама, я приехал, чтобы забрать тебя. Сюка твою родила. — На его глазах выступали слезы.

Гулямхан приложила губы к рукам Шакира, простонала:

— Я рада, дети... дети мои!

Гулямхан день ото дня приходила в себя. Марнуа хлопотала около ребенка, кормила его, пеленала. Зорахан всецело отдалась заботам о своей увеличившейся семье. Шакир и Масим-ака возвращались с поля поздно вечером, а с рассветом уходили снова и под свежий утренний ветерок пели песни о жатве.

И вот в один из таких беспечальных дней... Шакир вечером возвращался с поля. У самого дома его встретил бандит и ударил ножом. В это время неподалеку случился шаман Реимша. Он задержал бандита.

Старуха Гулямхан, увидев потерявшего сознание Шакира, приложила лицом к окровавленной груди сына и скончалась — избавилась от своих полувековых страданий. Марнуа, Захида и Зорахан от горя не находили себе места. Они стояли во дворе и плакали, боясь зайти в дом. Лежавший в люльке младенец надрывно кричал.

Шаман Реимша, волнуясь, путано рассказал следователю:

— Я... видите ли, господин... Я только что вернулся с шаманства и хотел расседлать осла... Да, чуть не забыл. Еще в обед, когда я ехал шаманить, я встретил этого незнакомого парня. Одет он был чисто и модно, но худой и бледный... Но откуда мне было знать, что он явился сюда, чтобы убить человека!

— Итак, вы только что приехали. Вот отсюда и начинайте.

— Значит, я только что приехал и неожиданно слышу крик: «Не убегай!.. Негодяй!..» «Может быть, следом за мной пришел какой-нибудь злой дух?» — подумал я и, взяв в руки камчу, пошел на крик. Я дошел до стены дома Масима-аки и увидел: кто-то лежит у дувала, не может встать. В это время с другой стороны дувала показалась чья-то тень, и я как пуля кинулся за ним. В два счета я догнал бандита, свалил его, связал руки и ноги веревкой и бросил в яму около стены. Я вернулся к пленному, а там уже никого не было! Подбежал пес Масима-аки, стал тереться о мои ноги и скулить. «Пес хочет мне что-то показать», — подумал я и последовал за ним. У дома лежал человек. Я узнал Шакира... Ей-богу, больше ничего не знаю, господин...

Следователь долго писал что-то, потом Реимше ручку подал:

— Здесь записаны ваши показания. Если вы говорили правду, распишитесь.

Реимша с опаской намазал черпилами свой не совсем чистый здоровенный палец и приложил к бумаге.

Когда он вышел, в комнату вошел Масим-ака.

— Вы из города? Как дела? — обернулся к нему следователь.

— Тяжело! Сердце Шакирджана еле-еле бьется. Хотели сделать переливание крови: ни моя, ни друга его Акбара не подошла. Взяли у Захиды... Дочь моя совсем побледнела, там в больнице осталась!

— Что говорят врачи? Есть надежда?

— Шакирджану нужна еще кровь.

— Пусть желающие дать кровь садятся в мою машину.

— Кто-то сказал, что бандит отправлен в Турфан. У этого кровожадного зверя нет ни капли жалости... Как могла подняться рука негодяя на такого джигита?

— Реимша мучил совсем невинного человека...

— Как невинного?

— Реимша поймал парня по имени Садык, прибывшего только вчера в Буюлук работать учителем.

— Садык?

— Да. Оказывается, вас он хорошо знает, видите ли...

— Браток, да он для меня дороже родного брата!.. Клянусь, что он до сих пор мухи не обидел. Боже, говорите — Садыкджан?! — с этими словами Масим-ака, схватившись за голову, вскочил с места. — Его сейчас же надо выпустить, браток. Ручаюсь за него, как коммунист!..

— Сейчас его выпускать нельзя. Освободим тогда, когда найдем настоящего бандита.

— Пока найдете настоящего бандита, что с ним может стать, браток. Он такой мягкосердечный малый. Пойдемте в тюрьму!

— Пойти можно. Но не для свидания с Садыком, а с важным поручением. Для этого я вам раскрою частичку тайны.

— Я готов помочь. Но каким образом мог Садык попасть в эту историю, а?!

— Потом узнаете. А сейчас слушайте... Как въедем в город, я сойду с машины. Вы же поедете дальше. Когда приедете в больницу, пусть ваша дочь отнесет в поли-

дейское управление вот эту бумажку. Но только лицо пусть закроет платком.

— Пока ничего не понимаю, браток.

— Едемте, по дороге все объясню.

Следователь хорошо знал нравы и обычаи турфанских уйгуров. Когда он утром увидел избитого и перевязанного Садыка и обменялся с ним несколькими словами, ему стало ясно, что Садык — не преступник. Садык шел к Масиму-аке и увидел возле дома двух дерущихся мужчин. Бандит побежал, Садык бросился за ним, но тут кто-то неожиданно ударил его из-за угла. Его показания полностью подтверждали ответы Реймши. Было ясно, что настоящий преступник бежал, оставив на месте преступления кивжал.

Кто он? Как напасть на его след?

В городе, сойдя с машины, следователь пошел в кузнечный ряд. Издалека слышны были удары по наковальням, виднелась снопы золотистых искр. У одного старого мастера, виртуозно взмахивающего молотом, следователь спросил, кто здесь может изготовить хороший кивжал.

— Видите ли, браток, сейчас я такой работой не занимаюсь. Власть запрещают изготовлять холодное оружие, — ответил кузнец.

— Дядя, я не собираюсь заказывать вам кивжал. Не можете ли вы сказать, кто мог изготовить вот этот кивжал и по чьему заказу?

Старый мастер взял в руки кивжал, посмотрел внимательно и многозначительно улыбнулся, как улыбаются при виде знакомой вещи.

— Это не мой кивжал. Но я знаю, кто его изготовил и для кого. — Кузнец для проверки зажал нож в тисках и, проведя подпилком по острию, сказал: — Этот кивжал, обоюдоострый, с желобками по обеим сторонам, с ушками между лезвием и ручкой, заказывал вор Нодар. А выполнял заказ горбатый Азалдин с улицы кожевников. Только у него есть такая веркавеющая сталь.

Следователь поблагодарил старика. Выйдя из кузницы, он направился к дому Сопухуна. Там он встретил оперативных работников, наблюдавших за домом, и вместе с двумя из них вошел во двор.

Около джоза — пизеньского стола, поставленного посредине комнаты, полужела на мягкой подстилке, облокотившись на луховую подушку, Нурхан-ача и что-то

жевала. Она рассеянно посмотрела на неожиданных гостей, не зная, сердиться на них или улыбнуться. Но, рассмотрев на пришельцах военную форму, Нурхан-ача растерянно вскочила, попросила гостей пройти в комнату и предложила им сесть на почетное место.

— Сами тоже садитесь! — сказал следователь после втянувшегося молчания.

Нурхан-ача не пошевелилась. Тогда следователь положил на стол кинжал с сохранившимися следами крови и поправил кобуру нагана. Коленки Нурхан-ачи затряслись, и она грузно опустилась на ковер.

— Этот кинжал вы дали Нодару, чтобы убить Шакира. Нам известно, что вы поставили перед ним условие: «Только после того как ты убьешь Шакира, я пойду за тебя замуж».

— Боже, спаси меня! Что... что вы говорите?!

— Не волнуйтесь. Если это ложь, то скажите правду! Ибо всю вину сваливают на вас.

— Я... одинокая сиротка... Они мучили меня... Оскорбляли... Этот пожар они вчера наставляли на меня... У-у-у, злодеи!..

— Перестаньте, не плачьте! Выходит, кто-то натворил, а вину хотят свалить на вас?

— Все натворили они сами...

— Кто — «они сами»?

— Зордунбай и хозяин этого пожара, кровник Нодар!.. Шакир для меня родной брат. Он заступался за меня, он поругался с Зордунбаем. Недавно, когда Шакир увез свою мать, у Зордунбая пропали серебряные слитки. Из-за них они кого угодно зарежут!

Следователь молчал. Нурхан-ача понемногу успокоилась и подробно рассказала о многих грязных делах Нодара и Зордунбая.

Следователь с полицейскими вышел со двора Сонахуна. Из ворот дома Зордунбая, из самых больших ворот на этой улице, вышел сам Зордунбай с Подаром. Преступники направилась в центральную часть города, но подозревая, что за ними следят. В их походке и жестах следователь заметил перевозность, признаки плохо скрываемой тревоги.

Зордунбай с Подаром прошла во двор большой мечети. Только что закончилась полуденная молитва, и бан-



диты, дождавшись, когда люди вышли из мечети, ворвались туда.

— А-а, попался!..

Они набросились на Шавката-муллу, который только что отошел от алтаря — махраба.

Следователь отправил одного полицейского, чтобы тот вернул в мечеть богомольцев. Он знал, что в отсутствие верующих арест в мечети может быть опротестован духовными властями.

Когда богомольцы вернулись, следователь вошел в мечеть. Никогда еще своды мечети не оглашались таким криком.

— Сопахуна убивать должен я, а владеть его богатством будете вы? — кричал перепуганный мулла.

— Ты не мулла, а вор! Поганый! Ты увидел, что мой дом не заперт, и утащил мое добро! — кричал Зордунбай, ощупывая карманы и складки кушака муллы.

Наконец Зордунбай завладел тяжелым мешочком Шавката-муллы и, не выпуская его из рук, стал бить Шавката по лицу, но тот, отплевывая кровь, кричал о «шеите» Сопахуне и о своей доле. Нодар сильным ударом свалил муллу. Зордунбай, прижав к груди мешочек, побежал к выходу, но Нодар сбил его с ног. Зордунбай упал, из мешочка со звоном посыпались золотые и серебряные монеты и украшения. Нодар выхватил из рук Зордунбая мешочек и кинулся к наружной двери, но ему преградили путь богомольцы. Нодар метнулся в сторону, но навстречу ему шагнул полицейский с наганом в руке. У Нодара бессильно опустились руки. Из синего мешочка медленно сыпались к ногам драгоценности, они блестели и искрились в свете дня.

— А теперь, уважаемые мулла и мюриды, вы не станете возражать, если мы уведем из священного места этих почитаемых вами правоверных? — спокойно обратился следователь к богомольцам.

Толпа одобрительно зашумела.

## XVII

Масим-ака и прибывшие с ним однопосельчане застали Захиду взволнованной, встревоженной и в то же время радостной. Врачи сказали: «Есть надежда!»

Когда дехкан повели в лабораторию для анализа их

крови; Масим-ака, поглаживая голову Захиды, передал ей просьбу следователя и вручил письмо.

— Пока ты вернешься, дочешка, я еще раз узнаю о его состоянии, а потом мы возвратимся в Караходжу. Твои родственницы остались одни, да и старую Гулямхан мы сами должны похоронить.

Захида вышла из больницы и пошла на центральную улицу. Она как бы ощущала пальцами чрезвычайную важность переданной ей бумажки. Захиде казалось, что эта записка имеет непосредственное отношение к ее судьбе. Захида украдкой посмотрела на записку. Всего пять-шесть слов. Не прочесть ли?!

«Он действительно невиновен. Я пошел по верному следу. Прошу взять под наблюдение черные ворота. Посылаю с человеком, с которым вам надо поговорить.

Б р а т ».

Захида ничего не поняла.

В кабинете начальника полицейского управления сидели двое посетителей. Начальник прочитал записку и нажал на кнопку в столе. В дверях появился полицейский. Начальник передал ему записку и вежливо обратился к Захиде:

— Садитесь, пожалуйста. Вы кем приходитеесь Шакиру?

— Я... сестра Шакира.

— Как вас зовут?

— Захида.

Сидевший у двери молодой джигит удивленно и растерянно посмотрел на взволнованную девушку и тихопьюко шепнул соседу:

— Она самая, Саид-ака!

Начальник полиции спросил шептуна:

— Абдугаит, вы знаете эту девушку?

Захида вздохнула, услышав знакомое имя, глянула на юношу.

— Я ее никогда не видел, но слышал о ней...

— А вы, сестра, знаете Абдугаита?

— Я тоже слышала.

— От кого?

Захида в замешательстве молчала.

— Ну, хорошо, не затрудняйтесь, сестра.— Начальник встал.— Я хочу сказать вам, что близкий вам чело-

век Садыкджан был арестован по ошибке. Шамаи Рэйиша задержал его и в горячах избил, приняв за преступника. Сейчас мы его освободим.

Мог ли подумать Садык, что именно так произойдет его встреча с любимой!

В первое мгновение он не поверил своим глазам. Он замер с вытянутыми руками, еле выговорил: «Захида!..» Захида, с глазами, полными любви и сострадания, бросилась к нему и заплакала.

Абдугаит и Саид-ака вышли в коридор. На глазах старого манджана выступили горячие слезы.

\* \* \*

Шакир был очень слаб. Один из пожевых ударов пришелся по горлу, и Шакир не мог говорить. Он благодарил товарищей взглядом, пожатием руки и закрывал глаза.

Врачи запретили всякие свидания и, кроме Марпуа, никого к больному не пускали.

Шакир подолгу смотрел на Марпуу, молча гладил ее руки и взглядом своим и жестами пытался вселить в нее надежду и веру в свое выздоровление. Марпуа глядела в лицо мужу, и багровый рубец под глазом Шакира казался ей кровавой слезой. Шакир засыпал, просыпался и опять молча смотрел на жену и успокаивал ее взглядом.

Однажды Шакир очнулся после короткого сна и неожиданно заговорил:

— Как-к... мама?

Марпуа растерялась, по ее щекам потекли слезы.

После тяжелой минутной тишины Шакир продолжал:

— Как мама решила назвать нашего сына?

Марпуа бесконечно обрадовалась тому, что слышит наконец голос мужа.

— Мама качала зыбку с нашим малышом, и я слышала, как она называла его Аркинджацом...

Шакир улыбнулся.

Марпуа хотела рассказать о Захиде и Садыке, но, вспомнив предупреждение врачей — поменьше волновать больного, промолчала. Кроме того, Марпуа еще не знала, с чего начать и чем закончить этот сложный рассказ: ей казалось, что о любви Захиды и Садыка, их страданиях

и обретенном счастье можно рассказывать всю жизнь и не рассказать.

Шакир улыбнулся. Марпуа встала, прижимая руки к груди, как бы стараясь придержать и унести с собой эту бесконечно дорогую для нее улыбку.

Через две недели Шакир выписался из больницы. К тому времени закончился суд над бандитами и были справлены поминки по Гулямхан.

Садык самозабвенно отдавался работе в школе и среди дехкан. Захиду радовало, что ее муж и Шакир поняли друг друга и подружились.

По вечерам Шакир и Садык оживленно беседовали. К их разговору обязательно подключался и Масим-ака. Со своей долгой участия появлялся в доме и неугомонный весельчак Абдугаит, приезжавший из Турфана. С присутствием ему легкомыслием он всякий разговор старался свести на шутку.

Однажды, слушая рассказ Абдугаита о его прошлых проделках, Шакир не выдержал и по-дружески прервал его:

— Слушай, дружище, в народе говорят: «Что прошло, того не вернешь!» Давай лучше поговорим о будущем.

— Разве я какой-нибудь ученый, чтобы предсказывать будущее? — изумился Абдугаит.

Шакир обернулся к Садыку:

— Садыкджан, разве артистов нельзя причислить к ученым?

— Некоторых, конечно, можно...

— Наш Абдугаит, наверно, из артистов-кумиров, соблазнитель. Забывая, что у него есть молодая жена, он то и дело заводит разговор о кашгарских девушках.

Абдугаит расхохотался:

— О том я и говорю! Половину моего сердца захватили в Кашгаре, другой половиной завладела курносенькая смуглянка из нашего ансамбля. Поймите мое положение!

— И долго ты жил с разорванным сердцем? — спросил, улыбаясь, Садык.

— Нет, моя курносая не из таких! Как только приехала в Турфан, взяла меня в свои когти, и я даже оглянуться не успел на свою прошлую вольную жизнь!..

Распахнулась дверь, и ворвалась восторженная Захида:

— Советские люди вскрыли подземную реку! Народ в селении празднует, а вы сидите!

Масим-ака и Зорахан, Марпуа с ребенком на руках, Шакир, Абдугант, Садык и Захида — все выскочили на улицу.

— Вода! Вода! — доносилось отовсюду.

Захида бежала рядом с Садыком, крепко держалась за его руку. Запыхавшись, они поднялись на развалины древнего города Дакняпуса.

— Вот это действительно всенародный праздник! — воскликнул Садык, глядя на равнину.

По направлению к скважине, поднимая пыль, двигался разноголосый, разноцветный людской поток. Старые и малые стремились увидеть чудо, о котором их деды и прадеды мечтали. Казалось, поднялись, встали из могил славные предки, страхнули вековечный прах угрюмые рабы и идут, чтобы увидеть священную воду земли.

В эту ночь Садык не спал. Он сидел у окна в той самой комнате Масима-аки, где они когда-то встретились с Захидой и признались друг другу в любви.

Проснувшись на рассвете, Захида с затаенным дыханием, боясь, шевельнуться, долго наблюдала за мужем.

Временами Садык переставал писать, медленно поднимал голову, неподвижно смотрел на алеющий восток, затем снова склонялся к бумаге, и в тишине становилось слышно, как отрывисто шуршит перо.

Захида тихо натянула платье и, нарушая обычай, босяком побежала к мужу. Ей показалось, что Садык глянул на нее грустными глазами.

— Ты до сих пор готовишься к урокам? — удивилась она, впервые обратившись к мужу на «ты».

Садык ответил не сразу. Он опасался, что Захида не сможет так быстро понять его вдохновенное состояние, а он не сможет подобрать подходящих слов для объяснения. Ему захотелось взволнованно обнять Захиду, как в первую ночь под яблоней, и полететь вместе на крыльях мечты и воображения, ничего не объяснять и все поить молча. Сейчас Садык был поэтом, человеком необыкновенным, не простым смертным.

Его рассеянный взгляд упал на письмо Момуна, по-

лученное накануне. Верный друг выручил Садыка и на этот раз.

Садык поднялся, обнял жену за плечи и отвел ее от окна.

— Тетя Зорахан, наверно, уже встала. Ты помоги ей приготовить завтрак, а потом прочтешь то, что я написал.

Когда Захида вышла из комнаты, Садык снова вернулся к подокошнику и стал писать ответ Момуну:

«...Мне всегда казалось, что счастье я найду только там, где родился и вырос. Так оно и получилось. Хорошо любить людей, страдать за них, но еще лучше быть им полезным.

Какое удовольствие доставляет мне школа, возможность учить детей, босых и черномазых, каким и я был когда-то, как жадно они воспринимают каждую крупинку знаний, словно пустыня влагу! Я верю, что эти дети, как и орошаемая нынче пустыня, дадут обильные всходы, о которых мечтал и мечтает наш народ...»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Всего лишь какое-то мгновение назад широкая, с глубоким отливом полоса реки лежала безмолвно и мертво среди темных бесснежных берегов. И вдруг раскатисто треснул лед, раскалываясь на глыбы, обнажая темную воду.

Начался ледоход. Река, словно богатырь, рвала на себе ледяной панцирь.

Момун и Хапила стояли возле самого берега Или и как завороженные смотрели на ледоход. Белые льдины были похожи на кучевые облака, они с треском громоздились одна на другую, и река теперь напоминала ток в самый разгар уборки хлопка.

Момун положил руку на худенькое плечо жены и привлек ее к себе. По изможденному лицу Хапины пробежала едва заметная улыбка, но глаза оставались печальными, а слегка поджатые губы вздрагивали, выдавая волнение. Момуну показалось, что она что-то хочет сказать, но Хапина молчала, и тогда он заговорил сам, наверное, о том же, о чем думала сейчас жена.

— Река уносит льдины через границу, в Союз... И жизнь уносит туда же людей нашего края... Теперь там и мои родители, и все наши родственники. За них можно не беспокоиться. И только мы с тобой здесь все чего-то ждем, на что-то еще надеемся. Но что у нас впереди — никто не знает. И что нам с тобой делать — просто ума не приложу.

Ханипа с грустью посмотрела на лицо Момуна, на его острые скулы, запавшие глаза и подумала, что ведь совсем недавно, каких-нибудь два-три года назад, он был молод, здоров, жизнерадостен. Тогда они учились в Сибирском университете и были полны надежд...

Ханипа подавила вздох и, пытаясь отвлечь Момуна, а заодно и себя от невеселых, тревожных мыслей, сказала:

— У нас на юге, в Кумуле, как и в Турфане, где теперь Садыкджан, нет такой реки, и там никогда не видела ледохода. — Ей подумалось, что напоминание о Садыке, их общем друге, отвлечет от тяжелых дум Момуна. — А картина красивая. Был бы здесь Садыкджан, он тут же сочинил бы стихи, как ты думаешь?

— Да, он пришел бы в восторг от разгула нашей Илий, — согласился Момуна. — Судя по его письму, он совсем не изменился. Как и положено истинному поэту. Его прижимают, его не печатают, но он все равно не сворачивает с избранного пути. — Момуна задумчиво посмотрел на реку. — Он неисправим, наш Садык. Как неисправима река в своем течении. Вот так же он бурлит и бушует в своих стихах.

Только скрежет льдин и плеск освобожденной волны нарушали их невеселую беседу.

Домой они шли молча, занятые своими мыслями. Солнце уже перевалило за полдень.

Когда миновали Джиргилан и поднялись на взгорье, откуда уже была видна Кульджа, позади послышался скрип повозки, и они сошли с дороги на обочину. Молодой арбакеш ехал один в пустой арбе. Он остановил лошадь и пригласил Ханипу и Момуна садиться. По дороге разговорились. Парень оказался студентом, мобилизованным на полевые работы. Узнав, что Ханипа и Момуна недавно приехали из Кумула, он с интересом стал расспрашивать о тамошних новостях, о жизни в городе. Сам же отвечал на вопросы сдержанно, уклончиво, видно

было, что парень осторожничает, не идет на откровенность.

— Дела идут неплохо... Дехкане работают самоотверженно... Есть успехи в деле Большого скачка, — односложно отвечал он.

Момун и Ханипа понимали причины его сдержанности — такие настали времена, держи язык за зубами, иначе будет плохо. Тем не менее сам Момун откровенно рассказал студенту, что положение в Кумуле тяжелое, ничуть не лучше, чем в Кульдже, люди голодают, повсюду неразбериха, многие уходят в Советский Союз. Парень, слушая его, молча вздыхал. Наконец спросил:

— Ну, а вы чем занимаетесь в Кульдже?

Момун только рукой махнул.

— Да ничем, в том-то и суть. Мы с женой учителя, надеялись работать по специальности, но куда там! Мои родители уехали в Союз, и теперь ни мне, ни жене не доверяют никакого дела.

— Учителя в селах работают где попало, только не в школе, — заметил арбакеш и неопределенно добавил: — Возможно, в городе другое положение.

— Нет, браток, и в городе, насколько мне известно, учителю устроиться трудно. А я, глупец, еще мечтал заняться научной работой. Теперь вижу, что либо придется вернуться в Кумул, либо вообще искать совсем другую дорогу в жизни.

Арбакеш подхлестнул лошадь и с горечью воскликнул:

— Научная работа, школа, мечты, э-эх! — Но тут же спохватился и проговорил спокойнее: — Должно быть, вам известна повал установка: сперва нужно построить коммунизм, а потом уже заниматься наукой.

Момун усмехнулся и как бы про себя сказал:

— Однако коммунизм одним кетменем и лозунгом не построишь...

Ханипа не принимала участия в разговоре, молча, задумчиво смотрела на дорогу.

Когда доехали до Каландара, что на восточной окраине Кульджи, арбакеш натянул вожжи и остановил лошадь. Момун вопросительно посмотрел на парня, и тот пояснил в некотором смущении:

— Видите ли... мне надо сворачивать на Чимилак.

Момун и Ханипа поблагодарили и сошли.



— Я мог бы вас и до дома подбросить, но сами знаете... — добавил арбакеш в замешательстве, — мне скажут: зачем возишь интеллигентов. А вам припишут буржуазные пережитки.

— Понимаю, друг, понимаю, — успокоил его Момун. — И на этом спасибо, нам тут идти недалеко.

\* \* \*

Ханипа и Момун остались вдвоем.

Вечерело. Вскоре затих скрип уходящей арбы и слышалась заунывная песня арбакеша. Видно, и ему было невесело.

На окраине Кульджи стояла гнетущая тишина. Изредка ее нарушало только тявканье голодных псов во дворах.

Пройдя по узкой улочке ближе к центру, они увидели мрачное здание городского парткома. Одним своим видом оно будто властвовало над городом.

— Может быть, еще раз надо зайти в отдел кадров, — сказал Момун, — и поговорить с начальством?

Ханипа не ответила, лишь плотнее прижалась к мужу, молча ему сочувствуя. Что им даст еще один разговор с начальством, разговор не только пустой, но и оскорбительный? Ведь официальный ответ ими уже получен: поскольку Ханипа и Момун прибыли в Кульджу без разрешения Урумчи, то есть центра, значит, они не имеют права жить здесь и работать. Вернуться в Кумул им, конечно, можно, никто им этого не запрещает, но для чего? Только лишь для того, чтобы «закалять себя физическим трудом»?

\* \* \*

Когда родители Момуна приняли решение переехать в Кульджу, они надеялись на то, что оттуда им легче будет перебраться в Семиречье. Каких-то сорок — пятьдесят километров отделяло Кульджу от советской границы. Перебраться они хотели, разумеется, всей семьей, вместе с Ханипой и Момуном. Поначалу Момун с ними согласился, и семейный замысел был уже близок к осуществлению. Однако Ханипа отказалась покинуть родину. Своевольные снохи не на шутку обидели стариков, но

своих намерений они не изменили и ушли через границу сами.

Момун не пытался уговаривать жену, он не был в обиде на нее, и даже наоборот: верность родине, которую проявила Ханипа в трудный момент, твердость ее характера воодушевили тогда Момуна — и он принял сторону жены без особых колебаний.

Теперь же Момуна удручала неизвестность, не было никакой уверенности в завтрашнем дне. Как жить? Что делать? Никакой перспективы, никаких впереди про-светов.

Казалось, совсем недавно его мысли и чаяния были созвучны времени, все было ясно, он жил надеждой на работу в науке — и вдруг оказался в пустоте. Безысходность давила его, он не знал, что его ждет завтра, послезавтра, через полгода, через год...

Вот они молча бредут с женой по притихшему городу. Какой жизнерадостной, многолюдной, пестрой и веселой была Кульджа в недавние времена! А теперь ее жители затихли, сникли, захирели, словно куры, на которых напала чума. Что же случилось такое, из-за чего, почему?.. Хлеб из гаоляна, бессонные ночи и вопросы, бесконечные и безответные...

А вот и их дом, унылый и тихий, с оголенным садом, которому, казалось, не суждено больше никогда зацвести.

— Ты что-то сказала, Ханипа? — пробормотал Момун, желая хотя бы звуком голоса отогнать надоевшие мысли.

— Мне кажется, не сегодня завтра должно что-то измениться, Момун. Или мы получим хорошее письмо, или в газетах появится важное и нужное нам сообщение. Но что-то должно измениться.

«Дай бог, чтобы поскорее!» — хотелось воскликнуть Момуну, но он сказал другое:

— Хорошо, когда человек верит. Нет на свете большего несчастья, чем утратить веру... Впрочем, я теперь понял, что вынужденное бездействие — тоже беда немалая... Вера, надежда, мечта, — проговорил Момун задумчиво. — Хотя и мечтать сейчас не хочется, чтобы не травить душу.

— Нет, мечтать нужно, Момун, — негромко отозвалась Ханипа. — О другой жизни.

Момун слабо улыбнулся ей и прижал к себе. Все-таки она молодец, не падает духом.

У входа во двор они заглянули в почтовый ящик, вынули оттуда газету. Нетерпеливо пролистав ее, они не нашли там ничего нового.

\* \* \*

Прошел ледоход на Или, наступила весна. Но и она не принесла перемен. Время будто не шло, а вертелось по кругу, как пустые жернова. Ханипа и Момун тем только и жили, что обменивали кое-что из одежды на продукты да ждали вестей от родственников из Семиречья, от друзей из Урумчи и Турфана.

Предчувствие все-таки не обмануло Ханипу — они получили наконец письмо от Садыка. Он приветствовал решение Ханипы остаться на родине, а Момуну горячо советовал набраться терпения и мужества. «В любых, самых трудных обстоятельствах, — писал Садык, — человек может и должен отдавать свои знания тем, кто в этом нуждается». О себе он писал скупно — «жив и здоров», сообщал, что старый Масим-ака по-прежнему раис — глава дехканской общины в Буюлуке, неподалеку от Турфана, что живут они вместе большой семьей — и Захида, и Марпуа, и Шакир. Все шлют им привет и самые добрые пожелания. В заключение Садык писал, что если Момун и Ханипа пожелают приехать к ним в Буюлук, то могут это сделать в любое время, хоть завтра.

Приятно, радостно было Момуну и Ханипе получить трогательную весть от друга. Тем более, что письмо заканчивалось таким приглашением. Так надо ли теперь медлить? Почему бы не поехать туда? Там они будут вместе с Садыкджаном и Захидой, вместе с Масимом-акой и другими дехканами. Любое горе легче пережить с добрыми людьми.

На том и порешили — уехать из Кульдики в Буюлук.

На следующий же день Ханипа и Момун пришли в отдел кадров. Их принял заместитель начальника Сан Ши, худощавый китаец с тонкими губами. Выслушав их краткую просьбу — направить на работу в Турфанский округ, Сан Ши с усмешкой, покровительственно сказал:

— Мы обеспечиваем работой только китайских граждан. А вы, товарищ Момун Талиппи, пришли в свое вре-

мя советское гражданство. Никто вас на это не толкал, правильно? Вы сами умудрились. Так что можете теперь последовать примеру своих родителей. А вам, Ханипаканум, добро пожаловать, вы китайская гражданка. Если вы хотите работать в Турфае или где-нибудь на селе — пожалуйте.

Сан Ши пожал плечами и направился к двери, слишком откровенно давая понять, что разговор окончен.

В коридоре Момун и Ханипа увидели еще десятка полтора просителей. Среди них Момун узнал знакомого еще по учебе в Урумчи журналиста. «Он тоже советский подданный, — вспомнил Момун. — Значит, и ему теперь нет житья здесь. А ведь раньше он был широко известен...»

Тяжкое, гнетущее впечатление осталось у Момуна после визита в отдел кадров. С еще большей остротой он ощутил, что в Кульдже началось что-то непостижимое, гадкое, не поддающееся трезвому анализу. Значит, не только он один, а наверняка сотни, а может быть, и тысячи других уйгуров вынуждены теперь разделить судьбу притесняемых и гонимых. Он посял, что недоверие к ним со стороны властей не является проявлением случайной грубости одного чиновника-самодура, нет, это становится началом официального преследования неугодных и, по мнению руководства, ненадежных лиц.

Ханипа, прижавшись к плечу Момуна, еле сдерживала слезы в предчувствии близкой разлуки.

## II

Указы и постановления Пекина — всем на трудовые работы, всем на трудовую закалку — шли и шли, будто с конвейера, по всем городам и национальным округам Китая. В далеком от Пекина Синьцзяне они проводились в жизнь столь же решительно и неуклонно, как и в центре. Дехканские общины уйгуров были переименованы в гуньши, по-китайски «коммуна». Каждый дехканин стал теперь получать строго соблюдаемую «продовольственную норму».

Несмотря на указы и всяческие перемены, руководителем гуньши в Буялуке все еще оставался Масим-ака. Только благодаря его благосклонности Садык пользовался, по сравнению с другими, некоторой свободой. В поле

он выходил в основном весной и осенью, в самый разгар страдных работ, а зимой он все свое время отдавал детям в сельской школе Буюлука. И конечно же писал и писал стихи, а также переводил на уйгурский лучшие стихи советских поэтов из тех журналов, которые ему удавалось раздобыть в Турфане. Он неплохо изучил русский язык, когда работал вместе с советскими специалистами.

Однако печататься ему удавалось все реже и реже...

Весной, когда дехкане Турфанского округа закончили сев проса и приступили к севу основной культуры — хлопка, Садык вышел в поле вместе с бригадой Шакира. С утра до ночи он бродил по пахоте из конца в конец, погоняя не слишком расторопного вола. Вслед за волом тащилась по вспаханной земле деревянная волокуша.

Когда боронование было закончено, Масим-ака и Шакир привезли проращенные семена хлопка в мешках из чия.

Наступила торжественная минута. Масим-ака степенно шагнул на пахоту, поднял горсть чуть сыроватой, словно кишмиш, земли и поднес ее к лицу. Не спеша понюхал, медленно облизнул губы, будто попробовал землю на вкус, и проговорил:

— Хорошая у нас земляца, братья. Каждую весну мне хочется обнять ее и расцеловать. За ее материнскую щедрость.

Затем Масим-ака молитвенно произнес: «Бисмилла!» — и с именем бога достал из мешка полную горсть семян хлопка. Вслед за ним то же самое проделал и Шакир, за Шакиром — остальные дехкане.

Сев начался.

\* \* \*

С тех пор, как Шакир пересел в Буюлук, прошло уже пять лет. Не сразу он привык к нелегкому труду дехкана, к монотонной жизни села, но все же привык, освоился и прижился в Буюлуке. Разумеется, он бросил пить, перестал играть в кости (в «четыре асыка») и совсем не бузотерил, как прежде. Несмотря на трудную жизнь в селе, Шакир считал себя человеком счастливым. Добрейший Масим-ака заменил ему отца, стал для него старшим другом и наставником. По-прежнему красивая и

всем сердцем любящая, привязанная к Шакиру Марпуа была рядом.

Под одной крышей с Шакиром и Марпуой жили Захида и Садык. Они тоже считали Масима-аку своим отцом. Да и сам Масим-ака всей душой был привязан к этим людям, которые стали для него особенно дороги после того, как в прошлом году умерла Зорахан, жена Масима-аки. Безвременная смерть доброй женщины, все дни проводящей в заботах о большой семье, омрачила их жизнь надолго. Но что поделаешь, пришлось свыкнуться и с этим горем. Не только Шакир и Садык, не только их жены, но и все односельчане, как могли, помогали старику перенести горе, не давали ему пасть духом. Как говорится, вместе с людьми и черный день станет светлым. Масим-ака мужественно перенес утрату, почти не изменился внешне, только похудел да выцветшие брови сошлись еще ближе, оттеняя его спокойные, задумчивые глаза...

Сильный, выносливый Шакир работал в поле не покладая рук, и Масим-ака назначил его бригадиром.

В полдень дехкане собрались у края полосы на обед. Бригада была большой, часть ее пахала и боронила, а часть шла следом по свежей пахоте и сеяла хлопок.

Распрягли лошадей и волов, поставили их кормить.

Дехкане сли из общего котла, только тыквянка с чаем у каждого была своя.

— Ну как, батыры, устали? — задал свой обычный вопрос Масим-ака.

— Можете судить по аппетиту, — шутливо ответил один из пахарей.

Закончив наспех свою полуденную молитву, подсел к общему дастархану Реймша. Новая жизнь заметно изменила его. Реймша перестал шаманить и валять дурака, работал в гущи вместе со всеми, отличаясь от других разве только тем, что по привычке часто молился.

— Вы только кормите нас, Масим-ака, если не досыта, то хотя бы вовремя, — сказал Реймша. — И тогда мы горы свернем.

— Ясно, браток, понимаю, — отозвался Масим-ака. — В молодости человек подобен хорошему коню. И лишь подавай корму — и он будет тянуть без усталости. Молодцы, ребята, славно потрудились. Вот только наш Садык-джан темного скис, но очень еще освоился.

Все сочувственно замолчали. Каждый знал, что Садыку здесь не место, есть для него работа поважнее, да что поделаешь, приходится...

Садык действительно выглядел усталым, лицо почернело на весеннем ветру, губы заеклись, и тем не менее он попытался отшутиться:

— Мне-то что, дядя Масим, я прогуливаюсь, а вот скотина моя к бороде не привыкла.

Дехкане сочувственно рассмеялись. Реимша решил сменить разговор:

— Между прочим, Садыкджан, я как-то на днях услышал ваши стихи. Вот такие: «Я не согреюсь и в жару от мысли, что тучи над моей страной нависли». Хорошие слова, правдивые! А где можно почитать ваши стихи, Садыкджан?

— Пока нигде,— после некоторого молчания ответил Садык.

— Вот так штука! — удивился Реимша.— Почему не печатают?

— Когда-нибудь... — пробормотал Садык.— Когда-нибудь еще наступит такой день, братья,— продолжал он бодрее, однако лицо его помрачнело.

— Может, ты домой пойдешь, Садыкджан, хватит на сегодня,— предложил Масим-ака, зная, что никто из дехкан возражать не станет.

— Да ему и дома покоя нет,— вмешался в разговор Шакир,— всю ночь сидит у лампы. Но ничего, ничего! — продолжал Шакир, накаляясь.— Если напечатают его стихи, я уверю, весь Турфан, да что Турфан — вся Уйгурия поднимется! — Шакир даже кулаки сжал.

— Не надо преувеличивать, Шакир-ака,— отозвался Садык.

— Нисколько не преувеличиваю! — горячо возразил Шакир.— То, что вы читали мне про Ипархан и ее врагов,— это не просто стихи, это огонь!

— Потому и не печатают! — пояснил Реимша.— Боятся.

— А может быть, вы нам сейчас почитаете свои стихи,— попросил один из молодых дехкан.— У нас есть немало времени. Хотя бы два-три рубайи.

— Как-нибудь в другой раз,— ответил Садык.— Я думаю, в ближайшее время кое-что будет напечатано. Мне обещали. А если нет, тогда я вам прочту обязательно.

Свои лучшие стихи прочту. И пусть тогда делают со мной что хотят!

Обед подошел к концу. Масим-ака, заметив, что Садык украдкой заворачивает в платок свою порцию — кусок кукурузного хлеба, негромко спросил:

— В чем дело, Садыкджан?

— Я потом.— Садык замялся.— Я, можно сказать... сыт.

Реимша тоже завернул в платок половину своего куска, а крошки тщательно собрал в ладонь и одним движением отправил их за губу, словно это не крошки, а табак-насыбай. Другие дехкане проделали то же самое, каждый старался выделить для домашних часть своего пайка.

— Вечером, братья мои, постараемся кое-что найти и для ваших семей,— глухим голосом проговорил Масим-ака.— А сейчас надо бы нам подкрепиться самим, работа нелегкая.

Никто ничего не сказал в ответ, по-одному стали подниматься. Масим-ака вздохнул и тоже завернул в платок свой хлеб. Налил себе чаю из тыквянки, не спеша выпил и направился к плетеному мешку с семенами.

\* \* \*

В село Садык возвращался сегодня раньше других. Возле арыка в самом начале Буюлука, почувствовав сильную усталость, он присел отдохнуть. Когда-то здесь шумела вода из артезианской скважины, пробитой советскими специалистами, а теперь желтое сухое русло наводило уныние.

Заходящее солнце повисло огненным шаром над горной грядой. Садык лег на спину. По небу, словно рассеивающийся дымок, тянулись бледные облака. Скоройдет солнце, угаснут краски...

Пересыхают арыки, затихают села, а бозмятежные облака плывут и плывут. Как и три года назад, как и сто лет назад, будто ничего не изменилось на этой многострадальной земле.

Нет, изменилось многое. Когда-то Буюлук был одним из самых зажиточных, процветающих сел в округе. Дехкане не знали нужды, кооперативные хозяйства создавались разумно, в них был порядок и подлинная демо-



кратия. Для чего, кому, в чьих интересах вдруг понадобилось так бестолково изменить все?! Завели военный режим, дехкане стали жить впроголодь, работают из-под палки, жизнь утратила смысл...

Устав лежать в одной позе, Садык подогнул колени, увидел заплаты на брюках и горько усмехнулся. Сколько стараний Захиды уходит на эти починки! Она всячески пытается хоть немного, хоть как-то скрасить их жизнь, следит за одеждой, штопает, чинит, где что порвется, старается приготовить вкуснее обед из тех скудных запасов, что есть у них в доме. А между тем «говорить о еде и хорошей одежде — буржуазный предрассудок».

Садык устало поднялся. Солнце уже почти совсем зашло, багровый край его чуть-чуть выглядывал из-за горной гряды.

«И все-таки надо жить!.. Надо верить в то, что силы человека беспредельны и никакие военные режимы его не уничтожат».

Взгляд Садыка упал на просяное поле. Он вспомнил, как три года назад неподалеку отсюда была шумная охота на перепелов. Он не готовился тогда к охоте, лежал вот здесь же, в траве у арыка, только рядом шумела вода, и дело было не весной, а осенью. Лежал, смотрел в небо и сочинял стихи. Он их легко удерживал в памяти, а потом переносил на бумагу. Он бормотал слова, подыскивая рифму, и слышал возбужденный гомон и звонкие детские голоса. Поднявшись на пригорок, Садык увидел охотников во главе с Масимом-аккой. Его окружали мужички и ребятишки, и Садык побежал туда же.

— Становись, Садыкджан, рядом со мной, — командовал ему Масим-ака, держа наготове ястреба.

Тут же были и Шакир со своим сыном Аркинджаном. Сетка у них уже была полна добычи.

Садык стал рядом с Масимом-аккой, и все двинулись по полю длинной шеренгой. Садык шел, напряженно вглядываясь, боясь упустить момент. Как и все в ряду, он надеялся первым заметить перепела. Садык невольно вздрогнул, когда из-под самых его ног с шумом вспорхнула птица. Он увидел улетающего перепела, и в тот же миг за ним пулей устремился ястреб, которого метнул Масим-ака.

Охотники так и застыли словно замороженные, следя

за поговей. Каждому очень хотелось помочь ястребу настичь жертву, каждый будто летел вместе с ним по воздуху. Увлеченный общим азартом, Садык первым взволнованно закричал: «Поймал! Поймал!» И действительно, ястреб на какое-то мгновение взмыл вверх, словно для разгона, и тут же упал в траву вместе с перепелом. Охотники ринулись туда, обгоняя друг друга и сталкиваясь. Рядом с Садыком бежал пес Бойнак, и Садык успел заметить, что пес сильно хромает, еле бежит, неуклюже припадая на заднюю лапу.

Возле того места, где упал ястреб, все остановились и смолкли. Ни гомона, ни крика, даже дети моментально притихли. «В чем дело?» — подумал Садык, осматриваясь. И тут послышался негромкий звон колокольчика. Масим-ака по его звуку без особого труда нашел ястреба вместе с добычей. Крохотный колокольчик был привязан к хвосту ястреба. Садык догадался, что они немного опоздали с розыском, — грудь перепела была разодрана, ястребу уже достался лакомый кусок.

— Хватит на сегодня, друзья, — проговорил Масим-ака.

Посадив ястреба на руку в кожаной перчатке, Масим-ака подал ему кусок дичи. Ястреб с остервенением стал рвать мясо и жадно глотать его. Перед охотой ястреба парочко держат вироголодь, иначе он обленится и не полетит за добычей. Время от времени Масим-ака давал ему лишь крохи птичьего мозга, и только. Теперь же, когда охота закончилась и ястреб потрудился на славу, он получил право и на свою долю.

Шакир подозвал Бойнака, присел возле него и начал разматывать бечеву, которой была туго стянута лапа пса.

— Для чего так собаку калечить? — удивился Садык.

— Премудрости Масима-аки, — пояснил Шакир. — Если ищейку не придержать, она убежит впереди всех и распугает всю дичь. А так она хромает рядом с нами, и перепел вылетает из-под ее носа. Зря ты опоздал, Садык-джан, стоило посмотреть, как ястреб иной раз хватается перепела с лета, почти не расправляя крыльев!

— Я и сам жалею, что всю охоту пролежал у арыка.

— Ладно, не горюй, друг, мы тоже научимся этому хитрому делу, обязательно! Масим-ака говорит, что уме-

Ючи можно брать в день по восемьдесят — девяносто штук! Вот только надо нам с тобой хорошего ястреба приучить.

Но так и не пришлось ни Шакиру, ни Садыку приучать ястреба и охотиться...

### III

Вот уже почти полгода, всю весну и все лето, ни одно стихотворение Садыка, ни один из его переводов не появлялись в печати. Он отправлял в Урумчи рукопись за рукописью, но они бесследно там исчезали. Никакого отчета, будто он их и вовсе не посылал.

Каждый день он нетерпеливо заглядывал в почтовый ящик по несколько раз и однажды извлек оттуда тещевский конверт без обратного адреса и без имени отправителя. Приглядевшись, он рассмотрел почтовые штемпеля Урумчи и Турфана, а когда вскрыл, увидел на небольшом клочке бумаги написанное от руки одно-единственное рубайи.

Без рассвета даже гений сам не свой,  
Черным кажется любой во тьме ночной.  
Сотвори, поэт, хоть чудо — не увидит,  
Не оценит все равно его следой<sup>1</sup>.

Рубайи пришлось по душе Садыку, и он сразу запомнил строки. Бывало у него в минуты сомнений похожее настроение. Действительно, сотвори хоть чудо — не оценят, не поймут. Слепые от равнодушия... Но потом проходили сомнения, и он снова брался за перо. И сейчас ему хотелось сказать неизвестному автору: неверно, брат, слишком уж безнадежно. Не всегда читатель или слушатель слеп и глух. Все зависит от самого поэта, его таланта, кругозора, его устремлений. Если он сможет создать такое произведение, которое всецело завладеет умом и сердцем, то никакие силы, ничто в мире не сможет преградить ему дорогу к людям. Хорошие стихи, подобно живой струе подземного родника, всегда пробьют себе путь к свету. А вся беда, наверно, в том, что в нашей поэзии нет сейчас такого животворного родника. И потому застревают наши стихота, наши поделки, как щенки перед малейшей преградой на своем пути...

---

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи в переводе Л. Скалковского. Исключения будут указаны особо.

Садык бодрился, однако сомнения, унылые раздумья посещали его все чаще. Он понимал, что видеть в жизни только одно плохое,— болезнь для поэта весьма опасная. Однако едва ли полезней вовсе не замечать отрицательного и беззаботно упиваться словами о бесконечном счастье. Жизнь противоречива, и поэт должен найти меру, ясно видеть соотношение между плохим и хорошим. «Познай меру»,— говорили древние. И создай такие стихи, чтобы люди в любых условиях хотели жить, а не умирать.

Садык писал много. Он выкраивал время и на работе в поле, и между школьными уроками. Уединялся куда-нибудь в укромное место и раскрывал свою записную книжку. Перо в руках, словно волшебная палочка, снимало все тяготы, отбрасывало заботы. Даже одна удачная строка приносила ему радость.

Поэму «Инархан» Садык переписал заново. Как ни занят он был с утра до вечера, ему все же удалось прочесть немало книг по истории своей родины, и чем больше он читал, тем больше вносил изменений в поэму, стараясь шире раскрыть образ своей героини, полнее представить сложное то время, когда в Кашгарии окончательно утвердился ислам, но уже померк свет царства Карахонидов.

Писать он любил в одиночестве. Вот и сегодня, наспех пообедав, он сел у окна с записной книжкой в руках. До выхода в поле оставалось еще с полчаса.

Он видел, как Марпуа и Захида, убрав посуду, сели во дворе под навесом и завели негромкий разговор. После того как Марпуа родила сына, она стала еще более привлекательной, прямо-таки цветущей женщиной. Материнство ее красило, улыбка не сходила с ее лица. Захида же, наоборот, выглядела унылой, грустной. Она была беременна и в своем широком, в сборках платье казалась пожилой женщиной, старше Марпуа, хотя была моложе ее на несколько лет.

— Не знаю, Марпуа, может быть, вам смешно будет, но когда Садыкджан сидит вот так над своими бумагами, мне хочется где-нибудь устроиться в сторонке и смотреть на него, смотреть...— проговорила Захида.— В такие минуты он мне кажется еще роднее. Страшно... Иногда мне становится даже больно. Он как будто уходит в мир

иной. Витает в облаках, и мне чудится, что он вот-вот исчезнет. Как святой. Поэтому я и смотрю на него без конца и боюсь — а вдруг правда он растворится на моих глазах! Прямо навеждение какое-то... А с вами так не бывает? Вы на Шакира так же смотрите?

Марпуа рассмеялась, ласково взяла руки Захида в свои и сказала:

— На Шакира я смотрю совсем по-другому. Он такой большой, что не может раствориться на глазах. И такой тяжелый, что на небо уж никак не вознесется. Мой Шакир не пишет и не читает, ему все некогда, ты сама видишь. Он будто боится минутку просидеть без дела. Только проснется, сразу на поле. Приходит усталый, молчит, к нему и не подойдешь. Возьмет сына на руки, Аркинджан радуется, ему хочется поиграть с отцом, а отец тут же и засыпает... Иногда мне дурные мысли в голову лезут: уж не остыл ли он ко мне, не разлюбил ли? Но потом... придет Шакир в один прекрасный день, обнимет, приласкает — и все проходит. Дай нам бог, и тебе, и мне, быть любимыми до конца дней.

Пронесся легкий ветерок, зашелестела листва на старом карагаче, жара несколько спала.

— Засиделись мы с тобой, Захида, глянь, солнце уже где, пора нашим мужьям на работу. — И Марпуа негромко пропела из обрядовой песни: — «Поднимайтесь, лежебоки баи, довольные милостью аллаха».

Захида встала, отодвинула к стене навеса низенький круглый столик, за которым они сидели, и сказала:

— Аркинджан все еще не обедал, бегаешь где-то, я пойду поищу его. — И позвала пса: — Пошли, Бойнак!

— Ладно, Захида, накорми моего батыра Орешка, а я подниму на работу наших батыров Тесто.

Захида невольно улыбнулась. Она всегда восхищалась тем, что Марпуа знает множество прибауток, поговорок, сказок. Аркинджан действительно как богатырь Орешек из народной сказки. Маленький, закатится — не найдешь. Но всемогущий. Помогает добрым и карает злых. А богатыри Тесто — они как тесто, можешь его сколько угодно топтать, бить, месить, с ним ничего не будет, — тоже из народной сказки.

Виляя хвостом, к Захиде подбежал Бойнак, и они вышли на улицу.

Вечером, когда Масим-ака, Шакир и Садык вернулись с поля, они застали у себя гостя из Турфаца — Абдугаита, с которым Садык в свое время ездил по кооперативам. Когда-то Абдугаит, заправляя самодеятельностью в молодежном кружке, любил поболтать, прихвастнуть насчет того, сколько он разбил девичьих сердец, и вообще был малым безалаберным и легкомысленным. Сейчас же он сидел мрачный, подавленный, на вопросы отвечал скомканно.

— Как там поживает старый Саид-ака? — поинтересовался Садык. — Ты его давно видел?

— В январе... В больнице. — Абдугаит закурил, затянулся, и по лицу его, покрытому рваными морщинами, скользнула гримаса, будто кольнуло в печени. — А что за болезнь — можно не спрашивать, — загадочно проговорил он. — Оттуда... из Внутреннего Китая болезнь... Пустое брюхо.

Когда-то Саид-ака был мастером своего дела, искусным кулинаром, блюда готовил восхитительные. Теперь же...

«Вот он, символ новой политики, — голодающий парвар», — с горечью подумал Садык.

— А ты сам где сейчас, Абдугаит? — спросил он. — Все там же, в торговом товариществе?

— Торговля, культура... — Абдугаит снова сморщился, как от сильной боли внутри. — И думать нечего, всех гонят в деревню... Было немного денег — ушли на лечение. Желудок. В Тохеуке у меня родственник, думаю и ему податься. А к вам я заехал с плохой вестью...

Вошла Марнуа, чтобы убрать со стола, и Абдугаит смолк, недоверчиво на нее косясь. И вообще весь вечер он будто постоянно чего-то опасался, все озирался и оглядывался.

Дождавшись, когда Марнуа вышла, Абдугаит продолжал:

— Плохая весть для вас, дорогой Шакир... Ваш отец умер. В тюрьме.

— Кто сказал? — вырвалось у Шакира.

— Тот... бандит Подар.

Сидевший тут же Масим-ака медленно поднял ладони к лицу, прошептал молитву и сказал: «Аминь». Муж-

чины сделали то же самое. После некоторого молчания первым заговорил Шакир:

— Значит, эта сволочь все еще в Турфане, жив-здоров.— Он имел в виду Нодара.— Что он тебе еще сказал?

— Сказал, что Зордунбай оставил завещание на его, Нодара, имя. Как выразился, «отныне все имущество бая, и дом, и скот, принадлежит мне». А потом добавил: «что-то по завещанию полагается и Шакиру».

— Шайтан его забери! — выругался Шакир.— Пусть он сам растащит его хозяйство, этот стервятник. Я падалю не питаюсь!

Весть о смерти отца не вызвала у Шакира особой печали, должно быть, остыло сердце к Зордунбаю, были на то причины, а вот злость к Нодару явно осталась.

Разговор их прервал Аркинджан. Он открыл дверь и сразу бросился, никого не слушая, со слезами к Большому дяде — Масиму-аке.

— Закир ударил Бойнака! — сквозь слезы еле выговорил Аркинджан.— Пинком!.. Ему же больно!.. — По пыльным щекам его текли слезы, оставляя след, глазки сверкали гневом.— Ему же больно!.. — повторял и повторял он, не в силах успокоиться.

Шакир присел возле сына, ладонью вытер ему щеки, а Масим-ака громко позвал пса через приоткрытую дверь.

Бойнак тут же прибежал на зов и ткнулся мордой в колени Масима-аки. Старик почесал ему брюхо, почесал за ушами, и пес, радостно поскуливая, стал бить хвостом по полу.

— Вот и все, сынок, — сказал Масим-ака Аркинджану.— Твой Бойнак уже совсем здоров.

— Не плачь, герой, а то нагрянут черные чапаны, — вставил Абдугаит, намекая на китайцев.

...Ночевал Абдугаит в комнате у Садыка. До полуночи он рассказывал о прискорбных новостях из жизни в Турфане, о слухах, которые доходили время от времени из Урумчи и Пекина. Люди голодают повсюду, но разговор о еде и одежде считается безыдейным. И в то же время Пекин каждый день отиравает в Гонконг, в эту английскую колонию на своей земле, по пять тысяч спящих туш. Каждый день! В провинции Цзянси разогнали руководство за то, что в некоторых деревнях жители ликвидировали общественные уборные и восстановили «опас-

ную систему частных уборных». Все удобрения, как известно,— государственное достояние. О какой культуре может идти речь в такой обстановке? Любой разговор о театре, о музыке или о книгах объявляется безыдейным. Интеллигенцию гонят из городов в лагеря «трудовой перedelки».

Абдугаит принял какие-то таблетки, запил водой и вскоре уснул. А Садык не мог сомкнуть глаз до утра. Он писал и зачеркивал, писал и снова зачеркивал, но к рассвету были готовы новые стихи. Он назвал их «Ирония судьбы».

Садык задул лампу, сдвинул шторку с окна и при свете нового дня переписал стихи набело. Поставил дату и, невольно покосившись на окно, подсознательно боюсь слезки, подглядывания, перечитал их снова.

Славною была земля когда-то  
И цветущей, словно сад,— поверь,  
Только все, что мы любили свято,  
Под пятой двурушников теперь.  
Да, у них нет слова без обмана.  
В каждом деле — мелочный расчет.  
И какой спасет нас стих корана?  
Встрепенется ль тот, в ком кровь течет?  
За Стевою воздух как отравлен.  
Душно. И любой тюрьмы тесней.  
Как там можно жить, когда объявлен  
Безыдейным даже соловей!

Радость творческой удачи смыла все страхи. Взволнованный Садык еще не хотел спать и сел за письмо Момуна и Ханише.

Утром он отправил письмо друзьям. Но ему не суждено было дойти до адресата. К тому времени в Кульдже произошли события, которые круто изменили судьбу и Момуна, и Ханиши, а затем коснулись и Садыка самой неожиданной стороной.

#### IV

Недовольство жителей Кульджи росло день от дня. Многие жили впроголодь, без работы, иные не имели крова. Люди безуспешно обивали пороги городских и областных учреждений, прося хоть какой-нибудь помощи, но в ответ получали либо отказы, либо один лишь обещания, которые не выполнялись. Многие заявляли о



своем решении перейти в Советский Союз. Местные власти на словах вроде бы приветствовали это, а на деле чинили всяческие препятствия. В коридорах учреждений собирались очереди, обсуждались слухи, все чаще раздавались голоса: «Надо всем вместе пойти в областной партком, поодиночке мы ничего не добьемся».

И вот 29 мая 1962 года около десяти часов утра большая группа горожан направилась к зданию областного парткома. По пути к ним присоединились другие группы из ближайших улиц и переулков. Толпа росла. Не было ни организаторов, ни подстрекателей, многотысячная демонстрация возникла стихийно. Некоторые шли с детьми. Росла толпа, и росла у людей надежда: нас не прогонят, потому что нас много, нас выслушают и наконец-то прекратится неразбериха, областной партком, как высший орган власти, наконец-то наведет порядок — и наши митарства прекратятся.

В толпе демонстрантов шли Момун и Ханипа. Они были радостно возбуждены — народ поднялся, чтобы постоять за свои права.

— Наверное, будет митинг, — предположила Ханипа.  
— Тогда я выступлю, — отозвался Момун.

Они тут же стали прикидывать, о чем говорить, какие привести доказательства нарушений правопорядка, какие факты...

Момун и Ханипа поравнялись с обувной лавкой, как вдруг послышался странный треск, похожий на сухие раскаты грома. Момун невольно поднял голову, ища грозовую тучу, — на безоблачном небе сияло майское солнце, бело-синим фарфором сверкали горы, пахло цветущей джидой...

Впереди толпы послышались крики, истошные вопли, толпа на какое-то мгновение остановилась, будто упершись в стену, а затем хлынула назад. Дробный стук пулемета покрывал стоны и крики. Теперь уже отчетливо было слышно, что выстрелы раздавались со стороны здания областного парткома. Люди бежали к домам, к дувалам, падали раненые и убитые. Момун увидел, как посреди улицы металась девочка лет шести с криком: «Мама! Мама!» А вокруг свистели пули. Ханипа бросилась к девочке, Момун хотел было бежать за Ханипой, но не успел сделать и трех шагов, как острая боль пронзила ему левую руку — и Момун упал в пыль.

Он смутно помнил, как его перенесли к дувалу, как потом двое мужчин вели, вернее, волокли его, он был словно в тумане.

Очнулся Момун у незнакомых людей. Рука выше локтя была перевязана. Домой он идти не мог, от потери крови сильно кружилась голова. За ним ухаживали, делали перевязки.

Дня через три Момун смог наконец добраться до своего дома. Ханипы там не было, он не нашел никаких следов ее присутствия, похоже, что после демонстрации она сюда так и не приходила. Момун зашел к соседям, но и они ничего не знали о Ханипе.

По городу ползли слухи, что всех участников демонстрации должны арестовать, что якобы составлены списки подлежащих наказанию.

Несколько дней Момун безуспешно искал Ханипу. Наконец мальчишка из обувной лавки рассказал ему, что видел, как женщина, которая бросилась за девочкой, упала, обливаясь кровью, и ее похоронили вместе с другими жертвами. Искать ее могилу бессмысленно.

Утром другого дня Момун ушел в сторону советской границы.

\* \* \*

Всю ответственность за кровавые события в Кульдже пекинское руководство попыталось возложить на Советский Союз. Якобы «ревизионисты» оттуда при поддержке «местных националистов» сеяли смуту среди населения, провоцировали на беспорядки, и вот что из этого получилось. Заметая следы кровавых событий, Пекин использовал старый пропагандистский трюк китайских императоров — валить свою вину на других.

В степях Джунгарии и в безводных пустынях Синьцзяна появились сотни лагерей «трудового воспитания» и «трудовой переделки», куда под конвоем загоняли уйгуров, казахов, киргизов, объявленных «местными националистами» и «советскими шпионами».

В те же дни граница оказалась закрытой с китайской стороны, и всех пытавшихся ее перейти расстреливали. Местные должностные лица теперь уже прямо называли беженцев предателями и всячески измывались над ними в чем не повинными женщинами, стариками и детьми.

Ханипа не погибла и даже не была ранена. Она спасла девочку, но потеряла Момуна. В те страшные минуты толпа, обезумевшая от растерянности и страха, увлекла ее за собой, как волна увлекает щелку. Ханипа бежала вместе со всеми, прижимая к себе девочку.

Больше недели они прятались в камышах на берегу Или вместе с другими бежавшими из родного города. Ханипа беспокоилась — что с Момуном? Но в первые дни, по слухам, в городе производились повальные аресты, и возвращаться туда было опасно. Наконец, уже в середине второй недели, Ханипа пробралась ночью вместе с девочкой на окраину Кульджи и попросила приюта у незнакомых хозяев — старика и старушки. На другой день она упросила старика сходить к ее дому и узнать, там ли ее муж Момун, а заодно разведать, не опасно ли ей будет появиться дома.

Старик вернулся к полудню и сказал, что мужа ее дома он не застал, а соседи сказали, что, скорее всего, Момун перешел границу.

— Возвращаться тебе домой, дочка, нет смысла, — добавил старик. — В твоём доме поселились китайские солдаты...

Ханипа оказалась в безвыходном положении. Сколько можно жить в чужом доме, с чужой девочкой на руках? Предстояло разыскать родителей или хотя бы родственников этой девочки и точнее разузнать, что с Момуном, где он.

— Надо что-то делать, дедушка, — твердила растерянная Ханипа, — надо что-то делать...

— А что мы можем, дочь моя, мы старые люди. Всякое бывало на нашем веку, — пережили, переживем и эту беду, — пытался ее утешать старик. — Была уйгуро-дунганская священная война, была битва с китайцами у Баяндая, — и все прошло, все забылось, дочь моя. Как-нибудь и эту беду переживем, дочка...

Но здесь, в Кульдже, никакой битвы не было, был расстрел безоружных, мирных горожан.

Не с кем Ханипе посоветоваться, некуда пойти.

«Если только Момун благополучно перешел, то ничего лучшего я ему и пожелать не могу», — думала Ханипа.

Теперь она уже сомневалась, верно ли тогда поступила, когда отказалась уйти в Семиречье вместе со стариками Момуна.

От Турфана до села Буюлук восемнадцать километров пути, и Садык решил их пройти пешком. Ему хотелось побыть одному, поразмышлять, подышать свежим воздухом.

Целую неделю в Турфане шла учительская конференция. Начинался новый учебный год, и руководство давало учителям новые установки.

Заседали с утра до ночи, однако речь на этих заседаниях шла отнюдь не о судьбах школы, учеников и учителей. Всю неделю делегаты вынуждены были слушать пространные доклады на такие темы: «Разоблачение тех, кто гонится за двумя зайцами», «О необходимости повысить бдительность», «О пресечении подрывной деятельности». Выслушать такие доклады — это еще полбеда, а вся беда заключалась в том, что на их основе каждый делегат должен был проверить самого себя, «перековать» и «первооружиться», причем не только мысленно, но и на бумаге. Каждый делегат обязан был представить письменное объяснение — какие недостатки он имел в своем прошлом и какие выводы в отношении себя он сделал теперь на будущее. Совершенно очевидно, что многих учителей после таких показаний ждали трудовые лагеря, в лучшем случае — увольнение с работы.

Садык был удручен. Он возлагал большие надежды на эту конференцию, думал, что наконец-то учителя соберутся вместе и обсудят все трудности работы в школе в настоящее время — нехватка кадров, учебников, помещений для занятий. Но вместо делового разговора они вынуждены были слушать трескотню о бдительности, а затем бить себя кулаками в грудь и каяться в недостатках.

Каждое заседание шло под неизменным председательством инструктора окружного парткома, который всякий раз, к месту и не к месту, по любому поводу давал понять делегатам, что нет и не может быть никакой дружбы с Советским Союзом, а тот, кто гонится за двумя зайцами, — наш классовый враг.

На чувствительного Садыка все это произвело гнетущее впечатление. Снова рушилась его наивная вера в лучшее будущее. И сейчас, по дороге домой, он мысленно возвращался к этим семи дням бесконечного унижения человеческого достоинства. Как они могут нести для других

культуру, свет разума, когда сами сведены до положения овец в отаре?..

Садык прошел уже добрую половину пути, когда услышал позади себя частый и негромкий стук копыт. Оглянувшись, он увидел навьюченного ишака, а рядом с ним женщину в платке. Она широко шагала, стараясь поспеть за ишаком, длинный подол ее платья был заткнут за пояс, чтобы не мешал при ходьбе. По бокам ишака свисали две корзины, в одной была поклажа, прикрытая старым ковриком, а в другой лежал ребенок.

— Какой у вас, тетушка, груз бесценный,— сказал Садык и приветливо улыбнулся.

Женщина придержала ишака, торопливо одернула подол и посмотрела на Садыка: дескать, не понимаю, что вы сказали. Садык смутился, увидев под платком совсем молодое лицо, а ведь он только что назвал ее тетушкой.

— Я говорю, бесценная у вас поклажа,— повторил Садык, показывая на ребенка, который мирно дремал, убаюканный шагами ишака.

Женщина слабо улыбнулась в ответ.

— Далеко ли держите путь? — продолжал Садык.

— Мой старший брат живет где-то тут... в Астине,— смущенно пояснила женщина.— Вот и едем к нему... А вы здешний?

— Вообще-то городской, но вот уже третий год живу в Буюлуке, так что почти здешний.

— А как мне добраться до Астина, не знаете?

— Сперва дойдите до Сынгима вон по той дороге, где машина пошла,— показал Садык,— а оттуда уже недалеко и до Астина.

Женщина тронула ишака, он мелко и часто застучал копытами по камням, корзины ритмично зашкряпали. Садык зашагал быстрее, приравливаясь к шагу женщины.

Они шли, шутливо переговариваясь о том о сем. Садыку казалось, что женщине не так одиноко в его присутствии, дорога пустынна, путь неблизкий...

— Был у меня брат,— сказала женщина, и веселые нотки в ее голосе погасли.— Вот такой же, как вы... Но его забрали, уже больше года прошло. С тех пор ни слуху ни духу.

Садык не знал, что ей ответить. Куда ни ткнись, с кем ни повстречайся, у всех одна беда. Чем ее утешить? Расспрашивать, за что забрали и почему, нет смысла. Садык

и так знает — брат ее, скорее всего, где-то учился, что-то сказал, попал на заметку...

А может быть, высказать ей все, что накипело в душе Садыка, объяснить положение, раскрыть глаза?.. Вряд ли ей это нужно, у нее ребенок, заботы свои, пусть лучше живет в неведении, так ей будет легче, меньше огорчений.

До самого поворота на Буюлук они шли молча, погруженные каждый в свою думу. У поворота Садык пожелал женщине счастливого пути. Она остановила ишака и еще раз спросила про дорогу на Астип. В корзине проснулась девочка, приподнялась и уставилась на Садыка круглыми большими глазенками. В ручке ее был зажат обсосанный кусок кукурузной лешки, и девочка, стараясь сунуть лешку в рот, заулыбалась незнакомому дяде. Садык тоже невольно расплылся в улыбке и тепло распрощался с женщиной.

На душе его стало легче от улыбки ребенка, он зашагал бодрее по пыльной дороге.

«Вот она — жизнь... — размышлял Садык. — И эта женщина, и ее ребенок, которому совсем не ведомы удары судьбы, стремятся к одному — жить, жить, жить. Во что бы то ни стало. И никакие тяготы не сломят в человеке главного — стремления выжить».

У входа в село он присел возле арыка, по которому текла вода из каризов, вынул завернутый в тряпицу кусок хлеба и, обмакнув его в чистую холодную воду, с удовольствием, как бывало в детстве, стал жевать.

Он не пошел по пыльной улице, зашагал по тропинке вдоль арыка и вскоре вышел на зады своего двора. В саду слышались голоса Масима-аки и Аркинджапа, один глуховатый, сдержанный, другой звонкий. Увидев их под развесистым деревом, Садык приостановился, наблюдая. Масим-ака сидел на корточках и держал в руке оцинкованного воробья. Неподалеку возле куста стоял Бойнак, наострив уши, рядом с ним Садык увидел молодого ястреба и понял, что здесь идет обучение ловчей птицы.

— Гель-гель! — позвал Масим-ака негромко.

Голодный ястребенок тут же подлетел к нему и начал рвать клювом оцинкованного воробья. Однако Масим-ака не сразу выпустил добычу, он отводил руку то вверх, то вниз, ястребенок взлетал, надо полагать, злился, колокольчик под его хвостом звенел непрерывно; наконец ястребенок

хищно долбанул в рукавицу Масима-аку. Аркинджан возбужденно прыгал рядом, то приседая, то вскакивая, и все старался заглянуть под хвост ястребенку: похоже, что именно колокольчик больше всего привлекал мальчишку.

Масим-ака поднялся, стянул рукавицу, надел ее на руку Аркинджану и передал ему воробья.

— Возьми, докормишь сам, ты уже не маленький.

Аркинджан от радости засопел, поймал конец бечевы, привязанной к ноге ястреба, и намотал на свою руку.

Садык вышел из своего укрытия, ласково потрепал Аркинджана по голове, затем протянул обе руки Масиму-аке, здороваясь.

— Какие новости в городе, Садыкджан? Как прошло ваше совещание?

— Ничего хорошего, Масим-ака. А как вы поживаете?

— Да вот готовимся с Аркинджавом на охоту. А наши ушли к соседям, к ним приехал Шарип, студент из Урумчи, внук. Может, послать за вами Аркинджана? Ты, наверное, хочешь есть?

Садыку хотелось послушать, какие новости в Урумчи, и он предложил Масиму-аке тоже пойти к соседям. Старик согласился. Они направились к калитке, когда из глубины сада донесся голос Аркинджана:

— Гель-гель! Гель-гель!

— Так я и знал.— Масим-ака усмехнулся.— Наш охотник упустил ястреба.

Пришлось им снова вернуться в сад на помощь Аркинджану. Увидев взрослых, мальчишка, едва сдерживая слезы, стал жаловаться:

— Тут столько воробьев, столько воробьев, а он ни одного не поймал, сидит на дереве, дармоед! А я все делал так, как вы меня учили, снял длинную бечеву, оставил короткую.

— Но ты забыл, малыш, что мы его накормили. Теперь он не то что на воробья, на перенела не посмотрит,— пояснил Масим-ака.— Сейчас ты его не трогай, а то вспугнешь и он совсем улетит. Подождем темноты и тогда поймем. Пошли.

Аркинджан пошел за старшими, то и дело оглядываясь,— а Бойнак остался сидеть под деревом, сторожить ястреба.

Старик Самет и его старуха Хуршида были рады возвращению в их дом единственного внука Шарипджана. Однако сам Шарип особой радости не проявлял, сидел растерянный и молчал, будто в рот воды набрал. Да, учился. Да, в Урумчи. На географическом отделении. Да выгнали — вот и весь рассказ.

Садык высказал предположение, что теперь они, возможно, будут работать вместе в Буюлукской школе, после чего Шарип так странно, затравленно на него посмотрел, будто Садык по меньшей мере попытался накинуть ему ярмо на шею.

За чаем разговор не клеился. Шакир поиграл на гитаре, Марпуа танцевала, — надо было хоть как-то отметить приезд студента и развеселить стариков.

Уже когда стали расходиться, Шарип потихоньку сказал Садыку, что зайдет к нему завтра, поговорить наедине, есть кое-какие новости...

Ночью Масим-ака с Аркинджаном ловили ястреба. Старик прихватил с собой две длинные камышицы. На конце одной он привязал силок, на конце другой — смоченный в керосине фитиль.

Бойнака они увидели уже под другим деревом, значит, можно было не сомневаться, что ястреб перелетел сюда.

Масим-ака поджог фитиль и подал камышину Аркинджану.

— Становись под деревом и медленно поднимай огонек вверх, — сказал он.

Прикусив губу, Аркинджан начал осторожно поднимать свою камышину, напряженно вглядываясь в каждую ветку. Когда огонек поднялся до середины кроны, он увидел своего ястреба. Птица сидела неподвижно, будто замороженная огнем, глаза ее блестели, как две золотые бусинки. Не успел Аркинджан полюбоваться видом ястреба, как Масим-ака, неслышно просунув свою камышину, накинул петлю — и ястреб, трепыхаясь и шурша листвою, полетел вниз.

— Молодец, дядя Масим, молодец! — закричал довольный Аркинджан.



Масим-ака высвободил ястреба из силка, подвизал ему на ногу бечеву, подал Аркинджану рукавицу.

— Держи, малыш, и помни, когда можно пускать ястреба на охоту, а когда нельзя...

## VI

Садык проснулся от яркого света. Открыв глаза, он увидел, как Захида, приподнимаясь на носки, сворачивает плетеную из чья оконную штору. Платье ее пополнило вверх, обнажая светлые, будто восковые, ноги. Садык быстро поднялся и помог жене повесить на гвозди скатанную плетенку.

— Вовремя ты проснулся, — ласково сказала Захида. — Все наши, кажется, уже поднялись.

Сказать, что, мол, ты засоня, долго спишь, пора на работу, — все это было слишком грубо для Захиды. Садык обнял жену и поцеловал в щеку. Захида покорно прижалась к мужу, положила голову ему на плечо, и они молча постояли так, слушая, как бьются их сердца. Сейчас им обоим чудилось, будто они слышат, как бьется еще и третье сердце, их будущего ребенка...

— В передней будешь завтракать, Садыкджап, или тебе принести сюда?

— Как тебе удобнее, — улыбнулся Садык.

— А у меня есть для тебя новость...

За чаем она подала Садыку запечатанный конверт.

— Странное какое-то письмо, — сказала Захида. — Адрес по-уйгурски написан и еще по-какому-то, наверное, по-русски. Я разобрала, что это от Момуна. Интересно, что он тебе пишет.

Садык торопливо разорвал конверт. Догадка, что Момун ушел в Советский Союз, сразу же подтвердилась. Однако о своей новой жизни он пока ничего не писал, зато подробно сообщал о расстреле демонстрации. Садык уже слышал о «беспорядках в Кульдже» еще на учительской конференции в Турфане, но подробностей не знал, да никто бы и не стал их передавать. В обстановке заугивания, которая царил на конференции, делегаты опасались друг друга.

«...Когда я вспоминаю об этом, — писал Момун, — невольно на ум приходит 9 января, «кровавое воскресенье» в царской России. Китайское руководство показало свое подлинное лицо в тот страшный день...

Во время расстрела мы с Хавиной потеряли друг друга.

Я был рашен, едва пришел в себя, стал искать ее, но мне сказали, будто она погибла. Нетрудно было в это поверить, я видел, как она бросилась под пули, чтобы спасти девочку. Теперь же земляки из Кульджи передали мне, что Ханипа будто бы осталась жива.

Дорогой друг, если сможешь разыскать ее, то сообщи мне все о ней...»

Письмо было мрачным, как затянутое тучами грозное небо. Садык сначала побоялся прочесть его Захиде, чтобы не волновать ее, но потом все-таки прочел. Пусть она знает все, от печальных слухов все равно ее оградить невозможно. Захида слушала, прижав ладонь к сердцу.

Скрипнула калитка, и во дворе появился Шарип. Садык вышел встретить его, и они уселись на глиняную суфу под навесом. Едва успев поздороваться, Садык сразу же спросил, что было слышно в Урумчи о беспорядках в Кульдже.

— Хорошенькие беспорядки! — фыркнул Шарип. — Там было море крови. Стреляли по мирным жителям из винтовок и пулемета.

— Как вы считаете, демонстрация была организована?

— Говорят, что нет. Просто парод собрался, чтобы выказать руководству свои просьбы: одни хотели уйти в Семиречье, другие просили работу — и в ответ получили свинец. После чего началось «движение по борьбе с местными националистами». Многих студентов угнали в пустыню, и успел вовремя сбежать. В Пекине как будто взбесились. Идет массовое переселение китайцев из внутренних провинций к нам. А уйгуров, дунган, казахов выселяют. И все это называется «новая национальная политика».

Садык вздохнул, покачал головой:

— В государстве, если оно подлинно социалистическое, все нации должны иметь равные права. Об этом знает каждый школьник. Об этом твердило и твердит само китайское руководство. Но что же получается теперь на деле? К чему приведет такая «новая политика»? Только к анархии, к разжиганию национальной вражды, кровавым столкновениям. Кстати, Шарип, вы не знаете кого-нибудь из тех, кто был в Кульдже в день расстрела?

— В университете у нас есть преподавательница Айша-хапум. К ней приходила несколько раз молодая женщина с девочкой. Студенты парод дошлый, все разузнают. Говорили, что эта женщина с девочкой пострадала во время

демонстрации, хотя сама она ничего никому не рассказывает. Зовут ее Хавипа.

— У меня сегодня день больших новостей! — воскликнул Садык. — Мы с ней учились вместе, с ней и с ее мужем Момуном. Значит, Хавипа в Урумчи. Чем занимается? Устроилась на работу?

— По-моему, нет. Айша-ханум имеет авторитет, член партии. Наверное, поможет ей... Я этим как-то не интересовался. Да и что толку — поможет, не поможет, — равнодушно проговорил Шарип, и это насторожило Садыка.

— Чем вы намерены заняться здесь? — спросил Садык.

— Не знаю...

— У нас в Буюлуке, по моим подсчетам, около сорока детей окончили начальную школу. Где им учиться дальше? Только в городе. Но в город могут попасть единицы, только те, у кого там родственники. А что делать остальным, ведь все они хотят учиться! Я думаю, если мы с вами возьмемся как следует за дело, то и здесь, в Буюлуке, мы сможем дать им знания в объеме шести-семи классов.

— Не верю я в это, Садык-ака, — равнодушно отозвался Шарип. — Напрасны, по-моему, все ваши старания.

— Но почему?!

Шарип заговорил о «страшных политических бурях» в центре, о творящихся повсюду безобразиях, о безысходности, но говорил вяло, как бы с чужих слов. Он был сломлен невзгодами, не выдержал первого удара судьбы.

— Надо набраться мужества, Шарипджан! — твердо сказал Садык. — Даже обреченные на явную смерть должны бороться за жизнь до последней минуты.

— Не знаю, — пробубнил Шарип. — Кому это надо?..

Садык посмотрел на него неприязненно.

— Вся наша беда в равнодушии, вот в этом «не знаю» и «кому это надо», — резко сказал он. — Один «не знаю», другой «не знаю», в результате целый народ безропотно терпит произвол.

Шарип молчал, глядя под ноги.

— Самое страшное для народа, — горячо продолжал Садык, — это не низкий жизненный уровень, связанный, к примеру, с неурожьем или с неправильным распределением. Самое страшное — это духовное оскудение! Мы с вами обязаны приложить все силы, чтобы наши дети, наши потомки не стали духовными калеками. Сейчас нас уже много в Сивьцзяне, тех, кто имеет образование, и все мы

обязаны, каждый из нас обязан поднять факел знаний в городах, в селах, в кишлаках.

— Красивые слова, Садык-ака...

Садык понял, что говорить с ним бесполезно. Мелькнула мысль: «А не подослан ли он ко мне? Чего ради я с ним откровенничаю?»

— Мне пора в школу, — сказал Садык и поднялся.

Расстались они холодно.

\* \* \*

Перед самым началом учебного года в Буюлукской школе появился новый директор — Чи Даупинь, китаец. В тот же вечер, когда дехкане вернулись с поля, было созвано родительское собрание.

Вступительная речь директора была краткой:

— Друзья, в свое время я работал в уйгурской школе. — Говорил он по-уйгурски, с заметным акцентом. — Теперь, по зову великого Мао, я приехал учить ваших детей китайскому языку и приобщить их к великой китайской культуре. Вопросы будут?

После некоторой заминки поднялся пожилой дехканин.

— Можно вас спросить, господин? Китайский язык — это хорошо, но мой сын Аршам говорит, что в школе изучают и другие предметы, например... — Дехканин смолк, вспоминая эти самые предметы, а на помощь ему пришел Садык, подсказал:

— К примеру, зоология, алгебра, русский язык.

— Разрешается преподавание всех предметов согласно программе, за исключением русского языка, — ответил новый директор.

На том и закончилось родительское собрание.

Оставшись наедине с Чи Даупинем, Садык пригласил его к себе домой, поговорить за чашкой чая, поближе познакомиться. Директор на его приглашение улыбнулся, очень любезно улыбнулся, показывая желтые зубы, и ничего не ответил. Смущенный Садык, решив, что новый директор по натуре слишком деловой человек, заговорил о деле:

— У нас тут есть студент из Урумчи, почти закончил географическое отделение. Думается, мы смогли бы использовать его как учителя географии.

— У вас слишком много желаний, дорогой, — с той же

улыбкой ответил Чи Даупинь.— Да, да, слишком много, слишком.— И направился в школьную кладовку, где он временно разместился.

## VII

Началась занятия. Чи Даупинь посещал каждый урок Садыка и делал ему бесконечные замечания при учениках. Пожалуй, только на арифметике он сидел молча и улыбался. Его желтый оскал уже начал сниться Садыку, казалось, что директор, словно злой пес, так и норовит укусить его.

Из уйгурских учебников по истории и литературе Чи Даупинь тщательно вычеркнул, где говорилось о прошлом уйгуров, о национальных героях.

— Все это вредно,— пояснил он,— поскольку может вызвать у наших учеников чувство излишней национальной гордости.

Взамен вычеркнутых абзацев директор предлагал свой текст, в котором восхвалялся великий китайский народ. На клочках бумаги он составлял фразы по-китайски, затем переводил их на уйгурский, коряво, неграмотно, и с неизменной улыбкой просил Садыка отредактировать. Поправок было так много и все они были столь однообразными и нелепыми, что все это приводило Садыка в бешенство. Однажды он не выдержал:

— Так что же мы скажем, товарищ Чи, если наши ученики спросят: была ли у уйгуров своя история и своя национальная литература?

Чи Даупинь, казалось, только и ждал такого вопроса, даже рассмеялся, будто Садык рассказал ему очень смешной случай.

— Вы странный человек, Садыкджан. Будто не знаете, что есть великая страна Китай и есть единый народ, единый, независимо от того, в Синьцзяне он живет или в Ганьсу. Если вы хотите пойти по стопам безголовых ревизионистов и отказаться от счастья быть одной из ветвей великого китайского народа, то мы вам этого не позволим.

— Я вас понимаю,— сдерживая себя, ответил Садык.— Но каждую вещь следует называть своим именем, а народ — тем более. Так нас учили.

— Есть одно учение, Садыкджан, не мое и не ваше, как вы догадываетесь.— Чи Даупинь перестал улыбаться, глаза

его превратились в щелки, зрачки сверлили Садыка. — Есть учение самого красного солнца, нашего великого кормчего Мао. Или вы против него?

Садык уже знал цепу директору, но такой прямой глупости, такой лобовой провокации не ожидал даже от него.

— Вы против? — повторил директор зловеще.

Едва сдерживая гнев, Садык хрипло проговорил:

— Оставьте свои политические шуточечки, товарищ Чи Даупинь.

...Вечером он написал стихи:

История зачеркнута уродом,  
Стоящим у бесчинства на посту.  
И жизнь большая целого народа —  
Лишь выстрел в пустоту.

Через неделю эти стихи «неизвестного автора» знала вся молодежь Буюлука. Дошли они и до Масима-аки. Он встревожился.

— Такие стихи распространять опасно, Садыкджан. Об этом может узнать директор. Никто, кроме тебя, не мог написать такое.

— У нас много талантливых ребят, — осторожно возразил Садык.

Садыка горячо поддержал Шакир:

— Таких стихов надо сочинять побольше, только распространять — с умом. Я тебе помогу, Садыкджан!

С того дня началось их «творческое содружество». Малограмотный, не любящий читать книжки Шакир имел тем не менее отличную память и легко запоминал стихи наизусть. Впрочем, он не был исключением. Многие неграмотные старики в Буюлуке часами могли читать наизусть газели, рубайи, достаны.

Легко заучив стихи Садыка, Шакир читал их надежным людям, которые ехали в Турфац или в Урумчи. Он просил их либо заучить, либо записать стихи и передать там, в городе, своим близким друзьям, а те пусть передают дальше. Давая такого рода поручение, Шакир всякий раз добавлял: «А стихи сочинил народ». Друзья Шакира, как правило, не отказывались выполнить такую просьбу, да и Шакир знал, кому можно поручить столь важное дело, а кому нельзя.

Но однажды Шакир обжегся. Узнав, что завтра Шарип,

внук Самета, едет в Турфан, чтобы просить назначения в Буюлукскую школу, Шакир зашел к нему...

— Вы же сами боитесь таких стихов, а других ставите под удар, — ответил на его просьбу бывший студент.

\* \* \*

До приезда своего внука Самет и Хуршида жили относительно спокойно. Но вот приехал Шарип, родная кровь, радость очей, и старики потеряли покой. Ученый внук отказался выходить в поле, ничего не делал дома и даже не пожелал идти в школу, чтобы занять столь почетное место учителя. Весь день он слонялся по двору, валялся в саду или дремал под навесом. Кое-как старики уговорили его сходить в школу к новому директору. Шарип согласился, пошел и вернулся ни с чем, как и следовало ожидать. Чи Даупинь сказал ему, что, во-первых, требуется направление из Турфана, а во-вторых, если молодой человек не пойдет на работу в поле, то ему придется отправиться в лагерь трудовой закалки. Напуганный Шарип решил съездить в Турфан, чтобы просить там направление в Буюлукскую школу.

Однако окружное начальство распорядилось по-своему и назначило Шарипа секретарем-переводчиком чрезвычайной судебной комиссии, которая должна была ездить по селам округа и расследовать дела незаконно обвиненных. Другой человек на его месте, более сознательный и расторопный, мог бы при таком деле принести немалую пользу добрым людям, но Шарип сбежал из этой самой комиссии на второй день и вернулся в Буюлук к деду с бабкой. Приехал он поздней ночью, а ранним утром вконец расстроенный старик Самет пришел к Масиму-аке и поделился горем.

Масим-ака в свою очередь рассказал эту историю Садыку.

— Его наверняка должны разыскивать, — предположил Садык. — Обвинят «в уклонении от выполнения задания партии». Что же он намерен делать?

— Вырыть нору, — ответил Масим-ака.

— Какую нору, кому? — удивился Садык.

— Себе. Уже роет. Под стеной дальней комнаты. Будет жить в ней, как Кер-оглы. Как младенец, который родился, по легенде, в могиле.

— Значит, живой труп будет лежать в норе, а старики будут отдавать ему последний кусок хлеба и трястись от страха.— Возмущению Садыка не было предела.— Я готов его своими руками вытащить на свет божий немедленно!

— Оставим его, Садыкджан, аллах с ним,— попытался его успокоить Масим-ака.— Его и без нас вытащат. Только вот стариков жалко. Хуршида слегла от горя, бедная...

### VIII

Наступила зима. В Буюлук зачастили всевозможные инспекторы из Турфана. Почему мало сдали продовольствия в общий фонд? Почему не собирали колоски? И все претензии — Масиму-аке. У него уже голова пухла от бесконечных собраний, на которых инспекторы и агенты твердили о дальнейшем укреплении военной дисциплины и «об упорядочении распределения продовольственной нормы».

В конце января в Буюлук прибыла первая партия кытайцев, пока немногочисленная, десятка полтора «техников из центра», как они себя называли. Повели они себя нагло, выбрали для расселения лучшие дома, потеснили хозяев. Вскоре один из «техников», наиболее грубый и беззастенчивый, пускавший в ход кулаки, исчез бесследно. Искали его, искали, — как в воду канул. «Гости», однако, не унялись, хозяйничали пуще прежнего. Как и следовало ожидать, к добру это не привело — в роще за селом нашли двоих приезжих. Они были повешены на старой джиде. В тот же вечер остальные бежали в город.

Из Турфана прибыл следователь с отрядом солдат. Начались бесконечные допросы. Солдаты сгоняли дехкан к следователю, и они с утра до ночи томилась у двери его кабинета в ожидании вызова. Все работы по подготовке к весенней посевной прекратились. А тут еще начался падеж скота, не хватало кормов.

В один из холодных и мрачных дней по селу начались повальные обыски — у дехкан отбирали последние остатки продовольствия...

Сыпала снежная крупа, дул ветер. Садык только что вернулся из школы, и не успел еще войти в дом, как слышался стук в калитку, грубый и властный.

Во двор вошли вооруженные солдаты, человек десять. Один из них держал наперевес тяжелый лом. Впереди ша-



гал долговязый уйгур с шомполом в руке и с винтовкой через плечо. Лицо его показалось Садыку знакомым. А позади всех понуро вошел Масим-ака, каратели водили его по дворам как представителя местного руководства.

— Это мой дом,— просяще проговорил Масим-ака, как видно, уже не в первый раз.— Это мой дом...

Его не слушали. Двое солдат начали вонзать шомпола в землю под навесом, остальные пошли кто в коровник, кто в сарай.

Долговязый уйгур, помахивая шомполом, шагнул навстречу Садыку.

— А-а, старый знакомый.— Он ощерился, показывая лошадиные зубы.

Только сейчас Садык узнал его — Нодар! Тот самый головорез Нодар, который еще в Турфане столько крови попортил Садыку. Да и не только ему, но и Шакиру, и Марпуе, которую пытался сделать своей любовницей, и многим другим.

Садык почувствовал, что бледнеет. От этого человека можно ожидать любой подлости.

Нодар пинком открыл дверь в дом, вошел в переднюю: Масим-ака и Садык вошли следом. Их встретили насмерть перепуганные женщины, Захида и Марпуа, они молча стояли у стены, прижав к груди руки.

— А ну показывайте, где тут у вас припрятана пшеница! — растягивая слова, проговорил Нодар и пощелкал себя шомполом по сапогу.

Никто ему не ответил.

— А где пзволит скрываться мой лучший друг Шакир? — глумливо продолжал Нодар.

В ответ молчание.

— Да вы что, языком подавились?! — взревел Нодар.

— Пшеницы у нас нет! — резко и громко ответил ему Садык. — Можете перевернуть весь дом, пичего не найдете. А Шакир работает на каризах. Что вам еще нужно?

Вид перепуганных женщин прибавил Садыку злости. Он готов был безоружным броситься на Нодара и вцелиться ему в глотку.

В комнату вошли двое китайцев и начали обыск.

— Это мой дом! — тверже проговорил Масим-ака. — Я буду жаловаться! Я вам честное слово сказал — у меня ничего нет!

Нодар усмехнулся, кивком дал знать солдатам, чтобы они прекратили обыск.

— Пойдем дальше, раис,— приказал он Масиму-аке.

Пропустив карателей вперед, Масим-ака переглянулся с Садыком, и тот без слов понял: дальше — это значит к старику Самету. А у него прячется в норе Шарип. Болест Хуршида... У Садыка потемнело в глазах. «Если они найдут непутевого, они его пристрелят. А старуха может умереть».

Садык пошел вместе с Масимом-акой, надеясь хоть как-то помешать расправе над несчастными.

В соседнем дворе солдаты снова разделились, а Нодар с двумя китайцами вошел в дом. Больная Хуршида лежала в постели, а старый Самет, увидев вошедших, невольно шагнул к двери в дальнюю комнату, пытаясь загородить вход. Масим-ака посмотрел на хозяина и виновато опустил голову, словно извиняясь за вторжение.

Нодар небрежно оттолкнул Самета и вошел в дальнюю комнату вместе с молодым китайцем. Минуты через три он выбежал оттуда с криком:

— Эй, раис! Ты куда нас привел?! Там печистая сила! Там дьявол прячется!

Как все жестокие люди, он был труслив. Сунул шомпол в нору и почувствовал, что там что-то шевелится, сунул еще раз — и услышал вскрик.

Масим-ака — хочешь ли хочешь, а приходится — прошел в дальнюю комнату и увидел, как из норы вылезает Шарип с поднятыми руками. Одежда в глине, в волосах солома.

На кровати запричитала Хуршида. Нодар бросился к Шарипу с криком:

— Так это ты повесил техников из центра, бандит?! А теперь прячешься?!

Старый Самет загородил собой втука. Рядом с ним встал Масим-ака и потребовал:

— Ведите его к следователю. Здесь я не допущу никакой расправы. За самосуд ответите по закону.

Его решительность подействовала. Нодар процедил сквозь зубы:

— Смотри, раис, не миновать тебе тюрьмы самому.

Однако бить Шарипа не стал, побоялся. Солдаты взяли винтовки наперевес и повели к следователю.

Садыка вызвали в Турфан «для беседы» в отдел кадров.

— Нам известно, что вы получили письмо, в котором имелись такие политически вредные слова: «не увидит, не оценит его слепой». Кто их вам прислал и что это значит?

Садык ответил, что письмо он получил без подписи, а под слепотой подразумевается равнодушие к поэзии. Ничего политически вредного он в этом не видит.

— Нам также известно, что вы ведете переписку с некоторыми предателями и ревизионистами.

Садык на это ничего не ответил.

— Нам также известно, что вы знаете имена убийц, которые учинили в Буюлуке кровавую расправу над нашими кадрами. Назовите их, и мы не будем препятствовать вашей переписке, вы будете спокойно жить и работать в школе.

Садык ответил, что имен не знает и что он в принципе против кровопролития, против террора.

— Хорошо, товарищ Касымов, мы вам верим и ждем от вас практической помощи. Пока вы можете работать в Буюлуке, но только уже не в школе, а в гуньши.

Нетрудно было догадаться Садыку, что вся переписка его проверяется. И не только его. Проверая письма, руководство пытается представить настроение интеллигенции, а затем, с помощью вот таких бесед, пытается пресекать «антиправительственную пропаганду».

Вернувшись в Буюлук, Садык сжег все свои наиболее опасные стихи, оставив только рукопись поэмы «Ипархан». Стихи он помнил наизусть и намеревался распространить их устно, с помощью верных людей.

Из школы его уволили.

После истории с Шарипом Масима-аку перевели в рядовые члены гуньши. Раисом назначили Чи Даупиня, а его помощником, к несчастью всех, — Нодара.

## IX

Положение в Урумчи было еще более сложным, чем в других городах и сельских районах Синьцзяна. Так называемое «движение по выправлению стиля работы» прошло по столице разрушительным ураганом, оставляя бессмыс-

ленные жертвы. Волнами прокатывались лозунги и призывы, требующие исполнения: «Долой внутренних и внешних врагов», «Разоблачим националистов всех до единого» и тому подобное. Всеми этими «движениями» энергично руководил генерал Ван Энмау, первый секретарь автономного парткома, полноправный представитель Пекина.

Айше-ханум все труднее становилось работать в университете, но тем не менее она приняла Хашпу в свой дом, наказав ей никому ни слова не говорить о своем муже.

После долгих попыток разыскать родителей девочки Ханипа вынуждена была определить ее в детский дом, поскольку сама оказалась на иждивении доброй Айши-ханум. Устроиться на работу Ханипа не могла. О переходе в Советский Союз в такой обстановке печего было и говорить.

Однажды Ханипа-ханум вернулась из университета озабоченной больше обычного. За чаем они сидели молча, наконец Айша-ханум заговорила:

— Я хорошо помню, как несколько лет назад в Ланьчжоу, в зале института национальностей, выступал с трибуны молодой Момун Талипи... А сегодня мы обсуждали его статью, напечатанную в советской газете.

— Значит, он жив! — воскликнула Ханипа. — О аллах!

— Да, он жив, но не спешите радоваться, милая. Все ваши мытарства, как я теперь понимаю, из-за него.

«Нет, нет, главное — он жив, жив! — мысленно твердила Ханипа. — И он работает, действует!..»

— Где же он, дорогая Айша-ханум? В каком городе? И о чем статья?

Айша-ханум рассказала, что статья подписана другим именем, но, как сказал инструктор парткома, автор ее не кто иной, как предатель Момун Талипи. Сегодня собрали всех партийцев университета и призвали обсудить порочную, вредительскую статью и заклеить ее автора клеймом позора.

В статье говорилось, что сейчас в Китае совершенно отрицается бескорыстная экономическая помощь Советского Союза. И в то же время Лю Шаоци заявляет, что работа иностранных специалистов в старом Китае еще полвека назад оказала положительное влияние на рабочий класс внутри страны. Получается, что буржуазные специалисты оказали положительное влияние, а содружество социалистических стран — отрицательное. В этом проявилась установка нынешних пекинских руководителей, как две капли

воды похожая на старый принцип китайских императоров: «Дружить с дальними странами и воевать — с соседними».

В статье разоблачались территориальные претензии Китая. С одной стороны, Пекин заявляет, что в его истории не было никакого уйгурского государства, а с другой — что вся территория Семиречья вплоть до Самарканда является издревле китайской, поскольку она входила в состав империи Карахонидов. А что такое Карахониды, как не государство уйгуров?

Пекин утверждает, что его территория простирается на север до самого Амура и Сибири. «Но прежде чем так заявлять,— говорилось в статье,— пекинскому руководству следовало бы прежде передвинуть свою Великую стену на тысячу с лишним километров к северу...»

— Айша-ханум, а нельзя ли мне самой прочесть эту статью? — спросила Ханипа.

Айша-ханум в ответ лишь улыбнулась и покачала головой.

— Я ведь и сама ее не видела. Нам ее только зачитали, а газету никто из преподавателей даже в руках не держал. Сейчас мы должны думать не о статье, милая, а о другом...

— О чем же?

— Если они узнают, что автор статьи — ваш муж, то...

— Пусть! — воскликнула Ханипа. — Главное, Момуя жив, и его мечта сбылась, он действует, пишет. Я горжусь им.

Айша-ханум ласково улыбнулась, ей понравилась стойкость этой молодой женщины. Однако оставлять ее в своем доме было опасно для самой Айши-ханум. И тем не менее, когда Ханипа заговорила о своем намерении уехать в Буюлук, где живут ее друзья, Айша-ханум посоветовала ей дождаться лета.

Она надеялась с помощью некоторых своих знакомых в Урумчи добиться для Ханипы разрешения на выезд в Советский Союз.

## Х

Для жителей Турфана и окрестных сел — Буюлука, Астина, Караходжи — настали тяжелые времена. Бесчинствовали всевозможные уполномоченные из округа, им помогали местные прихлебатели. Стоило дехканину хоть раз не выйти на работу, пусть даже по серьезной, уважительной

причине, как он тут же объявлялся «враждебным элементом» и лишался продовольственной нормы. Каждый вечер, в конце рабочего дня, изнуренных дехкан выстраивали и заставляли воздавать хвалу самому, самому красному солнцу и великому кормчему: «Ветер с востока, ветер с востока сильнее, чем ветер с запада. Эпоха великого Мао песет всем народам счастье».

Масим-ака, Шакир и Садик работали на каризах. Марпуа вместе с другими женщинами — на виноградниках, и только Захида получила разрешение оставаться дома, поскольку она была уже на последнем месяце беременности.

Тяжела работа на каризах. Под землей, в темноте. В глине, в песке, в грязном иле. Работать приходится в туннеле почти на ощупь. Свет проникает только сквозь спусковые колодцы, расположенные через каждые пятьдесят — шестьдесят метров.

...Масим-ака и Шакир обнаружили большой обвал в каризе. Обследовав его, Масим-ака сказал Шакиру, чтобы он поднялся наверх и попросил начальство установить над колодцем большой ворот и запрячь лошадь, иначе вручную им придется расчищать завал долго, не меньше недели.

— И еще человек пять попроси на подмогу, — приказал Масим-ака.

Шакир поднялся по веревке наверх. Неподалеку от колодца стоял Нодар с двумя вооруженными китайцами. Но хотелось Шакиру к нему обращаться, да что поделаешь: Нодар — начальство.

Выслушав Шакира, Нодар великодушно разрешил взять лошадь с соседнего кариза, а выделить помощников отказался.

— Пускай этот старый хрыч сам пошачит, а то слишком долго он ходил в райсах, привык командовать.

— Он не только командовал, но и работал вместе со всеми. — Шакир с презрением посмотрел на Нодара.

Серое одутловатое лицо, мутные глаза, гноящиеся веки — один вид его вызывал омерзение.

— Чего уставился, хамло? — Нодар шагнул ближе к Шакиру. За ним, как привязанные, шагнули и два китайца.

— А что, на тебя уже и посмотреть нельзя? — спокойно ответил Шакир.

— Лезь под землю! — приказал Нодар. — И помельше болтай!

— Дождешься, Нодар, дождешься... — пообещал Шакир.

Нодар неожиданно ударил его в подбородок. Шакир отшатнулся и упал. Нодар стоял над ним, с ухмылкой потирая кулак, — одолел-таки он своего соперника по дракам в Турфане.

Шакир поднялся, молча отошел к колодцу, взялся за веревку и спустился вниз.

Он ничего не сказал Масиму-аке и Садыку о стычке с Нодаром. Взял кетмень с короткой рукоятью и начал с ожесточением швырять вязкую глину в корзину. Немного успокоившись, он хрипло спросил Масима-аку: поймали Реймшу или еще нет?

— Как будто нет, не поймали, — ответил Масим-ака. — А что ты задумал, Шакир?

В Буюлуке стало известно, что именно Реймша расправился тогда с тремя «техниками из центра». Сначала он съездил в Кашгар, помолился там, попросил у аллаха прощения за вынужденный грех, а потом вернулся в Буюлук и посчитался с «гостями». Следовател об этом пронюхал, но Реймша скрылся. И с той поры что бы ни случилось в Буюлуке, валили на Реймшу. Семь бед — один ответ. Возможно, что он и в самом деле паведывался в село, чтобы мстить, а может быть, уехал совсем в другие края, во всяком случае, скрывался он умело, в Буюлуке верили, что Реймшу не поймать.

Вопрос Шакира пасторожил Масима-аку, но тот не стал объяснять, что намерен при первом удобном случае расправиться с Нодаром. И пусть думают, что это сделал неуловимый Реймша.

\* \* \*

Осенью Масим-ака заболел и слег. Раньше он лечился просто: резал барана, снимал шкуру, заворачивался в нее, пил свежий бульон и ложился на несколько часов. Болезни как не бывало. Теперь же не то чтобы барана зарезать, куриного бульона не попьешь.

Он пролежал неделю в жару, потом кое-как поднялся, взял позолоченный браслет — единственную память о покойной жене, и поехал в город, надеясь попасть в больницу. Но в больницу его не привяли, и Масим-ака, продав браслет, вынужден был обратиться к частному лекару. Его

лечили настоем трав, а главное — поили жирной сурпой. Через неделю он вернулся домой вполне здоровым.

Все были рады его возвращению...

Однако это была последняя радость, которую дружная семья Масима-аки переживала вместе. На другой день в доме не осталось ни единой души...

\* \* \*

Вечером после своего возвращения из города Масим-ака попросил Шакира сходить к старому дунганину Джау-Шимину и пригласить его в гости. Масим-ака встретил в Турфане его родственников, и те просили передать привет Джау-Шимину и рассказать про их житье.

Когда-то, до «новой политики», Джау-Шимин тоже руководил дехканской общиной. Он жил в Буюлуке давно, знал здешнюю землю, умел предсказывать погоду, угадывал лучшие сроки для сева, для уборки, был человеком спокойным и мудрым.

Шакир пригласил Джау-Шимина, тот охотно согласился. Они вышли на улицу. Уже наступили сумерки. За высоким дувалом на другой стороне улицы они заметили отсвет костра, а когда приблизились, услышали за дувалом пьяные, злые голоса.

И Шакир, и Джау-Шимин знали, что здесь живет Абдуварис, старый таджик, образованный человек, знающий арабский язык и фарси. У него хранилось множество старинных книг, печатных и рукописных, и в Буюлуке Абдувариса звали Книжником.

— Надо пойти к нему, сынок, — сказал Джау-Шимин. — Что-то неладное...

Они толкнули калитку и вошли во двор.

Посреди двора горел костер, а вокруг него, словно бесноватый, привлясывал пьяный Чи Дауинь. Он держал охапку книг и бросал их в огонь по одной. А в трех шагах от костра Нодар держал Абдувариса, вывернув ему руки. На белой бороде старика чернела кровь.

— Виноград ворует, старый хрыч! — кричал пьяный Нодар. — А вином угощать не хочешь!

— Ай-яй, как вам по стыдно! — воскликнул Джау-Шимин, приближаясь к Нодару. — В чем провинился этот бедный старик?



Чи Даупинь только сейчас заметил вошедших. Он замер от неожиданности, затем бросил в костер всю охапку книг и выхватил паган.

— Пошли вон отсюда! — заорал он и бросился к Джау-Шимину, намереваясь ударить его рукояткой пагана.

Шакир в два прыжка подскочил к китайцу и пинком выбил паган из его руки. Чи Даупинь присел, схватившись за руку.

— Шакир, поберегитесь! — воскликнул Джау-Шимин.

В свете костра Шакир увидел, как Джау-Шимин медленно валится на старика Абдувариса, — Нодар ударил его ножом и бросился на Шакира. Шакир попятился в темноту, доставая из-за голенища нож. Нодар замахнулся, он хорошо был виден на фоне костра. Шакир легко поймал руку Нодара и ударил его ножом в шею. Тот сразу обмяк, будто продырявленный мяч, и повалился на землю.

Чи Даупинь, причитая по-китайски, рыскал по двору, ища свой паган. Джау-Шимин полулежал на земле, старик Абдуварис поддерживал его голову.

Шакир прикинул, куда мог отлететь паган, подошел к дувалу и поднял оружие.

— Не имеешь права! — взвизгнул Чи Даупинь. — Мне его выдал партком!

Шакир схватил китайца за шиворот и поволол его к мертвому Нодару.

— А ну тащи его! — приказал Шакир. — Тащи палач палача!

Шакир взвалил труп на спину Чи Даупиня и велел нести его в сад. Китаец еле шел, Шакир подталкивал его в бок паганом, и страх придавал силы Чи Даупиню. В темном углу сада, возле заброшенного колодца, Шакир остановил его, и Чи Даупинь уже без всякого предупреждения сам догадался, что надо делать. Он сбросил труп своего верного пса в колодец и повалился в ноги Шакиру, моля о пощаде.

Но даже и перед лицом смерти китаец мелко хитрил, он громко вскрикивал, взвизгивал, падеясь, что услышат соседи и прибегут на помощь, хватал Шакира за руки, намереваясь вырвать паган. Вся боль последних месяцев всколыхнулась в душе Шакира, все издевательства всплыли в памяти, и он яростно ударил Чи Даупиня тяжелым сапогом. Китаец захрипел и стих. Шакир брезгливо поднял его и бросил в колодец.

...Через час, проводив легко раненного Джау-Шимиша — нож скользнул по ребрам,— Шакир вернулся домой.

Пришлось рассказать всю правду. Масим-ака рассудил, что теперь им ничего не остается, как утром сразу же уйти в горы Ялгуз-Турум.

— Если придут искать,— приказал Масим-ака Садыку и Захиде,— то скажите, что вместе с Нодаром и Чи Даупином мы уехали в Турфап.

Всю ночь шли сборы в дальний путь. Женщины плакали. Аркиджан мирно спал, ни о чем не подозревая. Когда утром ему сказали, что надо ехать в горы, он забеспокоился:

— А как же Бойпак? Разве я могу его оставить?

Пришлось взять с собой и Бойнака.

Предусмотрительный Масим-ака посоветовал Садыку и Захиде сразу же запереть дом и уйти к соседям, Самету и Хуршиде.

## XI

Через два дня в Буюлук прибыли окружные представители для расследования дела о пропавших без вести. Первым вызвали на допрос Садыка, и он показал, что в ту ночь, уже очень поздно, когда все спали, явились в их дом Нодар и Чи Даупинь с нагапом. Они приказали Масиму-аке и всей семье собрать вещи, дали им час на сборы и увезли их в Турфап.

— Почему вы сразу же не сообщили об этом куда следует? — спросили Садыка.

— Я не имел права сообщать на товарища Чи, поскольку он назначен Турфапом и является представителем власти.

— С одной стороны верно, не имеет права, но с другой — не являетесь ли вы пособником в преступлении? Люди-то исчезли.

— Чи Даупинь грозился применить оружие,— отвечал Садык.— Что им оставалось делать? Они послушно собрались, выполнили приказ руководства. Если тут совершено преступление, то виноваты в этом те, кто назначил на руководящий пост такого преступника, как Нодар. Об этом я хочу написать в Урумчи.

— Слушай, писака, ты отдаешь отчет своим словам?! — закричал на Садыка один из представителей.

Однако другой, постарше, видимо напуганный тем, что об этой неприглядной истории узнают в столице прежде времени, успокоительно сказал:

— Виновные понесут ответственность, товарищ Касымов, не беспокойтесь. А сейчас важно, чтобы работа в гуньши не прекращалась ни на один час. Ваши дехкане разбрелись, как бараны без чабана...

В тот же день раисом был вновь назначен Джау-Шимин. Старика еще сильно беспокоила рана, но он крепился, не подавал виду и обещал начальству беспрекословно выполнять все указания.

— Прежде всего, аксакал, вы должны успокоить дехкан и мобилизовать их на трудовые подвиги, это наше первое указание.

Джау-Шимин тряс бородой, приговаривая:

— Хорошо, господин, ладно, господин, постараюсь...

На допрос вызвали следующих, а Садык и Джау-Шимина отпустили. Когда они вышли на улицу, Джау-Шимин сказал:

— Знаешь, чем отличаются порядки теперешние от прежних? Раньше китайские военачальники — шаньгано — издевались и грабили по своей воле, самостоятельно. Теперь же издеваются по указанию Пекина...

Навстречу им из переулка вышла небольшая процессия. Судя по размерам тавута — носилок для покойного, — умер ребенок. Джау-Шимин и Садык присоединились к процессии, прошли до конца села и по дороге узпали, что ребенок умер от голода.

С кладбища они возвращались молча. Старик кряхтел, время от времени трогая свой раненый бок. Когда стали прощаться, Садык не вытерпел:

— Дядя Джау, Масим-ака сказал мне, что, когда наступит для Буюлука черный день, я должен вскрыть тайник. Под развалинами одного старого дома есть яма с пшеницей...

Джау-Шимин перестал кряхтеть, седые брови сошлись на переносице.

— Черный день, черный день... — задумчиво проговорил он. — Слишком много надо пшеницы, сынок, чтобы накормить всех.

— Распределим хотя бы среди наиболее голодающих семей, — подсказал Садык.

— Хорошо, сынок, я пошлю к тебе трех надежных дех-

кан. Только сделайте все чисто, не оставьте следов. А в яму пустите воду из арыка.

Так десятки семей Буюлука были спасены от голодной смерти.

\* \* \*

На третий день после тайной раздачи пшеницы в дом Садыка ворвались с обыском. Нашли полведра муки, перерыли все вверх дном, и когда стали рвать в клочья рукописи Садыка, он потерял выдержку, бросился спасать рукописи. Они только этого и ждали, избили Садыка до потери сознания.

— Вор, жулик, расхититель народного добра!

Пинками били лежащего.

Захида бросилась к мужу, обвила руками его окровавленную голову, пытаюсь защитить от ударов. Ее схватили за волосы, поволокли по полу...

Садык пришел в себя в темной камере Турфанской тюрьмы.

\* \* \*

Старая Хуршида проилакала всю ночь, а утром стала шить савап для Захиды из белого полотна, которое она припасла для себя.

Старик Самет, совершив молитву над умершей—угасли две жизни,— вышел во двор и, опершись о палку, поднял лицо к небу и громко запричитал, оплакивая смерть невинных — матери и ребенка. Его скорбный, заунывный голос исходил будто из-под земли и разносился по всему притихшему Буюлуку.

Дехкане собрались во дворе Самета, чтобы разделить общее горе.

Перед смертью Захида успела сказать Хуршиде, чтобы ее похоронили рядом с матерью, в мазаре возле Турфанского минарета.

Дехкане решили выполнить последнюю волю покойной. Хоронить Захиду готовилось все село, однако, чтобы не дразнить надзирателей и не вызвать в Буюлуке новых беспорядков, часть дехкан все-таки вышла на наиболее важную работу.

В полдень похоронная процессия, подняв над головами тавут с телом Захиды, двинулась пешком в сторону Турфана.

\* \* \*

Старик Абдуварис и еще трое аксакалов в чалмах за-долго до выноса тела Захиды отправились в Турфан вер-хом на ишаках. В полдень они подъехали к городской тюрьме и попросили вызвать начальника. Тот вышел, и старики стали умолять его отпустить Садыка на поруки хотя бы на один день, чтобы похоронить жену. Начальник отказался выполнить их просьбу. Старики сели на ишаков и отправились в окружной партком. Там они долго стояли у входа и, понунив головы в светлых чалмах, слушали, как молодой инструктор говорил им о вредных пережитках феодализма и о необходимости искоренять религиозные предрассудки.

Совершенно подавленные аксакалы так и встретили ни с чем своих односельчан на окраине Турфана.

Захиду несли на руках до самого мазара, а позади про-цессии плелась лошадь, запряженная в пустую телегу.

Старый шейх с лицом, изрезанным морщинами и потем-невшим, как древний пергамент, без труда нашел могилу, в которой была захоронена мать Захиды еще двадцать лет тому назад. К шейху подошел Книжник Абдуварис, похоронивший на этом кладбище многих родных и близких.

— Уважаемый шейх-имам, я вас давно знаю. В этом году вам, наверное, исполнилось уже девяносто?

— Девяносто, сын, мне лет, в этом мире меня нет, — ответил шейх речитативом.

Абдуварис с грустью прищурил глаза и, глядя куда-то вдаль, прочитал строки из Омара Хайяма:

Когда на вечный мы отправимся покой,  
По кирпичу на прах положат — мой и твой.  
А сколько кирпичей пасушат надмогильных  
Из праха нашего уж через год-другой.

Недолго помолчав, Абдуварис продолжил, должно быть, уже от себя:

И смерть сама не испугает нас,  
Когда она придет в урочный час.  
А здесь так сердце сжалось, дунат слезы:  
Ведь для цветка с бутонем свет погас!

— Вы хотите сказать, что покойная должна была стать матерью? — спросил шейх.

— Да, шейх-ата, она должна была па днях родить...

В наступившем безмолвии все опустили на колени и шейх прочел погребальную молитву.

Горько было всем сознавать, что бедный Садык так и не смог проводить свою жену в последний путь.

## ХП

После двух недель пребывания в одиночке Садык написал заявление, требуя суда. Ответа не получил. Его не вызывали на допрос, не предъявляли никаких обвинений, как будто совсем про него забыли. Да и в чем они могли обвинить Садыка? Разве только в том, что он оказал сопротивление представителям власти, попытался спасти свои рукописи. А то, что нашли у него при обыске полведра муки, прямой уликой считать нельзя. Возможно, ему попытаются пришить убийство Нодара и Чи Даупиня, по Садык к этому делу совсем не причастен, в тот вечер он был в школе, есть свидетели.

Так за что же они держат его в одиночке, как матерого бандита? Почему не отправляют в исправительный лагерь, в пустыню, без суда и следствия, как это делают с другими узниками. Почему не отправляют в какую-нибудь шахту, в места, которые народ метко назвал «барса — кельмес»: пойдешь — не вернешься. Неужто ему готовится еще более суровая кара?..

Через месяц Садык потребовал приема у начальника тюрьмы, по ему отказали. Садык объявил голодовку. Надзиратели, злорадно посмеиваясь, два дня уносили из его камеры глиняные черенки с едой, а па третий день связали Садыку руки, вставили в глотку резиновую кишку и влили через нее похлебку из гаоляна.

Однако голодовка возымела действие. Садыка вызвали к начальнику тюрьмы, и тот, все еще не предъявляя Садыку никаких обвинений, сказал ему о переводе в общую камеру — только и всего.

— На какой срок? — спросил Садык.

— До полного исправления и призапания своей вины, — последовал ответ.

Садык потребовал бумаги и чернил, чтобы написать жалобу в Урумчи.

— Скоро дадим,— пообещал начальник.— И бумагу, и чернила. Много-много будешь писать, самому надоест.— И приказал надзирателям увести его.

«Значит, главная игра еще впереди,— думал Садык.— О чем же они заставят меня писать?..»

В общей камере — пять шагов от двери до окна с решеткой, три шага от стены до стены — сидели двенадцать заключенных. К своему удивлению, Садык увидел здесь Шарипа, оказывается, до сих пор его не судили. Однако Шарип не особенно печалился, поразительное благодушие, безмятежность, даже довольство были написаны на его лице. Он стал как бы живой частью тюрьмы. Подметал камеру, безропотно выносил парашу, разливал по чашкам похлебку из общего ведра. Надзиратели выводили его убирать тюремный двор, подметать коридор, и это позволяло Шарипу узнавать кое-какие новости, хотя он ими мало интересовался. Заметно было, что другие заключенные относятся к нему неприязненно, даже с презрением.

Садык спросил у него, что слышно из Буюлука, как поживают его старики.

— Наверно, живы,— безразлично ответил Шарип.— А твоя Захида того...

У Садыка остановилось сердце.

— Что? Родила?

— Нет, похоронили. Разве не знаешь?

Садыку стало трудно дышать, он бросился к решетке, припал головой к чугунным прутьям и зарыдал.

Высокий стройный уйгур по имени Таир зло глянул на Шарипа, и тот забился в угол камеры, как щенок. Таир подошел к Садыку, положил руку на его плечо.

— Сочувствую, браток... Что поделаешь, слезами горю не поможешь. Терпи, браток...

Кое-как Садык успокоился.

Теперь он остался совсем один, без друзей, без родных. Неизвестно, где Масим-ака и Шакир. Момун в Советском Союзе. Где-то мыкает горе тоже одинокая Ханипа. Кажется, совсем недавно Садык звал ее в Буюлук, в большую и дружную семью Масима-аки. И что теперь от этой семьи осталось... Если откликнется Ханипа на зов, придет, то ничего не найдет она в Буюлуке, никого и ничего, кроме пустого дома.

Нет у него Захиды, нет семьи, не будет у него ребенка,

которого они так ждали. Рухнули все надежды. Зачем ему жить? Ради кого? Для чего?

Таир пытался разговором отвлечь Садыка от мрачных мыслей, пригласил его на свою циновку, стал расспрашивать, долго ли Садык просидел в одиночке. Оказалось, что Таир давно слышал о Садыке, читал его стихи еще в ту пору, когда Садыка печатали и в Урумчи, и в Турфане. Душевный, чуткий Таир утешал Садыка, как мог, и к вечеру, когда принесли ужин, Садык даже согласился поесть.

Шарип разливал похлебку из большого ведра и козлиным голосом тянул нараспев:

— Сначала го-остю, а потом остальные-ым.— Он как будто успокаивал капризных детей, и казалось, большего счастья ему не надо, лишь бы подольше подержать в руках замызганный черпак из тыквы.

В углу камеры лежал больной, свернувшись калачиком, и заунывно тянул песню, похожую на плач ребенка:

Земля моя уходит из-под ног,  
И сердце бесконечно кровоточит...

\* \* \*

Утром надзиратель объявил приказ начальника тюрьмы: всем, кроме Садыка Касымова, собратиться с вещами для отправки по этапу. Заключение оживились — в любом лагере все-таки лучше, чем в полутемной сырой камере. А собираться им недолго — свернуть циновку да не оставить ложку. Один только Шарип приуныл, не хотелось ему расставаться с тюрьмой, он будто для нее и родился. Садык невольно подумал, что те дни, которые Шарип провел в поре у деда с бабкой, отложили след на всю его жизнь, наверное, еще тогда он стал выживать из ума.

Таир дружески расiroцался с Садыком и пожелал ему скорого освобождения.

— Свято место пусто не бывает, — сказал Таир. — К вечеру камеру заполнят другие страдальцы.

Заключенных вывели во двор. Там их принял козвой, а по тюрьме уже прошел слух: отправляют в какую-то дальнюю шахту.

Таир ошибся, в камеру к Садыку никого больше не подсадили, он так и остался один. А на другой день Садыка вызвали в кабинет начальника тюрьмы.



Кроме начальника в кабинете сидели еще двое — секретарь окружного парткома и следователь округа, известный своей жестокостью полковник Сун Найфынь.

Встретили они Садыка на удивление вежливо, предупредительно, каждый подал ему руку.

— Садитесь, товарищ Садык Касымов.

— Как ваше здоровье?

— Извините, что мы вас так долго не приглашали для беседы.

Садык молча переводил взгляд с одного на другого. При всей своей доверчивости он заподозрил неладное в этой их преувеличенной заботе. Он уже знал их повадку — мягко стелют, да жестко спят.

— Какие у вас жалобы, товарищ Касымов? — участливо спросил секретарь. — Есть ли у вас претензии к нам?

Садык едва сдержал усмешку — «жалобы, претензии». Как будто сами ничего не знают.

— За что меня держат в тюрьме? — прямо спросил он.

Секретарь посмотрел на Сун Найфыня, и тот коротко пробурчал:

— За дело.

— За какое дело?

— О-о, Садык Касымов, у вас не одно дело, а целая куча, — в голосе следователя послышалось как будто ликование. — Хищение государственного хлеба, это во-первых, подстрекательство на беспорядки — во-вторых, ваши идеологически вредные стихи, — в-третьих. Разве этого мало?

— Все это надо доказать, — ответил Садык.

— Дока-ажем, — почти пропел полковник, усмехаясь. — И еще как докажем.

В разговор вмешался секретарь:

— Любому человеку, который совершил преступление, мы даем возможность исправиться, товарищ Касымов. — Секретарь подчеркнуто называл Садыка «товарищем», и это его все больше настораживало. — Мы не считаем вас совсем пропащим человеком, совсем нет. Наоборот, мы надеемся, что вы исправитесь, мы вас охотно освободим и направим в Буюлук директором школы. Как вы на это смотрите?

Садык молча пожал плечами. Ясно, что они подготовили какую-то ловушку и пытаются его олурачить, как мальчишку.

— Оказывается, вас не только мы знаем, — продолжал

секретарь,— по вас хорошо знают и в Урумчи. Имеппо оттуда, из столицы, к вам поступило предложение насчет вас...— Секретарь выразительно помолчал, и Садык не вытерпел, спросил:

— Какое предложение?

Секретарь ответил не сразу, а долго еще петлял вокруг да около, подогревая естественное любопытство заключенного.

— Урумчи озабочено вашей судьбой. Как же! Человек с вашим образованием, талантливый поэт — и вдруг в тюрьме сидит, в зиндане, как бандит с большой дороги. Не хорошо, согласитесь, товарищ Касымов, неприлично.

Садык молчал.

— Вы должны заслужить прощение, товарищ Садык. А для этого вы должны сделать совсем немного — выполнить предложение Урумчи. И тогда — прощай зиндан и да здравствует работа на посту директора школы. Если не хотите в Буюлук, мы дадим вам школу в самом Турфане. Так как, товарищ Касымов, вы согласны?

— Какое предложение? — хрипло спросил Садык.

— Вот это уже деловой разговор.— Секретарь не спеша открыл портфель, извлек оттуда три аккуратно сложенных газеты. Садык сразу же определил — по светлой бумаге, по свособразной верстке, — что газеты советские. — Вот здесь,— секретарь приподнял газеты над столом,— напечатаны три статьи. Не стану скрывать, их написал ваш друг Момун Талиши. Он позорно сирятался под псевдонимом, но мы без труда узнали этого вопючего ревизиониста, фальсификатора и предателя своего народа. Так вот: от вас требуется совсем немного — честно, принципиально, с позицией великого учения Мао опровергнуть эти гнусные измышления. Мы считаем, а также Урумчи считает, что вы без особого труда справитесь с этой задачей, товарищ Касымов.

— Раздолбать его! — взревел Сун Найфынь.— В пух и в прах, не то сам знаешь...— Полковник осекся под взглядом секретаря и заколчил тише: — Развенчать, заклеить, пригвоздить к позорному столбу, только и всего.

Не ожидал Садык, не думал, но гадал, что судьба сведет его с другом именно таким образом.

— Для того чтобы критиковать,— сказал он,— надо сперва ознакомиться со статьями.

— Совершенно верно! — подхватил секретарь с жаром, будто Садык сказал бог знает какую мудрость.— Для этого мы вас и пригласили. Мы вам вручаем все три статьи и надеемся на вашу сознательность. Вы получите бумагу, чернила, нужную для работы справочную литературу. В камере у вас будет письменный стол, мы создадим вам все условия для плодотворной творческой работы. А кроме того, какое у вас любимое блюдо?

Садык слегка опешил, не зная, что сказать, слишком неожиданно секретарь сменил пластинку. Впрочем, в такой ситуации они могут обещать золотые горы.

— Понимаю, вы человек скромный.— Секретарь фальшиво улыбнулся.— Тем не менее вы можете заказать свое любимое блюдо, мы назначаем вам усиленное питание. Итак, за работу, товарищ Касымов, впереди вас ждет свободный труд на благо народа!

В камере Садык увидел и стол, и стул, стопку бумаги и чернила. Они внесли все это, будто заранее зная, что Садык смалодушничает и согласится.

И все-таки он радовался, несмотря на всю сомнительность положения. Садык надеялся без особого труда выполнить просьбу секретаря и получить желанную свободу. Они ведь и прежде без конца спорили с Момуном, дружили и спорили, и спор не мешал их дружбе. Так и сейчас, не подличая, без всякого вреда для Момуна Садык постарается ему ответить. Да и что теперь может навредить Момуну, вет такой силы, Момуи в Семиречье, под защитой могучего государства.

Садык радовался тому, что может сидеть за столом и висать, радовался чистым листам бумаги, радовался и за Момуна. Значит, он работает, пишет статьи, наверняка занимается наукой, исполнилась его мечта.

Садык улыбнулся впервые за много-много дней. Он ходил по камере, подсаживался к столу, на котором рядом были разложены газеты, пробегал глазами заголовки, смотрел на подпись Момуна — «Варис», что означало «Наследник», и снова поднимался и ходил взад-вперед по камере, не в силах сосредоточиться, справиться с возбуждением.

В дверном глазке мелькнула тень, ясно, что за ним наблюдали, и Садык подумал: а не завесить ли дверь одеялом, чтобы они не видели его ликования? Но потом отбросил эту мысль — не годится ему маскировать себя одеялом, маскироваться теперь нужно более тонко, более умело.

...А в кабинете начальника тюрьмы потирали руки и секретарь, и следователь. Они были довольны и мудростью Урумчи, и своей хваткой. За каких-то полчаса провернули важное идеологическое задание. Заключенный не стал коверкаться и ломаться, а согласился сразу. Простодушный поэт, дитя природы. Напишет достойную отповедь, а там будет видно, как с ним поступить дальше, на какой работе его использовать.

\* \* \*

Прошла неделя. Садык не написал ни строчки. Радость его таяла с каждым днем, гасла надежда на близкое освобождение.

Статьи он уже знал почти наизусть. Нет, это был совсем не тот Момун, с которым они спорили в годы студенчества. Тогда они больше витали в облаках, темы их дискуссий были отвлеченными, совсем иными, да и положение в стране было другим. Теперь же...

Чем мог ответить Садык на статью Момуна о расстреле демонстрации в Кульдже 29 мая? Да ничем. Кровь стынет в жилах, когда читаешь эту статью. Окажись он в Кульдже в тот день, непременно пошел бы в первых рядах. Невозможно оправдать расстрел мирных жителей, как ни хитри, как ни изворачивайся, хоть разорвись. Давать отповедь на такую статью — значило бы оправдывать убийство ни в чем не повинных мирных жителей. Нет, это бесчеловечно, это не для Садыка — защищать убийц.

Две другие статьи также не давали повода для достойного ответа. Момун писал резко, прямо, приводил факты, цитировал пекинские документы, ссылаясь на книги по истории.

«Пекинские шовинисты, — говорилось во второй статье, — утверждают, будто уйгуры не являются самостоятельной народностью, они якобы только часть китайского народа, одно из его племен. Китайские шовинисты отрицают то обстоятельство, что уйгуры имели свою тысячелетнюю историю, свою культуру, имели свое могучее государство. Однако в азарте своих территориальных претензий попугай из Пекина повторяют и повторяют, что все земли до Самарканда и Балхаша принадлежали раньше китайскому государству Караханидов. Спрашивается: где же тут логика? Всему миру издавна известно, что Караханиды —

это и есть уйгуры. И столицей их был город Кашгар, а одно из наименований уйгурского государства, которое сохранилось в мировой исторической литературе, — Кашгария. Государство уйгуров за свою многовековую историю имело несколько названий, но ни одно из них не говорит о принадлежности к Китаю. Еще римские историки называли землю уйгуров Восточным Туркестаном, и само это название говорит, что здесь жили турки, а не китайцы. Если же обратимся к китайским источникам, то найдем в них новое название края — Синьцзян, что в переводе означает «новая граница» или «новый край». Всего лишь два столетия тому назад появилось это название, когда уйгурскую землю поработили завоеватели Циньской династии.

Верные лозунгу императоров Мина и Чина, гласящему: дружить с дальними странами, воевать — с соседями, циньские ханы вплоть до XVIII века посылали и получали свои войска на захват Восточного Туркестана. Но всякий раз уйгуры поднимались на защиту своей родины и наголову разбивали эти войска. Не случайно дорога войны в пустыне Гоби, между рекой Хуанхэ и Кумулом, названа китайцами Дорогой Дьявола. И до сих пор раз в десять лет китайцы устраивают там церемонию избиения — словно одержимые, в испуге они бьют ни в чем не повинную землю, на которой уйгуры отстаивали свою независимость...»

В третьей статье Момун писал об авантюризме пекинского руководства, о провалах «народной коммуны», «большого скачка», «малой металлургии», все это принесло народу одни лишь бедствия и разорение.

Нечем было возразить Садыку и по этому поводу, совершенно нечем.

А надзиратели заваливали его стол едой, приглашали три раза в день на прогулку, были вежливы и любезны. Каждый день в камеру к нему заходил начальник тюрьмы и спрашивал: «Ну как работа, идет?», и Садык отвечал: «Идет».

\* \* \*

Через неделю Садыка вызвал в кабинет начальника тюрьмы полковник Суп Найфынь.

— Как здоровье, товарищ Касымов, как статья?

У Садыка не хватило решимости высказать полковнику

все свои соображения и отказаться. Нет, ему не хотелось совать голову в петлю, и он решил потянуть время. На хитрость ответить хитростью.

— Я не могу писать по поводу событий в Кульдже, — решительно заявил Садык.

— Почему? — Полковник насупился.

— Насколько мне известно, эта тема запрещена в нашей печати, — все так же без колебаний, твердо продолжал Садык.

Слово «запрещена» оказало магическое действие на полковника. Оно было из его служебного лексикона, оно слишком часто звучало для полковника в руководящих указаниях сверху. Сун Найфынь насторожился, что-то неопределенное промышчал.

— Об этом факте многим ничего не известно, — развивал свои доводы Садык. — А если мы заговорим о демонстрации и хотя бы намекнем о расстреле, возникнут всякие вредные слухи и толки, а нас тогда обвинят в идеологической диверсии.

Садык подал газету полковнику. Тот поколебался, затем нехотя прищип газету из рук Садыка, будто кашитулируя.

— Я посоветуюсь с Урумчи, — пробурчал полковник. Он явно растерялся. Этот пост не такой уж растяпа, грамотный, знает, что к чему. Идеологическая диверсия — не шутка, что скажут в Пекине? — Я посоветуюсь, — повторил полковник. — А как другие статьи, пригвоздил к позорному столбу?

— Я их изучаю, — ответил Садык.

— Что значит изучаю?! — вскипел полковник. — Нам по изучению нужно, а твоя отповедь! Семь дней прошло, а ты ни слова не написал, дармоед! Или написал? Хотя бы одну страницу, хоть сколько-нибудь ты написал?

— Мой противник пользовался специальной литературой, видно, что сидел в библиотеке, я же сижу в камере, и никакой литературы у меня нет.

— Так какого черта не требуешь?! Мы же тебе сказали выписать все необходимое!

— Завтра я вам представлю список.

Сун Найфынь вскочил, заметался по кабинету. Он едва сдерживал ярость, ему хотелось наброситься с кулаками на этого писаку-упрямаца.

— Послезавтра я должен ехать в Урумчи с докладом по этому делу. Я должен положить им на стол твою дурацкую писавинку. Послезавтра! — вскочил он в бешенстве. — А у тебя нет ни одной строки! За целых семь дней — ни одной строки! Жрешь, пьешь, ничего не делаешь. Посажу на одну воду, пусть она тебе промоет мозги! — бушевал полковник. — Даю тебе сорок восемь часов, и если не будет статьи, я из тебя жилы вытяну! — Помотавшись по кабинету, полковник подскочил к Садыку, грубо усадил его за стол, со стуком положил перед ним ручку, придвинул чернильницу. — Пиши, какая литература тебе нужна, быстро! Сегодня же ты ее получишь. И если через сорок восемь часов не будет статья...

\* \* \*

Сорок восемь часов срок немалый. Но теперь Садык понимал, что он не сможет написать статью против Момуна даже и за сорок восемь дней. Это было противно его натуре, всему его душевному складу. Совесть не позволяла ему лгать, наводить тень на плетень. Если же Садык ради спасения своей шкуры и напишет такую статью, то уйгуры назовут предателем не Момуна, а его, Садыка Касымова, назовут предателем и перевертышем. Садыка знают многие, его помнят преподаватели Спльцзянского университета, загнанные в шахты, по остающиеся патриотами, его помнит, наконец, Ханипа, умница Ханипа, смелая и принципиальная. Она проклянет Садыка, как последнего педагога.

Сорок восемь часов... Что делать Садыку, о чем писать? Уйгур не должен покидать родину, которая стоит под ярмом захватчиков. Уйгур должен оставаться на родной земле и бороться за свое национальное освобождение до последней капли крови — вот что мог бы сказать Садык Момуну, вот какой единственный упрек мог бы он бросить другу от чистого сердца.

Но разве об этом напишешь? За такое «развенчание» Сун Найфынь снимет голову, не раздумывая.

Так что же делать Садыку, что делать?

Прежде всего, надо попросить отсрочки. Сун Найфынь достаточно глуп и труслив, надо его запугать. Дескать, по внешности пужна при ловле блох, а в таком важном деле, как развенчание ревизиониста, пужна вдумчивость, осмотр-

рительность, осторожность. Семь раз отмерь — один раз отрежь. Надо потребовать у полковника свидания с секретарем парткома, в конце концов, именно от него Садык получил задание, а не от Сун Найфыня. Секретарь парткома должен разъяснить ему некоторые места в статьях Момуна и дать руководящие указания. Садык ведь не специалист, он поэт, его дело — рифма, а здесь требуется политическая публицистика, да еще международного характера, тут уж никакой ошибки не должно быть, а если будет, то отвечать за нее придется вместе.

Допустим, этот номер у Садыка пройдет, секретарь ему даст отсрочку. А дальше что?..

Только одно остается — совершить побег. И уйти в горы к Шакиру. Хорошие люди укажут ему дорогу. Не может быть, чтобы пересажали всех, кто-нибудь да остался на воле из прежних друзей и знакомых.

Итак — побег, пока не поздно. Надзирателям дано указание выводить Садыка на прогулку, когда он этого пожелает. На него не кричат, как прежде, с ним вежливы и обходительны. Должно быть, потому, что такого узника, который что-то сочинял бы в тюрьме по просьбе Урумчи, им еще охранять не приходилось. Почетный узник, что и говорить. По мнению надзирателей, Садыку живется в тюрьме вольготно, бежать ему отсюда незачем. А Садык воспользуется их доверием и сбежит...

Взволнованный таким решением, Садык сел за стол и взялся за перо. Надо хоть что-то написать для Сун Найфыня. Неужто у Садыка не хватит фантазии пустить пыль в глаза этому болвану в мундире?

Он начал с биографии Момуна и растянул ее страниц на восемь. Написал о его родителях, которые жили прежде в Семиречье, а в тридцатых годах перешли в Илийский край. Они все время мечтали о возвращении обратно и оказывали тем самым соответствующее влияние на сына. С детских лет Момун воспитывался в духе любви к Советскому Союзу, его понять можно...

После биографии Садык поставил три звездочки и пристуил ко второму, главному разделу статьи. Начал он его хлесткой фразой: «Так что же привело Момуна Талини к такому крайнему, необдуманному поступку и почему он закрыл глаза на учение великого кормчего?..»

На этом Садык поставил точку, решив, что для порной отсрочки написанного вполне достаточно.



...Через сорок восемь часов его бросили в изолятор, узкую, темную камеру без стола, без койки, с куском дражной циновки на земляном полу.

Сун Найфынь оказался не таким уж простаком, как предполагал Садык. Прочтав написанное, он пришел в ярость, желто-серое, как жмых, лицо полковника, казалось, позеленело. Вместо того чтобы заклеить и пригвоздить, Садык пытался оправдать своего дружка, а последнюю фразу про великого кормчего он ввернул для чистого издевательства, — так понял его писанину Сун Найфынь. Правильно понял, но разве Садыку легче от этого?

— Тащите его в изолятор! — заорал полковник надзирателям. — На одну воду! Без вывода на прогулку! Пока не подохнет эта свинья, подпевала вонючим ревизионистам!..

Садык потерял счет дням и ночам. Холодная вода два раза в день и один раз поило с крупинками гаоляна делали свое дело. Садык почти не поднимался с циновки. Временами он думал: я схожу с ума, все, конец. И не находил в себе силы что-либо предпринять. Характерная для голодающих апатия овладела им, равнодушные ко всему на свете.

Он не знал, сколько прошло дней, когда в изоляторе появился полковник. Садык еле поднялся с циновки. С торжествующей усмешкой Сун Найфынь оглядел узника.

— Оказывается, ваша жена болела, — сказал полковник. Видимо, он полагал, что Садыку еще мало страданий... — Не могла разродиться, бедняжка, умерла. Какая жалость.

«Говори, говори, полковник, — тупо думал Садык. — Продолжай издеваться, для того тебя сюда и напачили...»

— Ну, как ваше здоровье, товарищ Касымов? На что жалуетесь?

Садык не ответил. Он уже устал стоять, медленно, как во сне, поднял руку и оперся о стену. Только сейчас, привыкнув к полутьме изолятора, полковник разглядел его

взмороженное лицо, заметил лихорадочный блеск в глазах, как у полоумного.

— М-да-а,— промычал Сун Найфынь.— Пожалуй, пора тебя перевести отсюда в прежнюю камеру. Будешь писать, только уже без глупостей. Надеюсь, что за этот месяц вся дурь из твоей головы вышла.

«Всего только месяц,— отметил Садык,— а я думал, целый год прошел...»

— Иа Урумчи мы вызвали тебе помощника, будете вместе работать,— продолжал Сун Найфынь.— Надеюсь, теперь ты не откажешься?

Садык молчал. Его все больше одолевала сонливость, и в то же время он не хотел, чтобы полковник уходил, чтобы снова закрылась дверь, иначе тогда смерть.

— Ты согласен? — полковник повысил голос.

— Согласен...— еле проговорил Садык. Он давно не слышал своего голоса, и сейчас ему показалось, что «согласен» сказал кто-то другой, не он.

— Отправить в баню, переодеть, накормить,— приказал полковник.— И поместить в прежнюю камеру.

Когда Садыка вывели на свежий воздух, он потерял сознание.

\* \* \*

Через день Садыка привели в комнату для свиданий и сказали, что сейчас прибудет тот самый помощник из Урумчи, с которым они вместе должны написать статью.

— А пока вот вам подшивка, читайте.

Садык с жадностью стал листать газеты за последнюю неделю. Он жаждал увидеть что-то новое, что позволяло бы надеяться на какие-то перемены к лучшему, но тщетно, ничего не нашел, одни только призывы, призывы, призывы.

Он услышал, как отворилась дверь, поднял голову — и увидел Ханьпу. Она остановилась в дверях, прижала руки к груди, глаза ее широко раскрылись, казалось, она узнавала и не узнавала Садыка.

— Садыкджап, дорогой, это ты?!

Садык проглотил слюну и молча кивнул головой, не в силах выговорить ни слова. Так вот какого помощника они ему привезли!..

Он поднялся, хотел шагнуть к Ханипе, но ноги подко-  
сились, и Садык опустился на стул. Ханипа бросилась к  
нему, упала на колени, прижалась лицом к груди Садыка  
и зарыдала.

Садык гладил ее волосы, успокаивал и сам едва сдер-  
живал слезы.

— Ничего у меня не осталось на этой многострадаль-  
ной земле, Ханипа. Кроме тебя...

Она поднялась, достала из сумки платочек, вытерла  
мокрое от слез лицо.

— Я прехала, Садыкджан, чтобы вызволить тебя из  
этого зиндана. Любой ценой! — Она провела рукой по  
стриженной голове Садыка. — У тебя уже седина, Садык-  
джан, как и у меня...

В дверях откашлялся Сун Найфынь. Он появился не-  
слышно, как кошка. Ханипа отстранилась от Садыка.

— Не пора ли нам начать деловой разговор? — пред-  
ложил полковник.

Присутствие Ханипы приободрило Садыка, и он отве-  
тил язвительно:

— Вы могли бы не мешать свиданию, достаточно то-  
го, что вы подсматривали в глазок. Нам бы хотелось ос-  
таться вдвоем.

Полковник оскалится, изображая снисходительную  
улыбку.

— Так и быть, товарищ поэт, дам тебе такую поблаж-  
ку. — И процедил сквозь зубы: — Последнюю. Только  
учти, теперь на пустой болтовне не выедешь, попадешь  
туда же, где был.

Полковник вышел.

Ханипа радовалась стойкости Садыка, его резкости,  
она видела в нем прежнего Садыкджана, и тем не менее  
она вполголоса попросила:

— Не надо им дерзить, Садыкджан, надо пощадить се-  
бя. — Ханипа заговорила громче: — Я читала статьи Мо-  
муна и согласилась дать ему достойную отповедь. Мы  
напишем с тобой вместе, Садыкджан! — Она снова при-  
близилась к Садыку и, повернувшись спиной к дверному  
глазку, заговорила тихо, почти шепотом: — Мы будем  
приводить высказывания Момуна, а затем перечислять все  
модные ярлыки вроде бы с целью критики. Пусть народ  
упадает правду от имени Момуна. Читать будут только Мо-

муна, а нашу критику в кавычках люди пропустят, они ее знают наизусть, им все уши прожужжали...

— Поймут ли нас, Ханипа?

— Умные нас поймут, Садыкджан, а на глупых мы не будем рассчитывать. Я уже набросала свой вариант и завтра припесу его тебе.

Садык вздохнул с облегчением. Он смотрел в глаза Ханипе с благодарностью, ему хотелось расцеловать ее, как родную. Двадцать минут свидания пронеслись как одно мгновение.

Да, в новых условиях, когда нет ни свободы слова, ни свободы печати, нужны новые, более тонкие методы борьбы. Ханипа права. Она жаждет спасти Садыка.

На крутых поворотах судьбы женщины нередко оказываются мудрее.

### XIII

Когда Ханипа решила ехать в Буюлук по приглашению Садыка и Захиды, она зашла в отдел кадров за направлением. Ее послали в партком. Там ей предложили зайти на другой день. «Мы должны посоветоваться», — многозначительно сказал инструктор.

На другой день Ханипе сказали, что она направляется в распоряжение окружного парткома в Турфан. «Для выполнения особо важного задания». Ей тут же дали прочесть статью Момуна, о которых Ханипа уже знала от Айши-ханум, и перечислили тот же набор слов, который уже слышал Садык: развелчать, заклеить, пригвоздить к позорному столбу. «Статья должна быть за двумя подписями. В Турфане вам дадут помощника, человека образованного и уже выступавшего в печати». Имя его, однако, не назвали.

Ханипа была ошарашена таким «особо важным заданием», но отказываться не стала, считая отказ бессмысленным. Она не могла больше оставаться у Айши-ханум и решила во что бы то ни стало добраться до Буюлука. Там она надеялась на помощь Садыка и Захиды, на их совет и поддержку. Без долгих колебаний она взяла направление и поехала в Турфан. Здесь, не заходя в партком, она сразу же направилась в Буюлук.

По адресу, который ей указали Садык и Захида, она нашла пустой, заброшенный двор. Зашла к соседям. Ста-

рые Самет и Хуршида выслушали ее и расплакались. Рассказали, что Захпда умерла, что Садыкджана держат в зиндане, а Масим-ака и Шакир с семьей ушли в горы. Школа в Буюлуке распущена, детей выгнали на работу.

Ханипе стало ясно: работать ей здесь не придется.

— А как же в других селах, дедушка?

— Везде одинаково, — отвечал Самет. — Снимают пачальство, сажают в тюрьму дехкан или отправляют невесть куда. У нас стало немного спокойнее, свалили всю вину на Реймшу и Шакира. Да вот еще Садыкджана бедного в зиндане держат, не знаем даже, за какую вину. Лишь бы в убийстве не обвинили...

— Вся его вина, дедушка, в том, что Садыкджан образован. Все его горе, можно сказать, — от ума.

Новости в Буюлуке привели Ханипу в уныние. Вот тогда она и подумала о более тонких методах борьбы.

Вернувшись в Турфан, Ханипа долго бродила по городским улицам. Она нашла, что город во многом похож на ее родной Кумул, только здесь больше развалин, больше мазаров, старых и новых, больше заброшенных минаретов. Турфан показался ей более запущенным, чем Кумул и Урумчи. На улицах мусор, дувалы потрескались от дождей и солнца, на домах облупилась глина. И только тюрьма поражала своим чистым видом, ухоженностью, величественная тюрьма-крепость, построенная сто лет назад, как своего рода памятник китайского господства в Восточном Туркестане.

Ханипа отметила, что уйгурские города стали теперь похожи один на другой прежде всего тем, что поникшими, скорбными выглядели не только люди, но и дома, улицы, деревья и даже небо, то серое, знойное, то — ненастное, темное, безрадостное.

\* \* \*

Свидание с Садыкджаном, его изможденный вид, рацная седина — все это еще больше укрепило Ханипу в ее решении помочь Садыку вырваться из тюрьмы. Она знала Момуна, она верила, что он и поймет их, и простит. Она даже думала, что, получив «Синцзянскую газету» там, у себя в Семиречье, Момул будет удовлетворен тем, что его обличительные слова читают по всему Восточному Туркестану, он поймет, что Ханипа и Садык — не враги ему, а

друзья и соратники, что они нашли способ, как довести статью Момуна до сведения всех уйгуров.

Она видела, что Садыкджану неловко, человек он прямодушный, искренний, ему недоступны изворотливость и хитрость, и потому он может погибнуть голодной смертью в зиндане. А ведь сколько пользы он еще сможет принести людям, когда окажется на свободе!

«Садыкджан должен жить, Садыкджан должен вырваться из тюрьмы,— твердила себе Ханипа.— В конце концов, ведь и у меня тоже не осталось на нашей земле столь близкого человека, как он...»

Она принесла Садыкджану черновой вариант статьи, как и обещала. Садык выглядел лучше, в глазах появился живой блеск, он даже улыбнулся Ханипе. И сразу сел читать статью...

В течение трех дней по нескольку часов они проводили вместе в комнате для свиданий. Садык полностью принял статью Ханипы и переписал ее начисто, добавив побольше цветистости, риторики, не забыв упомянуть о том, что Момун, воспитанный в духе любви к Советскому Союзу, не понял и не принял теории «особого китайского социализма».

Ханипа сама отнесла статью, скрепленную двумя подпоясами, в окружной партком.

Она решила никуда не уезжать до освобождения Садыкджана, ходила и ходила в партком, спрашивая о результате, но ей отвечали «завтра», затем снова «завтра»... «завтра».

Когда она попросила направить ее в Буюлук на работу в школу, ей сказали, что в скором времени туда направят Садыка Касымова, а двум учителям в такой маленькой школе делать нечего.

— Поезжайте лучше в Люкчюнь,— посоветовал инструктор.

Ханипа порадовалась за Садыкджана, значит, все-таки его освободят, но в Люкчюнь ей ехать не хотелось, это слишком далеко от Буюлука.

Ханипа пошла на прием к секретарю парткома и напомнила ему, что согласно предписанию Урумчи она имеет право выбирать место работы по своему усмотрению. В конце концов, ей удалось получить направление в Караходжу.

Село Ханпие понравилось. Оно лежало неподалеку от Едикута — бывшей столицы одного из древних уйгурских государств. Здесь жили не только дехкане, но и ремесленники — жестянщики, обувщики, ковроделы. Их лавки и вывески придавали селу полутородской вид. Даже в трудных теперешних условиях жители села старались поддерживать традиции, стремились дать своим детям образование.

Караходжа утопала в зелени, вдоль домов журчали арыки. В свое время, сразу после революции, здесь было построено несколько зданий городского типа, в том числе и просторная, светлая школа-десятилетка. Директором ее до сих пор оставался, на удивление Ханпие, уважаемый всеми пожилой уйгур по имени Хошрам. Он возглавлял еще и садоводческую бригаду и неплохо справлялся с работой как в школе, так и в гуныши. Ханпиеу он встретил радушно.

Первую неделю Ханпие знакоилась с положением в школе, составляла поурочные планы, встречалась со старшеклассниками. Некоторым из них уже было доверено вести занятия в начальных классах. Школа произвела приятное впечатление на Ханпиеу. Ей верилось, что она сможет здесь спокойно работать и приживется в Караходже. Беспокоило только одно: когда же освободят Садыка?

Каждый вечер она с нетерпением ждала старого почтальона, который развозил почту на муле. Иногда она выходила встречать его за село, и старик уже знал Ханпиеу. Прежде всего ее интересовала, разумеется, «Синьцзянская газета». Но статьи все не было и не было.

В пятницу возле бани старый почтальон окликнул ее и подал газету со словами:

— Возьми, дочка, полистай, есть интересная статья.

Сердце Ханпиеу учащенно забилось. Она пробежала глазами заголовки на первой полосе — лозунги, призывы с восклицательными знаками, развернув газету, увидела на второй полосе заметку «старого учителя», восхвалявшего достижения Синьцзянского автономного района, ниже помещалась статья некоего молодого журналиста, который громил «вредные элементы» за преклонение перед иностранщиной. На третьей странице она увидела свою статью и под ней две подписи...

Тут же, возле бани, Ханипа стала читать статью, и ей показалось, что из-за плеча смотрит на эти строки Момун. Не дочитав до конца, разволновавшись, осторожно свернула газету и пошла домой.

В осеннем пыльном воздухе мешались запахи дыма и прелых листьев. Далеко слышались вечерние голоса. Стадо коров преградило путь Ханипе, она посторонилась, отошла к дувалу. Трое мальчишек, должно быть, подпаски или сыновья пастуха, с криком носились по краям стада, то в дело пуская в ход длинные кнуты. То одна, то другая корова привычно сворачивала в свой двор, но подпаски, громко щелкая кнутами, отгоняли ее обратно. На краю села стадо ожидали коровники гуньши.

Ханипа пришла домой, прикрыла дверь своей комнаты и, прислонившись к косяку, заплакала. Газета выскользнула из ее рук и распласталась на полу.

#### XIV

Садыка освободили в воскресенье утром. Ему было разрешено вернуться в Буюлук и работать на прежнем месте.

Садык старался не думать о том, какой ценой досталась ему эта свобода. Статья напечатана, ничего теперь не изменишь, остается только ждать, какой будет реакция на нее.

Выйдя из тюрьмы, Садык первым делом пошел на кладбище возле Турфанского минарета.

Не найдя старого шейха у входа, Садык медленно побрел между мазарами. Его внимание привлекло свежее захоронение, маленькая аккуратная могила умершего ребенка. Садык заглянул в оконце под куполом, увидел холмик и на нем еще не засохший букет цветов, плоскую с фитилем, два маленьких зеркальца и тряпичную куклу. «Была, наверное, единственная дочь у несчастной матери...» Он вспомнил, как шел пешком из Турфана в Буюлук после учительской конференции, представил босую женщину, ишака, корзину и в ней — маленькую девочку с большими глазенками, в руке ее был зажат кусок кукурузной лепешки. Как доверчиво тогда она улыбнулась Садыку! Почему-то вспомнились именно эта женщина и



ее девочка, мать и дитя, безымянные, незнакомые, как пе-  
кий образ несчастной доли. Если не она, то такая же, как  
она, потеряла навсегда любимого ребенка и не в силах  
смириться с этим. Девочка осталась вечно живой  
в ее памяти и продолжает играть с куклой, с зеркаль-  
цем...

Садык медленно побрел дальше. Где-то здесь похоро-  
нена Захида, где-то здесь... Вокруг возвышались мазары,  
разные, высокие и низкие, широкие и поуже, высохшие  
на солнце почти до белизны и свежле, темные, цвета мок-  
рой глины. Кладбище было похоже на развалины древне-  
го города.

За высокой, словно у крепости, стеной поднялся жел-  
тым столбом пыльный смерч. Извиваясь, будто живой,  
смерч легко перевалил через стену и пошел над мазара-  
ми, кружась и завывая в отверстиях под куполами. По-  
зади него оставалось марево желтой пыли.

Шейх не появлялся. Садык дождался, когда немного  
улеглась пыль, и позвал:

— Шейх-ата-а! — Голос его разнесся в тишине клад-  
бища. — Эй, шейх-ата-а!

Неподалеку послышался глухой отзыв, будто из под-  
земелья. Садык пошел по голосу и увидел, как из проема  
высокого, очень давнего мазара с полустертым орнамен-  
том, пригнувшись, выходит старый шейх. Он узнал Сады-  
ка, они обнялись, здороваясь.

— Покойная твоя жена похоронена в хорошем месте,  
сынок. Пойдем туда.

Над могилой Захиды и ее матери шейх прочитал мо-  
литву. Садык стоял неподвижно, как изваяние, и по ще-  
кам его текли слезы.

Закончив молитву, шейх положил темную высохшую  
руку на плечо Садыка.

— Дай тебе бог здоровья, сынок... А теперь пойдем, у  
меня есть к тебе важная просьба.

Они вернулись к тому же мазару с полустертым орна-  
ментом, вошли внутрь, и здесь шейх подал Садыку тол-  
стую рукопись в кожаном переплете со стертыми угол-  
ками.

— В этом мазаре, сынок, долгое время скрывался  
устод — переписчик старинных рукописей. До этого сорок  
лет он работал в Кашгаре, много истлевающих книг вы-

шли повыми из-под его пера, по пришли китайцы, сожгли рукописи, а устоду пригрозили тюрьмой. Он скрылся в этом мазаре и до конца дней продолжал переписывать вот эту книгу. Он умер здесь же, на моих руках, и перед смертью просил, чтобы я нашел достойного человека, который смог бы продолжить его дело.

Рукописная книга состояла из двух больших поэм — «Победной летописи» Моллы Шакира, поэта из Кучара, и «Священной войны» Билала Назыма. Написанные столет назад, обе поэмы рассказывали о войне уйгуров против китайских завоевателей. Садык прежде читал эти поэмы в отрывках, сейчас же в его руках был полный текст. Он с волнением листал пожелтевшие страницы. Садык знал, эти поэмы изучают уйгуроведы в Европе и в Советском Союзе, рукописям не было цены. Устод успел переписать только поэму Билала Назыма и, закончив работу, добавил несколько строк от себя:

Жизнь щедрa на сияки — не сосчитать.  
Ну, а если мне аллах захочет дать  
Все, что только на том свете пожелаю,  
 Попрошу я точно эту жизнь опять.

Умерший в мазаре устод был не только перенесчиком, каллиграфом, но еще и поэтом.

Садык обещал старому шейху непременно сюда вернуться после того, как он устроит свои дела в Буюлуке.

\* \* \*

Выйдя за город, Садык не стал ждать попутную подводу, а решил идти в Буюлук пешком. Слегка кружилась голова, но было радостно сознавать, что нет возло тебя конвой и спать ты будешь уже не в камере.

Возле широкого арыка с чистой водой из каризов Садык присел отдохнуть. Из головы не выходило рубайи устода. Садык достал из кармана блокнот и карандаш, купленные в городе, и занесал это рубайи. Получилось не-что вроде эниграфа. Затем он тщательно вывел заголовок: «Мечта каллиграфа» и набросал первое четверостишие. Так легко, вдохновенно, казалось, он еще никогда не писал, будто кто-то невидимый диктовал Садыку строку за строкой, и он едва успеваея записывать.

Развалины мазара. Всюду лег  
Глубокий мрак, и ночи нет конца.  
«Свеча шайтана» — тлеет огонек,  
Скрипит перо под пальцами писца.

Он скрылся здесь, уединенью рад.  
Спешит достан переписать, он стар.  
И силы уже нет идти назад  
В разграбленный, измученный Кашгар.

Он стонет: «Бедная моя страна,  
О, что вчера я увидал, аллах!  
Захватчики на наших площадях  
Жгут книги, дорогие письма».

Не просто — книга, редкий манускрипт,  
Там, в пламени удушливом, как бред,  
История народа там горит!  
А без истории народа нет!..»

Свет меркнет... Трудно дряхлому писцу,  
Но он все пишет, даже смерть поправ;  
Ведь если труд не подошел к концу,  
И умереть не смеет каллиграф!

Под звездами, преодолевая дрожь,  
Он шепчет: «Труд свой я векам отдам.  
Где ты, потомок, мой достан найдешь,  
Знай, и останки летописца там!..»

Достан звенит!.. Но не повсюду, нет,  
Поют не все уйгурские уста:  
Где жил когда-то каллиграф-поэт,  
Там вновь беда, там снова — темнота<sup>1</sup>.

«Надо размножить эти стихи, — решил Садык, — и передать их старому шейху на хранение».

Садык поднялся удовлетворенный, будто после хорошо проделанной большой работы, и пошел дальше. Он мысленно представлял, как встретят его сейчас старые Самет и Хуршида, усадят за дастархан, расскажут новости, потом Садык будет наводить порядок в заброшенном доме Мэспма-аки, а потом пойдет в школу...

Неожиданно позади Садыка послышался звонкий голос:

— Садыкджан!

Он обернулся, увидел мула, запряженного в арбу, мальчика с хвостатиной. С арбы легко прыгнула Ханина и побежала к Садыку, раскинув руки.

Оказывается, она ездила в Турфан, побывала в тюрьме, сердце ее будто чувствовало, ей сказали, что Садык на свободе, и она решила поехать за ним вдогонку.

Они обнялись и расцеловались.

<sup>1</sup> Перевод А. Коренева.

У любви свои законы, непостижимые и вечные, как сама природа. В один прекрасный день любовь может вспыхнуть ярким пламенем, и тогда никто и ничто не в силах ее погасить. Она освещает жизнь, согревает сердце...

Садык и Ханипа сидели в тесной арбе бок о бок, касаясь друг друга плечами. Садык не смотрел на нее, но видел ее красивую голову, ее толстые, туго заплетенные косы, слышал ее дыхание. Арбу потряхивало на камнях, и от прикосновения Ханипы Садыка будто пронизывало током. Похоже, что и Ханипа испытывала то же самое, щеки ее густо покрыл румянец.

Неловкое их молчание затянулось, и Садык сказал первое, что пришло на ум:

— Значит, устроилась в Караходже?

— Да, представь себе, Садыкджан, мне просто повезло! — с облегчением подхватила Ханипа.

И они опять замолчали. Садык вспомнил, как однажды, еще в университете, в пору экзаменов, ранним солнечным утром он подошел к общежитию, к тому окну, за которым жила Ханипа...

— Ты чему улыбаешься, Садыкджан?

Он и сам не заметил, что улыбается.

— Ты только не подумай, что я уже из ума выжил, — рассмеялся Садык. — Просто вспомнил кое-что из прошлого. Мне всегда вспоминается только светлое...

— Ты неисправимый оптимист, Садыкджан. Такой ты мне всегда нравишься.

— Мне кажется, грешно роптать на жизнь из-за невзгод, пусть даже самых тяжких. — И он прочитал ей рубаи устода:

Жизнь щедро на сыяки — не сосчитать.

Ну, а если мне аллах захочет дать

Все, что только на том свете пожелаю,

Попрошу я точно эту жизнь опять.

— Как будто для тебя написано, — согласилась Ханипа.

— А ты помнишь, как однажды весенним утром, еще там, в университете... — Садык смолк, а Ханипа продолжала:

— Ты подошел к моему окну с букетом цветов. Но когда я выглянула, то увидела, как ты убегаешь, словно

мальчишка, а под окном у стены остались лежать цветы. Я так и не поняла тогда, что случилось, почему ты убежал. Может быть, сейчас расскажешь?

— Я шел к тебе, Ханипа. Не знаю сам почему... Хотел тебе поднести цветы. А когда ты закрыла окно, растерялся...

Ханипа посмотрела на него с грустной улыбкой, и опять они надолго замолчали.

Возница-мальчуган остановил мула на развилке дороги и обернулся к своим пассажирам.

— Поедем в Буюлук, Ханипа, — предложил Садык. — Там у нас чудесные люди, ты должна с ними подружиться. А потом я провожу тебя до Караходжи.

Ханипа, недолго поколебавшись, спросила мальчугана:

— А ты можешь нас отвезти в Буюлук?

— Конечно, могу, почему бы не подвезти! — ответил большеглазый мальчуган и взмахнул хворостипой. Под колесами арбы заклубилась густая пыль.

## XV

Все лето ученики и учителя были заняты уборкой зерновых и овощей, а к осени их перебросили на уборку хлопка. Год выдался неудачный, подвела погода, сказались также частая смена руководства в гуньши и общая перазбериха. Как местный, так и американский сорта хлопка дали плохой урожай, и теперь окружные уполномоченные, казалось, готовы были загнать сборщиков в пустые высохшие коробки. Они заставляли собирать даже тонкие, словно наутина, нити, повисшие на колючках. Особенно страдали дети, у них еще не было споровги, они то и дело вскрикивали, натыкаясь на колючки. У многих руки и ноги были изранены до крови.

Джау-Шимин болел, и на его место назначили Зухрула, человека крикливого и грубого.

— Тот, кто не сможет выполнить план, лишается продовольственной нормы! — только и слышался его голос на плантации.

Стояла страшная духота, словно под опрокинутым казаном. В самую жару, после полудня, один из мальчиков упал, потерял сознание. К нему подбежал Зухрул и стал поднимать его за рубашку, приговаривая:

— Вставай, вставай, будь стойким, как положено революционному солдату!

Садык, вытряхнув из фартука хлопок в общую кучу, подошел к Зухрулу.

— Надо бы его накормить сначала и дать отдохнуть, товарищ раис, — сказал он с упреком.

Зухрул облизал запекшиеся от жары губы и закричал на Садыка:

— Можете его кормить, товарищ Касымов, своим пайком! Я отдам распоряжение поварихе.

Вокруг стали собираться дети, бросили работу старшие и тоже подошли к месту происшествия. Послышались возмущенные голоса, обстановка накалилась.

— Вы что, товарищ раис, вместо хлопка решили сдавать государству трусы детей? — сдерживая негодование, спросил Садык.

Зухрул торопливо достал из нагрудного кармана френча, сшитого как у Мао Цзедуна, блокнот, раскрыл его и приготовил карандаш.

— Так-так, товарищ Касымов, продолжайте, — злорадно проговорил он. — Я запишу ваши подстрекательские речи.

— Я тоже напишу о ваших издевательствах куда следует! — вспыхнул Садык.

Толпа вокруг загудела.

— Спрячь бумагу, раис!

— Катись отсюда, раис!

Зухрул поспешно сунул блокнот в карман, озираясь, попятился от Садыка. Над мальчиком склонилась пожилая женщина, побрызгала на его лицо водой, привела его в чувство.

С того дня Зухрул стал меньше орать на детей. Дехкане были довольны своей пусть небольшой, но все-таки победой. Садыка, на удивление, никуда не вызывали, однако он не забывал, что мстительный Зухрул может со временем подстроить ему какую-нибудь пакость.

\* \* \*

После окончания уборки началось очередное «движение» — по установлению причин неурожая и выявлению вредителей. В Турфане было созвано окружное совеща-

ние учителей для соответствующей проработки всех и каждого.

Совещание проходило в городской средней школе. Двор ее был окружен высоким забором, и весь забор был увешан разноцветными «дацзыбао» — карикатурами на больших листах и с подписями внизу. Когда Ханипа и Садык вошли во двор, у них зарябило в глазах от этих плакатов.

— Сколько здесь проявлено усердия, — насмешливо сказал Садык. — Будем смотреть или пойдем в зал?

— Надо посмотреть, Садыкджан, тем более, что я уже вижу нечто подозрительное.

Ханипа взяла Садыка под руку и подвела к листу с огромной, едва ли не самой большой карикатурой — молодой человек с перекошенным от злости лицом, пятавув лук, целится в толпу. Вместо стрелы у него ручка с пером. А рядом с ним стоит девушка и, вытянув руку, показывает, куда стрелять. Внизу подпись: «Учитель-рифмоплет Садык Касымов обратил свое перо против народа. Его вдохновляет учительница Ханипа, штатная любовница всех ревизионистов и перебежчиков».

Улыбка сошла с лица Ханипы, она отверпулась и достала из сумки платочек. На глазах ее заблестели слезы.

— Как я понял, началась реакция на нашу статью, Ханипа. Мы с тобой добились, чего хотели, — стараясь ее подбодрить, проговорил Садык. — Спрячь платок, дорогая, возьми себя в руки. Они не должны видеть наши слезы, надо держаться! Нам еще наговорят всякого, будем готовы.

Первый докладчик говорил о недостатках в обучении китайскому языку и письменности в национальных школах. Остальные докладчики долго и обстоятельно перечисляли учителей и учеников, которые не проявили должной сознательности и активности во время полевых работ, а также игнорировали воспитательное значение трудовой закалки. Несколько раз упоминалось имя Садыка, а один из ораторов заявил: «Нам известно, что Садык Касымов вел демобилизующие разговоры и занимался подстрекательством во время уборки хлопка на плантациях. Я требую обсудить Садыка Касымова персонально!»

После обеденного перерыва заседание открыл директор Турфанской средней школы Хосман Нияз, толстый, потный уйгур лет пятидесяти.

— Среди вас, уважаемые коллеги, находится немало моих бывших учеников,— начал он.— Поэтому я надеюсь, что все вы открыто и смело признаете не только свои ошибки и политические промахи, но также смело и принципиально разоблачите других. Кто желает выступить, прошу на трибуну.

Наступила заминка, в зале переглядывались, никто не хотел выходить первым.

— Садык Касымов, встайте! — приказал Хосман Нияз, будто Садык до сих пор оставался его учеником.

Садык поднялся, прямо глядя в глаза Хосману Ниязу.

— Выходите на трибуну и расскажите своим коллегам о своих предосудительных действиях во время уборки хлопка.

— Никаких предосудительных действий я не допускал,— ответил Садык.— Я вступился за ученика, который упал в обморок от непосильной работы.

Хосман Нияз пошептался с китайцем, сидевшим рядом с ним в президиуме. Тот подал ему какие-то листки.

— «Я не согреюсь и в жару от мысли, что тучи над моей страной нависли»,— прочитал Хосман Нияз.— Как прикажете понимать эти ваши стихи, Садык Касымов, какие тучи вы имеете в виду?

— У вас нет доказательств, что это мои стихи.

За столом президиума вскочил китаец.

— У нас есть доказательства! — вскричал он.— Признавайтесь: какие тучи нависли? Чьи это тучи? С востока или с запада?

Садык переступил с ноги на ногу. Что им сказать? Они требуют разложить поэзию на отдельные слова.

— Если тучи нависли, значит, скоро будет дождь,— сказал Садык.— Я думаю, это стихи про осень.

Кто-то рассмеялся в задних рядах, на него сразу зашикали, послышались возмущенные голоса:

— Он нас дурачит!..

— Безобразно!..

Хосман Нияз потребовал и развернул «Синьцзянскую газету».

— Здесь напечатана статья Садыка Касымова в соавторстве с Ханипой. Статья полна противоречий и политически неверных оценок. Встаньте и вы, Ханипа, и сделайте вид, будто все это вас не касается. А теперь послушайте, товарищи, как эти отщепенцы поют-перешива-



ют вражеские мысли...— И Хосмап Нияз начал цитировать обличительные слова Момуна.

Садык смотрел на Хосмана Нияза и думал: «Старый ты плут, изворотливая лиса. Твои сослуживцы давно изгнаны, бедствуют в лагерях Джунгарии, в пустыне Гоби, а ты остался здесь и пользуешься доверием властей. Ты приловчился спасти свою шкуру. Ты хочешь продлить свою жизнь за счет моей, но вряд ли тебя это спасет. Всемирное бедствие не минует и тебя. Когда в лесу пожар, то горит все — и прямое дерево, и кривое, и сухое, и мокрое. Даже если ты уцелеешь, тем хуже для тебя,— ничего нет страшнее полного одиночества».

— Отвечайте, Садык Касымов, что вы хотели сказать этой статьей? — потребовал Хосман Нияз.

— Статья напечатана в газете, она доступна всем,— ответил Садык.— Здесь собрались грамотные люди, могут ее прочитать сами.

— По этой статье не видно вашего политического лица, все в дыму,— продолжал Хосман Нияз.— Мы требуем, чтобы вы честно признались в своих заблуждениях и развеяли дымовую завесу.

— В любой работе могут быть ошибки, я готов выслушать вашу критику.

— Он готов выслушать! — фыркнул Хосман Нияз.— Значит, народ должен перед вами отчитываться, а не вы перед народом?! Вы буржуазный индивидуалист и отщепенец, вы получите по заслугам! Кто желает высказаться?

К трибуне быстро пошел молодой активист, подготовленный, как водится, заранее. Он почти бежал, то ли боясь растерять решимость по дороге, то ли желая пагнать страху на Садыка своей стремительностью.

— Как ты смеешь отпираться, жалкий писака, рифмоплет! — истерически закричал активист.— Твои бездарные стихи знают не только в Буюлуке, но и в Астане, и в Караходже, и даже в Турфане. Народ знает, что они вышли из-под твоего вонючего пера!..

За первым активистом выбежал второй и начал поносить Ханипу — штатная любовница, идеологическая змея с вырванным жалом, потаскушка.

Садык и Ханипа хотели сесть, но их стулья убрали, хотели покинуть заседание, но дорогу им преградили трое молодых активистов, готовые пустить в ход кулаки.

Наконец Хосман Нияз, оглохший от криков, решил, что на сегодня хватит, и закрыл заседание.

Учителей построили, и под командой одного из активистов колонна направилась на окраину Турфана в передовую, как было объявлено, гуньши «Бяш юлтуз». Там, на складском дворе, они выстроились в затылок возле кухни, чтобы получить похлебку на ужин и ломоть хлеба.

Ханипа и Садык держались вместе. Здесь уже пикто больше не кричал на них, одни прятали глаза, другие смотрели на них с сочувствием, были и такие, во взгляде которых можно было прочесть одобрение. Крикуны будто истратили весь свой боевой запас и сейчас ничем не выделялись из общей массы молчаливых, проголодавшихся людей.

После ужина учителей собрали возле громкоговорителя, и они слушали выступление по радио некоего бывшего солдата. Он рассказывал, как в день свадьбы запретил своей темной, несознательной матери резать свинью и подавать рис на стол, вместо этого он весь вечер читал гостям и своей невесте цитаты из Мао Цзедуна.

Почевать расположились в амбарах гуньши, на соломе. Ханипа с двумя девушками устроилась в небольшой кладовке. Садык принес им туда несколько охапок соломы, а сам пошел в город, повидаться со старым своим знакомым — поваром Саидом-акой.

Утром он вернулся в гуньши и увидел хвост возле кухни — учителя получали завтрак. Хапины среди них не было. Он нашел ее в той же кладовке. У нее был жар, лицо покрылось потом, глаза лихорадочно блеснули.

— Что с тобой, Хапипа? — Садык опустился перед ней на колени.

— Ничего, уже легче... Плохо спала, наверное, после вчерашнего собрания...

Объявили построение. Садык вывел Хапипу из кладовки, держа ее под руку.

— Быстрее! Быстрее! — покрикивали активисты, перебегая из амбара в амбар.

К Ханипе подошел ножкой учитель с термосом в руках.

— Выпейте чаю, вам станет легче, — предложил он, подавая термос. Затем достал из нагрудного кармана маленькую коробочку и предложил Ханипе таблетку. Гй

стало легче от одного только участия этого доброго человека...

Перед началом заседания к Садыку подошел Хосман Нияз и пригласил его в свой кабинет. Там Садык увидел старого знакомого — окружного следователя Сун Найфыня. Полковник выглядел озабоченным.

— Статья напечатана, — сказал он, — но в народе пошли всякие разговорчики. Урумчи считает, что вы должны уточнить некоторые положения...

Со дня выхода статьи прошел месяц. В верхах, возможно, что-то переменялось, и Сун Найфынь получил новые указания. А «разговорчики», как и предполагал Садык, в основном ведутся о том, что приведенные в статью доводы и обвинения Момуна справедливы. Словно читая мысли Садыка, полковник продолжал:

— Зачем вам нужно было так подробно цитировать этого вонючего ревизиониста и врага народа? Зачем смаковать? Я думаю, теперь самое время выступить вам с трибуны и признать допущенную ошибку. У кого их не бывает? А вашу речь мы передадим в газету.

— Я не могу выступать.

— Почему? Как известный поэт вы должны показать пример другим.

Садык хотел сказать, что после признания ошибок у полковника будут все основания снова упрятать его в тюрьму, однако раздумал, незачем мыши дразнить кошку.

— У меня болит голова после вчерашнего, я не в состоянии говорить.

Полковник побарабанил пальцами по столу.

— Значит, отказываетесь?

— Отказываюсь...

Сун Найфынь приказал Хосману Ниязу публично изгнать Садыка из зала заседания и объявить всем, что и ему, и Ханине запрещается отныне работать в школе.

## XVI

Садык почти не выходил из дому, старался избегать встреч с ненадежными людьми, зная, что за ним установлен слежка. Свободного времени было хоть отбавляй, он писал и писал стихи и прятал их в саду, в дупле старого

дерева. Изредка по вечерам он навещался либо к Джау-Шимину, почитать свежие газеты, либо к таджику Абдуварису, полистать старинные рукописи и книги. Садык подружился с Книжником, диктовал ему новые стихи, старик записывал их аккуратным почерком каллиграфа, а потом передавал своим друзьям. Как-то раз Абдуварис сказал Садыку, что получил весточку из Душанбе, от своих родственников.

— Думаю весной перейти границу, — признался Абдуварис. — Сначала уйду в Семиречье, а оттуда в Таджикистан. Все книги я не смогу забрать, пусть они останутся тебе, Садыкджан. А сам ты не думаешь уходить?

Садык поблагодарил за книги. А уходить — нет, он останется здесь, он будет продолжать борьбу.

— Трудно бороться безоружному, сын мой, можно лишиться жизни...

— У меня есть неплохое оружие. — Садык показал кардаш. — Безотказное и всегда при мне.

Абдуварис похлопал его по плечу.

— Ты молодец, Садыкджан. Я прочитал много книг, на старости лег стал немного разбираться, кто хорошо сочиняет, а кто неважно. Ты молодец, Садыкджан, я верю, твои песни будут петь уйгуры. Твои песни будут жить долго!

В ту ночь Садык написал новые стихи, открыто бунтарские, призывные.

Встань за свободу,  
Встань в строю едином,  
Витовку в руки взяв,  
А в сердце — злость.  
Норядки,  
Насажденные Пекином,  
Как цепи рабства,  
От себя отбрось.  
Припомни:  
Угнетенные народы  
Лишь в битве правду ищут...  
И тебе,  
Как было в прежние  
Лихие годы,  
Помогут горы  
Выстоять в борьбе.

Эти стихи стали известны Сун Найфыню в устной передаче. Доказать их авторство полковник не мог, однако он не сомневался, что написал их все тот же Садык Касымов, больше некому. В Урумчи сменилось начальство, и там почему-то медлили с выдачей санкции на арест Садыка. А Сун Найфынь настаивать не хотел, рискованно. Он знал, что за чрезмерное усердие могут дать по шапке, такое уже бывало. Он решил забавиться от Садыка своим, неоднократно испытанным способом.

Еще и года не прошло, как прибыл Сун Найфынь в Турфан на должность окружного следователя. Но за это время уже десятки неугодных ему людей стали жертвами «несчастливого случая» при автомобильных авариях, специально подстроенных, сотни неугодных погибли под обвалами в каризах, тоже специально подстроенными.

Для Касымова полковник решил применить более тонкий способ расправы. Не зря он прошел выучку у самого Кан Шэна, палача партии, как его называли китайские патриоты. Сун Найфынь пригласил к себе знакомого змеелова, велел ему поймать гюрзу и подбросить ее в дом Садыка Касымова, который живет в Буюлуке.

— Даю тебе сроку три дня, — говорил полковник. — Сделаешь — получишь деньги. Не сделаешь — сядешь за решетку.

Змеелов согласился. Он был на крючке у следователя, потому что занимался не только ловлей змей, но еще и торговал анашой — наркотиком из семян индийской конопли. Сун Найфынь мог отправить его за решетку в любой день, но не делал этого только потому, что сам покупал анашу, пристрастился к наркотикам еще там, на работе в центральной провинции.

Сун Найфынь уже потирал руки, уверенный в удачном исходе очередной операции по ликвидации вражеского элемента, но на другой день прямо к нему на квартиру припелся змеелов и повалился в ноги. Он поймал гюрзу в Красных горах, но когда возвращался домой, в ущелье его встретили трое разбойников на лошадях. Гюрзу отобрали, а змеелова избili.

— Пойдешь снова — и пока не сделаешь все, что я тебе говорил, не показывайся мне на глаза! — приказал Сун Найфынь и вышвырнул змеелова из своего дома.

Змеелов в своем рассказе утаил малепькую, но весьма существенную деталь — «разбойники» не только отобрали гюрзу, но и выведали у перепуганного анашиста, для какой цели она предназначена.

В пятницу Сун Найфыню донесли, что на кладбище возле минарета собралась большая толпа дехкан для какого-то своего молебна. Полковник немедля выехал туда на машине с двумя молодчиками. Они плетьюми разогнали молящихся, после чего Сун Найфынь, разгоряченный расправой, потребовал от старого шейха, чтобы тот провел их на верхнюю площадку минарета. Полковник хотел посмотреть с высоты птичьего полета, как разбегаются эти несчастные и не соберутся ли они где-нибудь в другом месте.

— Ступеньки старые, разрушились, осыпаются... — бормотал старый шейх. — Нельзя туда.

Он говорил правду, минарет был давно заброшен, ремонтировать его строго запрещалось, как предмет религиозного культа. Однако полковник был неумолим.

В эти минуты подъехал к минарету неизвестный старик с черной бородой, в чалме и на хорошем коне.

— Пойдемте, уважаемый, я здесь все знаю и проведу вас, — сказал чернобородый и вошел первым в проем минарета. Сун Найфынь со своими молодчиками последовали за ним. Шейх шел последним.

Глиняные ступени уходили по спирали вверх. Под ногами впереди идущих осыпалась глина, шейху стало трудно дышать от пыли, и он остановился. И вдруг сверху донесся вскрик, затем раздались выстрелы. В пыльном полумраке кто-то тяжелый палетел на шейха и сбил его с ног...

Когда шейх очнулся, он увидел у входа в минарет три трупа и среди них — труп Сун Найфыня. Неподалеку дымным пламенем горела машина полковника. А чернобородого всадника в чалме и след простыл.

\* \* \*

В воскресенье вечером, уже в сумерках, во двор Садыка прибежал Бойнак. «Значит, наши подошли близко!» — первое, о чем подумал Садык. Радостно помизгивая, не посидел по двору, обнюхивая все вокруг. Садык обратил

спидманпе на широкий ошейник, которого раньше не было, подозвал пса и нашарил под ошейником записку.

«Все мы живы и здоровы. Накапливаем силы в Красных горах. С каждым днем наш отряд растет. О событиях в минарете нам известно. Таир, с которыми ты был в тюрьме, тоже среди нас. Умирать — так с оружием в руках! Всем, кому дорога родина, мы советуем идти в горы. Родная земля щедра и милостива, сокроет нас от врага. Обнимаем всех, желаем здоровья. Реймша и Шакир».

Через полчаса у Самета собрались верные друзья — Джау-Шимип, таджик Абдуварис и Садык. Они читали и перечитывали записку, радуясь за своих и в то же время тревожась, — слишком близко они подошли к Турфану, слишком опасно...

Садык предположил, что если Таир попал к повстанцам, то там же, вероятно, находится и Шарип, их отправляли по этапу вместе.

— Дай-то бог, чтобы и он был с ними, — проговорила Хуршида. — Проклятие иноверцам!

Разговор был прерван появлением незнакомой женщины. Она вошла во двор, опираясь на палку, лицо ее было низко прикрыто темным платком. Она поставила палку к стене дома, откинула платок — и все узнали Ханипу.

Ханипа рассказала, что в Караходже только и разговоров о покушении в минарете. Приезжали следователи, вызывали на допросы, провели обыски.

— То же самое и у нас, Ханипа, — сказал Садык.

— Да и по всему Турфанскому округу, — добавил Джау-Шимип.

Садык подал Ханипе записку Реймши и Шакира.

— Как ты думаешь, Ханипа, что им ответить?

Она прочитала записку, проговорила задумчиво:

— Боюсь, как бы все это не кончилось трагедией... Для всех нас...

— Напиши, Садыкджан, что мы тоже все живы и здоровы, — предложил Самет. — И еще привет нашему внуку.

— Надо повременить с ответом, — посоветовал Джау-Шимип. — Я слышал, будто готовится какая-то новая мобилизация. Подождем денек-другой. Важно не отпускать Бойнака, он может пригодиться. Посади его на цепь, Садыкджан.

Ханипа подтвердила, что у них в Караходже тоже прошел слух о новой мобилизации. Якобы прибывает в округ

новая волна переселенцев из Внутреннего Китая, а всех уйгуров, прежде всего молодежь, должны куда-то отправить в другие места.

— Если слухи подтвердятся, надо уходить в горы, — решительно сказал Садык. — Я не хочу умирать где-нибудь на чужбине.

— Подождем денек-другой, — повторил Джау-Шимин.

— Если уйдешь в горы, Садыкджан, не бросай перо, — заговорил все время молчаливый Книжник Абдуварис. — Слово бывает сильнее пули, не так ли, друг мой, Джау?

— Во веки веков так! — подхватил Джау-Шимин.

Ханипа с улыбкой смотрела на стариков. Как истинные мусульмане, они верили, что поэт — святой, поэт — пророк, устами его говорит бог.

\* \* \*

Слухи подтвердились. Садык получил повестку — явиться в Турфан с трехдневным запасом питания для отправки «на передний край». Три дня пути, — значит, увезут не меньше чем за тысячу километров.

Прибыв в Турфан, в огромной толпе мобилизованных Садык разыскал Ханипу. Она тоже получила повестку и приехала с группой молодежи из Караходжи.

Весь день шла регистрация. Ее проводили инструкторы парткома вместе с китайцами в военной форме.

Садык приехал в Турфан с твердым намерением сколотить здесь группу и уйти в горы. Бойнака он оставил у Самета, надеясь, что нес послужит надежным проводником.

Он сказал Ханипе о своем решении.

— А как же я? — растерянно спросила она.

Садык понимал, что жизнь в горах нелегкая, и потому он не мог предложить Ханипе уйти вместе с ним. Пусть она решает сама.

— Может быть, тебе лучше уйти с Абдуварисом, Ханипа? Весной он намерен перейти границу.

— Но до весны меня угонят бог знает куда. Я пойду с тобой, Садыкджан, будь что будет...

Между тем регистрация продолжалась. Не было слышно ни шуток, ни смеха, раздавались только окрики людей в военной форме. Те, кто прошел регистрацию, получали предписание явиться завтра на пункт сбора к семи часам



утра. «Следовательно, у нас в распоряжении еще ночь», — отметил Садык.

Он поделился своим планом с двумя надежными парнями из соседних сел. Они охотно согласились уйти вместе с Садыком и пообещали поговорить, в свою очередь, с другими верными парнями.

Ханипа познакомила Садыка с молодым человеком из Караходжи, горячим, порывистым Гаитом. Он принял план Садыка без колебаний и вызвался привести с собой друзей из Астана.

Условились сегодня же, с наступлением сумерок, встретиться у входа в ущелье за Буюлуком.

\* \* \*

Вечером у входа в ущелье собрался целый отряд — шестнадцать парней и шесть девушек. Все были возбуждены предстоящим переходом к своим, возможностью избавиться от работы «на переднем крае». Двое джигитов прихватили с собой охотничьи ружья, один раздобыл старый револьвер. Гаит приехал на коне, которого успел выкрасть из конюшни гуыши в Астане.

Бойнак повел беглецов вверх по ущелью, вдоль горной речки.

Светила луна, густая тень от склонов лежала вокруг, а вдали смутно белела снеговая вершина. Горная речка шумела, лепилась и в свете луны казалась молочной. Тропинка, по которой шел отряд, становилась все уже, стало попадаться все больше камней. Девушки поочередно ехали на лошади Гаита, парни подбадривали их шуткой. Садык шел впереди отряда, держа Бойнака на поводке. Пес нетерпеливо рвался вперед. Речка нетягла, то пропадая в зарослях таволги, то вновь появляясь. От воды несло ночной прохладой.

Глубокой ночью путники остановились на небольшой поляне под крутым склоном. Решили сделать привал, все устали. Садык поглядывал на Бойнака, будто ждал от него ответа на вопрос, сколько еще идти. Словно понимая, что люди устали и что пора отдохнуть, умный пес мирно улегся возле ног Садыка.

На рассвете насlex перекусили и двинулись дальше. Ущелье расширилось. Тропинка исчезла, и путники теперь пробирались через колючие кусты шиповника и бар-

бариса. На склонах все чаще стали попадаться вековые ели.

К полудню Бойнак остановился возле огромной скалы, круто уходящей вверх, и беспокойно заметался и заскулил. Садык отпустил поводок, и Бойнак, петляя, побегал вверх по скалистому склону и исчез между камней.

Потянулись долгие минуты ожидания. Кто их встретит? Как их примут? Ведь в отряде не только парни, но и девушки...

Садык приложил ладони рупором ко рту и громко прокричал:

— Э-ге-ге-ей!.. — Эхо многократно повторило его зов.

Наконец путники услышали, как под чьими-то тяжелыми шагами осыпается галька. Из-за камней появились двое мужчин с автоматами через плечо. В переднем, высоком и плечистом богатыре, с черной как смоль бородой и такими же усами Садык узнал Шакира.

\* \* \*

Правду написали Реймша и Шакир Садыку — земля наша щедра и милостива, сокроет нас от врага. Природа будто сама позаботилась об укрытии для мятежников — почти у самой вершины гигантской скалы тянулась довольно широкая терраса с нишами, словно гнезда беркутов, и пещерами. Садык сразу же дал название становищу — Орлиное гнездо. Видно было, что мятежники живут здесь не первый день, то там, то здесь выселись подпорки из могучих стволов ели, зеленели навесы из ветвей, желтели плетеные перегородки, чернели выложенные из камней очаги. Был здесь и склад с продовольствием, и каменное корыто, и доски для раскатывания теста. Два молодых охотника разделявали тушу горного козла. Чуть поодаль сидел третий и ощипывал куропаток.

Вновь прибывшим, особенно девушкам, понравился первобытный облик становища. Ханна с подругами приступили к освоению кухни. Бахап, известный в округе охотник и следопыт из Турфана, давал девушкам наставления:

— Кочегарить у нас надо с умом, сестрицы, чтобы совсем не было дыма.

Бахап мелко нарубил сухих и твердых сучьев, старательно разложил их под казаном и поднес зажженную

спичку — пламя охватило сучья, будто они были политы керосином.

Садыка встретил Таир, с которым они познакомились в Турфанской тюрьме, и рассказал, что на свободе он оказался благодаря Шакиру и Реймше. Они совершили налет на этап. Конвой разбежался, побросав оружие.

— А что стало с Шарипом, он ведь уходил вместе с вами?

Таир презрительно усмехнулся:

— Шарип, заячья душа, убежал вместе с конвоирами. Тюрьма для него слаще дома родного...

\* \* \*

Утром следующего дня собрался совет отряда — Шакир, Реймша, Таир, Бахап, еще трое незнакомых Садыку мужчины. Из пополнения пригласили только Садыка и Гаита.

Первый вопрос — о продовольствии. Отряд пополнился, прокормиться только охотничьим промыслом будет труднее. К тому же не за горами зима...

Реймша выразил недовольство тем, что Садык привел в отряд девушек.

— Не подумайте, что я слишком суеверный, — сказал Реймша. — Мне их жалко, у нас трудное дело, не женское.

Садык ему возразил: девушки привыкнут, главное, они теперь в безопасности. Если бы они не ушли в горы, то их отправили бы уже сегодня за тридевять земель от родного дома и заставили бы работать в каторжных условиях. Из двух бед надо выбирать меньшую.

— Мы на чужой шее сидеть не будем! — возбужденно заговорил Гаит. — Я вам привел коня, если надо — целый табун приведу. Продовольствие мы достанем своими руками, я знаю, где находится военный склад, только дайте мне помощников.

Совет принял решение направить Гаита с двумя опытными товарищами сегодня в ночь на разведку.

Но не хлебом единым жив человек. Второй, главный вопрос поставил перед советом Садык — в чем наша цель, к чему мы должны стремиться, какие формы борьбы избрать?

Общую задачу члены совета понимали по-разному.

— Перебить всех начальников,— решительно заявил Шакир.

— Как жили, так и будем жить,— сказал Реймша.— Бог не выдаст.

Бахап говорил дольше других.

— Там,— он показал в сторону Турфана,— тюрьма и голод. Там я должен с утра до ночи ишачить на полях гушьши, чтобы получить похлебку из гаоляна и кукурузную лепешку. Здесь,— Бахап широким жестом показал на горы,— для меня свобода. Я могу в любое время взять винтовку и подстрелить архара, взять ружье и пастрелять куропатов и фазанов. Никто не гонит меня на работу, никто не грозит тюрьмой. О такой жизни я всегда мечтал — чтобы никакой власти не было.

Итак, один стоял за террор, другой предлагал жить по обстоятельствам, надеясь на бога, третий мечтал о безвластии, стоял, в сущности, за анархию.

Что им мог предложить Садык?

Да, они приспособились к жизни в горах, они заявили о себе вооруженными действиями, как народные мстители. Определенная практика у них была. Но не было у них революционной теории. Национальный рабочий класс в крае только-только начал зарождаться, но не имел возможности объединиться в условиях военного режима, навязанного Пекином. Передовая национальная интеллигенция, по сути, была уничтожена на корню...

— Я не могу согласиться с тобой, дорогой Шакир,— заговорил Садык.— Если мы уничтожим всех начальников, на их место поставят новых, еще более свирепых и безжалостных. В конечном счете наш террор может принести народу еще большие бедствия. Я не могу согласиться и с вами, уважаемые Реймша и Бахап. Мы не должны жить, как племя дикарей, озабоченное только тем, как бы прокормиться, укрыться от непогоды, лишь бы выжить. Мы должны иметь перед собой ясную цель — восстановление социалистического правопорядка в крае. Я считаю, что главная наша задача — поднимать народ на борьбу за свои права, вести агитацию в городах и селениях.

— Вот моя агитация! — воскликнул Шакир, поднимая автомат.— Кровь за кровью! Месть! Согласись, Садыкджан, если бы я не убрал тогда Сун Найфыня, он бы убрал тебя.

— Я признателен тебе, дорогой Шакир, но все-таки настаиваю: мы не можем ограничиваться террором, мы должны пробуждать в народе чувство национального самосознания. Будем надеяться не только на силу оружия, но прежде всего на силу убеждения. Те наши товарищи, которые будут уходить в долину за продовольствием и оружием, будут распространять наши листовки...

Члены совета поддержали Садыка.

— Я — как большинство, — заявил Шакир. — Но если народ в Турфане, в Буюлуке или даже в Урумчи скажет мне прикончить какого-нибудь палача, я его прикончу.

\* \* \*

Операция по захвату продовольствия прошла успешно. Вооруженная группа во главе с Шакиром ночью сняла часовых возле военного склада. На лошадей навьючили ящики с мясными и рыбными консервами, мешки с мукой и рисом.

А на другой день над ущельем впервые появился вертолет. Он кружил очень долго, то улетаая, то вновь возвращаясь, то прибавляя скорости, то повисая на одном месте, словно гигантская стрекоза. Казалось, пилот пытался изучить каждый метр ущелья. Мятежники попрятались, притаились в своих гнездах. Погасли костры, лагерь замер. Подступы снизу были хорошо замаскированы, но никто не предполагал, что противник появится сверху. На четвертом заходе вертолет повис прямо над лагерем, видно было даже лицо пилота. Шакир не выдержал и дал очередь из автомата. Выстрелов почти не было слышно из-за оглушительного тарахтенья мотора. А внизу метались испуганные лошади в загоне без крыши, с вертолета они видны были как на ладони. Наконец вертолет исчез.

В лагере наступила тревожная почва. В ущелье выставили дозорных. Не спали. Держали совет. Одни предлагали немедленно сняться и уйти дальше в горы, на новое место. Но становище на скале создавалось не один день, жалко было покидать его. Однако все понимали, что вертолет кружил не зря. Решили уходить, сняться на рассвете. Идти дальше, в горы Ялгуз-Турум, где обитали Масим-ака, Марпуа с Аринджиканом и еще несколько семей с детьми.

Всю ночь шли сборы. Паковали продукты, проверяли оружие.

Но сняться не удалось. Перед самым рассветом дозорные донесли, что по ущелью приближается большая группа солдат на лошадях.

Решено было припятать бой. Бахану поручили увести женщин через перевал в соседнее ущелье и двигаться в сторону хребта Ялгуз-Турум.

Ханипа простилась с Садыком. Ей не хотелось уходить. Ей казалось, что видятся они в последний раз. Так оно и получилось...

Мужчины с автоматами, винтовками, охотничьими ружьями спустились вниз. Таир держал в руке единственную на весь отряд гранату.

— Мы их поднимем шагов на пятьдесят — и ты брошишь ее в самую гущу, — давал наказ Реймша, — после чего мы начинаем стрелять.

Мятежники рассредоточились на склонах ущелья, используя укрытия — камень, дерево, выступ скалы. Быстро рассвело.

Солдаты ехали вразброд, тропинки не было, кони шли нехотя, остунаясь на валунах и спотыкаясь.

Когда они приблизились метров на пятьдесят, Таир поднялся во весь рост и метнул гранату. Раздался взрыв, кони вздыбились, повернули обратно, послышались крики солдат. Им ответили дружные залпы мятежников из винтовок и ружей, автоматные очереди. Горное эхо умножало грохот, наводя панику на солдат. С коней падали раненые и убитые, метался офицер, размахивая пистолетом...

Перестрелка продолжалась не меньше двух часов. Солдаты отошли, забрав раненых и раздев почти донага убитых, — такова инструкция. Солдаты не были готовы к вооруженной стычке. Они ожидали встретить в горах полудиках дехкан, беспомощных и безоружных, а тут — граната и автоматные очереди. Они отошли за подкреплением.

Шакир был тяжело ранен, в ногу и в голову. Погиб Реймша и еще пятеро мятежников. Их похоронили наверху, среди камней. Орынное гнездо на скале стало их последним, вечным пристанищем...

Два солдата с оружием и запасом патронов перешли на сторону мятежников. Один из них, Ми Ляпфан, рассказал, что он родом с севера, из Маньчжурии. Фамилия у него знаменитая, но к великому актеру Ми Ляпфану, который до глубокой старости исполнял женские роли, он отношения не имеет. Отец его мелкий ремесленник.

— Так почему ты пошел против нас? — недружелюбно спросил Таир.

Солдат глубоко вздохнул.

— Легко сказать, браток, «почему пошел»... Нам вдолбили, что уйгуры — наши главные враги. Что они истребят нас поголовно с помощью русских. Пока сам разберешься... А они тебе вдалбливают каждый день, агитируют. Но дело не только в этом. Армию сохраняет сама же армия. Один солдат боится другого солдата, офицер боится офицера, одна армейская часть боится другой части. Мне все это надоело, я прошу вас меня не прогонять, прошу верить мне.

Второй солдат по имени Курман, казах из Илийского округа, пришел в отряд, увешанный четырьмя автоматами. Над ним издевались китайцы, с которыми он служил, унижали его национальное достоинство, и потому Курман во время боя стрелял по своим. Забрав оружие убитых, он перешел к повстанцам.

— Я могу вас увести отсюда в свой край, за Урумчи, где нас никогда никто не найдет, — пообещал Курман.

Верный Бойпак ни на шаг не отходил от раненого Шакира. Он жалобно скулил и подвывал, поровил лизнуть Шакира в лицо, тыкался носом в его раненую голову. Пес паводил тоску своим воем, и его прогнали. Бойпак, жалобно скуля, будто плача, побежал вниз по ущелью, в сторону Буюлука.

Возможно, пес не мог забыть родную конуру во дворе Масима-аки, и время от времени у него возникала потребность побывать там, возможно, пес был напуган перестрелкой, чуял запах смерти, беды и решил навсегда покинуть горы, кто знает...

В кустарнике вспорхнула птица, и Бойпак остановил-

ся, наострил уши. Затем он лег на брюхо и пополз, чуя близкую добычу. Прямо перед ним вдруг поднялась из травы змея и быстрым, пугающим движением будто клюнула пса в нос. Бойнак взвизгнул и заметался, тычась мордой в землю, в камень, в траву, пока не свалился. Жирная куропатка спокойно опустилась перед ним в двух шагах, будто пса уже не было. Бойнак медленно поднял голову, потянулся к птице, жесткая судорога прошла по нему от головы до хвоста, пес вытянулся и замер.

\* \* \*

Когда шестеро женщин во главе с Бахапом прошли через перевал в соседнее ущелье, там их встретил другой отряд кавалеристов. Бахап отстреливался до последнего патрона, снял не меньше десятка солдат и ушел по козьей тропе. Охотник знал здесь каждый уголок, поймать его было невозможно.

Всех женщин, среди них была и Ханипа, погнали в Турфан, в тюрьму. «До особого распоряжения Урумчи».

\* \* \*

Урумчи, Урумчи! Будь проклята столица, превращенная в эшафот. Ты стала опорной крепостью китайских властителей, и имя твое — Ди-хау. Пусть поглотит тебя земля, пусть задушит тебя пепел вулкана, пусть ты провалишься на дно морское! О, проклятье тебе, гнездовье скорпионов, трехвековой зинан, где томилась лучшая сыновья моего народа.

Ты — кровавый дракон на груди Восточного Туркестана!

## XVII

Книжник Абдуварис трясся на ишаке по пути к границе, и слезы текли по его лицу. Он проклинал китайцев, которые заставили его покинуть на старости лет его вторую родину, уйгурскую землю, проклиная свою горемычную судьбу.

Он ничего не взял с собой, ни вещей, ни скарба, только немного еды, воду в двух тыквянках и несколько самых ценных рукописей в переметной суме. Эти священные письма он надеялся передать уйгурам в Семиречье.



Из Буюлука он сначала перебрался в Кульджу, здесь встретился со знакомым стариком, тоже таджиком, который всю жизнь пас овец и знал все чабаны тропы в округе. Он-то и рассказал Абдуварису, как лучше пройти на ту сторону.

Возле речушки, по которой и проходила граница, Абдуварис просидел в кустах до наступления темноты. Дождаясь, когда с вечерним обходом прошли два пограничника, и повел ишака вброд. Едва он дошел до середины реки, как раздались выстрелы. Перепуганный ишак рванулся к берегу, а старик упал, чувствуя острую боль в плече.

Китайские пограничники изучили за последнее время места переходов и устраивали там засады. Следуя инструкции, они не предупреждали беглецов, а ждали, когда те дойдут до середины реки, и только тогда открывали огонь.

Но Абдуварису повезло, пограничник, видимо, плохо стрелял, да к тому же мешала темнота. Старик выполз на берег, на советскую сторону, и здесь потерял сознание.

Его подобрал советские пограничники. Абдуварис пришел в себя в госпитале и сразу заявил врачу, что обратно он не пойдет, а если его попытаются отправить силой, он сам себя зарежет.

— Бога не побоюсь! — поклялся старик и попросил после выздоровления направить его в Джаркент к человеку по имени Момул Талипп.

\* \* \*

Момул жил со своими родителями. Он преподавал историю и литературу в одной из школ Панфилова — так теперь назывался старый Джаркент.

Придя к нему в гости в первый раз, Абдуварис чуть не заплакал, растроганный, — он увидел прежний уйгурский быт. Просторный новый дом, большой двор, яблоневый сад, во дворе беседка, увитая виноградом, а под навесом — целая гора арбузов и дынь, лучшие сорта знаменитых турфанских дынь, которых Абдуварис не видел уже несколько лет.

Его встретил отец Момула, тоже старик. Он готовил плов на ужин и обрадовался, что гость пришел в самый раз, к ужину. Когда же Абдуварис сказал, кто он и откуда прибыл, хозяин сильно разволновался и предложил гостю жить в этом доме, сколько он пожелает.

Пришли соседи, друзья хозяина, и все уселись за большой дастархан. Абдуварис с грустью вспомнил, как собирались вот так же за богатым дастарханом когда-то и в Турфане, и в Кульдже...

Хозяева жили в достатке, Абдуварис, привыкший за последние годы к повсеместной бедности, сразу это отметил. Перед ужином старики молились, за дастарханом соблюдали обычай, и никто им этого не запрещал. Будто в другой мир попал старый Абдуварис. Однако как всякий, повидавший много па своем веку, он не подавал виду, не ахал и не охал, а сидел, как и подобает аксакалу, с достоинством и говорил мало, хотя от него ждали подробного рассказа о делах по ту сторону. Хозяин понимал, что гость еще не освоился, и потому не приставал с расспросами...

Момун пришел поздно, усталый и озабоченный.

— Момупджан, сынок, к тебе приехал аксакал, хочет поговорить с тобой, — сказал отец.

Момун пригласил Абдувариса в свой кабинет. Туда же им подали ужины на низеньком столике.

Лицо Момуна по-прежнему оставалось мрачным, какая-то тяжкая дума не оставляла его в покое. «Должно быть, друг нашего Садыкджана не так приветлив и гостеприимен, как его отец», — отметил Абдуварис.

— Я привез вам, дорогой Момун, горсть земли из родной Уйгурии, а также низкий поклон от ваших друзей Садыкджана и Ханины.

Старик коротко рассказал о событиях последних месяцев. Момун отложил ложку и сидел, не шевелясь.

— Я регулярно слушаю радио Сипцзяпа, — наконец заговорил он, когда старик окончил свой рассказ. — В общих чертах знаю, что там происходит. Генеральный курс пекинских руководителей вредит не только одной стране, но и всей системе социализма. Этого следовало ожидать... И хотя я живу, как видите, в хороших условиях, работаю в школе, о чем всегда мечтал, настроение все-таки у меня неважное. Я все время думаю о моих друзьях, о том трагическом положении, в котором оказалась моя родина. Вы помните, как двадцать лет назад уйгуры и казахи трех округов, Илийского, Алтайского и Тарбагатайского, совершили революцию своими силами, без помощи Китая. А потом опять оказались под пятой китайских чиновников. Я думаю о том, почему наш пятимиллионный народ принял оскорбительное для своей страны наименование

Синьдзянского, всего-то, района. И не нахожу ответа. Боюсь, что Садыка и Ханипу уничтожат... И все-таки они борются.

Перед уходом Абдуварис извлек из кармана своего халата завернутую в платок горсть земли.

— Дорогой Момун, если мы, старикцы, не доживем до светлого дня, то вы, молодые, обязательно должны дожить. И тогда, прошу вас, мой сын, вот эту горсть родной земли вернуть обратно под небо Турфана.

Старик ушел, а Момун еще долго сидел в раздумье, не прикасаясь к еде. Из соседней комнаты доносился оживленный говор, там шутили, смеялись.

Абдуварис оставил несколько стихотворений Садыка, переписанных от руки. Момун открыл наугад.

Ты тянешься к бокалу неспроста.  
Твоя улыбка — показной обман.  
Смеешься, а веселость-то не та:  
На сердце у тебя так много ран!  
Пристало ль быть нам с заячьей душой?  
Шептать о правде только трус горазд.  
Твоя опора — край великий твой.  
Он о народе позабыть не даст.

### XVIII

Первого мая, когда весь мир отмечал праздник международной солидарности, Ханипу вывели из камеры на тюремный двор. Здесь она увидела автофургон с красочной рекламой книжной торговли — «Синьхуа-шюден». Мрачный конвоир подвел ее к фургону и открыл заднюю дверь. Ханипа успела заметить, что там уже кто-то сидит.

— Вы хотите отвезти меня в книжный магазин? — спросила Ханипа с иронией.

Конвоир строго зыркнул на нее и ничего не ответил.

Дверь за Ханипой захлопнулась, и щелкнул замок. Стало темно, как в ящике. Свет едва-едва проникал через зарешеченное оконце в кабине водителя. Ханипа села на скамью, держась за ее край обеими руками. Машину качало на ухабах. Привыкнув к темноте, Ханипа разглядела возле оконца небритого, обросшего мужчину с широкими бровями и маленькими глазками.

— Выехали на шоссе, — сильным голосом проговорил мужчина.

Машина перестала петлять, мотор загудел громче, набирая скорость.

— Откуда вы будете, сестра?  
— Из Караходжи,— ответила Ханипа.  
— А за что вас посадили, если не секрет?  
— Я и сама не знаю... А вас за что?  
— Я родом из Кашгара, сестра, там у нас голод, приехал в Турфан поискать работу, а тут на мою беду как раз убили в минарете большого начальника, окружного следователя, вот меня и зацапали. И кто его мог прикончить?

Вопрос его повис в воздухе.

— Хотите — верьте, хотите — нет, сижу за чужие грехи.

Голос его показался Ханипе не совсем искренним.

— Куда же нас везут? — спросила она.

— Вы что, не знаете? В Урумчи везут, в центральную тюрьму. За чужие грехи! — продолжал сетовать бородастый. — Знал бы я такое дело, ушел бы лучше в Красные горы. Слышали, там мятежники засели, с автоматами и пулеметами, слышали?

— Слышала...

— Знать бы туда дорогу. Вы случайно не знаете?

— Их найти трудно, я так думаю,— уклончиво ответила Ханипа. — Иначе бы они сидели вместе с нами.

— В Хотане тоже началась заварушка,— проговорил мужчина. — Не слышали?

«Слишком много вы задаете вопросов», — хотела сказать Ханипа, но промолчала.

— В Хотане бузят, в Кашгаре бузят, и в Кульдже тоже,— продолжал он,— но что толку? Что можно сделать против всеисильной власти, у которой пушки есть, самолеты, танки.

— Если поднимется весь народ, любая власть призадумается! — горячо сказала Ханипа.

— Как, как вы сказали? — тотчас подхватил бородастый. — Если поднимется весь народ, то любую власть можно скovyрнуть, да?

Ханипа не ответила. Только сейчас она подумала, что к ней могли посадить доносчика, уж слишком откровенно он ее провоцировал.

\* \* \*

Первым следователем, который начал вести дело Ханипы в Урумчи, оказался совсем молодой уйгур с интеллигентным лицом, в очках и в военной форме. Прежде всего

он поинтересовался, какие жалобы и претензии имеет заключенная к тюремной администрации.

— Я бы хотела знать, в чем меня обвиняют?

— Обвинительное заключение вы получите после окончания следствия,— четко ответил молодой человек.— Вы должны правдиво отвечать на вопросы следователя. Чистосердечное признание может значительно снизить меру вашего наказания в процессе суда.

Он говорил с ней так, будто держал экзамен перед преподавателем.

— Вы обвиняетесь в сговоре с предателем и ревизионистом Момупом Талипи, с националистом и отщепенцем Садыком Касымовым. Во-вторых, вы обвиняетесь в связях с контрреволюционными силами, которые скрываются в Красных горах. И наконец, в-третьих, вы должны понести ответственность за свои...— следователь замаялся,— за свое аморальное поведение.— Он заметно смутился.

«Видно, только-только закончил юридический факультет,— подумала Хашипа.— И напялили на беднягу сразу эту форму».

— Дайте мне бумаги, я напишу подробное объяснение,— сказала Хашипа.— Я виновата только в одном: в том, что недостаточно любила свой многострадальный народ, слишком мало ему служила.

— Хорошо, пожалуйста, напишите.— Следователь придвинул к себе папку с бумагой, раскрыл ее и замешкался, поправил очки и сказал с жалкой улыбкой: — На это требуется разрешение пачальства, заключенная Хашипа...

Больше она в тюрьме его не видела. Все последующие допросы вел уже другой следователь.

Потянулись однообразные дни и ночи. Пустая похлебка, хлеб с кулякутом, кнмяток в глиняном черенке. И допросы, постылые, грубые, об одном и том же.

И только после того, как Хашипа объявила голодовку, ей вручили наконец обвинительное заключение.

Оно было подробным, обстоятельным и, как ей показалось, бесконечным. Говорилось о том, что обвиняемая с детства воспитывалась в чуждой нашему строю семье, в духе ярого панисламизма и пантюркизма, в духе вражды к великому китайскому народу. Будучи в университете, обвиняемая категорически отказалась от разоблачений своего отца и проповедовала его идеи среди студенческой молодежи. После окончания университета выступала на

конференции против транскрибированного китайского алфавита. Всецело одобряла деятельность предателя Талипи и подстрекателя Касымова. Высказывалась против великих движений, направленных на социальное и культурное развитие великого китайского народа.

Особое внимание Ханипы привлекла фраза в конце: «Есть еще множество живых и неживых свидетельств, которые убедительно доказывают, что обвиняемая является закоренелым и неисправимым врагом китайского народа».

Что значат эти слова: «живые и неживые свидетельства», как их понимать? Она перебрала в памяти всех своих знакомых за последние год-два и не находила среди них никого, кто бы мог против нее свидетельствовать. Разве только что незаметно, как-нибудь случайно, косвенно. «Живые и неживые...» Может быть, отец, мать? Может быть, над ними учинили расправу и сам факт этот свидетельствует против их дочери? А может быть, поймали Садыкджана, Шакира и их друзей и уже расстреляли? Или они погибли в схватке с карателями?..

В качестве вещественного доказательства Ханипе предъявили листовку с заключением экспертизы: «Почерк соответствует почерку обвиняемой».

Да, они составляли текст вместе с Садыком еще там, в Красных горах. Листовка кончалась призывом: «Лучше умереть с оружием в руках, чем жить на коленях». Переписывали, размножали ее несколько человек, в их числе и Ханипа.

В день суда, после бессонной ночи, едва только взошло солнце и заглянуло в камеру сквозь решетку, Ханипа подошла к окну и под теплыми солнечными лучами закрыла глаза... Она вспомнила, она словно наяву увидела беспечальное детство в Кумуле. Как она полусонная долго лежала в постели и слышала звонкое петушиное пение; как постепенно наполнялся веселым гомоном их двор, хлопотала мама на кухне и вкусный запах лагмана приятно щекотал поздри.

По щекам Ханипы катились слезы. «Нет, нет, — пыталась она себя успокоить, — не надо раскисать, Ханипа. Какой ты прошла по жизни, такой ты должна и уйти из нее».

...К вечеру в Урумчи стало известно, что всех десятирх, представших перед судом, приговорили к смертной казни.

Четверо вооруженных всадников в форме китайской армии подъехали к воротам Турфацской тюрьмы. Спешились, вызвали начальника караула и вручили ему предписание — шестерых женщин, арестованных в горах и подозреваемых в связи с мятежниками, конвоировать в Урумчи для дальнейшего расследования.

Начальник караула в недоумении перечитал предписание и пояснил, что упомянутые женщины уже отправлены в Урумчи.

— Нас интересует прежде всего арестованная Ханпина, — сказал один из четверых, чернобородый, богатырского сложения. Форма офицера на нем, казалось, вот-вот лопнет по швам при неосторожном движении.

Начальник караула заподозрил неладное. Он уже знал, что Ханпина приговорена к расстрелу, неужто об этом не знают в Урумчи? Он предложил четверым сдать оружие и поднял тревогу.

Отстреливаясь, четверо вскочили на коней и ускакали. Это были Шакир, Курман, Ми Лянфан и Таир.

\* \* \*

После стычки с карателями отряд вынужден был покинуть Орлиное гнездо и скитался теперь в горах, не имея постоянного пристанища. Занимались в основном охотой на горных козлов, на фазанов и куропаток. Никакой связи с внешним миром не было. Перестали бриться, один только Садык точил на камне перочинный нож и соблаив себе подбородок.

Кончилась мука, не осталось даже щенотки соли. «На родной земле мы бродили, как иноземцы пришельцы, — думал Садык. — Поистине «кошка дикая выжила кошку домашнюю»...»

Неунывающий Таир пел шаманские и обрядовые песни, особенно любил повторять газель, которую уже знал весь отряд:

О аллах, послушай раз, как я хочу:  
Почему мне жизнь весь век не по плечу?  
Иль ослушался тебя я пенароком?  
Иль за веру так страданием плачу?

О том, что женщины, которых повел Бахап в Ялгуз-Турум, арестованы и содержатся в Турфанской тюрьме, в отряде узнали не сразу. А когда узнали, Шакир предложил дерзкую операцию. Садык изготовил фальшивое предписание.

Когда четверо уехали в город, оставшиеся мятежники расположились у входа в ущелье, держа оружие наготове.

Минуты ожидания всегда кажутся долгими. Садык в нетерпении поднимался на склон горы, вглядывался в дорогу, спускался вниз, ложился, прикладывался ухом к земле, пытаясь уловить далекий стук копыт. Сейчас он уже сожалел, что согласился с предложением Шакира, — слишком рискованно, до безрассудства.

Всадники появились уже в сумерках. Коня взмылены. Шакир едва держался в седле, навалился на гриву лошади. Когда Садык взял его копы под уздцы, Шакир едва пашел в себе силы выпрямиться, и тут Садык увидел, что вся грудь его влажно блестит, залитая кровью. Шакир, теряя сознание, упал из седла на руки друзей. Он был ранен в грудь навывлет, потерял много крови.

Шакир никогда не боялся смерти, а смерть, будто в отместку за презрение к ней, искала его повсюду. И наконец пашла...

Умирая, он сказал свою последнюю просьбу:

— Единственного своего сына поручаю тебе, Садык-джан. Найди его.

Он умер на руках Садыка.

\* \* \*

Печальный Садык долго сидел возле горной речки.

Судьба безжалостно лишала его друзей и близких. Умерла Захида, ушел Момуп, расстреляна Ханиша, убит Шакир...

Как жить дальше? ●

Садык не верил, что можно поднять восстание по всему Синьцзяну. И было логично, что сам он оказался в рядах повстанцев. Его лишили возможности мирно жить и трудиться. Ему навязали судьбу изгнанника, его заставили взяться за оружие.

Ради чего? Во имя чего?

Бессмысленно надеяться на переворот в стране. С горсткой мятежников, пусть даже самых смелых, самых от-



чаянных, мало что сделаешь. Вот так по-одному, как Шакира, перебьют их всех...

Но ведь он сам писал вместе с Ханпой в листовке: «Лучше умереть с оружием, чем жить на коленях».

...По желтому песку длинной цепочкой ползли муравьи к воде. Огибали камешки, кучки прибрежного пла и двигались, двигались темной текучей струйкой. Была у них какая-то цель, что-то влекло их, что-то объединяло... В самом конце цепочки Садык заметил одинокого муравьишку. Он еле полз, кособоко дергаясь, видно было, что из последних сил стремится догнать других. Может быть, он был ранен в схватке с каким-то своим врагом и теперь, наверное, собрал все свои силы, всю свою волю, чтобы не отстать, чтобы остаться вместе со всеми.

Растроганный Садык тут же написал стихи на клочке бумаги.

Взгляни-ка лучше: даже муравей  
Не безразличен к участи своей.  
Всю жизнь свою за жизнь дерется он!  
Таков природы основной закон.  
Друзья, неужто волн нету в нас,  
Лишь только слезы жалкие из глаз?  
Сама природа учит нас: держись!  
Иди вперед за честь свою и жизнь!

\* \* \*

Весь день после смерти Шакира в отряде царило уныние.

Отряд потерял вожака, человека беззаветно храброго, бескорыстного, великодушного. Одно его присутствие вселяло уверенность и спокойствие. И хотя остался Садык, его первый помощник, состояние у всех было подавленным.

Ми Лянфан заговорил вдруг о своих родителях — неизвестно, как они там живут, потеряли сына, может быть, уже умерли голодной смертью...

— Я бы хотел уйти на север, — сбивчиво, волнуясь, сказал он.

После долгого молчания ему ответил Таур:

— Твоя затея, мой друг, никому не принесет добра. Ты не сможешь в одиночку пройти на север через весь

Спнцзяп. А потом, ты ведь вместе со всеми давал клятву бороться за общее дело.

— Я готов бороться, но что толку, дорогой Таир? Мы уничтожаем каких-то мошек, а скорпионы спокойно жпвут в Урумчи, в Лапьяжоу, в Турфане. Я готов бороться! — громче повторил Ми Ляпфан. — Но что толку? И когда у нас будет окончательная победа?

В разговор вмешался Садык:

— Решай сам, друг, уходить тебе или оставаться. Удерживать тебя мы не имеем права. Только подумай хорошенько, как тебе дальше жить. От китайцев ты перешел к нам, теперь от нас хочешь снова уйти куда-то...

И Садык прочитал всем свои последние стихи:

...Сама природа учит нас: держись!

\* \* \*

Курман вернулся с охоты, положил на плоский камень возле очага несколько курючаток, не спеша извлек из кармана с полкило соли, завернутой в тряпцу, затем, на удивление всем, начал сворачивать самокрутку с настоящим табаком. В отряде курили высушенные листья, табака давно уже не было.

— Где ты раздобыл такое сокровище? — заинтересовался Таир, подсаживаясь к Курману и с наслаждением припюхиваясь к дымку.

Курман, затянувшись несколько раз, пустил самокрутку по кругу и стал рассказывать:

— Надосло мне бродить по горам, и спустился я вниз, к дороге. Сел в кустах, жду. Вижу, идет машина, и в ней никого, только один водитель. Оставил я ружье в кустах, вышел на дорогу, остановил машину. Шофер оказался казахом, как и я. Разговорились. Я ему дал подбитую курючатку, а он поднял сиденье и достал все свои запасы — соль, табак, хлеб. А потом из-за голенища сапога достает мне вот эту бумагу. Читайте.

Курман подал Садыку свернутый пополам, истертый на сгибе листок бумаги. Это оказалась листовка. Садык прочел вслух:

— «Братья, поднимайтесь на борьбу за свое национальное освобождение! Долой шовинистов! Да здравствует свободный Уйгуристан! Патриоты Урумчи».

Листовка была написана под копирку, четким, каллиграфическим почерком.

— Выходит, не ты агитировал его на борьбу, а он тебя,— с усмешкой заметил Таир.

— Выходит, так,— согласился Курман.— Но я думаю, он догадался, кто я такой и откуда. По виду моему понял, одна моя борода чего стоит, сразу говорит, что я горный житель.

Садыка взволновала листовка. Значит, они не одни.

— Откуда этот шофер?

— Из Урумчи,— ответил Курман.

— Это замечательно, друзья. Нам немедленно надо наладить связь с партизанами из Урумчи. О чем тебе еще рассказал этот шофер? — обратился Садык к Курману.

— Рассказал, что брат его служит в Урумчи, в войсках генерала Ван Эрмау. Оказывается, у нас в крае стоят восемь дивизий в полной боевой готовности. И в армии тоже много недовольных.

...Отряд принял решение направить в Урумчи для связи с патриотами группу товарищей. Вызвались идти Курман и Гаит. Приободренный листовкой, Мп Лянфан заявил, что он остается в отряде и просит извинить его за малодушие. Он конечно же скучает по дому, но понимает, что сейчас пути туда отрезаны.

— Я служил в армии несколько лет,— сказал он.— Прошу и меня направить в Урумчи для связи с солдатами. Мы пойдем общим языком.

## XX

Прошла еще одна осень с пыльными бурями и еще одна зима с бесснежными «черными» морозами. На полях Турфанского округа работали в основном солдаты.

В Буюлуке почти не осталось молодежи, одни старпки и дети. Тихим стало село, будто вымерло. Старые Самет и Хуршида изредка виделись с Джау-Шимпом, собирались за чашкой чая, вспоминали прошлое. От земляков-мятежников давно уже не было никаких вестей. Над горами Кызыл-таг перестали кружить вертолеты...

Джау-Шимп по-прежнему пользовался доверием властей как один из лучших специалистов по сельскому хозяйству. Он-то и приносил в Буюлук все новости. С большим опозданием, но Джау-Шимп все-таки прослышал о

кровавой стычке в горах между солдатами и мятежниками. По рассказам, было много убитых. Один из старых охотников Буюлука пробрался к Орлиному гнезду, но нашел там только безымянные могилы и никаких признаков человеческого жилья.

Однажды летом Джау-Шимин рассказал Самету о том, что в центральных провинциях началось новое движение — «культурная революция», самое страшное, самое жестокое движение. Проводят его хунвейбины — красные охранники, или, как они еще себя называют, «послушные буйволы председателя Мао». Они громят учреждения и парткомы, разогнали комсомол, закрывают учебные заведения, сжигают книги и картины. Чего хотят хунвейбины, никто не знает. Сами они заявляют, что служат не народу, не партии, а лично председателю Мао. А председатель исповедует такую теорию: «В истории больше значит тот, кто больше пролил крови»...

\* \* \*

Осенью 1966 года на уйгурскую землю хлынули орды хунвейбинов. «Для оказания революционной помощи автономному району». В Урумчи начался бесчинства.

Руководитель автономного района генерал Ван Эрмау решил ограничить действия хунвейбинов. Его поддерживал генерал Го-Пини, командующий Южносиньцзянским военно-производственным корпусом. В результате 22 ноября 1966 года в Урумчи произошло кровавое столкновение между войсками и «послушными буйволами». Эхо этих событий разнеслось по всей стране.

Столичная интеллигенция в Урумчи приняла сторону военных.

\* \* \*

Отряд Садыка наладил наконец связь с Урумчи. Садык предлагал товарищам из столицы воспользоваться неразберихой в городе, захватить радиостанцию, телеграф и призвать весь народ Синьцзяна к вооруженному восстанию. Тем более, что, по слухам, только одна дивизия из восьми, расположенных в крае, оставалась верна Пекину.

Однако товарищи из Урумчи не соглашались с таким предложением Садыка. Они ответили, что доверяют генер-

ралу Ван Энмау и считают, что для успешной борьбы, для восстановления социалистического правопорядка необходимо объединиться с местным руководством и сообща требовать справедливости от Пекпна.

Садык не верил в действенность такого объединения. К чему оно приведет? Как жили под пятой, так и будут жить.

Товарищи из Урумчи предлагали массовую демонстрацию, они уповали на «мирные демократические требования». Но что это даст в условиях военного режима, армейской власти? Все равно что обнаженной сабле противопоставить пустые ножны.

Садык знал, что в его отряде нет единого мнения на этот счет. На общем собрании примерно половина отряда согласилась с предложением товарищей из Урумчи. Особенно горячился парень из Тохсуна Зунуи.

— Отбившуюся овцу волки сожрут! — кричал он. — Сколько можно скитаться по горам?

— Это мы, что ли, отбившиеся овцы? — Таир грозно двинулся к Зунуи со сжатыми кулаками, но Садык придержал его:

— Спокойнее, товарищи. Я предлагаю послать делегацию от нашего отряда к товарищам из Урумчи для переговоров. Я настаиваю на вооруженных действиях.

Посыпались предложения:

— Надо идти всем.

— Ждать больше нельзя.

— Всех могут арестовать, надо послать кого-нибудь одного.

— Пошлем двоих: Садыка и Зунуи.

На том и порешили — послать двоих, Садыка и Зунуи, как представителей двух разных мнений.

\* \* \*

Когда Садык и Зунуи прибыли в Урумчи, обстановка здесь резко изменилась. Несколько сотен горожан покинули столицу и ушли в урочище Наньсань. Руководила там самая инициативная группа, на встречу с которой прибыли Садык и Зунуи.

В столице снова начались беспорядки. По улицам бродили толпы хунвейбинов. Садыку и Зунуи ничего не оставалось, как поехать в Наньсань.

За городом им удалось остановить машину и уговорить шофера довезти их до урочища.

Когда до Наньсаия оставалось несколько километров и дорога уже пошла в гору, Садык увидел впереди военную палатку и наспех сооруженный шлагбаум через дорогу. Возле него стояли солдаты.

— Только вчера я проезжал здесь — и никакого поста не было, — сказал шофер, будто оправдываясь.

Поворачивать обратно было поздно, солдаты могли открыть стрельбу.

Машина остановилась возле шлагбаума. Офицер спросил по-китайски, куда они едут и зачем. Садык, тоже по-китайски, объяснил, что они являются сотрудниками сапатория «Баянгу», расположенного за Наньсанем, что они были в городе и теперь возвращаются обратно.

Офицер в ответ только усмехнулся:

— Оружие есть?

— Нет.

Солдаты обшарили карманы всех троих, обыскали машину. Шоферу приказали поворачивать обратно, а Садыка и Зунуна пропустили.

В урочище Наньсань они увидели целое кочевье. На большой открытой поляне стояли шалаши и палатки, дымили костры, слышались лай собак и ржанье лошадей...

Переговоры ничего не дали Садыку. Только здесь он узнал, что нет никакого смысла надеяться на союз с армейскими частями — генерала Ван Эрмау отозвали в Пекин. В городе нет спокойствия ни днем ни ночью, бесчинствуют хунвейбины, и потому жители ушли в Наньсаи. Они намерены оставаться здесь до возвращения Ван Эрмау. Они надеются, что генерал расскажет в Пекине о всех безобразиях, творимых в автономном районе, вернется в Урумчи с большими полномочиями и наведет порядок.

Садык вернулся в отряд один.

\* \* \*

Не сбывшись надежды патриотов из Урумчи — в столицу из провинции Хунань прибыла дивизия генерала Лу Шуджина. Она уничтожила штаб военно-производственного корпуса. Генерал Го-Пин был арестован. Прибывший из Пекина Ван Эрмау был назначен заместителем Лу Шуджина и беспрекословно выполнял его волю. Как

и следовало ожидать, бывшему руководителю автономного района «очистили мозги от мусора».

В Урумчи поднялась новая волна арестов, судов, расстрелов. Войска прочесывали горы.

Отряд Садыка, сильно поредевший, опять ушел в окрестности Турфана. Хупвейбывы туда еще не добрались.

## XXI

В чалме, в драпом чапане и с палкой, похожий на старого деревнища, Садык бродил по Турфану.

Завтра — бой, может быть, последний в его жизни, и Садык пришел проститься с городом.

Он с трудом узнавал прежде так хорошо знакомые улицы. Никто их не подметал все лето, пекому было следить за порядком, повсюду виднелась кучи золы и отбросов, стояло зловоние отдохлых собак и кошек.

Он прошел на Базарную улицу и постоял возле чайханы, где работал когда-то Саид-ака, добрый, мудрый Саид-ака, посылавший Садыка учиться. «Учись грамоте, сынок, тогда поймешь слово «революция»...» Какой прежде шумной, оживленной, веселой была эта улица! В касканах и на подносах, кто на коромысле, кто на голове несли люди на базар всякую всячину — яблоки и урюк, лепешки пресные и сдобные, жареных цыплят и куропаток, гнали жирных, откормленных на продажу баранов. А вдоль арыка стояли шашлычницы, развеивая синий дым над мангалами и вразнобой нахваливая свои шашлыки...

Нет теперь Саид-аки, либо умер, либо сослан неизвестно куда. И чайханы нет, в большом ее дворе, в беседках, где когда-то мирно сидели турфанцы, ели лагман и мапты, пили чай из расписных пиал, разместились солдаты.

Садык долго стоял, задумавшись, и привлек к себе внимание. К нему подошел молодой солдат с бегающими глазами.

— Слушай, старик, хочешь крупы? Хорошая крупа — чумиза. Меняю.

— На что ты ее меняешь, почтенный?

Солдат, оглядевшись по сторонам, положил руку на плечо Садыка — рука его мелко дрожала — и заговорил захлебываясь, словно в горячке:

— На апашу меняю, старик, на опий, что найдешь, тащи! Я тебя не обижу, я в тюрьме работаю, там умирают каждый день, я раздеваю, всю одежду тебе отдам и чумизу в придачу, тащи!

Садык, чтобы отвязаться, сказал, что придет завтра.

«Пропадает город, пропадают люди...»

Садык медленно побрел дальше, опираясь на палку. Прошел мимо дома Нурхад-ачи, в котором когда-то жила Захида. Безлюдный, мертвый, пустой дом... Мимо Садька прошла телега, груженная кунжутком. Два солдата шагали рядом с лошадыо, будто конвой.

Садык направился на кладбище, к старому шейху.

\* \* \*

Всю ночь Садык писал, всю ночь и весь последующий день. Он писал о своей судьбе, о судьбе своего отряда, о судьбе Турфана и своего народа.

Вечером, когда старый шейх вошел к нему с горячим чайником, Садык передал ему две толстых тетради.

— Шейх-ата, сегодня ночью мы встречаем хувейбинов возле стен старой крепости. Если я не вернусь, прошу вас сохранить эту рукопись, как вы храните Моллу Шакира и Былала Назыма.

— Я сделаю все, что в моих силах, сын мой. Помоги тебе бог достичь своей цели.— Темно-бронзовое лицо шейха, изрванное морщинами, словно кора карагача, было суровым и величавым.

В сумерках к минарету прискакали двадцать вооруженных джигитов во главе с Тапром и Курмацом. Садыку подали белого коня.

\* \* \*

Глубокой ночью старый шейх слышал выстрелы и взрывы гранат. Он пошел к минарету. Много лет он по поднимался на верхнюю площадку, откуда в прежние времена невучим, мелодичным голосом муэдзин сзывал правоверных на молитву.

«Пятьдесят лет я не видел с высоты живой и мертвый Турфан,— думал шейх.— Живой город уменьшается и уменьшается с каждым годом, а мертвый, где мазары, где мои владения,— растет и растет...»



Медленно, долго поднимался он по глиняным, осыпающимся ступеням покосившегося минарета. Когда он добрался до верхней площадки, уже стало светать. Вдали, за старыми крепостными стенами, шейх увидел три дымных, черных костра — это горели машины хунвейбинов. Старик перевел взгляд на дорогу в горы, и ему показалось, что он видит отряд всадников. Долго, пристально вглядывался шейх, ища среди уходящих всадника на белом коне, но так и не нашел его.

А над Турфаном стояла тишина, и тишина эта показала старому шейху самой судьбой угнетенной Уйгурии.

# Рассказы



## МОЙ БАЯНДАЙ

Родное село всегда было для меня как само время: без начала и без конца. И все, что жило вокруг — озера, реки, луга и горы, — было создано только для Баяндая, — думал я.

Название селу дали наши деды, которые когда-то переселились сюда из каких-то других краев, древних и, по их словам, гораздо лучших, чем эта земля. К моему удивлению, старики с сожалением и печалью вспоминали шумные базары неведомой мне Кульджи, Кашгарни, старинные мечети и мазары Турфана... Я не мог понять этой печали, воспоминания не укладывались в моей голове, а грусть стариков порождала неясные и противоречивые чувства. Баяндай — только он может быть раем на этой земле, которую я жадно окидывал взором, познавая впервые.

Вдали изломанной степой подпирали небо хвойные Алатау; вокруг дымились очаги аулов и деревень. По Кульджинке — старой караванной дороге — степенно двигались неказистые полуторки. И все это, должно быть, существовало и жило только потому, что жил мой Баяндай. Даже Алма-Ата, в которой я бывал несколько раз, казалась мне беспорядочным скопищем людей. Тревожно и неуютно было мне в этом городе, который почему-то тянул и завораживал взрослых. Здесь даже пахло как-то странно: теплой смолой, пылью и угарным дымом горящего угля.

Не было здесь милых сердцу полей, укутанных камышом и красным тальником речек, даже кони боялись этой земли. Они осторожно семенили по каменным мостовым, мелко цокая и выбивая подковами холодные искры.

А в Баяндае? О, здесь было все по-другому, не то что на конях — даже на ишаках, волах можно было гнать во весь опор, не стесняясь, не думая, что кому-то это не по-

правится. Зимой мы с ребятами часто сопровождали охотников, помогали им в загонах. Летом пропадали до позднего вечера в густых садах, устраивали па деревьях гнезда-пары из ветвей и листьев. Сюда по первому зову к нам, деревенским сорванцам, слетались со всей округи прирученные галки, горлянки и дикие голуби.

В те времена в Баяндае ничего не продавалось и не покупалось. Молоко, муку, конскую и воловью упряжь, семена люди запросто брали друг у друга, как будто в селе жили одни близкие родственники. Мы, дети, бегали по Баявдаю одной дружной ватагой. Обедали, ужинали у кого придется. В каждом дворе нас при случае угощали лепешками прямо из раскаленного тандыра. А дыни, арбузы и всякие фрукты мы без спроса выбирали сами на любой бахче. В те времена никому и в голову не приходило везти дыни или помидоры в город на продажу. Там такого добра было вдоволь.

Тревожными и смутными, оказывается, были 1929—1930 годы. Много говорили о коллективизации, врагах и друзьях трудового народа. Это время я помню плохо, как давний и короткий сон. Только иногда передо мной встает, словно сквозь толщу воды, неясный облик моего отца...

А детство было. Может быть, ничем не хуже и не лучше, чем у других...

## ОТЕЦ

В нашем доме всегда бывало много людей, особенно зимой, когда наступало лучшее время для охоты. Приезжали на саях, верхами, приходили и пешком; кто в пеобъятом жарком тулупе, с ружьем, кто налегке с обыкновенной дубинкой, а кто и вовсе без оружия. Но все являлись обязательно с собаками, часто с волкодавами и реже — с чистокровными борзыми.

Охотники округи шумно вваливались в наш дом.

— Эй, Абдумуталип, что с тобой? По-моему, ты боишься мороза пуще своей жены! Но с нами-то ты выйдешь на охоту?..

— Эх, Абдумуталип, если бы твои собаки были на облаве, сыртан<sup>1</sup> не ушел бы!..

---

<sup>1</sup> Сыртан — матерый волк, вожак стаи.

Дядя Усман, мои братишки Ахмет, Алижан и я сидели в передней комнате и слушали спокойный голос отца, который обычно доброй шуткой встречал гостей.

Когда охотники начинали свои разговоры, безразличным оставался только один человек — наша мать, она сосредоточенно хлопотала около казана, кочергой расшевеливала огонь под котлом и одновременно отгоняла от очага мокрых и голодных собак. Иногда, потеряв терпение, она молча вышвыривала в сени лисьи, волчьи шкуры, от которых во все стороны расползались полчища блох. Они настигали нас в самых укромных местах и зло впились в тело, словно мстили за то, что мать потревожила их.

Отец спокойно следил за немым протестом матери, когда все зловонные шкуры оказывались в сенях, он крикал и говорил четко, но не повышая голоса:

— Рабия, сперва накорми собак, а потом уж их хозяев.

Наполнив тазики каким-то варевом, мать выносила их во двор. Мы уже были здесь, ждали с кнутами наперевес, чтобы наводить порядок в собачьей своре. Потом мать подавала гостям, они отогревались за едой, начинали смеяться, если вдруг безобидная шутка переходила в ехидный спор, отец быстро вмешивался и восстанавливал дружное застолье.

В один из весенних дней мы с отцом приручали новую охотничью собаку к ручному ястребу. Когда ястреб, вцепившись в добычу, начинал рвать ее кривым клювом, молодая собака бросалась к птице, но отец раз за разом возвращал ее. Собака пыталась бунтовать, но отец скоро усмирлял ее, и она только беззвучно скамилась на ястреба.

Почему-то я всегда жалел эту собаку и при случае подкармливал ее тайком от отца. И в этот раз я стащил со стола кусок лепешки, но только я выскочил во двор, как увидел, что к нашему дому подъезжает огромный рыжий человек на худой лошади. Голос у гостя оказался до жути оглушительным. Я вздрогнул, втянул голову в плечи и попытался к крыльцу. Отец уже стоял на ступеньках, он улыбаясь и уснокоил меня:

— Не трусь, это и есть Абдек.

Лицо, руки гостя были покрыты рыжими волосами. Он грубо вывалился из седла, потянулся так, что затрещали кости, и загрохотал.

— Напугал, да? — и протянул ко мне руку. Я на всякий случай спрятался за отца.

Они начали разговаривать, и скоро я понял, что наших лошадей надо куда-то сдать.

— Пару я, дружище, сейчас заберу, а упряжная с телегой пусть пока остается, — гремел рыжеволосый верзил.

Но отец почему-то настаивал, чтобы он забирал сразу все. За разговором они не заметили, как незаметно подошел мой дед Бовдун, в руке он держал небольшой топорик, с которым обычно работал в саду. Дед держал топорик так крепко, что костяшки пальцев на его руке побелели, и я вспомнил, что вчера вечером дед допоздна точил топорик, и теперь лезвие тускло поблескивало.

— Ни лошадей, ни телеги колхоз не получит. Не вы мне их давали, не вам и забирать! — сказал дед и переброял топорик из руки в руку.

Отец попытался что-то объяснить ему, говорил на удивление спокойно и добродушно, но дед с каждым словом мрачнел все больше и упрямо бубнил:

— Лошадей зарезку, телегу сожгу!.. Не для вашего колхоза я сорок лет ишачил на баев!

— Отец, успокойся, пойми, о чем речь идет. Все дехкане объединяются, все будет общее, то есть наше, понимаешь?

Дед опустил голову, медленно повернулся и пошел в дом. Но у самой двери он остановился, вдруг коротко размахнулся и со страшной силой метнул топорик в стену конюшни. Топорик угодил в щель между досок, в разные стороны брызнула щепа, и паружу остался торчать только конец короткого топоричка. Дед ушел в сарай. А рыжий вместе с каким-то джигитом, который появился неизвестно откуда, пачали спешно выводить наших лошадей. Отец помогал им, но глаз с сарая не спускал.

Дед вскоре вышел из сарая, он держал в руках гордость мужчин нашего дома — седло, отделанное червленым серебром с затейливой резьбой на передней луке. Под мышками у деда были кетмень и серп. Дед, не видя ничего вокруг, стоял посреди двора и медленно ушел в сад. Отец смотрел ему вслед и улыбался. Честно говоря, в то время я залял сторону деда. Кроме двух рабочих лошадей с желтыми и тупыми зубами у нас был один верховой иноходец,

и я с горечью думал, что отец должен отдать его неизвестно кому.

А через пару дней отец привел этого иноходца и позвал меня искать седло, спрятанное дедом Бовдуном. Никто не видел, где дед спрятал старинное седло. Может, он закопал его под одной из яблонь, а может, где-то у реки, в пивовых зарослях. Ведь не случайно он взял с собой серп и кетмень. А может, он ушел еще дальше, к камышовым колкам на речной излучине... Попробуй найди!

Отец позвал на подмогу нашего Пирата, сунул ему под нос потник иноходца, который ходил под спрятанным седлом, и приказал:

— Ищи, ищи!

Пират, заваливаясь на одну ногу, которую ему когда-то поранил сыртан, заспешил в сад и начал бегать кругами, рыская под каждым деревом. Потом он направился к речке и быстро нашел кучу свежесрезанного камыша. Несколько раз обошел кучу, постоял, словно раздумывая, и побежал напрямик к дому. Отец кричал вслед Пирату — пытался вернуть его, потом сам порылся в куче камыша. Ничего не обнаружив, мы вернулись во двор. А наш хромой пес уже стоял на крыше сарая и гавкал, разгребая передними лапами стожок сена.

— А-а-а, значит, он сперва спрятал там, у речки, а потом перетащил сюда, — сообразил отец и начал ширять в стожок серпом.

Ткнув несколько раз в одно и то же место, отец отбросил серп в сторону и стал разгребать сено руками. Он стоял на крыше сарая, раскорячив ноги, и греб сено под себя. Пират, делая точно так же, помогал отцу.

— Здесь, сынок! — радостно крикнул отец. Да я и сам уже видел, как сверкнуло на солнце серебро...

О Пирате я слышал много всяких рассказов, но поскольку ни один из них не подтвердился в моем присутствии, я считал, что все это — небылицы. Такой же собачьей сообразительности я никогда не наблюдал и потому сразу забыл, что держал сторону деда в его споре с моим отцом.

Я обрадовался находке не меньше отца и бросился гладить и целовать Пирата. В ту минуту не было для меня существа более мудрого, чем этот хромой пес.

С приходом весны люди Баяндая заметно оживились. И в наше село пришло новое, хорошее для того времени. Называлось оно «орма». Теперь после работы отец приносил в дом в мешочках пшено, ржаную муку, иногда хлеб! А мать ходила в степь, собирала там дикий лук — «кози кулак» и пекла какие-то невероятные вкусные чебуреки.

Однажды, вернувшись с поля, отец протянул матери пузырек барсучьего жира, кулек с мукой и вдруг сказал:

— А что, Рабия, пспеки нам чебуреков, а?

Я спросил отца, почему мы не ходим на охоту, ведь зимой наши соседи частенько варили бульон из фазанов. Отец вздохнул, поглядел меня по голове и сказал: «Зимой фазанов в окрестностях Баяндая совсем выбили, а время охоты на уток еще не пришло». Мне трудно было поверить в то, что вокруг нашего села не осталось ни одного фазана, ведь, бывало, они подобно курам копошились в садах сельчан, а то и вовсе проскальзывали под плетнями и бегали по задкам дворов. Но я посмотрел на отца и почувствовал, что он говорит правду. Он сильно похудел за зиму и от этого казался мне еще выше, костистее. Его жесткие седые усы пожелтели, обвисли. Только глаза были по-прежнему спокойны и приветливы.

— А в этом году будет много хлеба, должно быть, много... Тогда и фазаны появятся, — добавил отец уверенно, даже категорично. — Вот осенью уберем хлеб и потом займемся охотой. — Отец вскинул перед собой руки и сделал вид, что стреляет по летящему фазану.

— А беркута поймаем?

— Обязательно поймаем, сынок, и приручим его хорошенько.

— А на волков пойдем?

— И на волков пойдем, с собаками, с беркутом!

Помню, разговор этот происходил во дворе, около деревянного козла для распилки дров. Здесь мы дрессировали беркута, учили собаку работать вместе с птицей. А младший брат Алижап сидел в такие минуты на козле и изображал скачущего всадника. Наш разговор с отцом привел Алижапа в такой восторг, что он всплеснул ручонками и свалился со своего деревянного козла.



Мы подняли Алижана с земли, стряхнули с него пыль, опилки и опять усадили на козла. Но разговаривать об охоте уже никто не мог, потому что по двору плыл запах зажаренных в барсучьем жире чебуреков. У меня нестерпимо защекотало в желудке, и я судорожно сглотнул слюну. Алижан затих на своем коне, он только вертел головой и зыркал во все стороны глазенками, стараясь понять — откуда распространяется этот круживший голову запах? Отец понял наше состояние и повел нас в дом.

Сестра уже вертелась вокруг дастархана, на котором мама раскладывала румяные чебуреки. Свою долю я съел быстрее всех и как-то растерялся, потому что все остальные еще продолжали наслаждаться, но ели так, словно сказочно вкусные чебуреки ничего особенного из себя не представляли.

Мне трудно было сидеть с пустыми руками и смотреть, как домашние осторожно откусывают от чебурека маленькие кусочки, чмокают, слизывают с пальцев янтарный жир. Только мама делала вид, что она наелась, пока жарила чебуреки. Она засуетилась и начала наливать нам чай. Сестра Султанбиби отломил от своего чебурека и неожиданно протянула этот кусок мне. Мама стала уговаривать ее съесть свою долю, но я быстро схватил предложенный мне кусок, сунул его в рот и молниеносно проглотил. От испуга, а может, от обиды Султанбиби заплакала.

В семье я был любимцем, особенно баловал меня отец. И еще он разрешал мне играть вместе с ним на дутаре или тамбуре, брал с собой на охоту, а однажды даже разрешил участвовать в пастоящих скачках. Все это я понимал по-своему, часто неправильно, и потому задиристо спорил со сверстниками, обижал сестру. Вот и сейчас она плакала, а я еще чувствовал во рту сладкий вкус ее чебурека... Окончательно растерявшись, я долго смотрел на сестру и вдруг и сам залился беззвучным плачем. Я готов был провалиться сквозь землю, исчезнуть, оглохнуть...

— Эй, Рабия, давай-ка сделай еще чебуреков! Пеки побольше, что тебе, жалко? — бормотал в смятении отец, он обнимал то меня, то Султанбиби и все пытался отдать нам свой чебурек.

Отец заставлял мать истратить последнюю муку, жир, а мне казалось, что все это он говорит для того, чтобы ус-

поконтъ меня. Я помню, как мать быстро раздула огонь под очагом, высыпала на доску всю муку и принялась снешно замешивать тесто, поглядывая на нас. Кажется, при этом она старалась улыбаться...

## В ДЕНЬ СОНАРА<sup>1</sup>

Мы готовились выйти по первому снегу, когда отлично виден след, а птица становится тяжелой и неповоротливой оттого, что перо ее влажнест. Да и утки в такую погоду держатся не на открытой воде, а в озерах, сплошь заросших осокой и камышом. Здесь подкрадываться к ним на верный выстрел не трудно.

Я проснулся, услышав первый шорох, — отец был уже одет, он стоял на коленях перед старым казаном и катал последнюю горсть дробиннок. Дробь мы делали из кусков свинца, который достать в то время в Баяндае было очень трудно; резали свинец на маленькие части, бросали их в казан — горсть на один раз — и катали круглым камнем заготовки до тех пор, пока они не скатывались в шарик.

Улыбаясь, отец кивнул в сторону окна, через которое в комнату струился ровный белый свет. Это особенный свет, увидев его, можно сразу догадаться, что выпал свежий снег. Я выметнулся из-под одеяла, побежал на улицу. Запах свежего снега напоминал аромат арбуза. В груди толкнулась и затрепетала шальная радость. Я умылся этим снегом, поеживаясь, заскочил в дом и начал снешно одеваться.

Следом за мной зашла и мать. Она уже подоила корову, процедила молоко. Разведи огонь под котлом, мать нехотя начала помогать мне собираться на охоту. Она не скрывала удовольствия, когда перебирала в сарае жирные тушки фазанов, зайцев или, что бывало не часто, куски козлятины, но вот к охотничьим разговорам и к сборам на охоту относилась холодно, почти неприязненно. Я не понимал, в чем тут дело, а отец, перехватив мой недоуменный взгляд, только отмахивался и говорил:

— А, все они женщины одинаковы.

Я начинал искать причину в словах отца и недоумевал еще больше, потому что даже во всем Баяндае я не нахо-

<sup>1</sup> Со нар — свежий снег.

дил двух одинаковых женщин — все они были непохожи друг на друга.

Мать положила в большие дядины сапоги стельки из кошмы, спяла с вешалки и размяла на колене меховые штаны, в которых я вчера попал под дождь.

Отец пошел седлать коня, а я позвал в сени собак, чтобы накормить их в тепле. Но мама немедленно выгнала их на улицу и сказала, чтобы впредь я больше беспокоился о своем животе.

Мы только выехали за село и тут же увидели свежие фазаньи следы. Ровной строчкой они перечеркивали заснеженную пустошь и убегали к зарослям тальника. Огненно-красное солнце поднималось из-за заледенелых горных хребтов, и снег, выпавший ночью, сверкал нестерпимо ярко.

Отец бесшумно спешил. Пират немедленно уткнулся посом в след и заковылял к тальникам. Я видел, как собака сдерживала азарт, только нервно подрагивали ее уши да трепетал кончик мохнатого хвоста, поднимая фонтанчики искристого снега. Наконец Пират подобрался к тальнику и замер, прижался животом к земле. Отец послал его вперед. Пират с коротким визгом метнулся под куст... И тотчас с оглушительным треском, цоканьем над тальником взметнулся радужный сполох — петух! Следом, чуть ниже, тенью скользнула курица. Я сжался, ожидая коротких и хлестких выстрелов отцовского «зауэра» — единственной двустволки во всей нашей округе. Это иностранное ружье отцу подарил один охотник — гость из далекой Москвы, пораженный виртуозной стрельбой отца.

Я во все глаза смотрел на петуха, боясь пропустить тот миг, когда раскатится вокруг эхо выстрела, птица вздрогнет в полете и упадет грудью в снег. Но курица летит быстрее, вертлявее — отец знал это, — и сначала он сбил ее, а потом выстрелил и по петуху. Дробь пошла в угон, петух перевернулся в воздухе, завалился вправо, но на удивление выправился и дотянул до степы сплошного камыша. Пират знал, что в таких случаях дело за ним, и помчался за раненой птицей.

Когда я подъехал, петух был уже задавлен, вынесен на чистое место, а сам Пират невозмутимо сидел в стороне, всем своим видом выражая полное равнодушие к происходящему вокруг. Я поднял петуха, быстро выдернул из его хвоста самое длинное перо и воткнул его в

шапку. Отец не спешил подъезжать, я глянул в его сторону и вдруг увидел, что он скачет куда-то. А впереди него нахлестывал копы какой-то человек.

— На базу напали волки! — крикнул мне отец. Тогда мне показалось, что отец был очень испуган.

Волки пробрались в кошару через трухлявую крышу и задавили пятнадцать овец. А волков было всего два — сыртан и молодая волчица. Они и сейчас были внутри базы.

Чабан осторожно приоткрыл створы ворот, отец протиснулся в щель и тут же выстрелил — раз, другой... Волчица была убита наповал, а сыртан взвизгнул совсем как дурашливый щенок, вдруг спрыгнул — перемахнул через ступу и тяжелыми прыжками помчался к тальникам. Следом за ним по снегу рассыпались и замерзали капельки крови. Чабанские собаки и наш Пират остервенело кинулись за сыртаном, по бег раненого картечью волка был стремителем, и свора отставала с каждым прыжком. Тогда отец велел чабану спустить Туйгуна — низкорослого выборзка. Про Туйгуна рассказывали, что он безбоязненно влезал в лисьи норы, выставляя свою жилистую шею, дожидаясь, пока лиса хорошенько вцепится, увязнет зубами, и выволакивал добычу наружу.

Туйгун пастиг сыртана, преградил ему дорогу и отчаянно кинулся на него. Рядом с волком Туйгун выглядел не больше кошки. Тут подросла и свора, собаки дружно бросились на выручку борзой, и больше я ничего не видел, только взметнулись на месте схватки вихри снега.

Прискакав туда, мы застали жуткую картину: сыртан держал в пасти Туйгуна — железные челюсти перехватили собаку поперек — и, наводя страх на свору, боком отходил к тальнику. Увидев нас, волк ринулся прямо на собак, прорвал их кольцо и скрылся в зарослях. Сыртан ушел, не выпустив из пасти Туйгуна. Наверное, собака по привычке подставила волку шею и жестоко поплатилась за это.

Только в глубине тугаев волк бросил изжеванного Туйгуна. Чабан пашел собаку, вынес ее на руках. В Туйгуне еще теплилась жизнь, и, заметив это, чабан чуть не заплакал. Тогда отец сказал чабану, что он может приехать к нам и выбрать себе любую собаку.

Всю зиму сыртап мстил людям за убитую подругу. Он передумал лучших чабанских собак, разметал по степи несколько отар, потрепал табун лошадей. А самого табунного жеребца пзодрал так, что еще долго потом шкура на жеребце висела клочьями.

Подсчитав убытки от сыртана, отец не на шутку разозлился. Он расставил вокруг всех чабанских зимовок капканы, обложил ими звериные тропы. Теперь, куда бы отец ни собирался, в стволах «зауэра» были патроны только с картечью.

Однажды после очередной проверки капканов отец припес домой... волчью лапу. Он сказал, что это лапа того самого сыртана. Волк перегрыз собственную лапу, угодившую в капкан...

— Теперь он будет еще коварнее. Надо звать Мекен-Тамура с его беркутом, — рассудил отец.

К Мекен-Тамуру отец отправил меня. Старый дрессировщик беркутов жил далеко, верстах в двадцати за Александровской, и, признаваясь, я побанвался предстоящей дороги. Мне все мерещилось, что встреча с облезлым сыртаном неизбежна.

Старик встретил меня как именитого гостя, велел хозяйке накрыть стол, подать чай для разговора. А сам, обращаясь ко мне только почтительным словом «мирза», начал расспрашивать о благополучии нашего села, о здоровье баяндайцев, о том, хороша ли была добыча на последней охоте. Я отвечал рассеянно, невпопад, потому что во все глаза разглядывал висевшие на степях шкуры волков, лис, камышовых котов и ждал момента, когда наконец можно будет рассказать о цели приезда. Но, видимо, Мекен-Тамур чувствовал, что меня прислали неспроста, и, соблюдая древний обычай, продолжал расспрашивать обо всем по давно заведенному порядку. У меня конечно же не хватило терпения вести себя так, как показывал отец.

— Не торопись с этим проклятым сыртаном, веди себя степенно, расспроси от моего имени аксакала обо всем, как положено. Не забывай, чей ты сын! — наставлял меня на дорогу отец.

Но разве разумно битый час говорить об упитанности какой-то коровы, если проделки сыртана давно не дают никому покоя?! И потом, на пути к аксакалу я рассудил,

что, если он настоящий охотник, значит, история с волком должна заинтересовать его в первую очередь. И я прервал неторопливый поток вопросов Мекен-Тамура, спросил напрямик:

— А как ваш беркут? Что, он еще силен в охоте?

— Птицей сам интересуешься или отец все-таки спросить?

— Весь Баяндай ждет вас, Мекен-ата!.. — Тут уж меня прорвало, и я, захлебываясь от нетерпения, рассказал все, что случилось у нас.

— Знаю-знаю, мирза, — сказал охотник. — В свое время я встречался с папашей этого бандита. Так и ждал появления его лютых потомков!

Я горячо подтвердил догадки старого охотника.

Когда мы вошли к беркуту в отдельную холодную комнату, Мекен-Тамур показал мне на левую лапу птицы. На большой коготь правой лапы был надет и привязан к запястью тесемкой из сыромятной кожи стальной крюк. У меня мороз пробежал по телу, когда я представил, как эта загнутая стальная игла вонзится в загривок сыр-таца.

Беркут выглядел отлично, был сильный, подтянутый. Перья лежали плотно, одно к одному, словно были отлиты из металла. Увидев нас, беркут заволновался, распустил крылья, заклекотал. Его янтарные, с зеленоватыми нитями глаза остро блеснули.

— Хорошо, что я не накормил его до отвала, — сказал Мекен-Тамур и надел на глаза птицы колпачок.

Вдоволь налюбовавшись беркутом, я решил, что теперь-то сыртану наверняка пришел конец.

Через два дня, на рассвете, мы выехали из Баяндай. До поздней ночи сельчане, собравшиеся в нашем доме, толковали с Мекен-Тамуром, рассказывали такие истории, что хочешь спать — не успеешь. Теперь у меня спались глаза, я тер лицо, щипал себя за нос.

Опытные охотники знали, где надо искать сыртана, они сразу же направили лошадей к слиянию двух рек, туда, где громоздились непролазные буреломы из чегили, тальника, чий. Десятки собак устроили в зарослях оглушительный гвалт и высудили сыртана показаться на открытом месте. Волк помчался к берегу Или. Но сейчас же

Мекен-Тамур снял с беркута колпачок, и птица рванулась в небо, почти отвесно набирая высоту. Я слышал, как крылья беркута с тягучим посвистом рассекают воздух.

Заметив своего заклятого врага, сыртан круто изменил бег и опять направился к зарослям. Волк знал, что здесь он будет в безопасности, а если беркут и успеет сесть ему на спину, то в зарослях обязательно ухватится одной лапой за какой-нибудь куст — и тогда волк разорвет птицу на две части.

Все скакали наперерез волку, а беркут уже падал на него... Незаметно я оказался впереди всех и, замирая от страха, преградил сыртану путь.

Беркут ударил сыртана грудью — на солнце хлещно блеснул стальной коготь — и, взметнув снег, уперся хвостом в землю. Когти вошли в волчий круп, и я услышал хруст... Сыртан застонал и задрал морду к небу. А беркут только этого и ждал, он моментально высвободил одну лапу и воцарил уже окровавленные когти в морду сыртана и притянул волчью голову к задним ногам. Хрустнули кости волка, и в следующий миг он обмяк и затих...

Мекен-Тамур медленно сошел с коня, достал из-за голенища сапога нож и воцарил его под лопатку сыртана. Все было кончено. Старик помог беркуту вытащить когти из тела волка, опять надел на глаза птице колпачок. Только вздыбившиеся перья беркута долго подрагивали да на колечке его кривого клюва ветер трепал клочок дымчатой волчьей шерсти.

## ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

Следующей осенью я должен был идти в школу. Об этом мне напоминали все чаще и чаще, и потому в течение зимы я не пропустил ни одной охоты. Но отошла эта пора, осел и посерел снег, как-то вдруг, разом, случился на реке лед и сошел, растаял в потоках пузырястой тешней воды. И весной я часто бродил один по местам зимней охоты, каждый раз с таким чувством, словно было это в последний раз, словно я должен был уехать из этих мест и никогда больше не вернуться.

На противоположной стороне речки, вдоль обмытого берега парило пшеничное поле. В его крайних бороздах

доцветали подснежники и вот-вот должны были вспыхнуть алые тюльпаны. В лугах уже паслись топконогие, хрупкие жеребята. Они беспечно резвились на подсохших буграх, тянулись бархатными губами к земле и пробовали первую траву. Рядом с ними тихо бродили исхудавшие кобылицы. Они осторожно переставляли припухшие в суставах ноги, часто останавливались и подолгу стояли, смотрели потускневшими глазами куда-то далеко-далеко.

Незаметно наши бесхитростные игры мне наскучили, я потерял к ним прежний интерес. Передо мной неотступно маячил отцовский «зауэр», который теперь висел на стене стволами вверх и бесстрастно ждал своего хозяина. Отец целыми днями пропадал в поле и дома появлялся редко, и то на несколько часов. Мать с утра до ночи работала на табачных парниках. Из старших дома был только дед Бовдун. За последнюю зиму он порядком сдал, но за мной и братишками следил по-прежнему неотступно и зорко. И все же я выбрал момент стащить ружье, несколько патронов и уйти на охоту.

В тот день дед с раннего утра начал рьяно готовиться к своему любимому занятию — корчевке пней в саду. Он спешил, наверное, потому, что хотел проверить себя, есть ли еще силы для настоящей мужской работы. Когда он подготовил два кетменя, топор и собрался идти в сад, я разложил на кошке клочки шерсти, срезанные с козлов, рассыпал вокруг старые китайские монеты с четырехугольной дыркой посредине и сделал вид, что собираюсь мастерить новые лянгы. Я знал, что дед следит за мной, и потому сошел от ложного усердия, громко сокрушался, если клочок шерсти не входил в дырку монеты. Дед искоса поглядывал в мою сторону, наконец он поверил в то, что я действительно увлекся клочками шерсти, дырявыми монетами, и ушел к своим пням. А с братишками я разделался в два счета, это стоило мне двух старых лянг и одного асыка-битка. Неожиданно обзаведясь таким богатством, они сломали голову кинулись на улицу.

Из села я выбрался никем не замеченный, шмыгнул в туган и немедленно вскинул «зауэр» на плечо. Пират уже шарил по зарослям, повизгивая от нетерпения. Я шел берегом речки, пушистые метелки камыша трепетно подрагивали на ветру. То и дело мне мерещились взлетаю-



ные фазаны, утки, я скидывал ружье, целился в камышовые метелки и с трудом сдерживал себя, чтобы не пажать курок. В те минуты я был уверен, что никому не будет спасения от «зауэра».

Наконец я подошел к тому месту, где зимой фазаны были всегда, называлось оно — сады Барата-ходжи. Действительно, тут был заброшенный сад, теперь он сплошь зарос лохом, диким урюком. Почти все яблони зачахли; как мистаны — сказочные старухи ведьмы — они тянули к небу сухие ветви-руки и, казалось, молились, просили что-то у солнца и ветра. Говорят, когда-то здесь росли цветы редкой красоты, а веснами крыши глинобитных домов, теперь развалившихся, сплошь покрывались яблоневыми лепестками. В этом саду раньше проходили свадьбы и пиры. Здесь благочестивый Барат-ходжа, совершивший хадж дважды, принимал гостей со своей древней родины — Кашгарии и Турфана, Кумула и Кучар. Там он был богат и известен, из Кашгарии караваны арбакешей Барата-ходжи ходили в Ташкент и Хиву... Но что-то заставило его перебраться сюда, в Баяндай. А теперь и здесь зачахло и истлело все, что принадлежало ходже, глинобитные строения давно сдались ветру, солнцу, а яблони тоже не могли устоять перед дикими деревьями и медленно умирали, роняя последний пустоцвет.

Я думал об этом, стоя посреди сада, и совсем забыл о существовании уток и фазанов. Из этого состояния меня вывел жалкий визг Пирата: наша смелая охотничья собака, не раз бывавшая в опасных передрыгах, была чем-то напугана!.. Визг доносился примерно оттуда, где когда-то стояла водяная мельница. Там, на месте омута, была большая яма, заросшая полынью. Я замер, прислушиваясь к всхлипываниям Пирата, а визг быстро удалялся — Пират убегал!

Я подошел к развалинам мельницы, заглянул в яму и в ужасе отпрянул — на дне высохшего омута подрагивал, катался из стороны в сторону клубок змей!.. Гадюки шипели, высывая черные раздвоенные языки, и шипение их было похоже на бречание оборванной струны китайской янджины<sup>1</sup>. Я не помню, как сдернул с плеча «зауэр», направил стволы в яму и выстрелил два раза...

Тропинка была узка, и ветки больно хлестали по лицу.

<sup>1</sup> Янджина — китайский музыкальный инструмент.

Я бежал, задыхаясь от страха, обронил ружье, патроны, потом кинул куда-то куртку и шапку.

В себя я пришел только на следующий день. Отец сидел рядом, дрожащей рукой он гладил мое лицо, руки.

— Что, что случилось, сынок? Тебя кто-то напугал?

— Змеи... Где змеи? — Я плохо понимал, что происходит со мной.

Отец сочувственно улыбнулся.

— Да что же они, знают твой адрес?

— Дед же говорил...

— Что он тебе говорил?

— Он сказал мне, что змеи обязательно находят своего врага и кусают его, пока он не умрет.

— Э-э-э, все это сказки, а мы с тобой настоящие охотники и знаем, что к чему. Значит, ты два раза в них бахнул?

— Два, но их там сотни!

— Пусть хоть тысячи, посуди сам: каждая дробина может убить несколько гадюк, а в каждом патруле — двести дробинок. Вот и считай, сколько змей ты уничтожил.

Я все больше проникался спокойствием отца, но тут опять вспомнил истошный визг Пирата.

— А где Пират?.. — Я попытался встать, но отец удержал меня.

— Ты сейчас попей чайку и съешь мяса, мать вот приготовила. А потом уж мы найдем Пирата, — сказал отец, и в голосе его была беспомощность.

Пират домой не вернулся.

Он появился через два дня, худой, вялый. Голова Пирата почему-то стала огромной, пухлой, и он не мог держать ее на тонкой шее, часто ронял на грудь. Я вынес ему лепешку, мясо, но Пират даже не посмотрел на еду. Он поплелся к отцу, постоял, привалившись боком к его ногам, и опять побрел в сторону речки. Я снял с пояса ремень и хотел привязать Пирата, но отец забрал у меня ремешок.

— Не надо, он пришел попрощаться с нами. Теперь он уйдет навсегда, значит, ему не помогли целебные травы или он их не нашел...

— Пусть останется дома, он же пропадет в степи, — я потянул из рук отца ремешок.

Отец обнял меня и, глядя вслед уходящему Пирату, сказал серьезно:

— Нет, сынок, хорошая собака никогда не умирает на глазах людей.

Пират еще долго стоял у меня перед глазами, я чувствовал себя виноватым в его смерти и перестал ходить на охоту. Вскоре я увлекся музыкой, играл на всех уйгурских музыкальных инструментах, потом появилась страсть к лошадям, и до самой войны я объезжал скакунов. А потом был фронт...

### ПЕГИИ ЧЕРТ

Ключка у него была Килыбай — по имени бывшего хозяина. Внешне они подходили друг другу: хозяин был худ, неказист, а жеребец имел жидкую, посеченную лишаем гриву, впалое морщинистое брюхо и острую «куриную» грудь. Но не только в нашем Баяндае, в районе все знали — от мала до велика, что, несмотря на свою отталкивающую внешность, Килыбай властно держал свой косяк. Кобылиц не бил, жеребят стерег зорко, а однажды затоптал матерого сыртаца. Бывало, Килыбая запрягали в арбу, и тогда жеребец тянул поклажу с каким-то страшным остервенением, оставляя позади сильных тягловых лошадей. Особенно яростен он бывал на подъемах и спусках. А когда силы были на исходе и тут случалось препятствие, он опускался на колени, упирался мордой в землю, хрисел, но не давал арбе откатиться назад. Упрям, поровист и страшен был Килыбай, как черт.

Мы, баяндайские сорванцы, радовались, когда удавалось запрячь жеребца в арбу. Это тешило наше самолюбие, шутка ли, самого Килыбая запрягли! Если другие жеребцы, бывало, выражали неудовольствие в упряжке, то Килыбай даже просто на привязи вел себя как бесенный — косил красноватыми белками в сторону людей, ржал так, что звенело в ушах, — ну, а когда Килыбай был на свободе, другие жеребцы старались держаться от него подальше, многие из них на собственной шкуре познали остроту резцов Килыбая и крепость его копыт.

Но и для поровистого Килыбая настал черный день.

В колхозах решили улучшить породу лошадей, и в та-

буны начами привозить племенных жеребцов. В селах взахлеб говорили, спорили до хрипоты о преимуществах ахалтекинцев, теке-жаумитов, битюгов и орловских рысаков. Табун нашего колхоза почти сплошь составляли одни потомки Килыбая, внешне точь-в-точь похожие на своего папашу. Издали посмотришь — не табун коней, а сборнище кляч. И начальство решило подпустить в табун породистого аргамака из конного завода.

Когда пришло самое подходящее время, в колхоз приехал ветеринар. Собравшись в ватагу, мы помчались на конный двор и увидели Килыбая у коновязи. Он стоял сломленный, униженный. Через несколько дней, когда рапа затянулась, его выпустили на волю. Но, странно, едва вырвавшись из конюшни, жеребец вскинул голову, навострил уши и, раздувая поздри, помчался к своему косяку. С ходу он набросился на породистого питомца конного завода, закусал его до полусмерти.

Дорого обошлась Килыбаю вспышка ревности, до первого снега он ходил в гужевой упряжи, возил навоз, пахал, боронил... Килыбай совсем высох, на груди и спине появились ссадины. Над ним роился гнус. Но все равно, как только он освобождался от хомута — тотчас летел к своему косяку и затевал драку с заводским жеребцом. Баяндайские старики удивленно качали головами: «Странное дело! Что ему теперь косяк, отгулял свое Килыбай!» И все были уверены, что Килыбай идет в косяк по привычке, что скоро это пройдет и жеребец станет смиренным.

Всю зиму Килыбай работал на маслобойке вместо осла. Измученный, грязный, с выпиравшими ребрами, он был похож на большого верблюда. Когда Килыбай совсем дошел, его отравили вместе со старыми клячами в речную пойму.

— Пусть попробует травки напоследок, — сказали люди.

Пришла весна. Скот быстро тучнел, одна за другой начали жеребиться кобылы, и все жеребята как две капли воды были похожи на Килыбая. В ауле пошли удивленные разговоры, кличку жеребца произнесли с каким-то испугом и удивлением. Председатель колхоза ругал на чем свет стоит заезжего ветеринара, директору конного завода грозил жалобой в самые высокие инстанции, говорил, что тот падуч колхоз, прислав жеребца без всяких досто-

нств. Ветеринар приехал еще раз, сконфуженный, сидел в конторе колхоза, разводил руками и все ссымался на какую-то особенную конституцию нашего Килыбая.

Когда Килыбая пригнали с пастбища, мы, расталкивая друг друга, понеслись на конный двор. Жеребца встречали восторженными криками, как будто он выиграл труднейшие скачки. Килыбай вновь окреп, сквозь внешнюю наказанность для знающего глаза была видна прежняя сила табунного вожака.

Но его вновь спутали, стянули ноги крепчайшим арканом. Килыбай ржал, бешено сопротивлялся, но ветеринар и его помощники, крепко ругаясь, все же повалили жеребца на землю. Пах Килыбая залился кровью, ржанье перешло в глухой стон. Ветеринар разогнул спину, вытер руки о полы халата и сплюнул в сторону. Ошеломленные стоном Килыбая, мы смотрели, как жеребец мучительно дергался всем телом, скалил крупные ржавые зубы.

Его развязали, он встал, закачался, как подстреленный, но все же направился к воротам. Помощники ветеринара опередили жеребца и быстро захлопнули створы. Килыбай постоял, медленно повернулся и побрел в конюшню к выхолощенным трехлеткам.

Вечером мы сговорились выволить Килыбая и увести его в табун. Ночью я и сын нашего соседа прокрались на конный двор, открыли ворота конюшни и вывели жеребца на проселок. Рана у Килыбая распухла, он с трудом переставлял ноги и дышал надсадно, тяжело. Видно, на этот раз ветеринар действовал наверняка. У ворот Килыбай постоял немного, неуклюже развернулся и сам потащился назад, в конюшню...

Присмирел Килыбай, равнодушным стал, покорным. Колхозное начальство успокоилось и разрешило отпустить жеребца на выпас. Какое-то время он ходил в одном косяке с меринами, а потом бесследно исчез, словно и не было никогда Килыбая. Всякое говорили в Баяндае, но никто толком не знал — куда пропал жеребец. Известие о его исчезновении начальство встретило без особого беспокойства, даже, наоборот, с облегчением. Уж больно много хлопот доставил им Килыбай. А мы не верили, не хотели верить, что пегий жеребец пропал с концом. Все равно, ду-

мани мы, он вернется, он еще покажет вам, злились мы на взрослых.

...Килыбай объявился на далеком джайляу, как раз там, где был его табун. И опять от него не было покоя ни кобыльцам, ни племенному жеребцу. А потом Килыбай и вовсе забил своего родовитого соперника, — тот два дня ронял на землю розовую пену, а потом упал, дернулся пару раз и сдох. Табунщики пытались отгонять Килыбая от кобылиц, но это им удавалось плохо, и жеребца изловили и «за так» подарили путнику-киргизу.

Вспоминали Килыбая долго, неожиданно говорили о нем с грустью и сожалением. Когда моего отца поставили мирабом, для бесконечной езды верхом по оврагам и логом, где зменлись десятки безымянных речушек, ему понадобился сильный, выносливый конь. Отец часто вздыхал и как-то виновато говорил:

— Да-а, мне бы Килыбая сейчас, а?

Я вздыхал вслед за отцом и молчал. Что я мог сказать? Взрослые, наверное, знали, что они делали.

\* \* \*

На фронте я видел кровь, смерть. Испытал постоянное горе. И в такие минуты я с горькой усмешкой вспоминал свои детские переживания. Мальчишкой я болел всем сердцем за ненокорпного жеребца и был уверен, что нет более сильного страдания. Смешно. Наввно. Я усмеялся над собой, а забыть Килыбая все же не мог, слишком многое напоминал он мне...

В Баяндай я вернулся через семь долгих лет. Отец встретил меня во дворе нашего дома. Мы обнялись и заплакали. Сквозь слезы отец улыбнулся и вдруг потащил меня за рукав гимнастерки в глубину сада.

— Смотри, сынок, он все еще жив и спит, он теперь у нас живет...

Я посмотрел в ту сторону, куда показывал отец, и мне стало трудно дышать. Рядом со старой яблоней, которую посадили, когда я родился, стоял Килыбай. Может быть, он узнал меня, потому что, увидев, тихо заржал и пошел навстречу. Я протянул к нему руки, прижался щекой к теплой, подрагивающей шее Килыбая и всем сердцем почувствовал, что я жив, что наконец-то я вернулся в родной Баяндай.

## ДРУГ МОЕГО ОТЦА

Всю свою жизнь он прожил в Баяндае. Сколько ему лет, я не знал. Отца моего он считал старшим и обращался к нему не просто как к ровеснику, а прибавлял к имени уважительное «ака».

Слушая словоохотливых весельчаков, подобных Авакри-аке, одни видят в рассказах только болтовню, выдумку, другие же находят правду, быль. Поди разберись, кто из них прав. И часто биографии таких, как Авакри-ака, как и их рассказы, похожи не то на быль, не то на сказку.

Молодого Авакри-аку я знал неплохо, а вот старым никогда его не представлял и не представляю и теперь. Он остался в моей памяти — до самой его смерти — таким, каким я знал и запомнил его еще в тридцатые годы. И еще: с именем Авакри я навсегда связал бесконечную любовь к жизни, неиссякаемую энергию, тонкий юмор и острословие...

Начав работать в сельхозартели Баяндая на сенокосилке, он избавился от своих нищенских лохмотьев и стал одеваться прилично, но все равно во всем его существе — в походке, в движениях, во взгляде — сквозили следы былой угнетенности и тяжелого детства. Он всегда поеживался, словно от холода, и мне в детстве казалось, что он делает это нарочно — нарочно прикидывается тихим, немощным, чтобы присмотреться к людям, высмотреть их недостатки и высмеять неожиданно, хлестко.

Однако на самом деле Авакри-ака был силен, ловок телом и, говорят, не раз доказал справедливость поговорок: «Кем пренебрежешь, на того и напорешься». Еще живы очевидцы его успешных схваток с настоящими пахлаванами — борцами-силачами. Да и то верно, каким нужно обладать здоровьем, чтобы несколько дней подряд не просто «пировать», но и играть на дутаре, таццевать, балагурить, смешить людей! В такие минуты и следа не оставалось от «тихого» Авакри: он воодушевлялся, летал птицей в танце, словно обрел крылья, и стан его был как молодой тополь, пружинящий под легким весенним ветром.

— В Кульдже научился, не где-нибудь! — говорил он, отдуваясь после танца.

И я попробую на этих страницах поведать об этом

жизнерадостном человеке, рассказать пескольцо историй точно так, как рассказывал их сам Авакри-ака и как рассказывают их до сих пор.

Однажды друзья в складчину купили Авакри-аке лошадь. В те времена многие увеселения были пемыслимы для того, кто не имел своего коня. И вот первое же «боевое крещение», оказывается, кончилось для Авакри-аки неудачно. Друзья не только упустили в кокпаре козленка, но и потеряли самого Авакри, который, правда, вскоре нашлся: он сидел верхом на своем коне, застрявшем в глубоком овраге, словно в западне.

— И долго ты так сидишь? — спросили ехидно друзья.

— А что делать? Надо же было вам показать, какого коня вы мне подарили, — ответил Авакри-ака.

Отец Авакри-аки, Аллакули, когда они еще жили в Кульдже, был жестянщиком. Мастер учил своему ремеслу и сына. «К зиме работа у нас кипела, — рассказывал Авакри-ака. — А как же иначе, педаром же все лето я тайно лазал с острым гвоздем и молотком по чердакам и хлевам, где жители хранили жестяные печки и трубы. А к зиме они несли и несли для починки жестяную утварь, обнаружив вдруг в ней дыры, щели да вмятины».

— Расскажи, ака, пожалуйста, как ты у ходжи угощался пловом, — просили мы его настойчиво.

Надо заметить, что аппетит у Авакри-аки был всю жизнь просто отменный, и когда он за едой рассказывал свои истории, гости так заслушивались, что Авакри-ака успевал незаметно пробовать из всех тарелок, где только доставала его рука.

— В один из тех памятных мне дней, — начинал он, — когда я, голодный, готов был съесть жирную посудную тряпку, меня позвал в гости сам Кияс. Дом судьи был полон паломников, остановившихся у него по пути из священной Каабы. Я низко-низко поклонился, приветствуя гостей. «Сядь ближе к столу, сын мой, — говорил ходжа. — Мы хорошо знали твоего отца. Пусть душа его не покидает рая...»



Я сижу, изображая на лице горе, а сам незаметно загибаю под столом рукава моей старой шубы, изготавливаясь к еде. Снять-то шубу не могу, потому что другой одежды под нею нет.

Ходжи аккуратно, на кончики пальцев, набирают плов и, отправляя его в рот, больше чмокают, чем едят. А я протягиваю руку к общему блюду реже них, но зато набираю полную пригоршню и глотаю почти не прожевывая рис и жирные куски мяса. Плов лавиной заполняет мой ссохшийся желудок.

Но блюдо с моего края быстро пустело, и на самой его середине образовалась отвесная гора, пологим склоном уходящая, к сожалению, в сторону паломников. Я не стал ее обрушивать на свою сторону, а решил углубляться подкопом. Вскоре мои пальцы обнаружили с другой стороны. Дело было сделано, и я, вытаскивая руку, парочко сжал ее в кулак. Пустота с моей стороны немедленно была заполнена обвалом.

«Значит, ты сын Аллакули?» — задал мне глупый вопрос один из ходжей, желая, видимо, отвлечь меня от моего заплатья.

В ответ я лишь кивнул, даже не глядя на почтенного паломника.

«А отец твой был стеснительным человеком, — заговорил другой ходжа. — Смотрите, Авакри, ты, наверное, знаешь, что длинные руки еду достают, а длинный язык — беду!» — уже раздраженно заметил он.

Я и эту мудрость пропустил мимо ушей, потому что она мешала мне наестся до отвала.

Наконец я протянул руку за тряпкой, которой гости поочередно вытирали руки.

«Что же ты так мало поел? Бери еще, ешь!» — сказал хозяин, а сам скорее всучил мне в руки мокрую тряпку.

«Спасибо, Кади-ака, я пойду, — ответил я вежливо. — Лучше быть подальше от беды, ведь язык мой освободился от еды».

Благочестивые паломники-ходжи пришли в явное замешательство от неожиданного поворота старой поговорки, а пока они нашлись, я успел покинуть дом.

А что? Бедняк богат каждый раз, когда он сытно поел. Разве не так?! — заключал Авакри-ака и принимался рассказывать следующую историю.

— Круглый сирота, я пас овец дяди Сейтмета, даль-

него нашего родственника. Богатый был родственничек, но жадный. Пасли мы овец вместе с его сыном, который некогда, как и я, досыта не едал мяса, хотя овец у них — более тысячи. Два раза — утром и вечером — приходилось их пересчитывать. В долгие зимние вечера мы почти ничего не ели, кроме тыквы и кукурузы. Когда нам эта трава порядком надоела, мы, то есть я и сын дяди Сейтмета, решили добыть мяса. Как вы понимаете, далеко нам ходить не пришлось, но мы не на шутку струслил, поняв, что целого барапа нам не осилить и не скрыть. Ничего не оставалось, как «признаться», что позарились на заблудившуюся овцу. Дядя Сейтмет страшно рассердился и большую часть вареного мяса съел сам, не забывая отчитывать нас. И остального мяса мы так и не увидели. Но вскоре меня удивило явное расположение ко мне двоюродного, может быть, троюродного моего дяди. Однажды он прямо сказал, что мы могли бы опять паесться мяса. Потом, видя, что до нас не доходит, опять рассердился и сказал, что тогда мы плохо, должно быть, сработали, потому что в отместку сосед украл его овцу, которая должна была принести потомство. Я понимал, что дядюшка заставляет обокрасть соседа, а охота воровать у меня что-то пропала, и я признался во всем. Вот тут дядя просто взбесился. Он решил немедленно отвести меня к кади-судье, но я сказал спокойно:

«Дядя, может быть, вы сами ходите к судье? Овечку-то вы съели одни!..»

Дядя где стоял, там и сел, обхватив голову руками, а я пошел лакомиться вареной тыквой.

Мне запомнились две «кульджинские» истории, случившиеся с Авакри-акой. Первая — как он работал там по найму, а вторая — как бежал из мусафирханы — благотворительного дома.

Авакри-ака слышал много хорошего о городе Кульдже. И в конце концов он поехал туда со своим близким другом по имени Масим. Тогда он и оценил, как были правдивы слова песни:

Местечко славное, спору нет.  
Молва недаром идет!  
Когда бы целковых побольше иметь,  
Лучше Кульджи кто пойдет!

Масим-ака был что тот лисий хвост. Он хорошо прижился на новом месте, служба баям и муллам. Авакри-

ака же, наоборот, как ни старался, не мог понравиться никому.

Напялся он к одному баю на работу. Когда бай, прежде чем отправить его на работу, стал щедро кормить, Авакри-ака смекнул, что тот решил проверить, па что способен работник. Так обычно и проверяли: как ест, так, мол, и работает... Авакри-ака, разумеется, в любом таком случае не ударил бы лицом в грязь, а тут еще постарался. Довольный бай помрачнел, когда работник, только что опорожнивший дюжину тарелок, собрался на боковую.

— Ты что это, братец? Я кормил тебя не для того, чтобы ты спал! — рассердился он.

— Вы что, ака, смеетесь надо мной?! Съесть столько плова! На сегодня с меня хватит, — обиженно ответил Авакри-ака и уснул.

— Однажды мне удалось попасть в мусафирхану — дом для нищих, странников, скитальцев, — рассказывал Авакри-ака. — Не холодно и не голодно. Думаю, зиму проживу безбедно среди этой компании, с которой не соскучишься, а весной подамся в родной Баяндай!

Но мне не повезло, как всегда. В один из самых морозных дней, называемых там по-китайски «сянджусян», ворвался надзиратель — ийи — и почему-то решил, что именно я ему и нужен.

«А ну, проходимец, выходи!» — приказал он мне.

Увидев в его руке плетку, я съезжился так, что у надзирателя не осталось никаких сомнений, что я именно тот, которого он ищет.

«Чувствуешь вину, свинья?» — закричал он злорадно.

«Нет, господин, у меня просто спина замерзла». Не успел я ответить, как плетка «согрела» мою спину, и я обзвал его так, что он не простил бы мне этого слова, если бы даже выяснилось, что я ни в чем не виноват. Только бегство могло спасти меня, но от такого легко не убежишь. Я знал, что во дворе есть глубокая помойная яма. Добежав до нее, я дал надзирателю догнать себя и упал ему под ноги. Пока он выбирался из этого ледяного благовопия, я скрылся и покинул город моей мечты, не дожидаясь весны.

Вернувшись из Кульджи, Авакри-ака вступил в артель, а в одно время, говорят, даже руководил ею. Правда, в дехканской науке познания его были явно недостаточны, но выручал председателя, как обычно, его язык.

Однажды на собрании, перед весенней вспашкой, советуясь с членами артели, он высказал свои соображения о севообороте. Один из шутиков никак не унимался и все задавал каверзные вопросы. Наконец он напомнил, что председатель не назвал участок Ачал.

— Разве Ачал будет нынче отдыхать? — ехидно спросил он.

Название участка обозначало развилку, и Авакри-ака мгновенно нашелся.

— Эти рога я берег для тебя, мой друг. Будешь разводить там усму<sup>1</sup> и хну для наших красавиц!

— Не все же в начальниках ходить, решил я поработать и за плугом, — говорит Авакри-ака. — Норма — гектар, но где там! Лошади худые, еле тянут, земля — не уколнешь. Сижу как-то, курю, лошадям корму задаю. Подъезжает верхом на коне молодой человек, хорошо так одет, районный представитель, должно быть. Поглядел на моих кляч, которые мотали головами, доставая корм из торб. Наверное, он впервые видит такой способ кормления, потому что чуть не забыл поздороваться.

«Так не папашешь много. А ведь давали обещание по гектару в день пахать!» — сказал он недовольно.

«Давать-то давал, но таким плугом я пахать не буду, — сказал я, — видите, колеса разные! Одно вои какое большое, а другое — курам на смех».

«Это вредительство!» — возмутился представитель и поскакал в село, и там щеголь был посрамлен кузнецами.

Один торговец мантами попросил Авакри-аку покрыть крышу дома. Закончив работу, Авакри-ака получил заработанные деньги, сделал кое-какие покупки и отправился домой.

Через несколько дней торговец опять встретил Авакри-аку и высказал недовольство его работой.

---

<sup>1</sup> Усма — растение, дающее зеленую краску, которой женщины подводят брови.

— Недобросовестный ты человек, Авакри,— сказал оп.— Целый месяц я кормил тебя отличными мантами! А как ты крышу мне покрыл? Протекает еще хуже, чем раньше!

— Ты сам виноват, мой друг! — ответил Авакри-ака, не задумываясь.

— Я виноват?! Крышу-то крыл не я! — возмутился тот.

— Крыл-то не ты, а вот дырявыми и рваными маптами кормил ты. Каковы манты — такова крыша, мой друг! — сказал Авакри-ака.

Когда я после семилетней службы в армии вернулся в родное село, первым из близких друзей отца я встретил в нашем доме Авакри-аку. Он был таким же, как и прежде, крешким, поджарым, в чуть углубившихся глазах горели те же искорки озорства, и на лице его по-прежнему жила лукавая улыбка — предвестие неожиданных остроумных «самых правдивых» историй.

Все эти суровые годы он был неразлучен с моим отцом, который уже не был так подвижен, оставил даже охоту и потому, видимо, еще больше, чем прежде, нуждался в обществе своего жизнерадостного друга.

Есть люди, просто необходимые друг для друга. Мой отец и Авакри-ака были именно такими людьми. И это с особой ясностью я почувствовал в конце их жизни...

Я часто возил отца к городским врачам, это вызывало и одобрение и огорчение у Авакри-аки. Но, как только мы возвращались в Баяндай, он тут же появлялся в нашем доме, смешил нас, поровил сыграть на дутаре и тамбуре вместе с отцом. Однажды отец, показывая на свои дрожащие руки, сказал, что вряд ли теперь ему удастся сыграть на тамбуре. А Авакри-ака ответил ему:

— Вот как раз от этой дрожи и получится настоящая трель на тамбуре, она у тебя всю жизнь не получалась... Так что бери и играй!

Отец рассмеялся, оценив шутку друга, и послушно начал играть мотив песни «Джупун», но петь не стал, наверно, не мог... Оба они прониклись особым звучанием струн тамбура, которые под дрожащими пальцами больного человека словно рыдали. И тут я увидел впервые в жизни крупные слезы, навернувшиеся на глаза Авакри-аки, и

услышал, как он словно про себя повторял слова песни о том, что ветер разносит по земле осенние листья, а друзей и близких на земле разлучает смерть...

И все же Авакри-ака в конце игры перевел мелодию на веселый лад — начал играть и петь свои знаменитые кашгарские шуточные частушки. Мы все опять развеселились, подошла даже мать, которая у казана уже успела всплакнуть и вытереть глаза кончиком платка.

Когда Авакри-ака собрался уходить, отец насыпал в бумажный кулек немного пасыбая из бутылки, которую он купил в городе специально для своего друга. Авакри-ака потянулся было за бутылкой, но отец, предвидя это, быстро спрятал бутылку за спину.

— Ты ведь не закладываешь пасыбая, отдай Авакри-аке, раз для него и купил, — сказал я.

Отец улыбнулся в усы и шутливо сказал:

— Нет уж. Если он возьмет всю бутылку, тогда не придет ко мне, пока не опустошит ее. А тут, глядишь, день-два — и Авакри будет тут как тут...

Через день я встретил Авакри-аку в районной столовой, в которой было самообслуживание. Я только что занялся своей порциейпельменей, и тут подошел Авакри-ака. Я направился к стойке взять ему такую же порцию. Когда я вернулся к столику, то увидел, что Авакри-ака чуть не дрался с одним пьяным верзилкой. Разнимая их, я спросил, в чем дело. Авакри-ака ответил:

— Он слопал твои пельмени!

— Ну и пусть, зачем же драться? Отпусти его, возьмем другую порцию.

Авакри-ака, уже успокоившись, невозмутимо заключил:

— Конечно, теперь он мне не нужен, пусть идет. Но если бы он ушел раньше, то ты подумал бы, что твои пельмени слопал я...

В последний раз мы все трое — отец, Авакри-ака и я — встретились в городской больнице, где лежал отец. Авакри-ака попросил меня привезти его к отцу...

— Эх, Авакри, оказывается, душа человека умирает раньше, чем он сам, — сказал отец.

— А кто это попробовал?

Отец не нашелся что ответить и, с горечью посмотрев на меня, промолвил:

— Да это я так, мысли у меня что-то невеселые... Наверно, скоро войдет ко мне костлявая и заберет к себе.

Авакри-ака сказал:

— А когда она будет стучать в дверь, ты скажи: «Нельзя!»

Отец попытался улыбнуться и тихо ответил:

— Не-ет, Авакри, она не глупее нас с тобой, она ведь скажет: «По моему списку ты первый в очереди стоишь...» — и будет права.

Мы еще долго сидели в палате, но ни шутки, ни сочувственный разговор, ни беседы о селе и людях не клеились, и тогда я со всей жуткой ясностью понял, что мой отец умирает...

Верно говорят, что человек начинает умирать, когда умирают его друзья... И Авакри-ака после смерти своего друга недолго прожил на земле. Я видел, чувствовал, что в нас — новом поколении баяндаевцев — он не находит того, что находил, например, в моем отце. При встречах с нами он уже не был таким веселым и озорным. Авакри-ака сделался грустным и больше отдавался воспоминаниям, в которых была отчетливо слышна тоска... Когда я приезжал в Баяндай, мы ходили с ним на могилу отца и подолгу сидели молча.

Несмотря на наши искренние просьбы и уговоры посидеть, поиграть на дутаре, спеть что-то, Авакри-ака находил причины уйти, уединиться...

После смерти моего отца он часто говорил, что чувствует себя птицей, лишившейся одного крыла...

## В ЭШЕЛОНЕ

Наконец наступил год 1943-й; линия фронта начала медленно откатываться на запад...

Разместившись в товарных вагонах — точно такой же эшелон увез в прошлом году наших отцов и старших братьев, — мы распрощались с родной Алма-Атой. Старики,

матери, как только тронулся состав, дружно замахали нам вслед, заплакали, запричитали. И над их головами поплыл, сволакиваясь в шлейфы, паровозный дым.

Да-а, оказывается, и в товарняке в такую минуту может вдруг вспыхнуть внешне бесшабашное веселье, повитое горечью расставания и тревожным ожиданием тяжкой и суровой перемены.

Грохоча, валко пошатываясь на стыках, мчатся семьдесят вагонов. Почти три тысячи парней, то ли от внезапно возникшего единства судьбы, то ли пряча тоску по ясной, милой сердцу жизни, которая еще сутки назад казалась им неизбывной, распалили в вагонах безудержное мужское веселье. Весь состав был окутан клочьями угарного паровозного дыма и разбойных, с присвистами песен, разгульных переборов немудреных трехрядок. Из открытых настежь дверей, просторных, как ворота добротной усадьбы, рвался табачный дым. Некоторые стояли у дверей вагона, облокотившись на перекладину, другие сидели, свесив ноги наружу, и все успевали грубовато пошутить, призывно взмахнуть рукой жещине или девушке, которые при приближении эшелона оставляли свою работу на поле, выходили на откос и молча провожали нас взглядами, прикрывая лица ладонями от песка, увлеченного нашим поездом. На крупных станциях мы высыпали из вагонов, как табул необъезженных стригунков. Одни бросались в пляс, другие пели, сокрушая пастороженную тишину станций, третьи тут же схватывались и устранивали веселые свалки...

Веселье и гомон стихли к полуночи, и теперь только гроыхали колеса, поскрипывал дощатый пол, и в вагон с легким свистом врывался воздух, остывающий после дневного зноя земли. А к полуночи становилось совсем зябко — и мы растапливали буржуйку, установленную насех в вагоне.

В одну из ночей дежурить у печки выпало мне. На несколько минут эшелон остановился в Барнауле. К дверям нашего вагона подошел офицер, видимо дежурный по станции, и, показывая на стоящего рядом с ним сержанта, приказал:

— Выделите ему удобное место. Он поедет с вами до Новосибирска.

Не дожидаясь, пока сержант сядет в вагон, офицер круто повернулся и ушел. Сержант мельком посмотрел на



то место, которое я ему указал, кинул туда свой вещмешок и подсел к печке. Только сейчас я толком увидел, что у сержанта нет одной руки. Он достал из кармана шинели кшсет, газету, сложенную гармошкой. Я хотел было помочь ему свернуть самокрутку, но сержант, ловко орудуя одной рукой, скатал сигарку, тщательно облюнговал ее, чтобы не тлел зря табак. Сделав первую затяжку, он внимательно оглядел меня с ног до головы и заговорил медленно и обстоятельно, словно мы были уже знакомы и он продолжал давно начатый разговор.

— Так, браток, значит, едешь воевать... Ты что же, городской или из деревни?

— С аула я, за Талгаром...

— За Талгаром?! — сержант заволновался. — Слушай, тогда ты должен знать своего земляка Ануара.

Я старательно перебрал в памяти всех своих знакомых, Ануара среди них не было. Я сказал об этом сержанту, но он вроде и не обратил внимания на то, что я никогда не знал его товарища. Сержант продолжал говорить так, будто этот Ануар, я, и сам сержант хорошо знали друг друга.

— Он был постоянный джигит... После госпиталя я сразу поехал в Талгар, к его родителям. Ведь нельзя же не заехать к родителям самого близкого друга, ты как считаешь?

Я быстро закивал, соглашаясь с сержантом. Он удовлетворенно замолчал и вдруг, видимо вспомнив что-то, вскочил и принес свой вещмешок.

— Угощу-ка я тебя кое-чем! — Он достал из вещмешка печень, мясо, жаренное с чесноком, острые приправы. Это была настоящая уйгурская еда, приготовленная умелой хозяйкой. — Это тебе подарили в доме Ануара, на дороге. Садись поближе, попробуй, ты ведь повимаешь толк в такой еде... Они привяли меня как родного. Мать и жена Ануара прямо не отходили от меня ни на шаг. А его сын в последний день прямо концерт устроил, заладил — уеду с дядей к папе, и все тут!

— На каком фронте воевал? — небрежно спросил я сержанта, желая поддержать мужской разговор.

— А зачем это тебе? — он насмешливо посмотрел на меня.

— Мне?... Да нет, просто... Ведь фронты называть

нельзя, да? — Я смутился и отодвинул от себя жирный кусок мяса, который облюбовал несколько минут назад.

— Можно, почему ж нельзя. Но учти, браток, разве можно целым фронтом обозначить, кто где воевал и кто где погиб! Фронт — это десятки дивизий, разных соединений... Фронт за день может освободить огромное пространство или наоборот... Ну, ладно, ты все это еще поймешь. Слушай: мы с Ануаром встретились в Бресте. Там и расстались...

Сержапт выхватил из печки уголек, перекатывая его в пальцах, ловко прикурил, — когда он поднес уголек к самокрутке, я отчетливо увидел его лицо, ожесточенное, испещренное морщинами и шрамами. А глаза его были спокойны и мягки. Я смотрел на сержапта и старался представить его в легендарной Брестской крепости среди огня и разрывов, открыто идущего на немцев с автоматом наперевес.

— Немцы наваливались мгновенно, с танками, артиллерией. Мы с Ануаром находились в небольшом доте, в котором был командный наблюдательный пункт. Их танки били по доту прямой наводкой, а немцы прятались за броней и смеялись... Связь еще работала, мы дали нашим пушкарям свои координаты и в ожидании огня старались пулеметом отсечь пехоту от танков. Наши пушки молчали. Скоро немецкие танки пристрелялись и дот был разрушен прямым попаданием. Мы оказались замурованными...

Я очнулся от духоты и почувствовал на губах воду. Оказывается, Ануар старался напоить меня из фляжки, промыть мне глаза. Потом Ануар зажег спичку, мы осмотрелись. Я сгоряча встал и тут же упал, боль дергала все тело, кружилась голова... «Гриша, лежи спокойно, у тебя нога...» — прошептал Ануар. Нога была вывихнута, опухоль, пока я находился в бессмятстве, расперла сапог. — А так у тебя, кажется, все цело».

Так же шепотом я спросил, где наш лейтенант. Ануар ответил, что лейтенант погиб, а мы засыпаны сверху...

Значит, мы были отрезаны от воздуха и света. Слышны были слабые приглушенные раскаты, словно где-то далеко в стороне рокотала гроза...

«Ну, что будем делать?» — спросил Ануар. Нужно было как-то выбираться, мы чувствовали, что воздуха уже не хватает. И начал лихорадочно вспоминать строение дота, стараясь определить, в каком месте надо копать. Ануар

отыскал саперную лопатку: «Эх, была не была, начну здесь».

Тесное пространство сразу же наполнилось пылью. Сверху посыпалась земля, песок. Ануар оттащил меня в сторону, на всякий случай, если произойдет обвал, и снова начал копать. Вдруг лопата, звякнув, ударилась обо что-то твердое. «Гриша, я добрался до бетона, только отверстия что-то нет, — голос его был растерян. Он подошел ко мне и приложил горлышко фляги к моим губам. — На вот, попей. Ничего, Гриша, все равно выберемся. Колпак дота не мог уцелеть, помнишь, как они долбанули... И дышать легче стало, чувствуешь?..»

Стараясь не потерять сознание, я сжал руку Ануара. Он успокаивающе похлопал меня по плечу, ласково высвободил руку и снова заработал лопаткой. Копаля он ожесточенно, молча, лишь изредка оставляя работу, чтобы напоить меня и удобнее устроить распухшую ногу.

Я не знаю, сколько прошло времени, но Ануар все же разобрал завал, и к нам ворвался ослепительный солнечный свет и утробное урчание моторов. Ануар осторожно выглянул наружу и тут же скатился обратно: «Танки идут. Немецкие...»

Мы дождались ночи и незаметно выбрались из дота. Земля вокруг kloкотала огнем и дымом, вспышками разрывов — крепость еще держалась, она оставалась нашей!

Ануар нес меня на себе. Вокруг двигались, перемещались немецкие войска. Иногда свет танковых фар освещал нас. Ануар пробирался к крепости. Путь к ней был усеян воронками, горящими танками, машинами, телами наших и немецких солдат. Боясь встретить врага, мы залегли недалеко от крепостных стен. На рассвете обязательно начнется новая атака немцев, что нам тогда делать?

Действительно, с первым светом над крепостью забили их самолеты, они спокойно и тщательно бомбили каждый метр крепости, и ни разу по ним не ударила зенитка. Значит, вся техника в крепости была уничтожена. Только изредка из-за разрушенных крепостных валов раздавался выстрел противотанкового ружья или сороканятки. Строй немецких танков рушился, но сразу же возникшую брешь закрывала новая машина. «Давай-ка попробуем пробраться в этой суматохе», — предложил Ануар.

Я сказал, чтобы он бежал отсюда, пока не появились автоматчики, а я поползу следом. Ануар рассердился, взвалил меня на спину и, прикрываясь подбитой техникой, пошел к крепости. Мы прошли еще метров двести. Ануар остановился, передохнул возле завалившегося немецкого броневика. Пули звонко цокали по его пятпистой броне. Вдруг верхний люк броневика открылся и четыре немца прыгнули на землю — прямо перед нами. Ануар успел выстрелить первым, немцы упали плашмя, закрывая головы руками. Но тут же нас заметили автоматчики, одна из очередей перебила мне руку. Ануар поспешно схватил меня и попытался вытащить из-под огня. Но немцы достали и его... Ануар выронил ружье и повалился. Немцы скрутили нас, бросили в машину...

Выгрузили нас в каком-то овраге. Здесь было много наших бойцов, израенных, избитых. Немцы отобрали из нас тех, кто мог идти, таких оказалось человек тридцать, построили в цепь и погнали перед собой на крепость. Они хотели прикрыться нами в своей новой атаке, надеясь, что уцелевшие защитники крепости не станут стрелять по своим. Ануара тоже втолкнули в эту цепь. Он оглянулся и прощально махнул мне рукой. Я попытался встать и потерял сознание. Больше я ничего не помню...

Мне чертовски повезло, я очнулся — где бы ты думал? В нашем полевом госпитале! Оказывается, меня вынесли наши солдаты, пробившиеся из крепости к основным силам. Рядом со мной лежал один из тех, кого немцы погнали перед собой в атаку. Он рассказал, что наши не стали стрелять, они подпустили немцев вплотную и уничтожили их в рукопашном бою. Поэтому я думаю, что Ануар может быть жив...

Сержант замолчал. Наш эшелон стремительно мчался в ночь к Новосибирску. Я был растревожен рассказом сержанта. Он сидел передо мной и курил крепчайший солдатский табак, а рядом безмятежно спали мои сверстники, которым, как и мне, еще только предстояло испытать все то, что у этого человека было уже позади. Я вдруг всем сердцем почувствовал значение этой минуты и, преодолевая стеснение в груди, подумал, что этот израенный, искалеченный войной человек и его боевой друг — Ануар, пусть он погиб или жив, будут жить в моей памяти, пока жив я сам.

## НА ПЕРЕЛОМЕ

Сержант Хетваки Низамов сменил пулеметчика-наблюдателя на рассвете. Над передним краем, забывшимся в короткой передышке, еще держалась мертвая тьма ночи, но небо уже серело и воздух очищался от смрада порохового дыма — будто мутная вода оседала на черную землю, заливая ее промозглой сыростью.

Проступили из мрака за лощиной обожженные, изувеченные стволы деревьев, скособоченный немецкий танк, подбитый бойцами Хетваки, печные остовы пзб небольшой русской деревни, от которой еще неделю назад пришлось отступить. И чем светлее становилось вокруг, тем более удручающей представляла обозримая даль земли — изрытая снарядами и вдоволь пропитанная человеческой кровью.

Холод пепелищ и разрушений, казалось, вошел в самое сердце Хетваки, он с трудом унял охватившую его дрожь, снова прищип к биноклю.

Ни тишину, ни мертвенную бледность утра не нарушало ничто — ни звук, ни движение, противная, затаявшаяся сторопа будто вымерла.

Вчерашний бой, когда Хетваки с бойцами все-таки выстоял, отбив шесть атак, еще не стерся в памяти, но ощущения глубоко запрятанной от других глаз радости, что он остался жив, как это иногда бывало раньше, не приходило. Из тридцати бойцов их взвода осталось в живых только семеро. Они тут же, в траншее, спали сидя, с вшитками между колен, и, чтобы как-то согреться, сиротливо жались друг к другу.

Веки сомкнулись, и Хетваки не осознал даже, что снова засыпает сном смертельно уставшего человека, которому, чтобы прийти в себя, надо всего-то минуту-другую времени...

Хетваки Низамов очнулся от непривычного, ласкающего слух звука. Посветлело. Тишина стояла прежняя, но что-то, еще не понятое и не узнаваемое им, было не так, как прежде.

Звук повторялся — ласкающий, нежный, переливчатый свист будто пролился над передним краем, заполняя собой настороженное пространство.

И Хетваки увидел на расколотой пополам яблоне ноющую черную птицу. Она раскачивалась на уцелевшей ветке, встречая своим пеплом поднимающееся из-за далекого леса солнце. Хетваки подумал, что все видимое что-то напоминает. Что?

Стайка скворцов, он узнал их сразу, опустилась на вспаханный взрывами чернозем и замерла, то ли прислушиваясь к пению, то ли привыкая к незнакомым запахам войны.

Скворцы опустились почти рядом с траншеей, где стоял сержант, и, казалось, сочувственно смотрят на человека.

Низамов тоже замер, опустив бинокль и пытаясь разобраться в той перемене, что происходила в нем с их прилетом. Он смотрел на скворцов не шевелясь, будто гипнотизированный, затем невольно поправил ворот шинели, приподнял каску и вслух, сам того не замечая, сказал:

— Комиссия с юга... Весну принесли...

Хетваки очень хотелось, чтобы бойцы тоже увидели скворцов, но передумал будить их, снавших всю неделю урывками. Он снял каску, сколупнул с нее трофейным кинжалом затвердевшую грязь, вздохнул. Скворцы от близкого скрежета металла о металл все разом взлетели, направляясь к изреженной лесополосе.

Хетваки не сразу смог вернуться к наблюдению за вражескими позициями — казалось, душа его приобрела вдруг что-то такое, чего давно не испытывала. Он вспомнил родное село у подножия Завлийских гор, над своим сараем домик скворечника, который они каждую весну поднимали вместе с сыном Акварджаном, представил уже зазеленевшие поля родного колхоза... Чем-то неувлимым они были похожи на это русское поле под Воронежем, где он, Хетваки Низамов, шестой день держал оборону. И перед его глазами, как видение, опять мелькнула стая всугнувших им скворцов, необъяснимо чем задев его душу. Уже много-много дней Хетваки не испытывал такого чувства — то ли от тоски по дому и родным, то ли от глубоко в душе затаившегося страха перед смертельно опасной действительностью.

В первый год войны этому чувству поддавались многие из фронтовых друзей Хетваки, расписали, и он знал, как плохо это кончалось: страх овладевал человеком — и тот уже переставал быть воином. Знал сержант и то, что обстоятельства на поле боя резко вызывают прилив по-

вых чувств, приспособлявая их к обстановке, и так же быстро гасят их, забывая новыми впечатлениями: смертью друзей, взрывами, голосом командира...

Хетваки начал, по-крестьянски основательно, готовиться к предстоящему бою: придирчиво осмотрел траншею — не помешает ли что при смене позиции, оглянулся — не идет ли кто из тыла с приказом или горячим завтраком, не увидел там, на притуманенной равнине, никого, начал вскрывать доставленный ночью ящик с боеприпасами. Положив рядом с пулеметом запасную ленту, взглянул на похрапывающих во сне бойцов, подумал: «Будить или дать еще хоть немного отдохнуть, пока не началось?..» — и вдруг опять услышал характерный шум множества крыльев — прилетели скворцы и сели еще ближе. На этот раз их было значительно больше.

— Это паши. С южных краев, — как и в первый раз, сказал он вслух и не удивился этому. Скворцы без боязни рассыпались между воронок, деловито что-то выискивая среди осколков, и ворохные их перья, как казалось сержанту, золотинками вспыхивали в лучах утреннего солнца. — Наши! — повторил сержант. — От Акварджана привет принесли... Милые вы мои...

Он хотел достать из вещмешка хлеб, надеясь подкормить им скворцов, но обостренным боковым зрением уловил какое-то движение на переднем крае, поднял к глазам бинокль. Немцы перегруппировывались, их каски то и дело мелькали над бруствером первой траншеи, и было трудно понять, готовятся ли они к атаке или уходят в тыл.

— Подъем! Скворцы прилетели, — почти шепотом командовал Хетваки, не удивляясь, что в строгую военную команду попали «скворцы», добавил: — Приготовиться к бою! — Он порадовался, что бойцы в считанные секунды заняли свои места в траншее.

Начавшееся было движение в немецких окопах прекратилось, и Хетваки успокоился.

— Сафаров, веди наблюдение. Смотри внимательно, — приказал он буднично.

— Стрехов, на кухню, за завтраком. Попроси у ротного ПТР и еще гранат. Кажется мне, они опять с танками пойдут.

— Минесв, посмотри наш ПТР. Может, что сделаешь?

— Да я смотрел. Затвор вырвало.

— С тапками пойдут...

— Пойдут, — спокойно согласился Мипсев.

— Ротный подкрепление общал, а что-то нет. Отдохну я, — устало сказал Хетваки и привалился спиной к стенке траншеи, закрыл глаза. Ему опять вспомнился маленький дом на пыльной улице, журчащий в саду арык, яблоня, цветущий урюк: «Цветет уже всюю...» — и свои провалы на войну вспомнил.

К правлению колхоза стекался из улиц народ, играла гармонь русского тракториста Федора, плакали матери и жены. Все зеленело вокруг и благоухало: и высокие свечками тополя вдоль дороги, и дозревающая на полях пшеница, и окутаные зеленью предгорья... и не верилось, что где-то идет война.

Но она шла. Неудержимо, властно, сжигающая на своем пути чьи-то другие деревни и города, а если разобраться, то наши, советские. Наши, как бы далеки отсюда ни были. Об этом говорил с высоких ступеней крыльца Мухтарака — председатель колхоза. Он умел говорить, уважаемый Мухтарака. Он не забыл сказать доброе слово о всех тех, кому пришли из военкомата первые повестки.

— Ты, Хетваки, сын Низама, — обратился он к будущему сержанту, — был хорошим колхозником. Я это знаю и знают люди всего аула. Ты был хозяином в своем доме, и дети твои не голодали. Никто не скажет, что ты ленив. Никто не упрекнет тебя, что ты не сдержал своего слова и подвел товарища. Будь хорошим воином и не положи черного пятна на наше село. Я верю тебе и всем вам, кто идет сегодня на войну с фашистом. Мы победим, потому что это наша земля. Наша. Так защитите ее. Не сдайте тех, кто посягнул на ее свободу.

И Хетваки носил в своем сердце слова Мухтараки, не растерял их на тяжелых дорогах войны. И здесь — шесть дней они держат оборону — немец не может пройти. Хетваки дал себе слово — лучше убитым быть, чем отступить, потому что там, за спиной, — его село, так похожее на эту русскую деревеньку с веселым названием Яблочки.

Сквозь низкие тучи пробивались багровые лучи солнца, высвечивая на парашютной земле желтые поляны, прямо пахло весной, и сержанту Хетваки Низамову казалось,



что вокруг простирается настоящее, вспаханное плугом ровное поле, которое вскоре надо засеять, а на нем, как и полагается, настоящие скворцы, которые спасут от смертной пули его и этих четверых бойцов, и они будут жить вечно.

Хетваки Низамов не знал, что все это время на пригорке, чуть левее его позиции, в выкопанном этой ночью окопчике с подбитым танком сидел немецкий солдат и тоже думал... Ганс Вурцель был снайпером. Он и теперь оставался им, хотя лишился левого глаза.

Это случилось сразу после рождественских праздников еще под Москвой. Глаз выбило осколком гранаты, и Ганс надеялся, что его признают негодным к службе в армии и отправят в Германию. Он достаточно померз в этих русских снегах, он выполнил свой долг перед фюрером и может рассчитывать на спокойную работу в тылу и даже обзавестись собственным хозяйством — кое-чем он успел поживиться... Тем более, что разговоры о блицкриге поутихли, а солдаты научились не только наступать, но и без оглядки драпать «от Ивана», и, размышляя обо всем этом в провонявшем хлоркой временном госпитале, Ганс радовался своему ранению — считал, что отделался легко. Но доктор Фриц Вернер, Ганс помнит его слова до сих пор, — Фриц Вернер при выписке из госпиталя убил его надежду. Он подарил Гансу осколок русской гранаты и сказал, улыбаясь:

— Не так и плохо с одним глазом. Он один будет видеть лучше. Ты солдат фюрера и должен доказать это. Ты должен...

Гансу дали отпуск и вернули на фронт, — фюрер кричал по радио о решительном штурме и слабости русских, но Ганс уже сомневался в этом. Он собственными глазами видел, с каким бесстрашием русские дерутся за каждый клочок своей земли, как умирают, бросаясь под танки. Он видел это и год назад, и вчера и убедился, что они умеют воевать. Ганс всю ночь не сомкнул глаз, но не выследил ни одного русского. И после рассвета, когда он почувствовал первые запахи весны, на той стороне не шевельнулся ни один бугорок и ни один кустик, хотя слышал, что там не спят.

Так хотелось Гансу в эти утренние часы перед новым

боем не мерзнуть одному в этом узком окопе... Как хотелось быть в Германии, дома, на мягкой перине под атласным одеялом...

Ганс машинально поправил землю на бруствере окопа. Пальцы наткнулись на что-то острое. Он поднес это острое к единственному глазу и увидел ржавый наконечник стрелы. «В свое время лук и стрела были самым эффективным оружием», — машинально отметил он и, заинтересовавшись находкой, стал углублять дно окопа, откуда извлек еще три проржавевших трехгранника. Вскоре Ганс докопался и до «хозяина» наконечников — в стенке окопа обнажился серый маленький череп с глазницами, забитыми землей, и кость...

Ганс не удивился находке, так как еще в Польше он вот так же наткнулся на латы и останки крестоносцев... Ганс удивился другому. Он удивился вдруг неожиданно пришедшей ему простой, ясной мысли: вот она, истинная судьба любого завоевателя, посягнувшего на свободу другого народа. Вот она, зримая, убеждающая смерть вдали от родины... И я есть завоеватель, претендент на мировое господство... Я уже заплатил за это одним глазом, и, может быть, у этой вот чужой деревеньки, рядом с еще одним древним завоевателем и претендентом на мировое господство — монголом — окажутся мои кости и винтовка с оптическим прицелом... И никто не узнает, что это останки Ганса. А впрочем, и хорошо, что не узнает. Кому интересно знать, что он, Ганс Вурдель, двадцатидвухлетний сын фермера, учился на отделении археологии Берлинского университета, сам, добровольцем ушел со второго курса в армию, безоглядно прошагал под бравурные марши по всей Европе и остановился только под Москвой и впервые задумался о своей судьбе сам. И что-то невидимое надломилось в нем тогда после ранения.

Он приподнял замерзшей рукой череп. Из глазниц посыпалась земля, открывая пустоту, тщетность завоевательских устремлений, которые и у него, Ганса, рассыпались незаметно по мере продвижения на Восток. Ганс отложил череп, закрыл свой единственный уцелевший глаз, опустился на дно окопа, с невыразимым сожалением ощущая теплоту солнца и явственный запах весны.

Но это его движение души — спрятаться, убежать от своего предчувствия близкой неминуемой кары за все преступления на чужой земле — было кратковременным.

Ганс испугался, что свои увидят его таким — ничтожным, жалким, раздавленным, — он съежился, как собака от удара хлыста хозяина, суетливо приладил на бруствере винтовку и принцип к оптическому прицелу.

Ганс увидел перед первой траншеей русских стайку скворцов, услышал залихватское пение одного из них где-то рядом, позавидовал птице, которая прилетела домой, к пепелищу, и не улетает. И будет здесь жить, услаждая своим пением этих русских... А он, Ганс.

— Нет! Я не хочу умирать! Я должен убит, чтобы выжить! — в иступлении выкрикнул Ганс Вурцель вслух и хладнокровно, взяв на мушку копошащегося под стельком травы скворца, выстрелил.

Гром выстрела разорвал тишину утра и показался Хетваки Низамову чужеродным, противоестественным в это утро. Передний край в одно мгновение ожил, оскалился вспышками выстрелов.

Стая взвилась резко и в сторону тыла Хетваки, он это отметил как добрый знак. Он увидел вблизи траншеи раненого в крыло скворца, который сначала было пытался взлететь, но, оглушенный поднятой с обеих сторон трескотней винтовок и автоматов, замер в растерянности и слился с землей.

По брустверу, рядом с лицом Хетваки, чиркнула пуля.

— Гад. Гад фашист! — процедил Хетваки сквозь зубы, панцеливая дуло пулемета на подбитый танк, из-под которого опять сверкнул язычок пламени.

Хетваки выпустил весь дпск, и звук его стреляющего пулемета слился с общим гулом начавшегося боя.

...Артиллерия заговорила почти одновременно с обеих сторон. И все обозримое пространство вокруг превратилось вскоре в крошечный ад, в котором не было места ни тишине, ни воспоминаниям, ни скворцам, ни первым запахам весны.

Это было в те дни, когда зыбкое равновесие в Великой Отечественной войне стало изменяться в нашу пользу.

## ПОСЛЕ БУРИ

Батальон подняли по боевой тревоге в пять утра. Бойцы, еще не отвыкшие от фронтовой жизни, без суеты и паники в течение нескольких минут построились перед

казармой. Заменялись только новобранцы, но не падали. На их лицах можно было читать тревожащий всех вопрос: что случилось? Неужели опять война?

«Старички» были невозмутимы. Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии подписан еще второго сентября, части Советской Армии, в том числе и нашего, Забайкальского, военного округа давно вернулись в свои родные казармы. Налаживалась мирная служба: фронтовиков, старше по возрасту, увольняли в запас и они не скрывали своей радости. Поначалу они часто писали нам с гражданки о своих гражданских делах, по малопомалу переписка шла на убыль, а потом и вовсе прекратилась. Мы с нетерпением ждали своей очереди увольнения в запас, считали дни... и тревога застала нас врасплох, хоть и вида мы не подавали — знали, что рано или поздно все выяснится, деловито проверяли личное снаряжение; и главным для нас была не тревога, а незатихающий буря, который ухал, свирепствовал в южном Прибайкалье седьмые сутки, что усложняло проведение любой операции, даже самой простой.

— По ма-ши-и-на-а-ам!

Простуженный голос комбата перекрыл нудящее завывание ветра, разбросал нас по грузовикам.

Многокилометровый бросок к горам по занесенным снегом дорогам дался нам не просто: колонна машин растянулась почти на километр. Бойцы расчищали завали снега и камней, вытаскивали машины из ям и толкали их на крутых подъемах, но не это было самым трудным — за войну мы привыкли не бояться любой солдатской работы и принимали ее как должное. Волновало другое — сержант не знал цели броска, на учебный поход все это не походило, радисты не выключали приемников, но никаких сообщений о нарушении нашей границы никто — даже зарубежные радиостанции, которые «всегда и все знают...» — не передавал. Мы терялись в догадках, и только к полудню, когда углубились в горы — в точку сосредоточения, — ситуация стала проясняться.

Буря утих, всюду светило солнце, искрился снег. Под скалой был разбит лагерь саперов и альпинистов, они прибыли раньше и ждали нас.

Комбат поставил задачу: поисковым группам получить горное снаряжение (трикони, веревки, ледорубы, мощные

бинокли) и отыскать потерпевший катастрофу самолет. Приложить все усилия. Осмотреть каждый куст и каждую щель. Выходить на связь со штабом через каждые полчаса. Страховать друг друга. Быть внимательными, не стрелять — это может вызвать обвалы, сход лавин. Во что бы то ни стало спасти людей, оказать помощь, если они живы, доставить сюда. Задача большой важности.

Коротко и ясно: спасти людей. Но сначала их нужно найти, в чем и заключалась главная сложность, — точных координат падения самолета не было.

Отвесные скалы, глубокие ущелья, тайга, леденящий дыхание мороз... Плюс — семь суток только что стихшего бурана: каждая впадина забита снегом, камнями, песком, обледенели скалы, и трикови скользят по ним без задержки, срываются с уступов страховочные веревки, группы вязнут в глубоком снегу, изредка сходят со склонов лавины, разнося далекое эхо, как вздох гор. А тишина оглушительная, отчего кажется, что ничего живого здесь не осталось. А ведь где-то люди. Это не важно, что мы не знаем, кто они и как случилась катастрофа. Они нуждаются в помощи, ждут ее, и сознание этого сжимало наши, казалось бы, очерстневшие на фронте души, пережившие не только радость победы, но и горечь отступления, смерти боевых товарищей... Фронтовики понимали и другое: они знали, что судьба и спасение тех людей зависит только от них. Война научила, доказала на опыте, что от соседа справа и слева зависит твоя и их судьба и исход боя. И потому надо искать, не щадя себя, помочь.

Много лет прошло с тех пор, но я хорошо помню себя в тех прибайкальских горах — уставшего, с обледенелыми полями шинели и плащ-палатки, падающего и вповь поднимающегося все выше и выше. Строгая красота гор, их величественность и недоступность, переливы чудесных красок и... мое равнодушие к ним. Где-то люди... Живы ли они? Подадут ли сигнал? Казалось, что именно я должен найти их и найду.

Мы прочесали каждый метр обозначенного района, каменистые перепады, прилавки, осыпи осмотрели в бинокли, по ничего похожего на обломки самолета не обнаружили.

Не принесли успеха и следующие два дня. На четвертый мы уже выдыхались.

...С каждой взятой высотой шаши надежды на успех таяли, как тает в горячей ладони комочек холодного снега.

Старшой группы наметил конечную точку маршрута — невысокий, но крутой перевал, после которого, если ничего не обнаружится, мы должны идти на базу. Наше время истекало, и мы из последних сил тянулись за ведущим.

На перевале, проеме шириной не более пяти метров между отвесных скал, в лицо ударил пронизывающий ветер. Все четверо прижались к стенкам скал, прячась от ветра и боясь соскользнуть на другую сторону, также крутую и опасную, как и та, по которой мы только что поднялись. Шагах в десяти ниже выпирала из скалы ровная площадка-прилавок, и мы, подстраховывая друг друга, перебрались на нее. Здесь было тише, ледяной ветер не резал глаза. Мы отдышались и почти все одновременно увидели птиц. Черные точки над грудой камней почти у самого гребня хребта, который лежал перед нами через широкую щель. Старшой поднял бинокль и увидел, что это сороки. Их что-то манило и пугало одновременно. То взлетая, то опускаясь, они кружились над одним и тем же местом. Но что там между камней, и в десятикратный бинокль не было видно.

— Идут, когда умрет, — сказал мой напарник-солдат, напрягая зрение.

— Кто умрет? — испуганно спросил я.

— А вот пойдем и посмотрим, — рассудительно сказал он.

— Свяжемся с базой, — сказал старшой. — На обломки самолета не похоже. Рацию, — приказал он коротко.

Нам приказали подняться к хребту и засветло вернуться на базу. Старшой группы — высокий лобастый солдат, алмаатинец, увлекавшийся до армии альпинизмом, — раздал по два кусочка сахара, сухари, вскрыл консервы, достал термос с чаем. Мы подкрепились и начали спуск с перевала. Затем опять подъем.

Шли более двух часов, преодолевая широкую щель, ее подвижные, неустойчивые под ногами камешные осыпи, сползающие вниз красноватыми шлейфами.

Мы трудно шли вверх.

Вот уже слышен гвалт сорок, мы ускорили шаги. Что-то черное мелькнуло между камней. Сороки вырхнули в

стороны. У меня сжалось сердце: сейчас мы увидим то, что ищем четвертый день.

Среди выщербленных ветром камней, широко распластав крылья, лежала большая птица. Она лежала на холодном камне и не пошевелилась, когда я протянул к ней руку. Мощные крючковатые когти были сжаты в последней судороге. Жилы лишь янтарные глаза под морщинистыми веками. Смертельная тоска и усталость застыли в них. Я протянул руку, и птица прикрыла глаза, не дрогнула и не стала отбиваться. Мне показалось, что она без колебаний доверилась человеку, протянувшему руку спасения.

— Орел! — уверенно сказал старшой. — Доверился, умница.

— Жаль, что впустую поднимались, — со вздохом проговорил мой папарник. — Самолетом тут и не пахло.

— Пристрелить его, чтобы не мучился. У него ж крыло сломано. И лежит здесь, видно, давно: иней на крыльях, не выживет, — сказал четвертый.

Я сорвал с плеч плащ-палатку и, осторожно сжав крылья, левое было сломано, завернул в нее птицу.

— Мой, — сказал я. — Я первым его увидел, и он мой, — упрямо добавил я и взял птицу на руки. — Я его подниму на ноги. Это сильная птица. Я знаю.

— Ладно. Бери, — разрешил старшой, и мы начали спуск.

Семь дней бесновался в горах и на равнине буран. Мощные потоки воздуха, видимо из Центрального Тянь-Шаня, подхватили беркута и увлекли за собой на север... Мужественно боролся он со стихией, но обессилел и упал на камни. Но еще жил...

Мы не нашли в тот день самолета и вернулись в часть. Меня эта загадочная катастрофа с самолетом не опечалила — буду справедлив к себе. Думаю, что случилось это тогда, может быть, потому, что все надежды пайти его рухнули, и все мое внимание было сосредоточено на спасенной в горах раненой птице.

«Самолет могло найти и соседнее с нами подразделение, они тоже были подняты по тревоге, а командиры, как известно, не докладывают нам, рядовым», — думал я, утешая себя. И в этой птице, раненой и беспомощной, так легко доверившейся мне, я видел хоть какой-то результат мучительных поисков.

В ту пору мы, молодые солдаты, еще многого не знали, а точнее — ничего не знали о катастрофе в прибайкальских горах. И лишь спустя более трех десятков лет, уже забыв лица моих друзей — солдат, с которыми я прочесывал отведенный нам участок гор, я осознал, что гибель самолета была одной из печальнейших страниц в многотрудной истории уйгуров. На борту самолета находилась делегация во главе с вождем национально-освободительного движения в Синьцзяне Ахметжаном Касими. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.

Я не знал тогда этого, и только горный орел владел моим сердцем. Я был решительным малым и поставил себе цель — спасти птицу.

Шину на переломанное крыло орла мы наложим в санчасти еще на поисковой базе. Орел, как казалось мне, повеселел, когда отогрелся, и я окончательно поверил в свою надежду.

Удивительным было перерождение моих друзей-однопольчан. Если на склоне хребта, когда мы нашли поверженную, но не сдавшуюся птицу, они не очень охотно приняли мой порыв, то уже при спуске — а он был затяжным и долгим, и я со своей ношей сильно замедлял движение группы — все помогали мне спуститься с особо крутых склонов, а потом стали говорить, что слишком грубо я держу птицу и могу, «коновал», сломать крыло.

В части комбат сам отпустил меня в город, посоветовав найти орнитолога, он слышал, что есть тут такой старикашка.

Я нашел в городе этого человека. Знающего ученого человека с хорошим сердцем. Сухощавый маленький старичок внимательно осмотрел птицу и, подняв на меня глаза, сказал паиздательно:

— Вы ошибаетесь, молодой человек. Это не орел. Это — настоящий тьянь-шаньский беркут. Вы посмотрите на его глаза... Беркут истощен, предплечье крыла сломано. Шансов выжить у него мало, но мы попробуем.

Прошло больше двух месяцев, прежде чем я снова получил увольнительную в город. Служба есть служба. Комбат остался доволен, что не ошибся со своим советом и теперь беркут в надежных руках, а значит, и волноваться нечего. Сослуживцы в первое время спрашивали меня о



нем, но потом перестали — хватало своих забот. А я переживал, мучился от мысли, что слишком поздно я иду к своему спасенному беркуту.

— А мы вас ждем,— сказал, пожимая мне руку, старичок ученый, и я понял, что беркут жив. Я не мог выговорить ни одного слова.— Вы были правы,— ласково говорил старичок.— Это настоящая, сильная птица. Орел, как пишут в книгах. Но это беркут, если говорить строго по-научному. Сейчас мы его будем кормить.

Кто-то из домашних ученого принес небольшой ломоть подмороженного мяса, но беркут даже не посмотрел на него. Он сидел нахохлившись в большой, грубо сколоченной из ореховых палок клетке. Сломанное крыло его, умело перевязанное, не казалось беспомощным.

— Это настоящий беркут. Даже умирая, он не изменяет своим привычкам. Кроме свежего мяса, не ест ничего...

Старичок распорядился, чтобы принесли живого кролика. Беркут встрепенулся. Еще минуту назад равнодушный и даже надменный, он ожил: глаза сухо сверкнули янтарным огнем, сам он весь напрягся при виде кролика и с клеткой бросился на свою жертву.

«Живой! Живой! — повторял я восторженно.— Я не ошибся!»

— Приходите, молодой человек, через пару педель. Приходите. Я приготовлю для вас сюрприз,— и старичок проводил меня до калитки.

Этот дом барачного типа чуть ли не на окраине города мне помнится и сейчас. Тесовая в снегу крыша, облупленная на стенах коричневая краска, коротенькое крылечко... Через две недели я не шел — бежал к нему так, как не бежал, наверное, никогда.

В комнату орнитолога меня проводила такая же, как и он, старушка. Раньше, то ли от волнения, то ли по другой какой причине, я ее здесь не видел. Маленькая девочка лет десяти сидела у печки с книгой и оценивающе посмотрела на меня. Ее я тоже раньше не заметил. Посуду мыла, не обращая ни на кого внимания, крупная женщина с широкими плечами, и это, кажется, она тогда принесла кролика...

Орнитолог мельком взглянул на меня, кивком поздо-

ровался издали, достал из ящика старого стола блестящее колечко.

— Вот,— сказал он.— Присядьте в кресло и отдохните. Да снимите шинель, не парьтесь.

Я послушно выполнил его приказания, уселся в заскрипевшее кресло, боясь, что оно развалится. Только сейчас увидел я всю комнату орнитолога целиком. Она была заставлена высокими шкафа́ми с книгами и папками. На шкафа́х, столе, в простенках и даже под потолком на ветках сидели чучела птиц. Их было такое множество, что глаза мои разбегались.

Клетки и беркута в комнате не было.

— Пойдемте, молодой человек,— орнитолог подкинул на ладони блестящее колечко, и через дверь в стене мы вышли в другую комнату — просторную, светлую, но холодную и пустую. На полу стояла клетка с беркутом.— Сейчас мы его окольцуем и выпустим на волю,— сказал орнитолог и открыл дверцу.

— Может быть, лучше отдать его кому-нибудь из демобилизованных? — предложил я наивно.— Он и довезет его до родных мест.

— Зачем? — искренне удивился ученый.— Для беркутов дальние перелеты привычны. Он сам...

Накинув на беркута плащ, ученый вынес его на улицу. Словно почуввав близкую свободу, беркут заклекотал.

Голубело высокое сибирское небо, выстуженное сухими сибирскими морозами. Над крышами домов струились столбы дыма.

Беркут встрепенулся, и яркое солнце отразилось в его широко раскрытых глазах. «Беркут,— с восхищением подумал я.— Сколько в нем оказалось сил и как прямо он смотрит на солнце!..»

Беркут взмыл в небо, ликующе заклекотал. С каждым взмахом могучих крыльев он поднимался все выше и выше. На мгновение он остановился, распластал крылья, сделал круг над городом и уверенно взял курс на юг, туда, где была его родина.

И и сейчас помню до деталей тот далекий сибирский июндець. Вся семья орнитолога стояла во дворе и неотрывно смотрела за беркутом. А он, удаляясь, поднимался к солнцу и очень скоро исчез, растворился в далекой голубизне.

Я часто думаю о трагической судьбе отважного человека — Ахметикана Касими — и вспоминаю то утро. Только настоящие сыны народа, презрев опасность и невзгоды судьбы, до последней капли крови борются за честь и свободу Отчизны, ибо в их груди стучит поистине орлиное сердце.

## МОИ СОСЕДИ

### 1

Нет, вы послушайте, что говорит моя дочь Рошан. Она говорит, что я — старый чурбап, ничего не понимаю. Я, пятидесятилетний, седой, уважаемый человек, работаю старшим научным сотрудником в серьезном институте и готовлюсь защищать кандидатскую — старый чурбап? И ничего не понимаю? Мне надо работать, работать... и я работаю, даже по ночам, закрывшись от своего семейства в кабинете. Я стараюсь ради будущего той же Рошан, моей самой младшей, а она мне такое преподносит... Достучался. Сам виноват — забыл дверь закрыть на ключ.

— Рошан. Моя миленькая. У меня работа, и на собрание я не пойду. На собрания у нас всегда ходит мама.

— Мама готовит праздничный ужин, и ей некогда.

— Пусть ходит Сауджан. Он твой самый старший брат.

— Папа! Это же торжественное собрание! И на нем должны быть родители. Так сказала учительница. А потом будет концерт. Понял?

Представьте, она уговорила меня. Потому что я — старый чурбап и ничего не понимаю в жизни. Она права, моя Рошан. За всю свою жизнь я ни разу, слышите, ни разу не ходил в школу, хотя учились в ней все четверо моих детей. Ходить в школу — это женское занятие. Так думал я раньше, а сейчас скажу совершенно противоположное. Папы, ходите с детьми в школу. Ходите.

Во-первых, потому, что мы не знаем своих детей, и они раскрываются перед нами (простите за обобщение — я же все-таки без пяти минут кандидат наук) с совершенно неожиданной стороны, как это часто происходит у нас в лаборатории, — идешь от опыта одного, а получается совсем другое. И ломай себе голову... Но о своей работе я сказал к слову и больше о ней не упомяну, пото-

му что к дальнейшему рассказу она не имеет никакого отношения.

Так вот, Рошан... Я, прежде всего, никогда ее такой не видел. Она кувыркалась по комнате, танцевала, падала всем братьям и сестрам, рассказывая, что она перешла-перешла в пятый класс и что папа-папочка писем не ходил в школу, а с ней идет.

На улице она взялась за меня одного.

— Ты хоть знаешь, где находится школа? — спросила она, забежала вперед и, пятясь, глядела со смехом мне в глаза.

— Знаю.

— А вот и неправда. Откуда ты можешь знать, если ты там ни разу не был?

— Я из окна автобуса видел.

— Да?

— Да.

— А может, ты ошибся?

Нет, Рошанку может перенести только мать или такой строгий отец, как я. Это я только сегодня поддался на ее уговоры и не хочу портить ей праздника. А в будни взгляну — и все попикают под моим родительским пронзительным взглядом, как трава в степи под ветром. Я чувствую, что детское отношение к жизни во мне начало затухать под ударами судьбы давно, но сегодня оно расцвело, как зернышко после темноты чужаца. Я и не заметил, что к школе мы подошли с Рошанкой в одинаковом одиннадцатилетнем возрасте: я забыл и про свою работу, и про великие научные проблемы, и про хозяйственные домашние неурядицы... Про все забыл: мы с Рошанкой пускали самолетика из бумаги — чей дальше улетит?!

А в актовом зале? Я смотрел на лица родителей и видел то же самое — они все были одиннадцатилетними шкостами. Они — серьезные люди, родители.

А дети?! Я никогда не подозревал их могучей силы, способной вызвать у взрослых это великое перевоплощение, такое взаимопонимание и самопожертвование.

И это — во-вторых, ради чего я и начал рассказ.

Учительница, мне ее хорошо было видно с пятого ряда, тоненькая девушка, еще сама ребенок, звонко сказала:

— На сцену вызывается Арслан Кадыров. Отличник. Награждается похвальной грамотой!

Учительница сказала это с большим задором и гордостью — вот, смотрите, какие у меня ученики и какие у вас дети. Гордитесь ими.

И это возымело действие. Зал, как никому до этого, аплодировал с большим старанием, но учительница прервала аплодисменты, ученика не отпустила со сцены, а вызвала туда другого:

— Владимир Гаврилов. Отличник. Награждается похвальной грамотой!

Зал просто загремел от аплодисментов; и я понял, что дело здесь не только в похвальных грамотах этих двух учеников.

— Почему они все так хлопают? — спросил я Рошанку.

— Я ж говорила, что ты ничего не понимаешь и не знаешь, — опять отбрила меня дочка. — Они же братья. Понял?

Я кивнул, хотя, честно признаться, ничего не понял. Арслан Кадыров — уйгур. Владимир Гаврилов — русский. И они братья?

Когда учительница на сцене вручала ребятам похвальные грамоты и пока они возвращались на свои места, зал не умолкал.

Наконец наступила тишина. Учительница не взяла новые похвальные грамоты, которые лежали перед ней стопкой, а снова заговорила:

— От имени и по поручению педагогического коллектива и дирекции школы я хочу сказать огромное человеческое спасибо родителям ребят: Вере Константиновне и Арупу Кадыровичу, воспитавших таких хороших детей. Прошу вас, встаньте.

Мужчина и женщина встали. Зал опять загремел аплодисментами. Женщина лет тридцати или чуть больше в легком весеннем платье без рукавов плакала. Я это хорошо видел, потому что они сидели позади нас через пять рядов и я обернулся. Люстра под потолком сияла, капли слез катились по красивому бледному лицу. Мужчина, ну сажень в плечах, стоял рядом и крепко сжимал женщине маленькую руку. Он тоже был готов заплакать, но сдержался. Он же мужчина!

Так я впервые, благодаря Рошанке, узнал о существовании этой редкостной семьи. И хочу рассказать об этом.

Как знакомятся женщина с женщиной?

Я скажу, наблюдал. Не зря же ем черный хлеб науки.

Так вот. Две женщины пришли на консультацию к врачу. К каким врачам женщины ходят больше всего, мы знаем. Не в том суть. Одна из них пришла чуть раньше другой, заняла, как это всегда делается, очередь, села. Рядом с ней на топчане еще оставалось место. И здесь пришла другая женщина и села рядом.

Две женщины вместе, и это мы тоже знаем,— разговор. Если больше — базар. Женщин в приемной врача было больше двух, но базара не было. Не то время. Но разговор повелся. Сам собой. Кто-то вздохнул глубоко, и все посмотрели на ту, что сидела первой у двери врача. Из глаз у нее сыпались горошины слез. Вопросы никто не задавал, попяли и так, без объяснений,— пришла похоронка. А она сидит здесь одна, а будет двое... В такое тяжелое время.

Что ж здесь непонятного? Женщины промолчали, и каждая подумала о своем муже: жив ли? Убит?

У Мервапы глаза повлажпели. Сердце у нее было легкораннимое. Это увидела ее случайная соседка по топчану Вера и участливо спросила:

— На фронте твой?

Мервана кивнула.

— Мой тоже,— сказала Вера, но слезы не уронила. Сердце у нее было крепче.

— Эх, бабья паша доля,— вздохнула еще одна женщина, с трудом поднимаясь со стула. Живот у нее явно предполагал двойню. Не меньше. И это тоже отметили другие.

— Ну что ж, это и хорошо,— ответила женщина.— Мужиков побьют на войне, кому пахать, работать? Они, наши детки, и будут нас докармливать — старых и беспомощных...

Так и состоялось первое знакомство Мервапы и Веры.

Второй раз они встретились уже в роддоме. В одной палате.

— Ну, здравствуй,— сказала Вера, увидев Мервану.— Ты и здесь меня опередила.

Мервана виновато улыбнулась:

— Так получилось. Не утерпела.

— Чего ж терпеть, если пора пришла? — улыбнулась в ответ Вера и пошла на свободную койку.

Другие женщины в палате тоже заулыбались, отмечая про себя, что вот и пришла коноводша. Скучать не даст.

Вы замечали таких людей?

Тускло в компании, разговор еле тащится через пень-колоду, никакого интереса в нем никто не видит, и говорят только потому, что просто неудобно молчать. В таких случаях разговор сам по себе пропадает, оставляя участников со своими думами.

Но стоит появиться одному человеку... и все меняется. Это не просто рубаха-парень, или женщина — лишь бы муку молоть. Нет. Эти зря слова не скажут, все у них с умом и в точку, в самое яблочко. Людям это особенно нравится, когда в самое яблочко. Даже в тяжкий час человек воспрянет духом и поверит в лучшее, когда сказано такое слово.

Замечали?

Значит, вам повезло на интересного человека.

— Как хоть зовут тебя? — спросила, расстегивая халат, Вера.

— Интересно, — тут же подхватила разговор женщина на койке, в углу. — Здороваются, а как звать друг друга, не знают...

— У нее вы спросите, — кивнула на Мервана Вера.

— Мервана меня зовут. А познакомилась мы...

— Ты, Мервана, секретов не разглашай, — прервала ее Вера. — А то: «Познакомилась мы...»

Улыбки. Намек припяти. Каждый по-своему. Посыпалось разноголосое ха-ха.

— Ой, девочки. Не смешите. А то я прямо тут и рожать начну...

— От смеха еще никому плохо не было, — успокоила ее Вера.

— Было. Вот у нас в деревне...

— ...И бабы не так рожают, как в городе, — в тон говорящей встала быстренько Вера, и опять все засмеялись. Всем понятно, что сейчас начнется сказка, как дед свою бабку до смерти засмешил, а она ему потом во сне пришла и грозит: лучше живи дольше, а не то тут в котле со смолой кипеть будешь.

— Муж твой где, Мервана, воюет?

— Не знаю. У пих же полевая почта. Только номер указан.

— Так, может, намекает между строк?

— Намекает, только я не понимаю.

— Это про гумно, что ли?

— Да нет. Пишет, что будут скоро брать город, через который Наполеон отступал. Собирался там погреться на русских печках, да не успел. Его солдаты проворнее оказались. Склады с продовольствием распотрошили и по ветру пустили. Фельдмаршалу и не досталось.

— Так это же Смоленск, — твердо сказала Вера. — Тут прямо и сказано. Я ж говорила, что про гумно.

— А это как?

— Вот так, — отвечает Вера. — Пишет парень девке записку: приходи на гумно, целоваться будем. Девка и отвечает. Намек поняла, приду.

Опять ха-ха. Распахивается дверь, входит сестра:

— Что за концерт?

— Да вот...

— Опять секреты хочешь разгласить?

— Ха-ха. А ничего особенного и не было сказано.

— Муж-то, Мервана, кто у тебя?

— Такист.

— Значит, возьмут город. Боевой нагель?

— Оп меня на одну руку посадит, а в другой ведро с водой несет.

— Это точно, возьмут. Накрутят фашисткам хвоста.

— Пишет?

— Пишет.

— А ты?

— И я.

— Как думаешь, вернется? Не найдет завлеку?

— Нет. Он обещал.

— Хорошо проводила?

— Поцеловала.

— И все?

— Все. А что еще? Плакала сильно. Переживала.

— Рожать тоже от переживаний будешь?

— Буду. Парня рожу. Я ему обещала. Только вот сердце у меня слабое. Боюсь помру. Вы напишите тогда ему. Вот адрес полевой почты, в тумбочке. Ладно?

— Не хорони себя раньше времени. Обойдется.

— Я знаю. Родных у меня нет. Детдомовская я.



И Аруп тоже. Так что ни у меня, ни у него больше никого нет.

— Ты не распускай себя, — твердо сказала Вера. — Мужик воюет, а она умпрать... Кто дитя воспитывать будет? Ты об этом думай. Думай и думай: не поддамся, и все! Поняла?

— Поняла.

— Ну тогда спать давайте. А то приспичит кому среди ночи, не выспимся.

### 3

Мервана не ошиблась. Она знала свое сердце лучше других — оно не выдержало.

Мервану первой из палаты увезли в родилку. Второй, «сопяты я после нее», Веру. Вера вернулась в палату, а Мерваны нет. Ее поместили в отдельную палату.

— Что с ней? — спросила Вера нянечку.

— Плохо. Врачи боятся, что не выживет.

— Держи нас в курсе, — сказала строго Вера молодой нянечке. — Если что — сразу к нам.

Характерец у Веры — будь здоров. Только что саму полуживую привезли в палату, а уже распорядилась. Навела лад.

Мервана прожила после рождения сына два дня. Перед смертью, а она ее уже чувствовала, позвала к себе Веру, попросила назвать мальчика так, как скажет Аруп.

— Я ему письмо послала. Спросила уже, как назвать. Как скажет, так и назови. Я прошу тебя. Ладно?

— Назовем, не беспокойся. А кто выпяичтит?

— Не знаю. Нет у нас родных. Я говорила.

— Это я помню. Только не дело на чужие руки.

— Я понимаю, да сердце вот... И вздохнуть не даст.

— Крепись, Мервана.

— Просить не могу за дитенка, а Арупку напиши. Напишешь?

— Успокойся. Возьми себя в руки.

Мервана уже не отвечала. Сил не было. Носик у нее заострился, щеки запали. Одни глаза и остались живые на лице.

Мервана прикрыла веки. Вера еще посидела немного и ушла.

К вечеру Мерваны не стало.

Ее ребенок остался сиротой.

— Сирота сироту и родит,— сказала вьедливая баба из угла.

— Помолчи, умница,— сказала Вера, и в палате до самого сна никто и слова не проронил. А Вера молчала.

Утром она сказала нянечке, чтобы ей принесли парня Мерваны.

Палата молчала.

У Веры тоже родился парень, и она положила их рядом с собой — оба прильнули к ее груди.

Младенцев унесли.

— А муж что скажет? — подала голос та, из угла.

— Володька? — удивилась Вера.— Пусть слушает то, что я ему скажу. Лишь бы вернулся. Понятно тебе?

— Понятно. Мужу бы понятно было твоему. Мне-то что?

— Ну и помолчи тогда.

— Ты же русачка...

Вера не ответила. На том и закончился разговор.

#### 4

Как решилась женщина на такое? Самой-то всего двадцать лет...

А их двое. Если растеряешься, ни одного не будет. Вера хоть и при родителях росла, но ни великого, ни малого богатства не видела. Поженились они с Володькой перед войной. Володька шоферил, Вера на швейке работала швей-мотористкой. Зарботки не ахти какие, но решили собирать на дом — хотелось свой построить.

Это сейчас все ждут государственных квартир и получают. Свои редко кто строит. А тогда, обзавелся семьей — строй свой дом. Воскресники такие закатывали, что ой-ёй!

Так и решили. Швен от Веры придут и шоферы от Володьки. Саману наместят и сложат домину на две комнаты — кухня и горница. Хотелось, конечно, деревянный дом, да лес дороговат. Это потом можно будет и деревянный, если все хорошо. А пока жили у родителей Веры, в пристройке вроде чулана. Одна койка и умещалась всего.

Еще и месяц медовый не кончился, война началась.

Война началась...

Володьку с первым эшелонам и отправила.

Пришла из роддома — письмо лежит. Володька писал: «Есть на Волге утес... Тут я и воюю, как поется в нашей русской народной песне. Если убьют, не горюй. За Россию-матушку голову сложу. А за нее мне ничего не жалко. Родись сына, назови в мою честь Володькой. Живым отсюда вряд ли уйду. Мясорубка... не дай бог видеть человеческим глазам. А я, сама знаешь, по кустам прятаться не привык. Крепко обнимаю и желаю скорейшей победы над фашистом!

Не журишь, моя любимая Вера. Мы выстоим и победим».

— Шалопут, — сказала на это Вера и заплакала. — Умирать собрался. А мне тогда что?

Похоронка на Володьку пришла в сорок втором году. «Пал смертью храбрых». И орден боевого Красного Знамени в коробке. Вера за неделю в стебелек высохла, почернела, замкнулась — подруг избегала... Вот как оно вышло.

## 5

Питание какое в войну было?

Одежка какая?

Не уронила голову Вера. «Теперь, может быть, второго отца дождемся... Но это еще как сказать... Танкист — он всегда в первых рядах, первым идет. И пушки по нему грохают... Тут не уберечься. На свои руки теперь — самая надежная надежда. Лишь бы не подвели».

Не подвели.

Ни свои, ни чужие.

Узнали женщины на пивейке, что Вера припрятала чужого ребенка, всем звеном пришли. Кто чего припрятал — и поесть от своих скудных пайков оторвали, и... у тела материала для пеленок с фабрики вынесли.

Осудить этих женщин за воровство не берусь. Обнаружили бы на проходной с выпоской... Строгое в этом вопросе было время. Кто помнит, тому и рассказывать не надо, а кто не знает, не пожелаешь знать. Я об этом могу судить только по рассказам других.

У них и спросите, как наказывали тогда за воровство.

Это сейчас, хоть и идет разъяснительная работа, и в тюрьму сажают за хищение государственного имущества, а

все равно тянут. Даже у меня из лаборатории находят что унести домой.

Но я отвлекся, не о том заговорил.

Веру тогда только фабричные женщины и уберегли. Ее отец погиб в первые дни войны, мать болела, за ней самой уход был нулевым. Но пацанов няпчили и пеленки помогали стирать, и затируху стряпали, и на медпункт детшпек носили, если Вера на смене была. На свое-твое не делили. Тем и спаслись.

6

А с Арупом так было. Смоленск, как известно, взяли. И сколько жизней положили, пока дошли до Берлина, тоже известно. Арупу повезло — жив остался. Два раза в танке горел и не сгорел.

— Мы,— говорил,— народ крепкий. Нас с одного удара не свалишь. И с другого тоже. Ну, а выберем момент, так приложим... никто не устоит.

Это не его слова. Он бы не так сказал. Но суть та же. И я его не виню. Русский да уйгур, казах да грузин, белорус да азербайджанец, сибиряк да украинец... Такой кулак фашист и не смог выдержать. И тут Аруп прав, хоть и сказал это другими словами.

Длиных объяснений на эту тему не надо. Наше братство кровью скреплено, и пусть другие знают об этом и на наши советские просторы не зарятся.

Так я скажу.

Ну, а Аруп... грудь в орденах, танк повый под Берлином получил и домой собрался после девятого мая. О его подвигах рассказать трудно. Сам он не любитель много говорить, а выдумывать мне за него не хочется. Ордена ведь тоже кое о чем говорят.

Смерть Мервапы он перенес, как подобает мужчине, без слез. Написал жене Мерване, чтобы ребенка Арсланом назвали, а ответ от незнакомой женщины — Веры Константиновны получил... Послал письмо второе: Арсланом назвали, если это возможно, уберегите сына до возвращения с войны.

Не сломался Аруп от горя. Только еще злее к фашистам стал. Говорил, и справедливо:

— Если бы не война, Мервана б жила. Мирную жизнь

ее сердце бы выдержало. Я бы не дал никому ее в обиду, А тут проводы. Мы отступаем... Не спасешь...

Экипаж у Арупа — лхкие все ребята, тоже не дали ему сломиться душой.

Говорит однажды стрелок-радист Вася Липачев:

— Давайте фотку сделаем. Пусть Вера Константиновна на нас посмотрит. И первым долгом на Арупа. И на танк. Чтобы поняли они там, что и у нас сила есть — кэ-вэ... И пацаны пусть смотрят. Если погибнем, хоть память останется.

Так и сделал.

И послали фотку перед Курской битвой. И деревянные игрушки — вырезал все тот же неугомонный Вася Липачев и положил в посылку рядом с фотографией.

Фотография эта до сих пор цела. Орлы у танка стоят. Орлами и был. А игрушки... Долго хранились, да растерялись. Сколько-то времени прошло?

После Победы домой их не отпустили.

Письмо Вере пришло уже с другого края страны. «Часто слушаем всем экипажем любимую песню: «На сопках Матьчикури»...»

Вера сказала:

— На японца их бросили...

Бывало такое в письмах фронтовиков: между строчек писали, где они воюют. Прямо нельзя было — вдруг в нехорошие руки попадет письмо и тайна дислокации войск станет известной. А это уже военная тайна. И трибунал. «По законам военного времени...»

Отвоевался Аруп и с японцами.

Возвращался домой, думал: как сын? Как вообще без Мервапы жизнь устраивать? Своего дома у них до войны не было, тоже не успели обжиться. Теперь опять все снова. Как оно повернется?

В благодарность за сына вез Аруп Вере Константиновне пуховый сибирский платок — выменял на продукты в Новосибирске. А как еще благодарить эту мужественную женщину, не знал.

Ехал Аруп в поезде к неизвестной ему судьбе. Видел, как поизносился за войну народ, как наголодался. Но страха в их глазах Аруп не заметил.

— Слава богу, разбили фрица. Отогреемся, отмоемся,

отъедемся,— говорила, проходя по вагону, старушка со внучкой.

Кто ее уполномочивал говорить? Никто. Это душа народа говорила ее устами великую правду.

Ее и запомнил Аруп. В сердце упали слова старой русской женщины, которая говорила не за милостыню. Для людей, потерявших веру, говорила.

7

Но вернемся немного назад.

Фабричные, как я уже говорил, на произвол судьбы Веру не оставили. Первой прибежала в роддом и домой ученица Веры Валька — незамужняя, работающая девчонка. И пошла у них дружба самая близкая.

Если разобраться, то обе еще соплячки были — не в обиду им было бы сказано, одной двадцать, второй семнадцать. Врач в роддоме рассказывала молодым мамам: как, чем и когда кормить, чаще прогулки, белье, сон, эпидокружение... Много тонкостей с младенцами.

Ну, вот кормить. Первое время, понятно, грудью. А потом кашку надо, молочко коровье, супчики... С горем пополам доставали — пусть не манную, но все же. Это сейчас загляни в любой гастроном, увидишь: детское питание, морковный сок, печенюшки всякие, а уж о манной каше и говорить не приходится — бери, все и дешево и полезно, закорми своего карапуза, не война. А тогда... Да ладно, разуделся я по-стариковски. Но поймите, не могу не сказать об этом, потому что видишь иной раз в магазине какую-нибудь фифочку с французской помадой на губах, в порке, соболе, полушубке... с крашеными пототками, губки бантиком:

— Что это у вас ничего нет? Одни рожки да вермишель...

Глаза ей замутило, что ли? Да этих рожков или макароп тогда Веры... Не хотят знать нынешние шиковые дамы, что и голод был, и на себя одеть нечего было... Понимаю, что после войны столько времени прошло — квартир построили, хлеба насылали и наубирали, мануфактуры, материалу тебе всякого — зайдя в магазин «Ткань» — в глазах рябит от одних расцветок. А тогда... Остановлюсь, но хочу, чтобы ценилось молодыми то, что нам так дорого досталось.

Столкнулась молодая мама и вот с чем. Врач сказала: купайте осторожненько. Воды горячей в тазик палили, положили в него ребенка, а он в крик. Вершиа мать вышла из горницы, набросилась на Веру и Валю:

— Что ж вы, паразиты, над дитем издеваетесь?! Не так надо.

— А как, тетя Паш?

— Сейчас покажу. Пеленку дайте.

Дали. Завернула мать в пеленку сначала Володьку, воду разбавила до теплой, положила Володьку прямо в пеленке в воду и осторожненько начала поливать рукой.

— Обжечь же могли дитя.

Это всего одна тонкость. Я сам никогда ее не знал — детьми у меня в семье всегда командовала жена, я не касался. Не моя, мол, забота... Ты приглядывай... Жалею, что потерял, не имел такой радости в свое время от своих детей. Теперь внуков дождусь, буду наверстывать.

Первые трудности пережили. Пацаны на ножки встали... Это было событие так событие. В один день на ножки встали.

Опять же одна фабричная женщина — парторг Анна Васильевна — вложила в молодые головы разум:

— Что это вы, мои хорошие (это к Вере и Вале), детей в люльке держите? — О колясках тогда тоже только мечтали.

— А что? Засыпают вместе, играют вместе. Один крик поднимет — другой тут же подхватывает...

— Я не о том.

Девчонки на Анну Васильевну удивленные глаза — в чем еще проглядели, недоглядели?

— Сколько месяцев пацанам?

— По году и почти месяцу...

— Так что вы, из них хотите по Илье Муромцу сделать? Тридцать лет и три года на печи будут сидеть?

Не понимают девчушки.

— Давайте сюда Арслана.

Вынули из люльки и подали. Анна Васильевна распеленала, штанишки натянула, на ножки поставила:

— Ну, пошли, Алик...

У девчушек в глазах растерянность и страх.

А он пошел, затопал ножками — рот до ушей, довольнехонец...

— Володьку давайте.

Дали. И та же история. Идет.

— Что ж вы их по рукам затаскали. И волю теперь им давайте. Постелите одеяло на пол, и пусть ползают, ходят...

Тоже наука.

Позже-дальше — новые проблемы.

— Ты одинаково их любишь? — спросила как-то Валя у Веры.

— Почему ты спрашиваешь?

Валя засмузилась своего вопроса, поняла, что не то спросила, но отступать было поздно.

— Может, свой ближе?

— Раньше у меня была такая мысль — думала, что ближе. А сейчас мне их от сердца не оторвать.

Вот девятое мая. На фабрике план по выпуску обмундирования для фронта выполнен — радость. А тут — победа!

Вера принарядила малышей. Костюмчики у них одинаковые, ростом — вровень. Цвет кожи у Арслана по-смуглей. Это отметила Валя.

— Загорят на солнышке Володька и таким же будет. Смотрите, дети, вот папа Алик на танке.

— А мой?

— И твой.

— Нана, нана...

Как не вспомнишь Володьку! Не дожидя... Брызнули слезы у Веры, на улицу вышла, па ветерок. Гармошка играет, радость, смех кругом, а она плачет. Соседи подбадривают, а Вера и слез не причес.

Так вот...

А потом писем от Аруна не стало. Все лето — как в воду канул. «По диким стенам Забайкалья...» — была первая вест. И чем ближе подходило время приезда Аруна, тем чаще поглядывала Вера украдкой на Алику. Что? Как все будет? Приедет и отберет? А как же тогда Володька один? Он же продыху не даст — где мой братишка Алик? Куда вы его дели?

Что ответишь? А узнает, что не родной ему Алик, — отвечать тоже придется. И отдать Алику законному отцу тоже придется. Какие у нее, Веры, права на Алику? Никаких. Сделала доброе дело, так что ж... памятник тебе ставить? Тут... Тут мысли обрывались.



— Мама! Оп коня мне не дает.

— Мама! А что все он да он катается?

Оба мамой зовут! Вот так!

Но Вера решила: скажет Аруп — отдай сына, отдам. Не заплачу. Пусть другую маму ищут. Вырастет — поймет. А как пначе? Ну как?

8

Вот и настал долгожданный день. Третьего ноября в сумраке утра пассажирский поезд из Новосибирска подошел к станции Алма-Ата-первая. Аруп вышел на перрон, вабросил на плечо вещмешок, обошел вокзальчик, взглядываясь в лица, надеясь встретить знакомое. Как давно он здесь не был, а постройки все те же. И люди какие-то другие — постаревшие, что ли? Мужчин почти не видно. Из солдат — только он один и был. Вначале ехали демобилизованные, да посходили на станциях и полустанках. До Алма-Аты он один доехал.

На фронт его провожала здесь Мервана. И тогда было много людей — и уходивших на фронт, и провожающих. Вернулся он один... и никто его не встречает.

У коновязи стояли две телеги с арбами. Аруп подошел. Дряхлый старикашка лежал на соломе, дымил самосадом.

— В город не подбросишь, батя?

— Не-е, служивый, не попутно.

Вернулся в приземистый вокзальчик — неуютный, грязный, увидел милиционера — тоже старик.

— До города доберусь?

— Только днем, если бричка попутная попадетсЯ. А так... пехом. Десять верст. Я б не советовал: хулиганье бродит, обчистить могут.

— А вы зачем?

— Я тут смотрю. А на дороге у каждого куста пе псидишьсЯ.

Аруп решил идти пешком. Что это такое — идти пешком от Алма-Аты-первой в город — сейчас представить молодым трудно... Если идти от вокзала, как шел Аруп, то слева высилась темной полосой роща Баума, а справа, вдали, огоньки деревень. Впереди начинают золотиться в лучах солнца седые вершины Тянь-Шаня. Они были ориентиром и проводником по извилистому проселку.

И все-таки они его прищучили, местные блатяги. Еще

издали, ну в километре-двух от Ташкентской, Аруп увидел впереди силуэт. Мга, туман не туман, а видимость ограничена. Только над всем этим вдалеке золоченные солнцем вершины. А здесь мга, пасмурность. Темная фигурка будто и не двигалась. Подошел и остановился Аруп в метрах пяти от нее.

— Попался, служака? — в руках у стоящего блеснуло лезвие финки. — Скинь сумку, шинельку, сапоги и можешь идти туда, куда хочется. Понял? — с ударением на «о» проговорил жестко стоящий на дороге.

Аруп оглянулся. Сзади еще двое вылезли из камышей. И впереди еще один что-то замешкался в придорожной канаве.

Аруп мгновенно оценил обстановку, выхватил из-за голенища трофейный кинжал, уверенно пошел на грабителя.

— Я фашистскую сволочь пять лет бил... Я в танке два раза горел — и вы меня грабить? Я же за вас, поганых, кровь лил...

Он шел, готовясь к броску, за собой слышал шаги. Передний отступал.

— Да я пошутил, дядя.

— Это не шуточки, милый мой. Брось финку.

Бросил.

— Уйди с дороги!

Нехотя сдвинулся в сторону. Шаги сзади приближались. Вылезал из канавы четвертый с дрынком наперевес. Аруп сделал рывок вперед, метров шесть-семь, резко обернулся, став в борцовскую позу. Остановились, смотрят за спину Арупу. Он оглянулся — еще один с жердишкой. Аруп повторил рывок к следующему, сбил — уверенно, с одного удара, отошел на два шага:

— Лежать!

Поднял жердину, кинжал сунул за ремель.

— Ну что, еще будем?

Они надвигались, теперь все вместе, стеной. Пятый лежал, решил помочь друзьям, пачал подниматься. Аруп резко прихлопнул его по боку жердью, тот спик.

— Следующий!

Аруп отступил, пятась. За спиной уже не слышно было шагов. «Теперь вперед», — сам себе скомапдовал Аруп и пошел с жердью на грабителей. Те остановились.

— Иди, дядя, в город. Порежем же. Иди, не тропем.

Дальнейшее Аруп помнил плохо. Он рванулся на четверых, мотал отнятой жердью, как игрушкой, крушил молча, сосредоточенно — бывало и на фронте такое, что шли в рукопашную, так что не в новинку.

Опомнился Аруп от ярости, схватившей сердце, когда перед ним остался только один из нападающих. Аруп пошел на него, но тот устал и нехотя побежал. Аруп не стал его догонять. Отошел, оглянулся — четверо лежали: двое прямо на дороге, двое по бокам. Шевелились, приподнимались, глядели вслед.

— Живые, а синяки на память... Пусть будет память от Арупа Кадырова.

А солнце уже выглянуло из-за хребта, разгоня туман, преображая все вокруг. Шелестел под звонким ветром пожелтевший камыш, свистела где-то какая-то поздняя птица, возможно и воробей, впереди показались крыши домов.

Спокойный, уверенный сон этого города, его чистые и широкие улицы, густые в осенней умирающей позолоте сады и аллеи казались Арупу бесконечно милыми и дорогими. Белошнкий Тянь-Шань теперь сиял во всей своей осенней красоте, будто приветствовал его, Арупа Кадырова, победителя: «Добро пожаловать, дорогой сын!» Все вокруг казалось Арупу таким праздничным, что сердце невольно застучало сильнее. Это ради него, Арупа, так тихи и прозрачны утренние, тихие, безлюдные улицы. Это — молчаливое приветствие, оценка и вознаграждение за пять лет неутраченного грома войны. Он — победитель, и город приветствует его. Город, за тишину которого он бился с врагами Родины. И он тих, мирен, спит спокойно.

Аруп дошел до центральной площади города. Здесь они гуляли с Мерваной за день до отправки на фронт. И она, сорвав с цветника розу, сказала:

— Ты вернешься, Аруп. Мое сердце никогда меня не обманывало. Ты должен вернуться.

Вот и вернулся.

Он постоял у цветника, склонив голову, и будто опять слышал ее слова:

— Возвращайся. Ты сильный.

Он стоял у цветника, и ее слова, как пророчество, сбывались. Он вернулся. Он должен увидеть сына. Сына, ко-

торый вырос у чужой женщины и никогда не видел родного отца — Арупа Кадырова.

Почему чужая женщина взяла его сына? Почему? Это его продолжение, будущее. Росток, которому не дали погибнуть. Для этого надо иметь большое, доброе сердце.

9

Перед калиткой дома номер шестьдесят шесть Аруп остановился. После ясной фронтовой жизни, где все было понятно: впереди враг и его надо победить, здесь его чувства и мысли были противоречивы и неясны. Он замешкался всего на несколько секунд, повернул вертушку, калитка открылась со скрипом. Починить надо, машинально отметил Аруп, вошел во двор. К дому вела узкая дорожка, по ее бокам грядки, впереди крыльцо — резное, покосившееся. Он медленно поднялся по ступеням. Перед дверью остановился, услышал голос: мягкий и требовательный:

— Алик. Мы не успеем в ясли! Успеем? Молодец. Вовка, сколько на часах?

— Восемь и пять минут назад.

— Молодец. Возьми у бабушки платок — рассопливился.

Аруп постучал в дощатую дверь, затаил дыхание, ждал.

— Входите.

Аруп молчал, стоял, как столб.

Дверь открылась. Он увидел Веру Константиновну. Так он подумал, что это Вера Константиновна, которая приютила его сына и писала ему письма на фронт.

И это была она. В черной фуфайке. Не новой, но чистенькой. На голове платок, серый, по-старушечьи пирамидкой надо лбом. Лицо растерянное. Глаза вопрошательные: кто ты? Зачем? С какой вестью?

Из-за юбки выглянула мордашка — черповолосая, с острым подбородком. И спряталась. Носильшался невнятный шепот. С другой стороны выглянула еще одна мордашка — русоволосая, голубоглазая. И тоже спряталась.

— Алик! Это папка приехал! — сказала Вера Константиновна тихо, но Арупу показалось, что на всю улицу.

— Да, это я, сержант Аруп Кадыров, — оттранспортировал он, привычно вскинув правую руку к пилотке.

— Папка приехал, — сказала опять Вера. — Ребята, встречайте папу.

Ребята жались к материным ногам. Солнце било ребятам прямо в глаза, и они не решались сделать шаг к порогу.

— Ну идите же! — Аруп протянул руки, присел на корточки. — Это я. Вы получили мою фотографию с танком?

— Ты там с усами, — сказал черноволосый крепыш.

— С усами, — подтвердил другой, русоволосый.

— А теперь я их сбрил. Война окончилась, и сбрил. Теперь совсем молодой и могу поиграть с вами.

— В войну?

— Нет. Давайте в гостей и хозяев?

— Давайте.

— Вот я и пришел. Встречайте меня.

Пацаны вышли из-за материной юбки и, раскрыв руки, перешагнули порог. Аруп тут же поднял их во весь свой рост. Прикоснулся к их нежным щекам своими небритыми и вдруг резко поставил их рядом с собой, сделал шаг вперед.

Он опустился на одно колено, протянул руку Вере Константиновне, взял ее руку, тонкую, но твердую, поднес к губам. Так было в его жизни один раз, перед штурмом Смоленска, когда они клялись не пожалеть своих жизней, но город взять. Он целовал тогда полковое знамя. Сейчас он целовал руку женщины.

— Спасибо за сына, — сказал он. — Спасибо.

Мужчины плачут редко. Это мы знаем. И слезы Арупа были первые в его взрослой жизни. Он не стеснялся их, думал, что случайные соринки попали в глаза и только от этого у него покатились слезы.

Вера, Вера Константиновна смотрела на Арупа, живого, и сравнивала его с тем, каким он был на фотографии. Там он в шлеме, толстый, в комбинезоне — дядька лет под сорок, — а тут — будто все то же: шинель, пилотка, а лицо молодое, хоть и не бритое. Все похоже, но... совсем другой человек стоял перед ней на одном колене и целовал ее руку.

Она смотрела ему в глаза.

«С чем ты пришел? — думала она. — Кто ты? О чем ты скажешь через минуту? Ну что? Я тебя не ждала. Я Володьку ждала. Он сложил голову под Сталинградом. А ты?»

Ты — отец этого ребсика, которого я взяла по своей воле. Теперь вот ты пришел, и нет у меня пацана по имени, которое ты сам дал ему, Арслан. Для меня он уже не просто чужой ребенок. Я кормила его своей грудью, но он твой, Аруп. Твой. Возьми его, если он тебе нужен».

Что говорили его глаза?

Не берусь судить.

Он поцеловал ее руку и скинул с плеч вещмешок, привычно дернул шнурок и сказал:

— Можно, я войду в ваш дом?

Дети стояли по обе стороны от него, он понял, что они с ним, они ждали его, и это сделала Вера, Вера Константиновна. Он понял, что наступивший момент — еще один рубеж в его жизни. Его судьба решалась именно в это мгновение коротких минут. Он сказал:

— Можно, я войду в ваш дом?

Так сказал он, и сердце его забилось, не подчиняясь рассудку.

И Вера, Вера Константиновна, услышала его.

— Так,— сказала она.— В садик мы сегодня не пойдем. Папа приехал.

— Ура! — закричал Володька.

— Ура! — подтвердил Арслан, и они оба уцепились за жесткую шинель Арупа.

## 10

Вот так это случилось.

Он вошел в дом, но это еще ничего не значило.

Он вошел. Чтобы взять сына? Хозяином вошел?

«Что теперь?» — спрашивали глаза Веры.

Что?

«Что я должен делать?» — задавал себе тот же вопрос

Аруп.

Что?

Он открыл свой вещмешок и выложил его содержимое на стол: консервы, тушенку, сахар, сухари, трофейную зажигалку, платок...

— Это для вас,— сказал Аруп.— Мой подарок. Платок наш, сибирский,— и положил платок на ее плечи.— Наш, сибирский,— повторил он.

Пацаны разглядели, что на столе, и это их не заинтересовало.

— А где игрушки? — спросил один.

— Деревянные, — уточнил второй.

Они помнили, что Аруп присылал им с фронта игрушки, которые делал в редкие тихие часы Вася Липачев.

— Вот вам по ножичку и одна игрушка на двоих.

Аруп достал медведя. Деревянного медведя на деревянной дощечке. Под дощечкой на нитке висел деревянный груз. Аруп качнул груз движением руки, и у медведя задвигались передние лапы: вверх-вниз, вверх-вниз.

Нацанов это заинтересовало.

— Это сделал для вас Вася Липачев. Наш стрелок-радист — рядом со мной на той фотографии. Он погиб. Смертью храбрых при разгроме Квантунской армии.

Всего мгновение.

Вася, неугомошный Вася Липачев, погиб во время пыльной бури. Налетел из пустыни буран, пылью и песком закрыло все вокруг, видимость за одну минуту не стало никакой. А приказ получен — вперед, к точке сосредоточения. Танк остановился. Вася Липачев сказал:

— Я пойду вперед с белой рубахой на спине. А вы за мной.

Он и пошел.

И первая вражеская пуля была его.

Он упал и уже не поднялся. За камнем, в десяти шагах от дороги, сидел самурай. Он сделал свое дело и ждал, когда придет его очередь. Его убили. Через полчаса, когда пыльная буря рассеялась и колонны танков снова двинулись вперед. Но Васи Липачева уже не было.

А медведь с подвижными передними лапами остался.

Это мало для целой жизни человека. Он оставил весь мир. Свою деревню, где родился, мать, отца, друзей... Он все оставил. А Аруп вернулся.

## 11

Он вернулся, и соседи Веры пришли разделить их общую радость. Они встречали их вместе с Верой. Первый тост подняли за Победу, потом за здоровье вождя, за Арупа, за светлое будущее детей, за тех, кто не вернулся с войны.

И разошлись.

Аруп спал в горнице, рядом с кроваткой нацанов. Спал крепко, знал — он спит дома, на своей земле, и его не под-

нимут по тревоге. Он проспал до обеда следующего дня. Умылся, мать Веры — сухонькая женщина с печальными глазами — полила ему на руки из кувшина согретой в печи воды и подала чистое полотенце. Поставила на стол домашнего борща, положила рядом хлеб и ложку.

— Ешь, Аруп, а то вчера за разговорами и не успел как следует.

— Спасибо, тетя Паша, — ответил Аруп.

— Да не за что. Ешь на здоровье, пока естся.

— Тетя Паша, — начал, волнуясь, Аруп. — Вы знаете, что у меня никого из родных нет?

— Да знаю уж.

— Я хотел бы... — Аруп запиулся, как мальчишка, не знающий урока.

Тетя Паша сидела напротив него через стол и смотрела, как он ест.

— Говори, Аруп. Что застеснялся? Люди мы не чужие, пойдем.

— Тут вот как. Вы не дали пропасть моему сыну. Всю жизнь об этом буду помнить и благодарить. А сейчас я бы хотел, чтобы он побыл со мною рядом. Можно, я пока поживу у вас?

— Об этом, Аруп, говори с Верой. Она тут у меня всем распоряжается. А пока обдумай все. Спешить не надо — не война. Оглянись. Может, девушка какая приглянется из своих.

— Об этом я и не думаю. У меня сын...

— А ты подумай.

— Спасибо, тетя Паша. Я подумаю.

— Если хочешь размяться, походи поруби дровишек. А нет, полежи, отдохни. За пять лет войны намаялся-то!

— Намаялся. Когда через границу перешли, увидел польские деревни, по Алма-Ате заскучал сильно. Мечтал: вот вернусь — и будем мы вот так сидеть с вами и разговаривать.

— Как же ты мог о разговоре со мной думать, если не знал, не видел меня никогда в жизни?

— А мне Вера про всю вашу семью рассказала в письме. Я же приветы вам всегда передавал.

— Передавал, — согласилась тетя Паша. — Мы сначала от нашего отца писем ждали, а пришла похоронка. Потом от Володьки... Тоже пришла похоронка. Потом от тебя стали ждать...



Говорила все это тетя Паша спокойно и даже равнодушно — перегорела боль.

— Люди-то там, за границей, какие? Зверюки, что ли, раз на нас полезли?

— Поглядеть — такие же. Души у них порченые, вот и полезли.

— А я думала, зверюки, — она поднялась. — Полежу-ка я на печке, ломит что-то всю.

Аруп накиннул шипель, вышел во двор. Ручка у топора шоддыхалась, он закрепил ее. Сараюшко был старенький, дров мало, на зиму не хватит. Запасаться надо, чтобы по снегу потом не лазить... Думал Аруп о хозяйственных делах, а мысли его все время возвращались к Вере. Что скажет она?

Она сказала:

— Живи. Вот комнатка, будешь спать здесь, а мы с пацанами в горнице. Сейчас вымоем тут, приберем. Нам хватало и двух, а эта...

Это была их с Володькой комнатка.

12

Прошел месяц. Аруп устроился работать на Верипу швейную фабрику в строительную бригаду — закладывали новый цех. Набрался Аруп смелости и зашел к секретарю парткома Анне Васильевне. Она узнала его и будто ждала давно.

— Я рада, что ты зашел. Молодец, — сказала она по-матерински. — Ну рассказывай, какие у тебя дела?

— Отвоевался. У вас работаю. Все хорошо, только... не все. Посоветуйте, что делать.

— Говори-говори, я слушаю.

— Ну, с Верой у нас... Припиляли они меня как родного, живу у них. К Мерване на могилу ходил. Понимаете, мы же не виноваты, что их нет, а мы живы. А переступить трудно. И дети, Арслап к Вере как к матери относится. И мне она очень нравится.

— А ты говорил об этом с Верой?

— Нет. В атаку сколько раз ходил, не боялся, а тут...

— Поговори. Она поймет тебя. Цель-то у вас одна — чтобы дети счастливы были, так?

— Так.

— Ну, возьмешь ты Арслапа у матери, женишься на другой.

— Не хочу я на другой и боюсь, что Вера не поймет. А она мне очень нравится. У нее такая душа...

— Вы оба молоды, красивы, работаете. Все счастье в ваших руках теперь. Не бойся. Законы сердца у всех людей одни. Она такая радостная ко мне прибежала, когда ты вернулся.

— Правда?

— Правда.

— Я сегодня же все ей скажу. Двум смертям не бывать, а одной не миновать...

### 13

Из школы, после концерта, мы возвращались с Рошанкой поздно. Светила в чистом небе луна, свежий ветерок с гор разгонял устоявшуюся за день жару, бодрил.

— А где они живут? — спросил я Рошанку.

— Кто?

— Володя с Арсланом.

— А? Они же наши соседи.

— Странно, я никогда их раньше не видел.

— И не увидишь. Если весь век будешь сидеть в своем кабинете.

— Я же не просто так сижу, а работаю.

— Но жизнь-то мимо твоя идет... — сказала Рошан серьезно.

Это уже с чужих слов сказала моя дочка, и она, черт возьми, права. На службе лаборатория, дома кабинет. Не хожу ни в магазин за хлебом, ни в театр, ни к детям в школу — первый раз вот вытащил собственный ребенок, и как будто помолодел я с ней на целый десяток лет.

— А где их дом?

— Да вот же, рядом с нашим. Четырехэтажный. У них трехкомнатная квартира. Детей всего, как и у нас, четверо. И бабушка Паша. Вера Константиновна работает мастером на швейке, а дядя Аруп на стройке... Я была у них.

Позже, когда я ближе познакомился с этой удивительной и в то же время простой семьей и они рассказали мне все, что я написал здесь, я долго не решался спросить их: что же сказал Аруп Вере, когда пришел в тот день домой?

Все же осмелился, задал вопрос. Вера Константиновна рассмеялась:

— У Арупа спросите.

Аруп пил чай и, довольный жизнью, улыбался:

— Знаете, ободренный Анной Васильевной, я как на крыльях летел домой...

Но Вера Константиновна перебила мужа:

— Аруп, мы же договорились не раскрывать семейных секретов.

И оба рассмеялись.

Пусть всегда будет радость в этом доме.

### СВАДЬБА НА ЧУЖБИНЕ

...Так вот, с Харбине. Старый, удивительный город! Не город, а конгломерат. Казалось, люди сюда собрались со всего света, причем у них нашлись причины поселиться именно здесь. В Харбине я впервые увидел русских эмигрантов. Они занимали несколько кварталов — бежавшие из России купцы, чиповники, помещики, а то и так, люди, как говорится, без определенных занятий — мелкие авантюристы, махинаторы, картежные шулера... Кварталы, где они жили, казались мне постройными из декораций: рубленые дома с резными крылечками, кабаки, лавки с «ятами» на вывесках, церковки, разбросанные там и сям, сиротливые, худосочные березки... И все это — рядом с буддийскими пагодами, молельнями, мечетями, рядом с китайскими фанзами, с торговыми павильончиками в кокетливом японском духе, с чайными и магазинчиками, где вместо сплошных стен — решетка из бамбука, и все воздушно, ажурно, пестро, все кричит и соблазняет глаз, как яркая рекламная этикетка...

Однажды в воскресенье мы с Леопидом, моим сослуживцем, взяли увольнительные и отправились на скачки. Не то чтобы мы были завзятыми лошадиниками, скорее так, от нечего делать, да и просто хотелось потолкаться в гуще народа, понаблюдать чужую жизнь. Скачки в Харбине привлекали множество людей, и чем ближе к ипподрому, расположенному на окраине города, тем люднее становились улицы. Кто ехал верхом, кто добирался пешком, кто — на извозчике. Правда, ни русских троек с бубелчиками, ни

колясок, запряженных породистыми рысаками, нам увидеть не довелось. Зато встречались иноходцы с красными ленточками, влетенными в хвосты и гривы; на них важно, с достоинством, восседали дети — маленькие китайчата, дунгане, монголы...

Мы двигались в общем потоке, празднично оживленном, шумном, разноликом. Леонид жадно озирался вокруг. Его покинула обычная сдержанность, он болтал, смеялся, был непривычно возбужден и то и дело открывал в толпе что-нибудь неожиданное, экзотическое, всякий раз бурно радуясь своему открытию.

— Смотри, смотри! — кричал он вдруг, ухватив меня за локоть, и остановился.

К нам, ловко маневрируя между извозчичьими пролетками, приближались легкие дрожки. В дрожках сидела светловолосая девушка, правя серым жеребцом, высоко вскидывавшим голову на гордой, крутой шее. Не то возглас Леонида, не то паша форма привлекли ее внимание, и, поравнявшись с нами, она резко осадил жеребца и остановилась.

— Не хотите ли сесть ко мне, господа-товарищи? — Она дружелюбно и открыто улыбнулась нам.

Леонид перешитительно посмотрел на меня, я, не раздумывая, подтолкнул его в бок и первым вскочил на дрожки, рядом с девушкой. Я хотел перехватить у нее вожжи, но не успел: она тряхнула рукой — и серый жеребец тронул с места, плавно пабирая скорость. До самого ипподрома мы не обменялись ни словом: нашей вознице приходилось внимательно следить, как бы не наехать на кого-нибудь, не зацепить соседнюю повозку, и, надо сказать, правила она искусство. А мы оба уже не столько поглядывали по сторонам, сколько любовались ею — ее тонким станом, чуть по-мальчишески угловатым, ее струящимся по плечам волосами, в которых играл ветер... Лицо у нее было нежное, чистое, как бы пасквозь просвеченное солнцем, на нем резко выделялись темные пушистые брови и густые длиннейшие ресницы.

Звали ее Аффиса: единственно, что удалось нам выяснить по пути на ипподром.

На скачках мы пробыли недолго. Возможно, новаторию, нас просто не очень привлекали бега, а возможно, действовала сама атмосфера: все зрители были страшно возбуждены, всюду заключались пари, спорили о ставках, би-

лись об заклад, и на довольно значительные суммы, какие-то типы шныряли между рядов, цепким, наметанным глазом вылавливая самых азартных, предлагая рискованные сделки... Все это было для нас непривычно и не захватывало, не горячило, а, наоборот, — отталкивало, расхолаживало... И когда Анфиса, от которой мы не отставали ни на шаг, стала собираться домой, мы без сожаления последовали за нею. Кстати, на ипподроме у нее нашлось немало знакомых, она направо и налево раскланивалась, отвечая на приветствия, так что и мы, рядом с нею, волея-певолей оказались в центре внимания, это приятно щекотало наше юношеское самолюбие...

Разумеется, мы не отказывались, когда она предложила довести нас до города. Пожалуй, мы тоже интересовали ее больше, чем скачки, заезды, жокеи... Вернее, не мы сами по себе — скорее страна, которая виделась ей за нами... Всю обратную дорогу она задавала нам вопросы, чаще всего наивные, детские, на них трудно было отвечать всерьез, однако мы подавляли улыбки, чтобы не обидеть Анфису.

— Я слышала, у вас в институтах запрещена литература девятнадцатого века, потому что Пушкин, Лермонтов и Толстой были дворяне?.. А старинные русские танцы — их тоже ведь не разрешают?.. Или европейская музыка — она под запретом?..

Анфиса слушала нас недоверчиво, настороженно, ее широкие брови смыкались на переносице, когда она обдумывала наш очередной ответ. Это нас забавляло. Она непонимающе наблюдала за нами, иногда, сердясь, умолкала, но тут же, не в силах побороть любопытство, задавала новый вопрос. Наконец мы не выдержали и оба расхохотались. Пока мы смеялись, она растерянно покусывала губы, но постепенно наша веселость передалась и ей. Она тоже засмеялась и подхлестнула лошадь.

— Вам смешно, а я много читала о том, как теперь живут в России. Читала все, что могла достать, и знаю... Знаю, например, что вам не дозволяется читать Александра Блока и Сергея Есенина!.. — Она с дерзким торжеством взглянула на нас.

Что мы могли ей ответить?

Кажется, у Леонида первого мелькнула эта мысль:

— Знаете что, приходите к нам в часть в следующее воскресенье. Будет вечер, концерт. Познакомьтесь с ребятами.

танц, поговорите, а заодно увидите, чьи стихи они декламируют, какие песни поют и танцы танцуют... А разрешение для вас мы получим.

Она обрадованно согласилась и тут же позвала нас к себе в гости. Не откладывая — сегодня, сейчас же... Мы переглянулись: увольнение близилось к концу. Заметив наши кислые улыбки, она истолковала их по-своему:

— Извините, господа, я забыла, ведь у вас строгая дисциплина. Вам это запрещается... И многое другое, наверное, запрещается тоже. Например, откровенно беседовать с посторонними, особенно с такими, как я. Вот почему вы мне так отвечали... Вам важнее всего пропаганда!..

Она расхохоталась в свой черед. Глаза ее победно блистали. Ей казалось, она разгадала нас. Но в ее вызывающем смехе была и горечь, которая возникает в душе ребенка, вдруг различившего в чудесном фокусе грубый обман.

— Хорошо, мы придем, — сказал я. — Но не сегодня, а в воскресенье. И уведем вас на концерт.

Теперь она опять смотрела на нас обескураженно; фокус оказался сложнее, чем она предполагала.

— Я пойду, — отозвалась она тихо, — если только родители отпустят.

— Они вам не разрешают знакомиться с советскими людьми?

Она лукаво улыбнулась:

— Вы хотите узнать, какие у меня родители? Но ведь вам, я думаю, все о них известно заранее. Например, что они отъявленные белогвардейцы, колчаковцы и в России у них остались имения и заводы? Так?.. Вы, конечно, так именно и считаете?.. Призайтесь, господа!

Честно говоря, наше «нет» особенной уверенностью не отличалось.

— Вот видите, — с веселым вызовом сказала она, — вам тоже полезно будет с ними познакомиться, и прежде всего — с моим отцом...

Я и теперь отчетливо помню этот момент: помню, как лучились ее огромные, полные озерной синевы глаза, как быстра, тороплива, сбивчива была ее речь и лицо вспыхивало румянцем, и во всем этом проступало робкое, трепетное желание, надежда, смутная, поясная для нее самой, надежда на что-то... Если же говорить о нас с Леонидом,

то — нам было по двадцати с немногим лет, мы провели три суровых года в армейских условиях, и теперь нас томили самые невероятные предчувствия, будоражила юношеская вера в то, что счастье бродит где-то рядом, только протяни руку — и... И вот — перед нами была девушка, наивная, милая, загадочная. Мы оба влюбились в нее — да и могло ли случиться иначе?

Стоило нам, однако, занкнуться об Анфисе в связи с предстоящим концертом, как наше знакомство сделалось известно всем — от командира взвода и чуть ли не до штаба полка.

— Смотрите, не потерять бы вам лычек из-за какой-то эмигрантки! — говорили нам товарищи.

И хотя ныне это может представляться смешным, но и мы с Леонидом на их месте вели бы себя, наверное, точно так же. Эмигрантка... Шутка сказать!.. Что у нее за семья? С чего такой интерес к нам, солдатам? И вообще — какие такие сердечные знакомства на чужой земле, где немало злопыхателей, наших давнишних врагов, которые, понятно, следят за каждым нашим шагом?..

Однако замполит полка вызвал нас к себе, обстоятельно расспросил, выслушал наши объяснения и наконец сказал:

— Так кто же из вас приглашает эту самую... Татьяну?

— Анфису, — поправили мы в один голос. — Мы оба.

— Значит, оба, — повторил он, усмехаясь нашей горячности. — А потом что же, станете стреляться из-за нее на дуэли, как Онегин с Ленским?

Мы приялись уверять, что дуэли не будет, что тут и дело-то совсем в другом, тут не до личных чувств, эта встреча поможет девушке узнать правду о нашей стране...

Подполковник слушал нас прищурясь, понимающе кивая: мол, все так, все верно, только ведь и я тоже был когда-то молод... И в заключение нашей беседы сказал:

— Доложите своему старшине, что я прошу выдать вам парадное обмундирование. И помните: вы — советские люди, солдаты. Надеюсь, все ясно?

— Ясно, товарищ подполковник!

В тот день уже ничто, даже воркотня и придирки старшины, не в силах было испортить нам настроение. Да и старшина... Мало того, что он вынес нам из кантерки парадную форму, — он с важным видом вручил нам банку мясных консервов и строго приказал:

— Перед тем как идти, заправьтесь как положено, чтобы не являться к буржуям в гости на пустой желудок.

— Да мы...

— Точка!.. Я, может, совсем и не о вас забочусь!..

\* \* \*

Дом, где жила Анфиса, окружал высоченный забор, с улицы виднелась только крыша, обитая листовым железом. Рядом с просторными, наглухо закрытыми воротами была калитка, мы постучали. На стук вышел китаец с тонкими усиками и жиденькой бородкой клинышком, наверное, слуга. Он заговорил с нами по-русски и провел во двор.

Дом, который мы не сумели разглядеть с улицы, оказался двухэтажным срубом, сложенным из толстых бревен, с затейливой резьбой по карнизам, вдоль окон и над крыльцом. Внутри было просторно, комнаты светлые, потолки высокие, всюду цветы, полы устланы коврами и дорожками, а в передней, напротив входа, на специальном помосте большой, начищенный до слепящего блеска самовар.

Слуга-китаец провел нас в кабинет хозяина. За низеньким столиком в кресле сидел пожилой человек уверенной, крепкой осанки — отец Анфисы. У него была могучая, с проседью, борода, волосы закрывали лоб и падали до самых плеч; на щеках играл розовый румянец, густые лохматые брови круто уходили вверх, а из-под них прямо на нас смотрели пристальные, чуть нависшие, глаза. Не зная ничего о нем, он показался бы мне здоровым, полным сил русским крестьянином лет пятидесяти. Только одежда и обстановка его кабинета, где смешались предметы русского и азиатского происхождения, да еще разве счеты на столе свидетельствовали о его запятках.

Назвав себя, Пров Афанасьевич спросил, откуда мы родом, и, узнав, что я уйгур, со знанием дела заговорил о жизни и обычаях моих соплеменников. Это меня удивило и расположило к нему: ведь об уйгурах за пределами Средней Азии, Казахстана и Сибиряна редко кто слышал. Он сказал, что это трудолюбивый, искусный в ремесле народ, среди них трудно встретить крестьянина, которому не перешло бы какое-нибудь ремесло по наследству, от дедов и отцов. Я хотел спросить, как ему довелось познакомиться-



ся с уйгурами, но он опередил меня вопросом, родился ли я в СССР или переехал из Спньцзяна. Я понял, что, будучи торговцем, он бывал в Спньцзяне, но едва ли ему известно, что в СССР издавна живет несколько сот тысяч уйгуров.

Пров Афанасьевич, как и его отец, торговал пушниной. Он бывал в Тибете, Индии, Спньцзяне, и, пока мы сидели у него в кабинете, дожидаясь Анфису, он рассказывал нам о своих поездках в эти страны. Во всем, что он говорил, ощущался опытный, умный глаз, меткая наблюдательность и здоровая оценка. Разумеется, мне не терпелось узнать, как он попал из России в Харбин, однако я чувствовал, что такие расспросы ему неприятны. В свою очередь, он ничего не спрашивал у нас о России, как бы намеренно обходя эту тему. Зато речь его часто кружила вокруг Анфисы, видно, многие мысли его и тревога были связаны с нею. Он упомянул, что Анфиса ушла с матерью в церковь. Здесь, сказал он, только и ходить, что в церковь, куда же больше. Да это ведь не для молодой девушки, это нам, старикам, утешение... Он вздохнул при этих словах и замолчал. Но потом, перебарывая себя, снова принялся рассказывать о дальних своих путешествиях. Однако увлечение, с которым он говорил, теперь показалось мне деланным...

Наша беседа оборвалась — вошел слуга и сообщил, что госпожа с дочерью вернулись домой. Пров Афанасьевич спросил его, доложено ли им о гостях.

— Не успел, хозяин, — отвечал китаец. — Госпожи устали и прошли сразу в свои комнаты.

Мы с беспокойством переглянулись.

— Я сам все им скажу, — быстро проговорил Пров Афанасьевич и вышел из кабинета.

Спустя минуту откуда-то из дальней комнаты до нас донеслись оживленные голоса, смех Анфисы и шумная суета. Еще через минуту в кабинет ворвалась сама Анфиса, на ходу поправляя пояс, стягивающий тонкую талию. Прежде я только в кинофильмах на какой-нибудь боярышне видел такую старинную одежду.

Анфиса с жаром принялась выговаривать отцу, который не догадался угостить нас хотя бы чаем, и повела всех в гостиную.

— Нет чтобы сказать спасибо за то, что я постарался не дать гостям соскучиться, — притворно сокрушался отец, обращаясь к нам. — Что прикажешь делать с такой каприз-

ницей?.. Ей не угодишь... Я лучше уж отправлюсь, дочка, по своим делам, а ты тут сама управляйся.

Он, видно, не хотел мешать молодежи, но перед тем, как он вышел, мы с Леонидом сообщили ему, что пришли за Анфисой пригласить ее на концерт. Не разрешит ли он?.. Пров Афанасьевич со вздохом разрешил, потрепал спящую от радости дочь по щеке и простился с нами.

Вечер в части удался как никогда. Возможно, мне казалось так, потому что с нами была Анфиса. После концерта начались танцы, игры, общее веселье пьянило нашу знакомую, зажигая в потемневших зрачках хмельные огоньки. Завзятые полковые танцоры приглашали девушку наперебой, наконец, в заключение вечера, по желанию Анфисы полковой оркестр исполнил мазурку...

Мы с Леонидом проводили ее до самого дома. На прощанье она пригласила нас на вечеринку, которую устраивала ее подруга, и каждого звонко чмокнула в щеку. По дороге в часть мы говорили об Анфисе, про себя размышляя о значении, которое имел этот поцелуй...

И в ту ночь, и после, кажется, не было минуты, чтобы я не думал об этой девушке. Казалось бы, жила она в полном довольстве, здесь родилась, выросла, ее холили родители, у нее было немало друзей и знакомых... Но отчего было в ней что-то тревожно-жалобное, что-то скорбное, словно в тех березках, которые росли в русских кварталах?.. А отец?.. Померещилось мне или в самом деле какая-то затаенная, сокровенная тоска прозвучала в его голосе, когда говорил он, что им, старикам, только одно утешение здесь и осталось, что церковь?.. А дальше?.. Как дальше будет жить Анфиса в своем двухэтажном доме, спрятанном за высоченным забором?.. Я спрашивал себя, но не находил ответа. Да и что мог я ответить, если даже моя собственная жизнь представлялась мне смутно. Меня тянуло к писательству, первые мои стихи печатались в дивизионной газете, товарищи импозовали меня — кто всерьез, кто в шутку — поэтом... Но чем больше я читал, тем больше страшила меня тревожная и влекущая сила — творчество. Было в ней что-то волшебное, могучее и опасное одновременно, она требовала всей жизни, всех помыслов, непрестанной работы... И отпугивала, и — одновременно — манила... Так бывает: размышляя о другом, за-

думываешься и о собственной судьбе и на себя смотришь как бы со стороны, и твоя жизнь наполняется вдруг каким-то особенным смыслом...

Итак, нам представилась возможность попасть на вечеринку, о которой она предупреждала нас. То ли заступничество, точнее, покровительство замполита, то ли впечатленье, которое произвела сама Анфиса на нашего старшину, но на сей раз он беспрекословно, даже охотно выдал нам солдатский талисман, который называется «увольнительной». Только папоследок не удержался, погрозил пальцем: «Смотрите у меня!»

Ждала нас Анфиса с нетерпением. Правда, ее огорчило, что на этот раз мы явились одетыми во все «гражданское»: форма, по ее мнению, шла нам больше. Да и отец Анфисы встревожился, не собираемся ли мы на Родину. Но успокоился, когда мы сказали, что об этом ничего не известно.

Мы заметили, что мать Анфисы и теперь не вышла к нам, видимо, уклонялась от встречи. Позже мы узнали, что она была против наших посещений, вообще против необычного знакомства дочери, наверное, материнское сердце что-то чуяло и пыталось сопротивляться... Однако из-за радушия Прова Афанасьевича мы ни о чем таком не подозревали. Втроем с Анфисой мы уселись на уже известные нам дрожки, запряженные серым жеребцом, и направились в ту часть Харбина, которую называли «Татарской слободкой».

Да, здесь, в Харбине, находилась, оказывается, целая колония татар, и подруга Анфисы тоже была татаркой. Отец ее, как и Пров Афанасьевич, был купцом, постоянно разъезжал по соседним городам, случалось, отиравался и в другие страны, скупая и продавая кожу. Дом, в который мы попали, включая и обстановку и внутреннее убранство, не отличался от местных русских домов, так что Леонид шепнул мне, что хозяева его, наверное, татары крепенькие. Однако хозяева и большинство гостей помнили свой язык и, когда Анфиса нас познакомила, ко мне обращались — кто по-русски, кто по-татарски.

Мы расселись за длинным столом. Компания собралась большая, шумная, молодая, но я вскоре почувствовал себя тут одиноким, лишним. Такое же ощущение возникло, наверное, и у Леонида. Но он сидел рядом с Анфисой, это искупало все остальное. То и дело он поклонялся, шептал

ей что-то в розовое ушко, и оба смеялись. У них, помимо общего, застольного разговора, велась своя беседа, понятная им двоим, и в этой беседе, помимо слов, участвовали взгляды, легкие, как бы нечаянные прикосновения, неприметные знаки внимания и взаимной заботы... Я замечал все. И заметил, какими глазами смотрела она на Леонида, когда тот, перехватив у какого-то парня гармонию, играл «Славное море, священный Байкал»... Чего бы я не отдал, чтобы и на меня так смотрели? А в руках Леонида гармонь уже сменилась гитарой, он аккомпанировал другим и сам спел несколько задушевных старинных романсов. Анфиса не отрывала от него восторженных глаз.

Но — о мой честный, мой благородный друг!.. Заметив, должно быть, мое незавидное положение, он ударил по струнам и заиграл «цыганочку». Он давал мне шанс блеснуть перед Анфисой, он щедро дарил мне возможность обратить на себя ее взгляды, которые теперь предназначались ему одному!.. Он даже кивнул мне: а ну, мол, вставай, да не ударь лицом в грязь! Но не знаю, что со мной случилось: я вышел на середину комнаты, вяло прошелся по кругу деревянными, чужими ногами и вернулся на прежнее место, проклиная себя за робость.

Правда, все сделали вид, что не заметили мою неловкость, мне кричали «браво», и Анфиса, как и несколько дней назад, поцеловала нас в щеки — сначала меня, потом, чуть смутясь, Леонида... Но вечер для меня был окончательно испорчен.

Молодые люди приглашали девушек, танцевали, кружились по комнате, выделывая замысловатые па, каких я и видом не видывал. И все так свободно, легко, с таким изяществом, что тут ощущалась многолетняя выучка. Да и танцы были разные, даже названия новых я слышал впервые... «Э,— думалось мне,— куда уж мне тягаться! Небось они все последние четыре года только и знали, что брать уроки у танцмейстеров... — И вспоминал о Монголии. — Ничего,— думал я,— мы еще наверстаем, а вот вы...»

В промежутках между танцами мужчины спорили о недавних скачках, обсуждали, кто победит на ближайших бегах, девушки тоже болтали о всяких пустяках, и каждая кичилась успехами и богатством своих родителей... Все это было для меня чуждо, да и Анфисе, показалось мне, скучно здесь. Леонид, стоя в углу с каким-то юношей в старомодном сюртуке, с усмешкой слушал, как тот повторял:

— Мы единственные истинные дворяне на весь Харбин...

Я направился к Леониду — напомнить, что нам пора, но меня остановил молодой человек с красивым, холеным лицом и надменпо-гопкими губами.

— Говорят, у вас в Советской России на всех языках читают одного Максима Горького? — спросил он, мешая татарские и казахские слова.

— А у вас? — спросил я, стараясь сдержаться.

— А у нас можно читать все!..

— Тогда вам, наверное, хорошо известны стихи Абдуллы Тукая или Мажита Гафури?..

Мой собеседник замялся.

— Или вы не слышали этих имен?..

— Мой отец знает и Гафури, и Тукая, но говорит, что эти босяки не поэты, а красные агитаторы... Зато я читал стихи господина Хади Тахташа...

Я не стал спорить, боясь наговорить лишнего, все-таки мы были в гостях... Но когда мы втроем собрались уходить, Рафик — его так, помнится, звали — спросил у меня, холодно улыбаясь:

— Вы, вероятно, вскоре отправляетесь домой?..

Я ответил ему строкой из Тукая:

— «Наш путь — домой. А ваша где дорога?..»

Потом я пожалел, что ответил так резко. Но в ту минуту я был слишком зол...

На обратном пути Анфиса заставляла меня перевести целиком стихотворение Тукая, которое мне пришлось на память в споре. Кое-как я справился с этим делом, не без помощи Леонида и самой Анфисы, — они помогли мне подобрать нужные слова. Ей особенно понравилось то место, где поэт с гневными упреками обращается к своим сородичам, бежавшим после революции в Турцию — спасать капиталы... Она попросила меня повторить эти строфы раза три. Потом смолкла. И пока мы ехали по пустынным в этот час улицам Харбина, она не проронила ни слова и сидела притихнув, присмирив, безвольно уронив руки на колени, уйдя в себя...

Нам оставалась еще добрая половина дороги, когда она вдруг встрепетулась, отобрала у меня вожжи и резко приказала:

— Слезайте, дальше поеду я одна.

Растерянные, не зная, то ли обижаться, то ли снисхо-

дительно перевести ее каприз, обратив его в шутку, мы соскочили на мостовую. Она не повернула к нам головы, даже не взглянула на нас. Теперь она сидела в дрожках прямо, чересчур прямо, гордо откинув голову назад, отчужденная, даже враждебная... Что случилось?.. Мы оба ничего не понимали.

Она с силой тряхнула вожжами, дрожки рванулись вперед. Но, не отъехав и полсотни шагов, снова остановилась. Мы переглянулись, Леонид первым направился к Анфисе.

Все так же прямо, не сгибая шеи, сидела она, глядя перед собой, — и плакала.

— Возьмите меня с собой, — сказала она тихо. — Уезжайте... Что хотите сделайте, только не оставляйте. Я не могу здесь больше...

В голосе ее слышались мольба, тоска, отчаяние — все сразу. Леонид бережно взял ее за руку, Анфиса покорно выпустила вожжи. Не помню, что мы с моим другом говорили в тот момент, — все произошло так внезапно...

— Я знаю, скоро вас тут не будет, — продолжала она. — Вы пришли — и вернетесь в Россию... А я... Помогите мне, не оставляйте меня!.. Скажите, что вы на мне женитесь, тогда мне разрешат... Мне бы только на ту сторону границы!..

Я крепко стиснул ее маленькую руку в своих ладонях. Сердце у меня колотилось, вот-вот вырвется из груди. «А если и вправду, — подумал я, — и вправду... Если я увезу тебя, чтобы никогда не расставаться?.. Сейчас я скажу — что она ответит мне?.. Или она ждет, чтобы это сказал не я, а...» Слова застряли у меня в горле. Я увидел только, как Леонид рванулся к ней, обнял, и она доверчиво спикла у него на плече.

— Мы уедем вместе, Анфиса... Вместе... Я увезу тебя!..

В ту же секунду где-то раздалось конское ржание, серый жеребец тронулся, увлекая за собой дрожки, Анфиса, отпрянув от Леонида, едва успела ухватиться за железные поручни. Еще через секунду она исчезла в пролете улицы, только цокот копыт, замирая, доносился из темноты...

Засунув руки поглубже в карманы, я стоял, глядя в холодное осеннее небо. Мне не хотелось, чтобы в тот миг мой друг видел мое лицо. Я смотрел на звезды, мерцавшие над моей головой, — казалось, они утратили привычную но-

подвижность, сорвались с положенных мест и кружатся огненным вихрем.

Леонид ликовал. Он подхватил меня, вскинул вверх и пару раз подбросил в воздухе...

Потом мы отправились в свою часть. Я не хотел, чтобы нашу дружбу раскололи обида и зависть. «Все, что случилось, правильно, — сказал я Леониду. — Да это не главное. Главное — она любит тебя и должна уехать с тобой. Теперь надо только подумать, как повернуть на свою сторону начальство...»

— Кто же из вас двоих пришелся по душе госпоже эмигрантке? — встретил нас старшина, когда мы явились к нему доложить о возвращении.

Леонид промолчал, пришлось мне ответить за него.

— Так-так, — сказал старшина, выразительно усмеаясь. — И что же вы намерены делать дальше?

— Дальше — свадьба, — сказал я. — Потом они вместе вернутся на Родину.

— Ого! — старшина не знал, верить или не верить моему вполне серьезному тону, и на всякий случай полез в карман за кисетом. — Что, вы уже окончательно договорились?..

Леонид кивнул.

Я сказал, что теперь требуется обратиться по инстанции за разрешением — случай ведь особенный, а откладывать нельзя. Так что, если старшина разрешает, сержант Жигалов...

Старшина обещал, что сам доложит обо всем командиру роты.

— А пока никому ни слова, — добавил он. — Отправляйтесь по своим местам, отсыпайтесь, а завтра в парад, натрулями по городу.

Утром мы с Леонидом снова подошли к старшине.

— Ты-то зачем здесь? — сурово встретил меня старшина. — Я вызывал Жигалова!..

Мне показалось, он чем-то раздосадован и рад любому поводу сорвать злость.

Я промолчал, но не ушел. Впрочем, старшина больше на этом и не настаивал.

— Плохо дело, — сказал он хмуро. — Командир роты заявил, что он сам тут ничем помочь не может. Он ведь старый холостяк и на такие вещи смотрит как на балов-

ство. Говорит: «Что, ему в Советском Союзе невест мало? Да и вообще — нечего паялыться на какую-то купчиху!»

Мы оба обескураженно молчали.

— И правильно говорит капитан! — закричал старшина, буравя Леонида глазами. — С бухты-баракхты такие дела не делаются!.. Ишь ты, неделю знакомы — и, пожалуйста, свадьба!.. Да еще с кем?.. Никакой свадьбы — и точка!

— Никаких точек, — тихо, но упрямо выдавил Леонид. — Я сам обращусь к замполиту. Он поймет. Здесь не шутки, а любовь и, если хотите, человеческая жизнь...

— У солдата одна любовь — винтовка!.. Вот дождешься демобилизации, тогда и крути себе любовь!..

— Тогда поздно будет, старшина, — по-прежнему серьезно и негромко произнес Леонид. — Я тогда, может, как ваш комроты, навсегда холостяком останусь и сам другим жизнь буду портить.

Видно, в словах и голосе Леонида прозвучало что-то такое, отчего старшина притих и только удивленно заморгал.

— Да я что же... Я, хлопцы, все понимаю. Я бы рад... Да слово командира — закон для подчиненного, сами устав изучали... Я было начал, так, мол, и так, товарищ капитан, а он не слушает... Что ж делать... — Ему и в самом деле хотелось помочь Леониду, но как — он не знал.

Оставалась единственная надежда — замполит полка. Что подумает Анфиса, которой все кажется куда проще, чем на самом деле? Каково ей после нашего разговора? Поняла ли она, что Леонид не шутил?.. Если только она сама... не шутила?..

Мы уже несколько часов патрулировали в своем районе. Город погрузился в сумерки, зато яркими огнями зажглись окна маленьких ресторанчиков и закусточных. На улице, где мы патрулировали, находилось несколько таких заведений, их содержали почти одни дунгане. В самом оживленном месте располагался большой ресторан, его владельцем был шанхайский мильионер. Здесь подавали изысканные блюда французской кухни, дорогие вина. Всякий раз, мивуя его широко распахнутые двери, из которых доносились звуки оркестра, мы замедляли шаги, а руки сами тянулись в карманы: денег у нас



было много, но где и на что их тратить солдату?.. Леонид в таких случаях начинал рассказывать о своей довоенной жизни в Ленинграде, о ресторанах на Невском, где якобы он проводил чуть ли не все вечера, и рассказывал так живо, с такими подробностями, что мне и в голову не приходило заподозрить его в чрезмерном воображении...

На этот раз, однако, мы равнодушно миновали ресторан. Леонид был замкнут, хмур, казалось, его угнетало и раздражало чье-то беззаботное веселье. Поблизости раскинулся русский квартал, который тоже патрулировали солдаты из нашей части. «Что бы стоило им поменяться с нами,— подумал я.— Тут ведь недалеко и до Анфисы...» Та же мысль мучила, наверное, и моего друга.

Но не успел я подумать об этом, как мы столкнулись нос к носу с Петровым и Нурланом Каюповым, сержантами нашего батальона.

— А мы только что видели вашу «эмигрантку», — подмигнул Петров.

— Где?

— Там, — небрежно махнул он в сторону русского квартала. — Такая симпатичная, подошла и говорит: «Нельзя ли с вами прогуляться?»

— Врешь! — выдавил Леонид, подступая к Петрову и беря его за ремень.

— Ну, ну, шуток не понимаешь, — рассмеялся Петров. — Она про вас спрашивала, вас искала...

— А ты?

— А что я?.. Сказал, что увижу — передам... Откуда же мне знать, что мы встретимся!..

Леонид ругнулся.

— В какую хоть она сторону повернула?

Но где ее было теперь искать! Мы прошли по улице, взглядываясь в прохожих, но все зря. Оставалось дожидаться воскресенья.

Однако нам повезло: мы увидели Анфису на другой день, вечером, когда снова патрулировали по городу. Смеркалось, легкий — первый в ту зиму — снежок вился в воздухе, потом внезапно повалили густые лохматые хлопья, и спустя какой-нибудь час Харбин стало не узнавать — таким он сделался белым, нарядным, словно неожиданно наступил праздник. Многоцветными яркими фонариками светились заснеженные дома, в воздухе потянуло смолистым печным дымком. Дойдя до границы

своего патрульного участка, мы заметили на снегу следы необычайной величины.

— Похоже, здесь проходил Алпамыс,— предположил Леонид.

Алпамысом называли мы Нурлана Каюпова, который носил сапоги сорок шестого размера. И точно: вскоре мы заметили на некотором расстоянии три фигуры, одна из них отличалась огромным ростом,— оказалось, это Алпамыс... И Петров, разумеется, был рядом с ним. А третья!.. Снег и сумерки заставили меня предположить, что это начальник караула, который обходил патрулей с проверкой. Но Леонид сразу признал Анфису и бросился навстречу...

Она, казалось, еще сама себе не верила, что наконец отыскала пас.

— Когда я объяснила все отцу, он... Я думала, он рассердится, скажет, что запрещает и куда меня не отпустит!.. А он... Он поцеловал меня в голову и заплакал. И сказал: «Пускай хоть ты, дочка, найдешь свое счастье...»

Она выпалила все это залпом, сияя от радости, похожая на ребенка, который спешит поделиться своей радостью с другими, считая, что и у них нет препятствий к тому, чтобы и самим ощутить ту же беспредельную радость. Но Леонид молчал. И на какой-то миг ее лицо стало вдруг испуганным, страх промелькнул в ее глазах.

«Или ты... Или ты передумал?..» — хотела она спросить, но губы ее только шевельнулись, впрочем, по движению их можно догадаться, о чем боялась она спросить вслух...

Мы с Алпамысом отошли в сторонку.

А дальше?.. Дальше мне остается рассказать совсем немного. В воскресенье мы с Леонидом получили заветную увольнительную, однако, выходя из казармы, я впервые ощутил себя «третьим лишним». «Теперь-то я им за чем?» — подумал я. Вероятно, мой друг в глубине души считал то же самое, но из дружеской деликатности, конечно, никогда бы не признался в этом.

Но меня выручила сама обстановка. На дорожке перед казармой мы увидели командира роты, окруженного взводными. При нашем приближении все они почему-то ваулыбались, а когда мы подошли, стали поздравлять Леонида. С чем?.. Мой друг явно растерялся, подозревая ка-

кую-то шутку. Но командир роты не думал шутить. Он вдруг посерьезнел, отрывисто скомандовал: «Смирно!» — и, вынув из кармана кителя какую-то бумагу, развернул ее и громко, тщательно разделяя слова, прочел:

— «Приказ № 87. Сержанта 25-го мотострелкового полка, первой роты третьего батальона Леонида Ивановича Жигалова демобилизовать досрочно. Кроме дорожных расходов, выдать ему месячное довольствие из расчета на двух человек. Командир дивизии генерал-майор Попов».

Офицеры еще раз поздравили Леонида и оставили нас наедине со старшиной.

— Точка, Жигалов, — сказал старшина. — Получается, я был прав, когда говорил тебе: вот она, настоящая русская девушка! — Ничего такого, пожалуй, он раньше не говорил, но какое это имело теперь значение? — И сама, сама всего добилась, чертовка! Явилась прямо к замполиту, да еще вместе с отцом...

## ЧУЖОЙ

С ним я познакомился в Чойбалсане, точнее, даже в его пригородах... Раньше этот город назывался Баян-Тюмен, стоит он недалеко от советско-монгольской границы...

До Чойбалсана тянется пормальная железная дорога, по которой тяжело и мощно мчатся товарные составы, комфортабельные пассажирские поезда, рассекая тугой теплый воздух монгольских степей. А дальше — на юг Монголии — убегает узкоколейка, по которой сплужают проворные «кукушки».

На земле бушевала война и еще не было видно конца этой войне, и потому мы, воябранцы, с молчаливым удивлением вступили на землю загадочной и неведомой нам Монголии. И еще больше удивились мы тому, что там, вблизи Чойбалсана, нам приказали вырыть противотанковый ров.

Монголия была верным другом нашей страны, а до Япоии или Маньчжурии от Чойбалсана — тысячи километров, и мы были уверены, что этот ров нам велели копать просто в учебных целях и для закалки, ведь мы только-только надели солдатскую форму. Но для такой без-

обидной цели нормы земляных работ были слишком велики, а требования командиров очень жестки. И земля Монголии, на которой стоял изкорослый, сонный Чойбалсан, была каменно-твердой и желтой, как степная трава в разгар лета.

А вокруг только просыпалась весна. К земле косо летели холодные долгие дожди; мы жили в палатках из тонкого брезента защитного цвета, питались под открытым небом у новеньких походных кухонь, которые только на наших глазах начинали чернеть, обретая бывалый вид. Так что и на работе и «дома» мы промокали, мерзли. И каждый из нас страдал, осиливая непривычную, казавшуюся нам надрывной работу, при любом движении чувствовал свое тело, переполненное усталостью, и особенно спину, простуженную и опухшую от бесконечных уколов — то против чумы, то против холеры, то против еще каких-то многочисленных напастей.

Моим напарником оказался Ашим Сеитов — парень необычайно выносливый, сообразительный и молчаливый. Был он невысок, крут в плечах, и его лицо, цвета молодой меди, всегда оставалось неподвижным и холодным. Никогда Ашим не жаловался и не радовался. Рядом с ним я выглядел мягкотелым, хрупким, полным сомнений, и потому я проникся к этому парню сначала уважением, а потом и угодливой покорностью, как к человеку, от которого целиком и полностью зависела моя жизнь. Подражая Ашиму, я старался только работать и молчать.

И все же один раз Ашим вышел из себя.

Во время нашего отсутствия соседи по земляным работам взяли лопату Ашима и печально разбили ушко для черенка. Ашим потребовал от соседей целую лопату взамен своей поломанной. Те рассмеялись ему в лицо, а один из них даже оттолкнул Ашима... И тут Ашим молниеносно взмахнул два раза ребром ладони, и здоровенные парни, еще секунду назад смеявшиеся Ашиму в лицо, осели на дно рва. Ашим невозмутимо, по-хозяйски выбрал себе лучшую лопату и как ни в чем не бывало приступил к работе.

Парни через несколько минут пришли в себя, поднялись с земли, потирая рубцы, вздувшиеся на шеех после ударов Ашима, и, косясь на него, смиренно начали копать...

Через месяц мы расстались с Ашимом, а осенью опять сошлись в одной караульной роте, уже в другом монголь-

ском городе — Егодзер-хите. За лето противотанковый ров протянулся и сюда.

В один из жарких осенних дней к месту нашей «обороны» подъехал верхом комдив в сопровождении офицеров. Один из них вел в поводу незаседланного жеребца гнедой масти. Скоро мы узнали, что жеребца почему-то звали Тузиком, что был он трофейный и строптивого нрава: ни секунды не стоял па месте, играл, взбрыкивал, норовил вырваться, так что о седле и говорить не приходилось.

Я заметил, что, увидев Тузика, наш Ашим разволновался, он пристально смотрел на жеребца, потом бросил работу и вылез из рва. Вытерев руки о зад, Ашим уже, явно волнуясь, направился к жеребцу. Наш комбат, только что отрапортовавший комдиву, заметил, что Ашим без разрешения приближается к группе офицеров, и хотел было окликнуть его, но тут на Ашима обратил внимание комдив.

— Что, солдат, нравится жеребец? Узнаешь хорошего коня?

Ашим, видно, забыл от волнения, кто его спрашивает, он совсем по-граждански кивнул и подошел к Тузику, протянул руку к поводу... Жеребец своенравно выгнул шею и вздыбился. Комбат проворно отскочил в сторону и закричал на Ашима. Все во главе с комдивом рассмеялись.

Ашим опять приблизился исподволь к Тузику, неожиданно он схватил повод у самой его морды и повис на нем.

— Разрешите объездить его? — обратился он к комдиву.

— А что, тебе приходилось ездить па таких дикарях?

Ашим снисходительно улыбнулся.

— Да что вы, товарищ генерал, какой он дикарь?! Он сто раз объезженный, — сказал Ашим, показывая па белую шерсть на холке жеребца. — Просто он немного отвык от седла да еще с жиру бесится.

Комдив одобрительно посмотрел на Ашима.

— Верно говоришь. Но выездить его надо по-кавалерийски... Хотя давай, бери его к себе па учебу. Ты казах или киргиз?

— Киргиз, — соврал Ашим. Комдив мог не знать, что

уйгуры не хуже управляются с лошадьми и могут объездить любого коня, и Ашим боялся, что генерал переменит свое решение.

Ашим попросил всех отойти подальше, полностью прибрал повод и, улучив миг, вскочил на Тузика. Жеребец встал на дыбы, закрутился на одном месте, и в какую-то секунду я почувствовал, что вот-вот он намеренно повалится на спину, чтобы освободиться от седока. Но Ашим был начеку, каким-то образом ему удалось поднять жеребца в галоп, и скоро они скрылись из виду. Генерал поднес к глазам бинокль и восхищенно сказал:

— Настоящий джигит. Оп из этого Тузика сделает человека!

Мы встретили Ашима чуть ли не аплодисментами. Было видно, что прыти Тузику он заметно поубавил.

— Как думаешь, Сейтов, уморил ты его или еще нет? — спросил генерал, уже знавший фамилию Ашима.

— Никак нет, товарищ генерал, не уморил! — ответил возбужденный скачкой Ашим. — Для него это мелочи, только сразу нельзя долго гонять, жир может расплавиться...

Некоторые рассмеялись, услышав, как Ашим объясняет комдиву, но многие из нас поняли его правильно: разнеженные, нетренированные кони при резкой нагрузке часто не выдерживают.

Комдив тут же спросил Ашима, не желает ли он быть у него коневодом и заодно заниматься с Тузиком. Ашим, еще не совсем усвоив армейскую субординацию, вопросительно посмотрел на своего непосредственного начальника — командира роты: как, мол, отпустите меня к генералу? Ротный смутился и поспешно сказал:

— Рядовой Сейтов, выполняйте приказ товарища генерала!

Заручившись разрешением своего командира роты, Ашим решил, что теперь ничто не мешает ему согласиться на предложение комдива, и он расцвел, как ребенок.

— Да я, товарищ генерал!.. Я вам из этого Тузика по копы — птицу сделаю!

Так мой молчаливый и диковатый напарник по работе вызвал зависть и восхищение всех новобранцев и уехал прямо в свите генерала на сказочно красивом Тузике.

И еще раз встретились мы в Егодзер-хите, но уже при более печальных для Ашима обстоятельствах.

Он вернулся в нашу караульную часть на следующее лето, отсидев десять суток на гауптвахте. Оказывается, все это время он только и занимался тем, что выезжал и холил генеральского Тузика.

И в один прекрасный день, в наказание за все изурительные скачки и прочие крайности, Тузик опозорил Ашима. Когда тот в жаркий полдень купал жеребца в озере неподалеку от гарнизона, Тузик дождался, пока зловредный хозяин сядет ему на холку, и умчал Ашима гоголого в военный городок, галопом прошел по главной улице Егодзер-хита, а потом подвез его прямо к квартире комдива...

После гауптвахты Ашим стал еще более замкнутым и угрюмым. О подробностях его жизни в приближенных генерала мы не смели спрашивать и разузнали все окольными путями. А Сеитов, казалось, только и жил воспоминаниями о своем необычном взлете и позорном падении.

Минуло ветреное монгольское лето, опять потянулась долгая осень с дождями, грязью, колкой порошей по почам. Наш взвод выставили за гарнизон в заградительный пост, и мы поочередно парами дежурили у двух землянок. В одной жили солдаты и офицеры, в другой хранились боеприпасы.

В тот вечер на вспухшую, пабрякшую дождевой водой землю лег первый снег. Холодный ветер быстро сбил его в ледяную корку. Ночь была черна, и оставалось надеяться только на слух. Подходящие из степи машины мы останавливали световым сигналом вдалеке от землянок, вызывали начальника караула лейтенанта Зыкова и только после тщательной проверки пропускали эти машины в расположение гарнизона.

Как только мы с Ашимом заступили на пост, из тьмы раздался странный шорох и кто-то шумно вздохнул. Я подошел к Ашиму поближе, чтобы спросить его — слышал ли он что-нибудь, но Ашим уже держал винтовку у плеча и целился в ту сторону, откуда с ветром прилетел тяжкий вздох. Так стояли мы напрягшись, пока наконец звук не повторился, теперь гораздо ближе, прямо против нас. Ашим дважды спросил полусшепотом: «Стоить! Кто идет?» — затем почему-то выбежал вперед на несколько шагов и

застрелил кого-то в упор. Немедленно из землянки выскочили с фонарями паша. Впереди бежал лейтенант Зыков и растерянно кричал: «Почему стрельба?! Спокойно, спокойно, товарищи!..»

Застреленным в упор оказался Тузик. Это он, несмотря на путы, терпеливо шел к Ашиму, вздыхая, видя его своими всевидящими глазами...

До самого рассвета я то и дело подходил к жеребцу и искал в его точеном и сильном теле признаки жизни, думая о том, что будет завтра, как генерал примет весть о том, что его любимый конь убит именно Ашимом Сеитовым!

Ашим за всю смену не сделал лишнего шага, он молчал, воровато покуривал в рукав и ждал, когда его смеют, чтобы уйти в теплую землянку и безмятежно завалиться спать.

Утром приехал генерал. Он мельком взглянул на жеребца, потом долго и внимательно посмотрел в глаза Ашиму, играя желваками. Ашим стоял перед генералом, и лицо его было по-прежнему неподвижным и холодным. Лейтенант Зыков доложил, что Сеитов действовал в полном соответствии с уставом караульной службы. Генерал еще раз скользнул взглядом по лицу Ашима, опустил голову и, как старый солдат, для которого служба была превыше всего, объявил Ашиму Сеитову благодарность. А на вечернем разводе лейтенант Зыков, довольный тем, что сам командир отметил его подчиненного, поставил Ашима Сеитова нам в пример...

Однообразная служба без новостей и каких-либо перемен, бесконечная монгольская степь, горбатая низкими сопками — вся та жизнь казалась мне застывшей, вечной. Дни сменяли друг друга, мы размеренно, монотонно несли службу, и это никак не совмещалось с моими представлениями о военном времени, с самым зловещим духом войны. Но ничего не поделаешь, служба есть служба — делай то, что тебе приказывают. Все остальное — лишнее.

Единственным развлечением для некоторых солдат нашей части была охота на сайгаков. Остальные довольствовались обильной едой после такой охоты и с завистью смотрели на счастливицков, возбужденные рассказы которых слушал даже командир заградотряда капитан Петров.

Чаще других на такой охоте бывали лейтенант Зыков и Ашим Сеитов. Мы все удивлялись тому, что лейтенант



выбрал в напарники именно Ашима. Стрелял он не лучше нас, а компаньоном был известно каким. Наверное, потому, что он аккуратный и такой же немногословный, как лейтенант,— думал я, стараясь быть справедливым, но у меня это плохо получалось. Ашим ведь дурак дураком, читать ничего не хочет, ничто ему не интересно, живет как крот в своей норе, в одиночку грызет сухари и молчит. Даже писем домой не пишет. Особенно в последнее время я начал чувствовать к Ашиму холодную отчужденность, поняв, что внутренне он никогда не был близок мне и не хотел этого. В довершение всего я страстно завидовал Ашиму как напарнику лейтенанта в охоте. Я понимал толк в оружии, сам умел и любил охотиться, и было обидно, что мое умение и охотничья страсть никого не интересовали.

Желание оказаться на охоте стало настолько велико, что я незаметно для самого себя начал заискивать перед лейтенантом и даже перед этим Ашимом. Вроде намекая на что-то, я рассказывал им о своем отце, действительно опытным охотнике, выболтал все охотничьи байки, которые были мне известны, часто повторял вроде между прочим, что могу запросто нести двух-трех сайгаков.

Наши стрелки охотно слушали мои рассказы, но дальше этого дело не шло. И вдруг лейтенанта отозвали в Егдзер-хит, в расположение дивизии, и меня назначили напарником Ашима.

К моему удивлению, едва мы вышли за расположение части, Ашим оживился, охотно заговорил... Не умолкая, он вспоминал свое детство, рассказывал об отце... Почувствовав какой-то тайный смысл в словах Ашима, я насторожился, а он, всегда такой осмотрительный, вдруг пустился в воспоминания о Кульдже, говорил о скачках, о религиозных праздниках, ночных маскарадах... Рассказывать он, оказывается, умел, и скоро я певольно оказался в плену этого краспоречивого «молчуна» — я готов был выполнить его любое указание на предстоящей охоте, так на меня подействовали его экзотические рассказы.

В полдень мы передохнули, и Ашим опять продолжил наш путь, уже казавшийся мне странным. Я осторожно спросил Ашима, неужели сайгаки держатся именно у самой границы? Ашим несколько нарочито рассмеялся:

— Что, устал? А трепался: я, мол, охотник!.. До границы еще топать и топать, а сайга держится во-он за теми сонками...

Бивокля у нас не было, зато в части нас снабдили винтовками с оптическими прицелами. Ашим быстро шел по известному ему пути, курил на ходу «Беломор». Мне он напрос почему-то не предлагал, и я, поспевая за ним, скручивал на ходу козынь ножки, рассыпая табак.

До сопки мы шли теперь молча. Ашим все ускорял шаги, и я думал, что он входит в охотничий азарт. Наверное, вот-вот нам откроются табуны сайгаков — и мы пустим в ход винтовки.

— Останешься здесь, — вдруг властно сказал Ашим, не глядя на меня. — Лежи и не шевелись. Я обойду сопки, пугну сайгаков на тебя. Вот тогда и пали по ним...

— Хорошо! — быстро согласился я и без лишних расспросов упал на землю и затаился. Ашим огляделся по сторонам и почти бегом направился к сопкам.

Я прождал сайгаков два часа. В полной тишине солнце побагровело и легло на горизонт. Над каменистой равниной заструился ветер, мало-помалу остужая раскаленную землю, разпоя прятный запах вечерней полыни. Скоро и суслики встали столбиками над своими порами, и только их резкий свист нарушал тишину безмолвной степи...

Окончательно отчаявшись, я встал на ноги и растерянно огляделся. Воздух уже посипел, на западе багрово догорал закат. Вдруг меня охватило острое одиночество и стало жутко и тоскливо. Почерневшие сопки горбились вокруг и с каждой минутой отдалялись в нескончаемое пространство земли и воздуха. Я стоял в нерешительности и не знал, что мне делать: искать Ашима или идти обратно в часть. Наконец я решил, что возвращаться в отряд без Ашима мне никак нельзя. Во-первых, без него я обязательно сойду с пути и потеряюсь в этой безводной степи, а во-вторых, если я даже и доберусь к пашим, как я объясню исчезновение Ашима?

Я медленно поднялся на вершину той сопки, за которой скрылся мой напарник, посмотрел в темнеющую даль и хотел было крикнуть, выстрелить, по тут все опасения для разом вернулись ко мне, я понял, что мы паверняка дошли до самой границы, и невольно присел. Не знаю, сколько просидел я так, прислушиваясь к звукам ночной степи, шелесту крыльев неведомых ночных птиц. Я уже не верил что-то противоестественное и потому не очень-то боялся. Однако то и дело я вглядывался в ночь, помня проволков монгольских степей. Как сын старого охотника, как

солдат, я верил своему оружию, верил в его неотвратимую силу и потому просидел на теплой земле всю ночь не сомкнув глаз, сжимая в руках винтовку с оптическим прицелом, выданную мне для охоты на сайгаков. Что ждет меня на следующий день, я еще не знал...

На рассвете я прошел еще с километр в том направлении, куда скрылся Ашим, и убедился, что он действительно привел меня к самой границе: в оптический прицел я разглядел двух верховых пограничников. Скоро они остановились, спешились и, став на колени, начали осматривать контрольно-следовую полосу. Вскоре к ним подъехала целая группа пограничников... Тут уж я скатился с сопки и, приседая, заспешил в сторону пашей части.

Солнце уже выкатилось в зенит, от земли заструился горячий воздух. Фляжка давно была пуста, винтовка словно налилась свинцом, подсумок гнул меня кпизу. Я мечтал до захода солнца добраться до расположения части и первым делом вцепиться по морде Ашиму, если он ушел без меня или даже если его доставили наши друзья — монгольские пограничники. В любом случае он должен был беспокоиться обо мне, и если бы он это сделал, меня давно хватились бы и нашли.

Я не знал, что, потерявшись в степи, человек обязательно идет по кругу, и к вечеру, окончательно измотанный, я вернулся к границе и наткнулся на тот же пограничный наряд...

Ашим исчез бесследно. Сколько оскорбительных сомнений, догадок и обвинений я испытал из-за этого мерзавца! Нет надобности пересказывать все, что выпало на мою долю, скажу только о самом главном — лишь война с Японией и вступление наших войск на территорию Внутренней Монголии прояснили эту странную и злополучную историю.

Наша часть в составе Плиевского соединения успешно перешла горы Большого Хингана, с боями освободила Далайнор, Анзянтун и Хобяйку. Штаб соединения расквартировался в большом городе — Жэха. Я опять попал в караульную роту и часто патрулировал по городу.

Однажды меня снова вызвали в особый отдел дивизии и сообщили, что меня переводят в другую часть. Причину перевода мне не сказали, но я догадывался, что она чрезвычай-

чайна, ибо кому мог понадобиться разжалованный сержант, не имевший ни особых ратных заслуг, ни какой-либо редкой специальности.

Едва я прибыл в новую часть, как меня вызвал ни больше ни меньше как начальник штаба дивизии. У него в кабинете я увидел капитана, которого знал еще по Егодзер-хиту. Полковник с успокаивающей улыбкой посмотрел на меня и сказал капитану:

— Вот этот человек. Я оставляю вас, работайте... Когда введете его в курс дела... — полковник опять ободряюще посмотрел на меня, — немедленно выезжайте!

Когда полковник вышел, капитан положил мне руку на плечо и тепло сказал:

— Ну, садись поближе, сержант...

Я осторожно напомнил капитану, что меня в свое время разжаловали. Капитан сочувственно похлопал меня по руке и сказал извиняющимся тоном:

— Ладно, что было, то прошло. Мы это дело уже поправили... — и он повторил, — товарищ сержант.

В порыве благодарности я вскочил было, чтобы вытянуться перед этим офицером с доброй улыбкой, но капитан удержал меня.

— Ладно-ладно, сиди, это все потом... Слушай меня внимательно, сейчас мы с тобой поедем в Харбин, — продолжил он серьезным тоном. — В Харбине пашли одвого типа, очень похожего на твоего напарника по охоте... Помнишь его?

— Да я его, товарищ капитан!..

— Сиди-сиди...

Тут я спохватился и вдруг припомнил, что Ашим умел говорить по-китайски. Капитан сразу насторожился, удивленно вскинул брови.

— Как-как? По-китайски, говоришь?! Оп что, сам тебе об этом сказал?

Я сказал капитану, что еще в Егодзер-хите мы пошли с Ашимом в лавку и он разговаривал с ее владельцем на китайском языке.

— Точно, точно, товарищ капитан! Они еще часто так повторяли: «Харбина! Харбина!..»

— Эх ты!.. Сибирский валенок! — начал ругаться капитан. — Тебя сколько таскали, а ты молчал! Точно, сибирский валенок, или как там у вас таких называют!

Я опустил голову и судорожно сглотнул. Все переменялось во мне: и стремление отплатить Ашиму, и ожидание скорой встречи с ним, и досада на себя за то, что на допросах после той охоты я забыл сообщить такую важную информацию... Капитан привычно плеснул в стакан холодной воды из графина, подал мне.

— На, хлебни и успокойся. И вот еще...— Он достал из кармана маленький браунинг и протянул его мне: — Положи, чтоб легче было выхватить, и — пошли, браток...

Я уже знал кое-что о древних русских и восточных городах, однако Харбин до смятения поразил меня своей пестротой и многоликостью. Казалось, этот город вобрал в себя штрихи всех стран и земель: китайцы тут носили европейскую одежду и говорили по-японски, русские усвоили все повадки китайцев и бойко переговаривались на английском языке...

Наши солдаты несли здесь в основном караульную службу, занимались передачей японских арсеналов частям китайской Народно-освободительной армии, прихода которой ждали во многих городах и селах Внутренней Монголии и Маньчжурии.

Объектом нашего наблюдения стала торговая база русского купца, промышлявшего по пушнине. То и дело к его складам, толстостенным лабазам подъезжали китайцы, тибетцы, уйгуры из Синьцзяня. Все эти торгаши, попрятавшиеся во время военных действий, как тараканы в сильный мороз, теперь оживились и неутомимо поправляли свои дела. Таможенный и торговый контроль были всецело переданы в руки китайских военных властей.

Едва прибыв в Харбин, мы с капитаном немедленно обрядились в нашей комендатуре в штатские костюмы: капитан «стал» русским деклассированным интеллигентом, а я, поскольку немного знал монгольский язык, облачился в халат и остроносые сапоги. Немедленно мне привели низкорослую монгольскую лошадь, на ней я почти каждый день ездил на торговую базу купца, покупал там разные мелочи, болтал с торгашами, интересовался ценами...

Ашим на глаза не попадался. А капитан, судя по всему, знал о Сеитове многое и часто строил далеко идущие догадки.

— Странно,— говорил он,— почему этот Ашим, дышло ему в бок, уехал в Синьцзян и быстро вернулся оттуда?.. Наверняка он связан с гоминдановской разведкой... Так говоришь, он по-китайски хорошо калякает?

Я уже в который раз подтверждал, что Ашим говорит по-китайски, но всякий раз добавлял, что не знаю, плохо это или хорошо.

— Ладно, разберемся,— говорил в таких случаях капитан.— Дай только сцапать его, понял? Ты должен сначала опознать его, а потом будем брать.

Через пару дней на дорогах дрожках в сопровождении двух разодетых людей и при здоровенном кучере у базы появился Ашим Сеитов. Хотя он был одет как кашгарец — в полосатый чапан, расшитую жемчугом тюбетейку и к тому же отрастил бороду и усы, я сразу же узнал его. Я находился на порядочном расстоянии от этой компании потому не слышал, о чем они говорили, но в одном я убедился доподлинно — Ашим выполнял роль переводчика. Поразили меня его новые манеры, он заискивал, угодничал, делал это заученно легко. Оказывается, в Ашиме жил еще и холуй.

Выслушав меня, капитан почему-то твердо решил, что Ашим не тот человек, за которого себя выдает. Он несколько раз прикидывал, как бы пробиться в окружение Ашима, но ничего путного не придумал. К тому же нас беспокоила вероятность исчезновения Ашима, он был хитер и мог, зачуяв слежку, бесследно раствориться в Харбине. Капитан решил брать Ашима, а уж потом раскрыть его карты. Мне было поручено встретить Ашима, когда он будет один, и без лишнего шума, под браунингом, препроводить его подальше от людных мест, где меня будут ждать капитан и его люди.

Ашим вздрогнул, увидев меня. В первую секунду он заметался, но, бросив понимающий взгляд на мою правую руку, в которой таялся браунинг, притих и медленно пошел чуть впереди. Через несколько шагов Ашим полубернулся и начал тихо говорить — жалостливо и заискивающе.

— Хорошо, что я встретил именно тебя... Другой бы меня не понял, а ты должен понять, я ведь помню, ты умный и добрый парень... — Он совсем остановился. Я ткнул его под бок стволом браунинга. Ашим должен был понять, что вести со мной такие разговоры бесполез-

но, но он опять заладил свое: — Я ведь, дурак, хотел тогда прикончить тебя, даже прицелился... Но ты так покорно ждал меня, и я не решился. Ведь ты мой кровный брат, мы ведь с тобой оба уйгуры. Подлец я, подлец... Отпусти меня, а? Я просто испугался перед войной с Японией, я мигом исчезну, отпусти ты меня... Ну, умоляю...

И вдруг Ашм ударил меня ногой в живот, метнулся через дувал и исчез. Люди капитана привели меня в чувство, помогли добраться до комендатуры.

Скоро мне вернули звание сержанта и опять зачислили в караульную часть, в которой я встретил своих сослуживцев, чему каждый солдат бывает рад.

...Мы не встретились больше ни в Харбине, ни в Сянцзяне, когда лет через десять после войны я посетил эту землю. Странно, но и по прошествии многих лет мне тягостно думать, что я могу где-то встретить этого невысокого, крутого в плечах человека, лицо которого цвета молодой меди всегда неподвижно, холодно и лишь отмечено коротким блеском раскосых зеленоватых глаз.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Война закончилась. Через Европу и через Россию — на юг, где уже отцветали яблони, роняя розоватый цвет на теплую землю, покатались эшелоны демобилизованных бойцов. Рахмедию повезло, он вернулся в родные края одним из первых. Поезд пришел в Алма-Ату затемно. Рахмедии перепочевал в вагоне, а рано утром, едва на востоке сквозь рассветную синеву проступили контуры гор, отправился на городской базар, надеясь встретить там кого-нибудь из земляков с арбой или подводой и добраться в родное село.

Так оно и вышло, почти сразу же Рахмедии увидел двух односельчан, они сидели на пустых арбах, но в обратную дорогу еще не тронулись, видно, чего-то ждали.

— Ай, Рахмедин?! — закричали изумленные земляки, не ожидавшие увидеть его вот так запросто на базарной площади. — Живой?! Вот так встреча! Садись, дорогой, домой доставим, по дороге потолкуем...

— Ждете кого-нибудь? — спросил Рахмедии, обнявшись с земляками и подавая одному из них вещмешок.

— Да вот председателя ждем, он попытается коня сбыть с рук, думает, что ему удастся продать эту дохлятину.

До войны Рахмедин пас колхозных коней, выезжал отменных скакунов, умел выхолить жеребца и выиграть на любых скачках.

— Которого же он продает? — спросил Рахмедин, оглядев двух тощих коней, привязанных к арбе.

— А вон того, с рыжей мордой. Его даже на убой не взяли. Дохлятина! Да и здесь дурака не найдется его купить, все равно что деньги на ветер выбросить.

Тощий, плешивый по хребтине иноходец словно понял, что говорят именно о нем, поднял голову и посмотрел на Рахмедина. Иноходец был слаб, изнурен, должно быть, тягостной непосильной работой и долгим голодом. Глаза его были мутны и равнодушны, он не узнал своего старого хозяина и не вспомнил всего, что было связано с ним. Иноходцу уже было безразлично все, кроме пучков сена, валявшихся на базарной площади попеременно с навозом.

Рахмедин, увидев все это, горестно вздохнул и вдруг обнял иноходца за шею.

— Не думай ничего, я тебя никому не отдам. Приведу в табун, еще поживешь! — сказал Рахмедин и повернулся к арбакашам: — Иноходца нельзя продавать!

— Гляди-ка, я вижу, тут новое печальство появилось! — раздался за спиной Рахмедина насмешливый голос. Рахмедин обернулся. Поодаль стояла пролетка, в ней сидел ухоженный, осанистый джигит.

— А-а-а, новый председатель! — понял Рахмедин.

— Это уж точно. А ты вот кто такой?

— А я, председатель, строил колхоз, в котором ты теперь начальство, — неторопливо ответил Рахмедин. — И коней, которых ты довел до ручки, а теперь продаешь за гроши, тоже я растил. Рахмедин меня зовут!

— Ты, что ли, бывший конюх?

— Не конюх, а коневод. И не бывший, раз я вернулся! Хотя, ладно, не забыли, и на том спасибо... Но ты, председатель, торопишься сбыть этих лошадей, это не хозяйски. А раз ты всему голова, ты за это и ответишь своей головой! — жестко сказал Рахмедин.

Председатель покраснел, как мальчишка, и покосился на арбакешей.



— А ты, дядя, язык тут не распускай! — запетушился было он.— От них никакого прока, кроме убытка, нету. А продавать их решил не я, а правление!

— Ладно, давай не будем нападать друг на друга, это делу не поможет,— примирительно сказал Рахмедин.— Конечно, если конь отслужил свое, ему, известно, одна дорога. Но с этим иноходцем ты можешь просчитаться! Да, если бы ты знал, что это за конь, ты бы не отдал его за табун лошадей! Вон, своего-то коня ты не иначе как взял на конезаводе за большие деньги? Вот-вот, это видно сразу. Так ведь что же получается, ты его холишь и кормишь каждый день как надо. И ничего твой конь не знает, кроме ровной дороги. А ты, председатель, попробуй запряги его в груженую арбу да про плеть не забывай, чтобы он в гору веселей тянул да весеннюю грязь прытко проходил, вот тогда и посмотрим на твоего коня. Он по ровному месту будет ходить, как стреноженный,— заключил Рахмедин, удовлетворенный убедительностью собственных слов, и полез в карман за махоркой.

Арбакеша с любопытством смотрели, как их земляк проворно свернул козью ножку и густо затянулся.

— Как ходили за иноходцем, это дело прошлое, что теперь об этом говорить,— еле выговорил председатель, поглядывая на людей, слышавших его перепалку с этим фронтовиком, так некстати возникшим ни свет ни заря на базарной площади.

— Замордовать можно кого угодно,— назидательно заметил Рахмедин.— Да ты посмотри, какая у него грудь, а поги!.. Это мечта настоящего джигита!

— Ай, что ты такое говоришь, Рахмедин! Это же кляча, а не тулпар...

— Надо уметь видеть добрую лошадь...

— А по мне все они тулпары, пока молоды, а составятся, так и все клячи,— попытался пошутить председатель.

— Да-а, нехитрая у тебя паука. Ну, ладно, ты — молодой, я — старый. Вот давай и померяемся на конях. Ты на своем молодом, а я вот на этой кляче,— показал Рахмедин на иноходца.

Председатель, видно, понял, что Рахмедин поймал его на слове, чтобы сберець иноходца. Но он не мог так скоро примириться с тем, что все вышло так, как хотел этот Рах-

медиа, и, соглашаясь через силу, он предупредил кошевода:

— Ну, смотри, земляк, проиграешь — отберу иноходца сразу после финиша. На глазах у людей отберу, слышишь, земляк?

— Не глухой,— сообщил невозмутимо Рахмедиа, сворачивая новую сигарку.— Будем считать, что договорились, председатель...

В село они добрались к полудню. Арбакеши, едва расставшись с Рахмедиа и председателем, кинулись по дворам сообщить, что произошло на базаре. Рахмедиа повидался с близкими и, не отдохнув, даже не разобрав вещмешок, направился к конюшням. Здесь он присмотрел место для иноходца, а затем вывел коня за село настись и сам лег в траву, раскинув руки, долго смотрел в высокое небо и медленно закрыл глаза, улыбаясь от подступившей спокойной светлой радости. «Отдыхай, бедняга, отдыхай,— бормотал Рахмедиа.— Ведь и правда смотреть-то на тебя тошно...»

Иноходец оставил щипать траву, подошел к Рахмедиа и смиропо замер рядом, чуть покачивая головой, и грива его легла Рахмедиа на грудь. Рахмедиа встал, обнял иноходца и поцеловал его в жилистую солоную шею. Потом они медленно побрели рядом в степь по тугой бледно-зеленой траве. Впереди на землю опустилось помутневшее закатное солнце, чуть размытое сырым теплым ветром, а они все шли и шли, словно оставляя позади тяжкие вчерашние дни, освобождаясь от тревог и усталости...

А потом незаметно земля меняла цвета, менялись и степные ветры — ласковые, теплые па хлесткие и стылые, скрывалось за облаками небо и опять зависало над головой чистым голубым куполом, — и прошел год. Было кому папаста в зиму корма — следом за Рахмедиаи вернулись и другие уцелевшие мужичины села — и табуи вышел к весне гладким, холеным, словно и не зимовал. Но все равно весна была праздником. И потому в день, когда пришел срок выводить табуи па весенние настбища, Рахмедиа проснулся па рассвете, прошел к конюшням по проселку, подламывая еще фронтовыми сапогами звонкий полый ледок, и у ворот, рядом с коновязью, сел на вросшую в землю тесину дожидаться рассвета. Покуривал, слушал всхрапы-

вания, грузный стук копыт, представляя, как копи его табуна переминаются, покачивают головами в теплой темной конюшне.

Иноходец оправдал его надежды. Он налился телом, стал спокойнее, тверже в поступи, после линьки покрылся густой лоснящейся шерстью, и старые ссадины и болячки затянулись пятнами белой щетины. Рахмедиян понял, что пришла пора сызнова приучать иноходца к седлу, и он ездил понемногу на нем, стараясь делать это подальше от людских глаз, где-нибудь в степи, раскинувшейся вокруг села.

Молодой председатель не забывал говорить при каждой встрече:

— Ну, ака, как ваш несравненный иноходец? Не слишком ли он заботит вас? А то, может, отправим его на убой? Он теперь на мясо без всяких разговоров подойдет!.. — и смеялся при этом.

Рахмедиян терпеливо сносил все ехидные замечания председателя, всякий раз объяснял, что иноходец окреп, но прежнего хода у него пока нет и он еще не может привыкнуть к собственной скорости. Рахмедиян действительно чувствовал, что иноходец вот-вот войдет в прежнюю манеру бега, и он не торопил коня, незаметно исподволь тренировал его на ходу, уже пробуя для предстоящей скачки.

Однако терпение председателя истощилось раньше срока. Однажды он вызвал Рахмедияна в контору и попросил при этом, чтобы тот приехал на своем «тулпаре». Рахмедиян появился под окнами конторы на старом мерине. Председателю это не понравилось.

— Хватит! — сказал он Рахмедияну, едва тот переступил порог кабинета. — Я говорил, что проку с него не будет, даже до конторы не может добраться! Одна морока с ним! У нас колхоз, а не приют престарелых лошадей! Хватит! Завтра же пришлю зоотехника, если он скажет, что твой «тулпар» ни на что не годен, вон эту клячу из табуна. Тоже мне, брах<sup>1</sup> нашелся в моем колхозе!..

Рахмедиян понадеялся, что председатель пошумит-покричит да и остынет. Но утром следующего дня к конюшням подъехали двое — председатель и зоотехник.

— Ну, Рахмедиян, сейчас будем комиссовать твоего ино-

<sup>1</sup> Б р а х — по преданию крылатый ковь Магомета.

ходца, — крикнул насмешливо председатель вместо приветствия, специально горяча своего коня. — Или ты сам сводишь его на убой, а я вернусь в контору?

Зоотехник повертелся вокруг иноходца, зацокал языком, как фазан.

— Прекрасный конь! Что значит год отдыха да умелые руки! Ожил прямо-таки иноходец, ожил!

Зоотехник явно подыгрывал председателю. «Сговорились», — подумал, нахмурившись, Рахмедин и решил не поддаваться искушению сейчас же обставить председателя вместе с его конем. Но председатель откинулся в седле и презрительно фыркнул.

— Чего болтать попусту! Конь проверяется в деле. Вот поскачем, тогда и видно будет, кто чьей пыли паглотается!

Это было уже слишком. Рахмедин молча заседлал иноходца под насмешливыми взглядами председателя и зоотехника. Затягивая подпруги, он видел, как зоотехник подмигивает председателю: ага, мол, завели мы его!

Рахмедин неторопливо сел на иноходца, прочувствовал, что заседлан он добро, сжал повод так, что побелели костяшки пальцев, и сказал негромко и отчетливо:

— Мы готовы.

— Вот так-то оно лучше, — не сменил тона председатель, хотя видел лицо Рахмедина. — Скачите до крайнего дома как можете, посмотрим, хватит ли его пройти село. — Председатель мотнул головой в сторону иноходца. — А я поскачу рядом.

Рахмедин, сдерживая себя, перевел дыхание и, стараясь показаться спокойным — вокруг уже собирались односельчане, — ровню произнес:

— Эх, сынок, последнее это дело — говорить так перед скачкой. Люди могут подумать, что ты просто болтуни и хвастунишка!

Председатель оглянулся по сторонам и смеялся, люди стояли вокруг молча, старики не смотрели на него.

— Извините, ака, — пробормотал председатель, чувствуя спиной взгляды сельчан. — Это я просто так, я...

Рахмедин тронул иноходца, не оборачиваясь, бросил:

— Отсюда начнем. Ну!.. — Он взмахнул плетью и сразу привстал на стременах, вытянулся над шеей иноходца.

Иноходец не ждал этого, он рванулся с места, поскакал

веровно, забирая повод, но тут же выправился, взял хороший для начала ход. И тут Рахмедина прорвало, он дал волю плетке. Иноходец захрипел, сбился с хода и опять нашел его, все убыстряя и убыстряя бег...

— Смотри, молодой, зад себе не отбей! — крикнул Рахмедина, обернувшись на миг, забыв обо всем на свете.

Иноходец летел уже во всю мощь. Село выплеснулось навстречу и стремительно надвинулось первыми домами... Председатель, видно, понял, что дело заворачивается нештучное, он уже выбивал из своего кося все, что мог, но иноходец, вытянувшись, по-прежнему шел впереди.

— Давай! Рахмедина... Покажи ему! — вдруг закричали стоявшие на обочине проселка. — Рахмедина, ты ведь джигит!

И все же молодой, рыжий, как верблюд, мерин председателя настиг-таки иноходца посреди села. Они поравнялись, потом мерин медленно начал выходить вперед...

— Рахмедина! Ака! Рахмедина-ина!..

И словно понял иноходец, что это была его последняя скачка, что не будет у него уже ничего, кроме этой скачки, — он заметно вытянулся, взял весь повод и натужно, но ушел от мерина! Хрипя, разбрасывая пену, он вынес Рахмедина на площадь, к конторе, и здесь надо было остановиться, но иноходец не слышал седока, хрипя, он выметнулся за село в степь и пошел по росной высокой траве...

Председатель прискакал вторым. Он сошел с кося, приблизился к толпе, которая громко расхваливала иноходца Рахмедина. Мальчишки уже оседлали крышу конторы и оттуда сообщали, что иноходец не слышит повода, что он идет во весь опор и что, наконец, он скрылся за горизонтом.

Рахмедина вернулся из степи один. На плече он нес уздечку.

— Поздравляю, ака! Пусть иноходец будет вам призом!.. — закричал председатель в общей тишине и осекся, услышав свой голос. Поодаль тяжело, надедно дышал его конь.

Рахмедина, не поднимая глаз, обошел председателя и побрел сквозь толпу, сжимая в ладонях удила, еще хранившие тепло губ иноходца...

## ДЖУХАЗА

Это имя впервые встретилось мне в прекрасной песне. Оно звучало в припеве, и казалось, что каждый певец томился любовью к женщине, которую звали Джухаза.

Джуха, ийги-янг,  
Ты цветов цветков!

Потом я узнал, кто была Джухаза. В двадцатые годы она жила в глинобитном городе Суйдуне. В ее доме собирались курильщики гашиша. Эта женщина никого не боялась — ни суйдунских святош, ни приспешников белого генерала Дутова, установивших свои жестокие порядки в пограничном городе Синьцзяна. Но не мог я понять одного: как эта женщина-чародейка добилась такой чести? Ведь ей была посвящена одна из самых чудесных песен моего народа!

И однажды я встретил человека, когда-то жившего в Суйдуне и посещавшего майданхану, как называли там дом Джухазы. Нияз был уже не молод, но не замыкался в себе, как это бывает с людьми его возраста. Я стал спрашивать его о городе Суйдуне и Джухазе, владелице веселой майданханы. Выслушав меня, дядя Нияз улыбнулся, провел пальцем по серебру длинных усов. Он радовался, что я заставил его вспомнить годы безрассудной молодости.

— Это было во время гражданской войны, — так начал он свой рассказ. — Хотя я был одиноким сиротой и батрачил у местных баев, но не понимал, что такое революция, не знал, на чьей стороне правда, почему некоторые мои соплеменники уходят в соседнюю страну. Вот и я вместе с ними очутился в Суйдуне. Кого только не было там в то время! Торговцы из Кульджи и Кашгара, русские беглецы, дутовские головорезы, контрабандисты...

Люди эти занимались каждый своим привычным делом, но досуг проводили в кутежах и пьянстве, как бы стараясь этим показать, что их не волнуют грозные события тех лет.

Мне пришлось стать поденщиком.

Однажды один из моих приятелей сказал, что в Суйдуне есть такой дом, где всегда звучит прекрасная музыка и струится дым кальянов.

— Пойдем туда, — сказал он.

Я еще не знал, что иду к той, о которой сложены песни, к живой легенде Суйдуна.

Мы зашли в просторный, чисто подметенный двор. Возле беседки, обвитой плющом, дымили самовары. Шашлычники священнодействовали, нанизывая на вертела куски баранины. Приветливый юноша-слуга вышел к нам навстречу и провел нас в дом.

В большой комнате собралось множество гостей. Седобородые старцы были облачены в одежды, сшитые из бекасана — дорогой ткани ручной работы. Хозяйка майданханы сидела между двумя белыми, как лунь, чалмоносцами. Убого одетые гости, расположившиеся у входа, по виду были похожи на странствующих нищих и бродячих музыкантов. Джухаза сделала нам знак, чтобы мы сели рядом с ними, у самого порога.

— Добро пожаловать, гости, — приветливо сказала она нам, и мне показалось, что в ее словах был какой-то вопросительный оттенок.

У Джухазы был высокий лоб, прямой нос и сросшиеся на переносице брови. Глубокий свет мерцал в ее глазах, прикрытых длинными ресницами. Она была прекрасна!

— Прошу вас, гости! — сказала она, когда подали чай, и взяла в руки свой дутар.

— Мы беженцы, ханум, — тихо промолвил мой спутник.

В ответ на это Джухаза улыбнулась и сделала знак юнеше-слуге. Тот протянул моему приятелю кальян, потом подал алый раскаленный уголь, зажатый в железных щипцах. И другие гости потянулись за кальянами.

Я охмелел от гашишного дыма и звуков дутара. Первая песня Джухазы, пропетая в тот вечер, до сих пор звучит у меня в ушах.

Побыв не раз в доме Джухазы, я заметил неизблемый обычай, установленный там. Джухаза пела и играла на дутаре, лишь после этого начинали состязаться между собой музыканты. Первым играл прославленный хафиз Амритдин-хальпе, былой толкователь корана, потом исполняли достав под звуки дутара, тамбура и бубна, а в самом конце звучал лишь один тамбур. Я оставлял в майданхане последние гроши. Меня притянул к себе, поглотил и распустил волшебный мир музыки и прекрасной песни.

С кем только я не познакомился за эти два года в доме Джухазы! Мусульманские священники, странствующие дервиши и маддахи, рассказывавшие о жизни и подвигах

ревнителей веры... Среди моих сверстников, очарованных прекрасной Джухазой, был и Розы, прозванный потом Тамбуром. Теперь его все знают как музыканта и композитора.

А в те годы он сначала служил у Джухазы мальчиком и подносил гостям кальян, потом стал играть на дутаре. Джухаза привязалась к нему, как к брату. Каким-то чувством она постигла и мою преданность к ней, сделала меня домашним слугой и поселила в одной комнате с Розы.

Я не мог заметить за Джухазой ничего предосудительного. Почему она жила так бескорыстно и беспечно? Она не старалась умножить свои доходы, без остатка тратила деньги или отдавала их нищим, дервишам, странникам, музыкантам. Про нее говорили, что она — уроженка Кашгара. Но как она очутилась в Суйдуне — никто не знал.

Меня зачастую поражала та жадная любознательность, с которой она расспрашивала бывалых людей об уйгурах, узбеках, казахах, живущих в Советской России. Джухаза стремилась узнать о новых законах жизни, установленных «красными русскими».

\* \* \*

Однажды Джухаза отправила меня вместе с Розы па горные пастбища купить баранов. Я забыл — осенью или весной это было, помню лишь, что тогда снег шел вперемежку с дождем. В тот день улицы Суйдуна вдруг необычайно оживились. Скрипели арбы, груженые каменным углем и дровами, люди торопливо гнали вьючных ослов и быков. Состоятельные горожане мчались куда-то на своих фаэтонах.

— Почему такая суета? — спросил я Розы.

— Да, говорят, что в Суйдун приезжает муфтий всего Алтышара, якобы па совет с джадралом Дутовым.

Хоть и смутно, но тут уж я понимал, что эти гости зря с Дутовым встречаться не будут. Мною овладело тревожное чувство.

— Советская власть окрепла, — вдруг промолвил Розы, будто угадывая мои мысли. — Но так-то просто ее свалить. Ничего у них не выйдет, сил не хватит!

Я удивился словам Розы. Ведь он впервые заговорил о Советской Родине, до которой, казалось, было рукой по-



дать. Но она была отделена от нас, как любая из звезд на ночном небе.

На обратном пути с пастбища мы увидели внизу город Суйдун, распластавшийся в долине, как огромная птица. Голые деревья суйдунских садов были похожи на перья, кое-где уцелевшие на ее растерзанном теле.

Наша госпожа готовила щедрое угощение. Ее дом должен был удостоить своим посещением сам мусульманский муфтий всего Алтышара, прибывший для переговоров с генералом Дутовым.

Муфтий и раньше знал Джухазу, а теперь он хотел наставить ее заблудшую душу на путь праведный.

В доме все взялись за дело: привычно резали мясо для шашлыка, некли самсу, готовили кальяны. Даже сама Джухаза встала с ложа, покрытого атласным одеялом, на котором она всегда сидела. Она засучила рукава и взяла в руки серебряный кийгакчи — прибор для вырезания узоров на тесте, очень похожий на шпору. Белое лицо ее размякло, огромные черные глаза светились умом и весельем.

— Не прикажете ли угостить кальяном нашего муфтия? — спросил Амритдин-хальпе, но сразу осекся, встретив укоризненный взгляд Джухазы.

Мы уже распивали чай и ели самсу, когда услышали шум в передней и возгласы: «Идут, идут!» Покинув свои места, мы быстро подошли к дверям и замерли в поклоне, скрестив руки на груди. Муфтий всего Алтышара Ализада Пирмухаммад вместе с настоятелем мечети и двумя дутовскими офицерами направился прямо к Джухазе, еще продолжавшей сидеть за столом.

Но вот она медленно встала и протянула муфтию руку. Он слегка коснулся щекой ее руки, а сам вежливо покосился на Амритдина-хальпе, поглощенного курением кальяна и будто бы не замечавшего прихода высокого гостя.

— Здравствуй, бывший мой учитель! — произнес муфтий.

— Здравствуйте, мой бывший ученик, — в тон ему ответил музыкант Амритдин-хальпе. — Прошу садиться, — сказал он, показывая на место рядом с Джухазой.

Имам мечети сдержанно поздоровался с Амритдином-хальпе и Джухазой и сел справа от них.

— Так, так. Значит, в наши края пожаловали... На со-

вет с джандралом? — спросил Амритдин-хальпе. В словах его звучал вызов.

— Генерал генералом, а вы бы лучше спросили, зачем мы к вам пришли? — с насмешкой ответил муфтий.

— Догадываюсь — зачем, Пирмухаммад... простите, ваше преосвященство, муфтий Ализада Пирмухаммад, — сказал музыкант, а затем, после небольшой паузы, еще добавил: — Где это вы изволили обучиться заморским обычаям — целовать руки женщинам?

— Разве грешно приложиться к руке такой ханум, мой хальпе? — сказал муфтий. — А вот вы еще будете наказаны за то, что совращаете правоверных с пути, — добавил он.

Джухаза приказала нам принести кушанья. Пиршество проходило в тревожном молчании. Когда же хозяйка дома распорядилась насчет вина и музыки, муфтий стал проявлять беспокойство.

— Дочь моя, — сказал он, — у нас очень мало времени, а нам еще надо поговорить с вами наедине. — И он поднялся с места.

В тот же вечер мы узнали подробности беседы муфтия и имама мечети с нашей госпожой. Узнал я также и кое-что из прошлого муфтия всего Алтышара. Когда-то он считался другом отца Джухазы.

Когда Ализада стал муфтием всего Алтышара, он начал старательно выполнять поручения белого генерала Дутова и его иностранных покровителей.

Теперь, побывав Кульдже, преосвященный Ализада Пирмухаммад приехал в Суйдун не только ради встречи с Дутовым, но также для того, чтобы выяснить состояние духовных дел. Однако он увидел, что ислам здесь не процветает, а хиреет и никакого благочестия в Суйдуле почти никто не соблюдает. Поэтому муфтий решил в первую очередь закрыть веселые дома, гашишные заведения и кабаки Суйдуна, начав это дело с майданхапы, принадлежащей прекрасной Джухазе. Однако наша госпожа, кажется, сразу отбила ему охоту...

— Ну, дочка, что же говорил тебе этот ходжа? Наверно, он взывал к тебе твоего отца и заставлял тебя читать покаянную молитву? — спросил Амритдин-хальпе, когда Джухаза проводила знатных гостей.

— Боже мой! — воскликнула она. — Да эти святые отцы сами толкают людей в пропасть, а потом их же обвиняют.

няют в гибели. Впрочем, муфтий и имам сказали, что джандрал Дутов хочет напасть на красную Россию. И они мне всячески грозили — и позором и даже расправой.

— Что же ты ответила? — спросил Амритдин-хальпе.

— Я ему сказала: ваше преосвященство, прочтите достан нашего великого поэта Билала Назыма «Чанмоза Юсупхан». Вы легко узнаете себя в Юсупхане — несчастном торгаше и предателе.

— Хорошо сказано! — одобрительно промолвил Хальпе.

Имя поэта Билала Назыма или Моллы Билала я слышал, но достанов, сочиненных им, никогда не читал.

В доме Джухазы стоял большой сундук, доверху набитый рукописными книгами, и она чуть ли не наизусть знала все эти сокровища народного слова. И я решил попросить у нее сказание великого поэта Билала.

\* \* \*

Долгие вечера в майдапхане мы проводили с Джухазой в чтении самых замечательных достанов. Такие произведения, как «Сказание о победе», «Священная война», «Назугум», воспевающие борьбу нашего многострадального народа за свободу, порой исторгали у нас слезы, которых мы не стыдились. Иногда наступали мгновения, когда я, как бы в беспамятстве, начинал осыпать поцелуями лицо и руки Джухазы.

Однажды она прочла со мной книгу поэта-философа Гариби; в ней изображен спор мастеров тридцати трех ремесел. Передо мной вставали образы древнего зодчего, кузнеца, портного, пекаря. Как искусно читала Джухаза это сказание! Она проникала в прошлую жизнь, раскрывала мне вековые тайны родной истории. Редкостным даром обладала эта жепщина!

— Вы стали шахом, а я — Шехерезадой, — часто говорила она мне, светло и радостно улыбаясь.

Однако близилось время нашей разлуки. Я уговаривал Джухазу ехать вместе со мной в Джаркент. Однажды мы узнали, что белый генерал Дутов убит. Весть об этом потрясла всех, даже постоянных посетителей майдапханы, стремившихся забыться в дыму кальянов.

Во мне пробудились какие-то новые чувства. Я постепенно стал отдаляться от той среды, которая уже считала

меня своим. Ведь Амритдин-хальпе прожил свой век. Но разве я, Розы Тамбур, Джухаза достойны такой жалкой участи? Нельзя уходить от жизни и погружаться в бездумье гашишного дыма. Нам не от кого прятаться, и мы должны смотреть на необъятный мир открытыми глазами. Так думал я, но выхода найти не мог и продолжал томиться тяжелыми мыслями.

После того как наш Махмут Ходжамьяров уничтожил Дутова, мы поверили в незыблемость советской власти.

— Они свергли царя, установили новый порядок, построили могучее государство, — говорила Джухаза. — Там, где люди создают новое, не остается места для зла.

Беженцы, успевшие уже утратить последние пожитки, стали мечтать о возвращении в Россию. Они радовались тому, что я покинул грязный притон, как называли они суйдунскую майдапхану. А я говорил им, что уеду в Россию только вместе с Джухазой. Друзья вновь отвернулись от меня, и я остался в полном одиночестве.

Розы Тамбур и старый Амритдин-хальпе куда-то ушли в толпе странников. И снова марево гашишного дыма застлало мне глаза, а волны любви качали меня, как щепку, плывшую неведомо куда в житейском море.

В конце концов мы с Джухазой решили ехать в Кульджу, а оттуда пробираться в Кашгар — на родину Джухазы, древнейшую столицу моих предков.

Конечно, более всего нас манил к себе Джаркент. Но в Суйдуне не было никаких вестей о судьбе уйгуров, уже успевших вернуться в Россию. Кроме того, мы боялись, что там нас сочтут за изменников, а дурная слава Джухазы могла еще более отяготить нашу судьбу.

Однажды, возвратившись с биржи труда, я застал Джухазу погруженной в какое-то тягостное раздумье. Она так и не объяснила мне причину этого, а вечером, обняв меня, легла спать. Но я слышал, как она почти всю ночь проплакала. Я попытался спросить, чем вызвано это безутешное горе, но она лишь смеялась сквозь слезы, смеялась так, что заронила страх в мою душу.

Утром Джухаза с горделивым видом, который ее всегда отличал, сказала мне, что мы расстанемся навсегда. Она продала дом и имущество, теперь ее ничто не связывает с городом Суйдуном.

«Бог мой! — подумал я. — Она не только нежна и кра-

сива. Сколько жестокости и коварства скрыто в этой загадочной душе!»

— Да что же это, Джухаза! Ты то обжигаешь меня, как пламя, то обдаешь ледяным холодом,— сказал я, посмотрев ей прямо в глаза, но она постаралась отвести от меня свой взор.

Наверное, в эти мгновения и ей было не по себе, но она сумела взять себя в руки.

— Мы должны расстаться,— беспощадно повторила Джухаза и простилась со мной.

В тот же день я навсегда покинул ее дом, чувствуя, что любовь Джухазы ко мне умерла в ее сердце.

Лишь впоследствии я узнал, что двое из моих друзей уговорили ее, чтобы она сама сняла с меня свои губительные чары. Может быть, это было к лучшему? Кто знает?..

Но когда вспоминаешь о такой любви, об огне, пламеневшем в твоём сердце, то невольно думаешь, что иногда люди делаются врагами своего счастья. И это — потому, что они часто меряют на чужой аршин свое счастье и этим губят его. Подлинная любовь не терпит никакого вмешательства.

Я спросил у собеседника — узнал ли он хоть что-нибудь о дальнейшей судьбе этой необыкновенной женщины.

— Я долго ничего не знал о ней,— ответил дядя Нияз.— Лишь через десять лет я узнал, что Джухаза умерла в том же городе Суйдуне, вскоре после нашей разлуки.

После небольшой паузы он еще добавил:

— Не осуждайте меня, дорогой мой. Я достаточно наказан за свою ошибку...

Теперь мне было непонятным только одно: какую свою ошибку он считает главной — временную потерю Родины или утрату необыкновенной любви? А может быть, все его ошибки зависели от времени, в котором он жил, и среды, окружавшей его?..

Я взял старый кашгарский дутар, стоявший в углу, и тихо, только концами пальцев, начал играть на нем, и дядя Нияз, разгадав мою мысль, запел так тихо, так сокровенно, что, казалось, слился с древним дутаром.

До сих пор в моих ушах звучит его голос, словно поднимающийся из глубины самой земли:

«Джуха, ийги-янг! — Ты единственная моя!»

Став мирабом, Миргияс унаследовал ремесло отца и всех предков, которые рыли капалы в Турфане, на Или. Сорок лет он имел дело с живительной водой, когда удавалось обуздать ее, Миргияс гнал воду на поля дехкан через сотни запруд и дамб. Сколько раз ледяная вода жгла его босые ноги, сколько прорванных запруд он прикрывал своим телом за эти сорок лет — не счесть!

Уже прожив жизнь, устав, он старался не думать о тех цезагодах, которые вынали на его долю, но и забыть их он тоже не мог. Миргияс страдал, глядя на умирающие от жажды поля, и радовался всем сердцем, когда видел ухоженные, тучные посевы, в минуты этой радости он всем существом чувствовал добрую связь между своим трудом и крепкими всходами, и чувство этой связи сообщало ему силы и уверенность.

Одни ровесники Миргияса попирали людей, другие были неприступно горды своей сытостью, а третьи, как и сам Миргияс, прожили бедную жизнь. В годы революции, коллективизации Миргияс без колебаний вступил в новую жизнь, он всегда думал только о земле, о том, как напоить и оживить ее. На этом пути Миргияс достиг многого, но и многого не добился; были на его пути люди, которые понимали его, были и другие, они осуждали Миргияса, считая его устремления бескрылыми и примитивными. Но не один бог, а многие люди стали свидетелями того, что мираб Миргияс честно сделал все, что мог, а то, что было не под силу ему, осталось его неисполненной мечтой.

Сейчас Миргияс покойно лежал на больничной койке, не проявлял старости. Его сильные когда-то руки, намертво сжимавшие черенок тяжелого кетменя, его ноги, жилистые, крепкие, как ствол молодого саксаула, не раз державшие тяжелые снопы травы или чия в прорвавшейся запруде, были теперь слабы, неподвижны и холодны. Жили только лицо, закаленное солнцем и ветрами, и глаза под густыми седыми бровями, наполненные спокойной грустью и пониманием жизни.

Соседи по больничной палате, грешным делом, считали, что молчаливый старик, разбитый параличом, думает лишь о боге и легкой смерти. Но старый мираб думал не об этом. Он думал о прошлом, думал о будущем — о своем единственном сыне.

«Слава богу, — думал Миргияс, — сын вернулся с этой проклятой войны живой и невредимый, выучился, обзавелся семьей. Теперь бы внука увидеть... Э-э, куда это меня понесло!.. Как дожить до того дня?.. Нет, пужно уметь довольствоваться прожитым...»

Миргияс пытался подытожить свою жизнь, но новые воспоминания вновь и вновь беспокоили его, тревожили уставшее от работы сердце. И уже в который раз, словно это было самым важным для него, перед глазами вставали Черный богар и старое кладбище. Черный богар — это двести гектаров плодородного чернозема. Каждую весну, сколько помнили себя Миргияс и отец Миргияса, он покрывался после обильных дождей шелковистым зеленым ковром, как только наступали первые жаркие летние дни, Черный богар выгорал, обнажая свое черное сухое тело. Сколько мирабов безуспешно пытались дать воду богару и были высмеяны, прозваны пустословами, сколько раз всем селом подводили к нему воду, но перед самым богаром ова, как заколдованная, останавливалась: каналы переполнялись — и вода растекалась во все стороны. Никакая сила, казалось, не могла заставить воды Карасу подняться на Черный богар.

В такие минуты жизни Миргияс опускал голову и подолгу стоял, опершись на кетмень. Потом он сизцова подступался к Черному богару... Это длилось долго, до тех пор, пока не пришла старость.

«Завтра воскресенье, наверное, придет мой Амут-джап, — думал Миргияс. — Что он скажет мне о Черном богаре? Он-то осилит его! А как там моя слоха?..» Миргияс вдруг вздрогнул и заметался. Кто-то из больших позвал сестру.

— ...Ничего-ничего, доченька, отлегло, — успокаивал он сестру, приди в себя.

— Может, вам горячего чайку дать? Со сливками?

— Лучше дай мне, дочешка, просто холодного чаю, со сливками я не привык... А мой сын не звонил сегодня?

— Он же завтра сам придет, — бодро сказала медсестра. — А может, еще позвонит...

— Завтра... Ладно, семьдесят лет прожил, дотяну и до завтра...

— Да что вы, ака, говорите, кто вам сказал, что...

Миргияс ласково перебил сестру:

— Сиасибо, доченька, спасибо. Просто вижу, приходит

конец, а вот когда — сегодня или завтра... Вот что, доченька, если Амутджан позволит, скажи ему, пусть придет с женой.

— Хорошо, ака, я сама позволю ему.

— Да нет, зачем сама! — заволновался Миргияс. — Еще подумают...

— Ну, хорошо-хорошо, ака, только не беспокойтесь.

— Как это не беспокойтесь?! — совсем разволновался Миргияс. — Это ж мои дети! Что у меня еще есть? Что?..

Когда Амут вернулся с фронта, Миргияс внимательно осмотрел сына и остался доволен: рассудительным, возмужалым стал Амут. И потом, с годами, Миргияс все четче видел в нем самого себя, свое продолжение. Правда, теперь Миргияс не знал всего, что происходит в селе, не знал, чем и как живет его сын: последние два года он был прикован к больничной койке. А если и чувствовал его сердце что-то неладное, если и догадывался Миргияс о пересудах односельчан: мол, забыл Амут сыновний долг, то беспокойство на этот счет исчезало, когда он встречался с сыном или с односельчанами, приходившими навестить его. «Все хорошо», — слышал он всегда и верил этому, не понимая, что его просто оберегают от лишних волнений.

Между тем об Амуте ходили разные разговоры. Сделать что-то особенное Амут еще не успел, он был молод. Инженер, гидротехник, он вдруг вцепился в набивший всем оскомину Черный богар. Человеку обычно верят, и человек не может жить без этой веры людей. Молодому инженеру доверяли, но то, что он делал на глазах у всего села, удивляло многих, в особенности седобородых, увидевших в Амуте «упрямого Миргияса». Они в свое время невзлюбили Миргияса и теперь не любили Амута за то, что они хотели «отнять» у них Черный богар, отдавший решением правления под новое кладбище. И по селу пошла злая молва о молодом инженере, упрятавшем старого, большого отца в какой-то приют. Эти слухи доходили до Амута и его жены Зои, доставляя им немало переживаний. «Послушай, я врач, сама буду лечить отца. Пожалуйста, привези его домой», — просила Зоя, желая положить конец пересудам. «По-твоему, языки нескольких сплетников важнее медицины?! — нервничал Амут. — Что у тебя дома есть, кроме аспирина? Случись что, сама же побе-



жпись за «скорой помощью»! Тебе что важнее, сплетни или жизнь отца?»

Амут старался не обращать внимания на досужие разговоры односельчан. Однако последняя стычка, кажется, окончательно вывела его из равновесия. Это было в день обсуждения его проекта орошения Черного богара, в котором участвовали и руководители района.

Председатель колхоза Талип Сабиров выступил против проекта Амута и привел вроде бы веские доводы. Он, например, сказал, что Черный богар не оправдывает больших расходов на гидротехнические работы, если колхоз вообще способен вложить такие деньги в сомнительное предприятие. Он предложил вместо всей этой затеи Амута осушить колхозные луга, которые в последние годы все больше и больше заболачивались, заодно разровнять старое кладбище, а проклятый Черный богар превратить в новое кладбище. Кладбище из него выйдет отличное, и заодно торжествует здравый смысл. Председатель добавил вроде между прочим, что все старцы села желают этого и не считаться с аксакалами нельзя.

Напрасно Амут доказывал, что луга дают хорошее сено и ни в коем случае нельзя использовать их под посевы, а что касается кладбища, то его нужно не разрушать, не переносить, а позаботиться о том, чтобы скот на нем не пасся и весенние паводки его не подмывали.

Спор между Амутым и председателем колхоза продолжался и по дороге из райцентра в село. Амут пытался переубедить Сабирова, хотя видел, что тот непоколебим. Они невольно повернули лошадей, сами того не замечая, в сторону Черного богара и вскоре поднялись на совершенно сухой холм.

— Вот, посмотри, даже весной ни капли влаги! И ты хочешь напоить эту землю нашей ленивой Карасу?! Нет, этот бугор создан только для кладбища.

— Зачем так пренебрежительно говорить о земле, — сказал Амут. — Вы хотите, чтобы любая земля родила сама по себе, посеял, собрал — и все дело. А такую землю мы уже распахали, райские кущи кончились, надо вкладывать в землю, чтобы получать от нее желаемое. И потом, Талип-ака, ваши же агрономы сказали, что почва этого богара — настоящий клад. А вы почему-то игнорируете их и вообще... Вы недружелюбно относитесь к молодым специалистам.

Вот тогда-то и сказал, перейдя на «вы», Талип Сабиров те самые слова, которые глубоко оскорбили Амута.

— Да вы, молодой человек, упрямее старого Миргияса. И вообще — я бы вам советовал больше думать о своем больном и, я бы сказал, брошенном отце, вместо того чтобы поносить меня...

Амута словно ударили по лицу.

— Талип-ака! Какое отношение имеет болезнь моего отца к нашему делу?! Или вам нечем крыть, если вы ухватились за сплетни дураков?!

— Нет, дорогой мой, не в этом дело. Мне есть чем крыть, в крайнем случае я могу просто приказать тебе, понял? Дело в том, что Миргияс-ака тоже был мечтателем, — начал Сабиров издали. — Он не хотел никого слушать. И сколько раз смешил людей своей возней с этим мертвым клочком земли. А чем все кончилось? Тем, что Черный богар отнял у него руки и ноги. Чего ты пожимаешь плечами? Откуда у него паралич?..

У Амута потемнело в глазах. Он спешился и нервно пошел к старому руслу, по которому отец когда-то пытался поднять воду к богару. Здесь Амут остановился, сжав кулаки, и так стоял, медленно приходя в себя, чувствуя спиной мерное и теплое дыхание коня. Потом он обвел взглядом Черный богар, вздохнул в полную грудь и, взяв повод, двинулся вверх по старому руслу, как по верной тропе. Поднявшись на холм, Амут обернулся и, прикрывая глаза ладонью от слепящего солнца, долго смотрел на родное село...

\* \* \*

Миргиясу делалось все хуже. Он уже терял сознание, а в те минуты, когда рассудок возвращался, Миргияс ясно сознавал, что ни внука, ни обводненного Черного богара ему не увидеть, хотя он не сомневался на этот счет в сыне.

Через несколько дней из района вдруг пришло указание ирести на Черном богаре мелиоративные работы.

В самый разгар работы на Черном богаре Амут поехал в больницу, чтобы привезти отца домой. Однако Миргияс отказался вернуться в село, сказав, что будет только обузой. На этот раз, как показалось Амуту, отец был совершенно спокоен, не спрашивал, как обычно, о мелочах, по

смушал Амута разговорами о внуке. Он лишь — как и прежде — не забывал выразить словом или взглядом, улыбкой, что доволен своим сыном, и это было единственным утешением для Амута в эти трудные дни...

...В эти же дни председатель колхоза неотлучно день и ночь пахидлся рядом с молодым инженером. Сабиров вдруг бросился в другую крайность — посчитал себя виноватым во всех трудностях семьи Амута и теперь откровенно сожалел об этом. Он несколько раз порывался извиниться перед молодым инженером за то, что произошло у них на Черном богаре. Амут, казалось, все забыл за работой, и Сабиров решил, что все обойдется и не стоит в его положении и возрасте открыто извиняться перед сыном старого Миргияса.

Строительные работы, приостановившиеся во время весенней пахоты и уборки урожая, в полную силу возобновились осенью, и теперь оставалось проложить лишь бетонные желоба на последних метрах. Все было готово: в любое время можно было пустить воду по каналу, а на всей площади Черного богара прорыли побочные арыки с запрудами, которые должны были заставить воду расплзтись по земле. Амут спешил закончить работу, он очень хотел, чтобы отец увидел, как вода придет на Черный богар. Об этом часто заговаривал и Сабиров:

— Надо спешить, завтра пустим! — торопил строителей председатель. — Но, браток, все это должен увидеть Миргияс-ака. Непременно должен. Надо привезти его, я дам машину...

Вода пошла по бетонному каналу. Сначала робко, словно пробуя ложе, затем все напористой она — прозрачная, холодная — легко ринулась по каналу, будто струилась по нему от века. Но дехкане, знавшие историю Черного богара, восприняли минуту как особенную, они волновались, радовались, двигаясь вдоль канала вслед за водой. Старики вспоминали своегомираба — старого Миргияса, говорили о том, что сегодня исполнилась его мечта.

Через пару часов Сабиров и Амут были в больнице. Узнав, что вода пришла на Черный богар, старыймираб привстал на локтях, отнимая тяжелую голову от подушки.

— Вот видите... вот... везите меня домой, домой!

Брезентовый верх газика был спят. Полужека на подушках, опираясь на плечо сына, старый мираб смотрел на влажную землю Черного богара. Лицо Миргияса ожило, горькие морщины расправились в улыбку. Миргияс с радостью и страхом слушал, как неровно и сбивчиво, но в полную силу стучит его сердце. Старик жадно ловил ноздрями запахи влажной земли, мокрой травы, которые были свежи и остры, словно только что над степью пролетел грозовой весенний дождь, и которые можно услышать только при встрече, после бесконечно долгой разлуки истосковавшихся друг по другу человека и земли.

В свой дом, где жили его дед и отец, где жил он сам и где живет теперь его сын, Миргияс вернулся оживленный, с легким, светлым чувством. Его все не покидало ощущение, что наконец-то он сделал большое, необходимое для всех и, главное, для себя дело, без которого жизнь была бы неполной, недожитой.

Пока Миргияс смотрел на Черный богар, напоенный руками сына, перед его глазами прошло многое из того, что составляло смысл его жизни, и еще — сад, теперь позолоченный мягкой осестью, старый вяз, который был посажен отцом, когда тот научился держать в руках кетмень, радости и беды, которые входили в их дом и покидали его, беседка в глубине двора, всегда увитая диким виноградом в окружении цветов, которые так любила мать Амута...

Когда Миргияса ввели под руки в дом и положили на кровать, прямо перед собой — на стене — он увидел большой портрет жены. Родные, дорогие ее глаза смотрели на Миргияса понимающе, с давней, всегда желанной любовью, и под его сердцем в тесноте старой, уставшей дышать груди, метнулась горячая боль.

Миргияс медленно закрыл глаза, попытался глубоко вздохнуть и — затих, уже не слыша себя, тишины родного дома, голоса сына, стремительно вбежавшего в комнату...

Всю ночь Амут просидел у изголовья отца. Лишь на рассвете он встал и тихо вышел на крыльцо. По стене, поднимаясь к небу, растекался прохладный синий свет. Где-то, бормоча, переливалась вода. За селом по берегам реки туго шелестел тальник. Амут опустил на ступеньку крыльца, спрятав лицо в ладони. Неожиданно вспомнив что-то, он поднялся и поспешно пошел к задней стене дома. Там, прислоненный к стволу вяза, стоял кетмень,

поступленный о землю, на которой он родился, с отполированными ладонями отца черенком. Амут взял кетмень, долго смотрел на него и вдруг, сдерживая слезы, начал рыхлить этим кетменем землю вокруг старого вяза...

## СХВАТКА

### I

Гражданская война в России уже окончилась, но в Средней Азии и Семиречье было еще беспокойно, особенно в пограничных районах. Здесь пока оставались крупные и мелкие басмаческие банды.

Бандиты, затаившиеся зимой и весной 1921—1922 годов, к лету опять появились в окрестностях Джаркента, Галжата и разграбили имущество и скот нескольких дехкан. Через несколько дней из Чилика и Талгара угнали несколько табунов лошадей и убили двух конюхов.

Красноармейские отряды и чекисты неплохо знали состав и главарей разномастных семиреченских банд, но не могли пока выделить достаточных сил для окончательного их уничтожения. Бандиты переходили границу то через перевалы Аксу — Кетмен, то со стороны Киргизии — через Асы, Ой-джайляу, то через Хоргос и Хоньхай-мазар, и нужны были большие подвижные отряды, чтобы контролировать такое огромное пространство. Помимо всего, это было время, когда засевавший в сильцзянском городе Суйдуле генерал Дутов готовил свой поход на молодое Советское государство... Оставалось одно — усилить действия местного актива и чекистов.

Были созданы добровольные отряды против банды Хевуллы, действовавшей между Чиликом и Талгаром, и Дары, орудовавшей от Джаркента до Аксу. Командиром отряда, которому поручили ликвидировать банду Дары, был назначен Махмут Ходжамьяров, а его помощником — Мукай. Их негласное назначение держали в строгом секрете, понимая, что Хевулла или Дара, узнав об этом, сделают все, чтобы или убрать руководителя и его помощника, или уничтожить их семьи.

Дара был известен от Джаркента до Ташкента своей безжалостностью. Его имя не произносилось без эпитетов

и кличек, большей частью завидно лестных, вожака банды звали не иначе как «Ухарь Дара», «Меткий Дара». Он и правда был силен, ловок, умен, хорошо знал местность, по которой моталась его банда. Когда-то он отличался лишь дерзостью и бесстрашием в кулачных боях. А на путь разбоя Дара встал после поражения в поединке со знаменитым Сеитом Ночи (непобедимый гигант), кулак которого повергал всех силачей Алтышара и Семиречья. Несколько раз, нападая на богатые табуны киргизского манапа Сарымсака, Дара был беспощадно бит последним и каждый раз чудом спасался от его смертельного сойыла. А все потому, что не мог он ускакать от удивительно резвого жеребца Сарымсака — от Акжала. Наконец Даре удалось выкрасть скакуна, и вот с тех пор, в течение пяти лет, Дара был неуловим, и пошла молва, что догнать его не может и пуля.

Узнав, что прошлой ночью Дара угнал в Чарыпе косяк лошадей, избив до полусмерти конюхов, Махмут вместе со своим отрядом отправился в путь. К утру они добрались до Борохудзера и, сменив лошадей, поскакали вверх вдоль северного берега Или. Махмут Ходжамьяров и Мукай предполагали, что Дара переправится через реку на пароме, что ниже Кольжата: вода в реке сильно прибывла — и течение было такое, что лошади его одолеть не могли.

Петляя в камышах, тальнике и зарослях джиды, дорога вывела отряд в долину, где еще яснее стали видны следы угопяемого табуна. Красноармейцы прибавили было ходу, но вскоре дорога опять нырнула в густой высокий камыш.

— Вряд ли мы догоним их до переправы, — сказал Махмут, то и дело поглядывая в бинокль.

— Глянь-ка, Махмут, из джиды поднялась стая птиц. Они чем-то напуганы, это неспроста...

Ходжамьяров резко повернулся в седле, посмотрел в указанную Мукаем сторону и послал коня на холм. Оттуда, привстав на стременах, уже пристально оглядел заросли. Он увидел, как два всадника заехали обратно в кустарник несколько лошадей, выбежавших на открытое место.

— Да, Мукай, кажется, мы их нагнали, — произнес он и, не выдавая волнения, приказал: — Аквар, возьми с собой четыре человека, постарайся незаметно обойти заросли

и отрезать путь Даре. А ты, Саут-ака, со своей группой проберись через камыш по берегу реки! Ты, Мукай, обстреляй их, а я выберу момент и возьму на мушку Дару. Самое главное — не дать уйти Даре!

Скоро они увидели несколько лошадей, брошенных бандой, и Махмут разглядел в бинокль четырех всадников, у каждого в поводу шла заседланная свежая лошадь. «Почему они стараются скрыться и не хотят отстреливаться? Должно быть, узнали, что нас много», — подумал Махмут, поднося бинокль к глазам. В ту же секунду пуля ударила в бинокль, угол левого окуляра срезало, как ножом, и Махмут услышал перестрелку. «Значит, у Дары есть винтовка с оптическим прицелом», — решил Махмут и пришпорил коня.

Погоня продолжалась, они уже нагоняли банду — лошади отряда были свежи. Наконец двое из четырех всадников Дары были выбиты из седел меткими выстрелами. Остался Дара и с ним какая-то женщина. Вдруг Дара на всем скаку выхватил женщину из седла — и они стали быстро удаляться, словно у лошади с двойной ношей вдруг появились крылья.

— Акжал! — воскликнул Махмут.

— Жалко убивать, не будем стрелять... — осторожно заметил Мукай, невольно залюбовавшийся жеребцом Дары.

— Теперь встретимся у переправы ниже Кольжата, может быть, на самом плоту, — заключил Махмут.

Дара ушел и на этот раз. Ушел, потеряв двух спутников, таких же отчаянных и жестоких. Потерял он и красивую, любимую им женщину. Дара сам умчал ее от погои и сам убил. Каждый по-своему старался объяснить это страшное решение Дары, которое никак не уместилось в голове нормального человека. Ну, почему он, бросив своих раненых спутников, большой косяк лошадей, взял с собой только эту женщину, а потом, когда спас ее, — убил? Никто не находил ответа на этот вопрос.

Все выяснилось на пароме.

Старик, переправивший Дару на другой берег, молчал, только время от времени посматривал туда, где скрылся человек на знаменитом Акжале. Другой же паромщик — он был моложе — не мог скрыть недавно пережитого страха и только повторял:

— Он настоящий шайтан — этот Дара, настоящий шайтан! И лошадь у него какая-то бешеная! Он сказал, что предпочел верную собаку неверной бабе. Ну и шайтан!

Махмут и Мукай не торопили паромщиков, надеясь, что, придя в себя, они скажут кое-что важное, и наконец старик рассказал, что Дара на скаку услышал, как скулит его собака Бойнак, бежавшая рядом. Дара придержал жеребца, не желая оставлять верного пса, и увидел, что собака держала в пасти обойму патронов. Он машинально ощупал патронташ — тот был пуст. Оказывается, сидя за Дарой, женщина почему-то выпула у него последнюю обойму и выбросила ее, Бойнак подобрал ее, а когда погоня осталась далеко позади, остановился и позвал хозяина...

— Вот что он мне рассказал, — заключил паромщик.

— И он убил ее... — тихо проговорил Махмут.

После минутного молчания старик убежденно добавил:

— Недаром говорят, что собака — верный друг, а женщина — обуза.

Мукай отошел и стал поодаль, чтобы не сорваться на старика, так холодно и безжалостно тот рассудил.

— Что ты несешь, старик? — крикнул Махмут. — Дара — убийца и вор. Женщина не могла поступить иначе, ведь он убил и ограбил десятки таких, как ты, дехкап, а ее силой отнял у родителей!

— Ты позоришь свои седины, старик! — сорвался па крик и Саут.

Должно быть, старик вспомнил пословицу, не особенно задумываясь над тем, что совершил Дара. Потому он поцуро опустил голову, в замешательстве затеребил усы.

— Да-да... Вы правы, дети мои. О аллах, что творится в этом мире!..

## II

В то время Махмуту не было и двадцати пяти лет, но революция захватила его целиком, он закалился, идейно окреп и вырос, глубже стал понимать сущность происходящих перемен. Этому способствовали его пребывание в Джаркенте и Подгорном, общении с образованной русской,



татарской молодежью и особенно военно-политические курсы в Алма-Ате, где он учился у Абдуллы Розыбакиева, Магаза Масалчи. С малых лет он всем своим горячим сердцем полюбил Садыра Палвана, Анаята Курбанова, Илахуна-Коккоза и мечтал быть похожим на них. Он гордился тем, что своими глазами видел и Анаята и Илахуна, и с волнением вспоминал те дни.

Десять лет назад, когда из-за предательства поймали Анаята Курбанова, Махмут вместе со своим дедом был на месте поимки. Люди, боясь кары, не решались подойти поближе к Анаяту и стояли поодаль. Махмут же, набрав в тыквянку чаю, подбежал к пленнику и протянул ему кувшин. Тогда Анаят с окровавленным лицом весело улыбнулся и сказал: «Молодец, сынок! Ты бесстрашен, пусть мой сын станет тебе другом!» Даже конвоир пришел в удивление от поступка мальчишки и разрешил ему напиться арестованного.

«В жизни иногда бывает такое, что и не знаешь, паяву это случилось или во сне», — говорил часто Махмут, вспоминая о другой встрече, которая произошла спустя месяц после ареста Анаята. Махмут вместе с друзьями шел по улице села и громко пел. Когда они вышли на большую проселочную дорогу, к ним приблизились трое всадников, они резко осадили лошадей, пряча оружие. Один из них сказал:

— Молодцы, ребята! Неплохо поете... Но сама песня тут ни при чем, конечно.

— А чем вам не нравится песня? — спросили ребята.

— А вот если я возьму и расстрою ваши инструменты, вам это понравится, а?

— Не понравится...

— Ну вот и вы, пожалуйста, не искажайте мою песню.

С этими словами один из них хлопнул по плечу Махмута, и всадники ускакали. Только тогда ребята поняли, что это был знаменитый певец и народный герой Илахун: ведь они пели «Песню Илахуна»!

Спустя две недели стало известно во всем Семиречье, что Илахун-Коккоз был в Алма-Ате. (Действительно, Илахун вместе с двумя товарищами прискакал в Алма-Ату из Кульджи, чтобы освободить Анаята; правда и то, что они прибыли через несколько минут после того, как казненного Анаята спустили в вырытую тут же яму, наполненную кипящей известью.)

«Да-а, в жизни человека и в истории бывают такие моменты, когда одна минута, даже секунда может сыграть решающую роль», — так думал Махмут, возвращаясь к месту недавней перестрелки с бандой Дары, чтобы похоронить на берегу Или своих павших товарищей.

Сотрудники Джаркентского уездного ЧК обсудили операцию, которую они считали и удачной, потому что банда была рассеяна, и неудачной — потому что сам Дара все-таки ушел, и отправили докладную руководству. Независимо от того, какой вывод будет сделан в центре, Махмут решил просить разрешения на переход границы, чтобы уничтожить Дару и Хевулла в их же глесте. Но начальник Джаркентской милиции Чанышев запретил эту операцию... Чанышеву было известно, что во-первых, Хевулла пойман, во-вторых, едва ли из-за Дары, который, потеряв банду, наверняка оставит свой промысел, стоит так рисковать.

— Есть, браток, другие дела, — необходимо, например, осуществить на чужой земле один революционный приговор, — сказал Чанышев Махмуту.

С этого дня Чанышев и Махмут встречались почти каждый день. Махмут изучал по военно-топографической карте Суйдун и окрестности этого города, горные дороги. Чанышев подробно рассказывал ему о расположении гарнизона генерала Дутова, о его охране. Однажды Чанышев сказал Махмуту, что он должен научиться мастерски стрелять из пистолета.

Махмут понимал, что готовят его для важного дела, и был готов к этому. Лишних вопросов он не задавал, потому что хорошо знал: до поры до времени едва ли и сам Чанышев точно знает подробности задания, а если и знает, то ничего определенного пока не скажет.

Рассказывая о положении в Суйдуне, Чанышев дал Махмуту подробную информацию об одном своем родственнике, который разбогател на кожевенном деле, а потом заметил:

— Дара, должно быть, все еще в Суйдуне. Говорят, что его жеребца, которого ты хвалил, у него отобрали люди Дутова.

Махмут и Чанышев еще поговорили о мелочах, которые могут оказаться важными, потом отправились в столовую. На берегу Усека сидели десятки игроков и бездельников, разделившись на группы, они играли в азартные игры. Махмут обратил внимание Чанышева на этих людей.

— Этими бесклассовыми элементами займемся потом, Махмут. Сейчас наша задача — уничтожить вооруженных врагов, таких, как атаман Дутов. Он накапливает силы у нас под боком. Не можем же мы ждать, когда он перейдет границу и нападет на нас.

Сдвинув брови, Махмут молчал, обдумывая слова Чанышева, и уже мысленно строил планы уничтожения атамана. Чтобы Чанышев не заметил его мечтательности, Махмут вспомнил Акжала.

— Удивительный конь! На нем атаман может уйти от любой погони.

— Все атаманы помешаны на лошадях. Но такой ли уж скакун Акжал, как о нем говорят?

— Крылатый конь! Даже меня с моим серым бегуном оставил далеко позади, а ведь двоих нес на себе.

— Да-а... — пробормотал Чанышев, размышляя о чем-то. — Хороший конь — это не так уж мало...

Очередная встреча в уездной ЧК с Чанышевым состоялась через неделю. На этот раз Махмута с Мукаем вызвали из села Хоньхай, где два друга испытали своих скакунов и теперь поставили их выстояться.

Была поздняя осень с ее холодными дождями, перемежающимися мокрым снегом. Наконец Махмут и Мукай были посвящены в дело. Перед ними стояла сложнейшая задача: Махмут, Мукай и «еще один молодой человек» должны были перейти границу, достигнув Суйдуна, дать лошадям отдохнуть, а в следующую ночь проникнуть в штаб-квартиру Дутова, убить атамана и скрыться.

— Готовы ли вы к выполнению этой задачи? — спросил Чанышев.

— Готовы, — уверенно и спокойно ответил Махмут.

В комнату вошел незнакомый молодой человек. Он улыбнулся, поздоровался с Махмутом и сел. Голенища его сапог с внутренней стороны были истерты, и Махмут подумал, что он много ездит верхом. Чанышев закурил и продолжил разговор:

— Это Хакимджан, молодой чекист, вернее, он чекист с колыбели. Его сам Абдулла Розыбакиев воспитал. — Молодой человек опять улыбнулся. Чанышев взял конверт с сургучной печатью: — Вот это — письмо генерала Дутова. Получив мое «дружеское и княжеское» послание, он осведомляется, когда мы выступим тут против советской власти. Пишет: «Тогда, с божьей помощью, поднимаемся и мы. Наше единение — залог нашей победы в Семиречье» и тому подобное. Однако атаман умолчал о том, что собирается выступить без нас, с помощью англичан и китайских богачей. Значит, мы не можем больше ждать.

### III

На следующий день чекисты были в казарме погранзащиты у Хоргоса. Ровно в полночь они пошли к границе. В ночной степи гудел буран, шел мокрый снег.

Чанышев почему-то сам повел своих подопечных в конюшню: хотел обрадовать их перед началом операции. Он взял у конюха фонарь и осветил одну из лошадей. Махмут и Мукай сразу же узнали Акжала. Узнали, но не верили своим глазам.

— Это Акжал?! — в один голос изумились они.

— Он самый. Два дня назад ваш спутник Хакимджан привел его.

Чанышев посмотрел на часы: «Через час-полтора ветер стихнет, а с восходом солнца опять усилится. Может, подождать еще с полчаса?» — думал он. Махмут и Мукай все еще любовались Акжалом и рассматривали его со всех сторон, освещая фонарем.

Под покровом ночи чекисты приблизились к самой пограничной полосе. Хакимджан ехал впереди. У самой границы он пришпорил коня и ускакал вперед. Когда Махмут с Мукаем спустились в глухое ущелье, он дожидался их там, спешившись. Это был последний рубеж.

— Теперь, Махмут-ака, обмотайте копыта лошадей тряпками, тут начинаются камни...

Лошади вдруг забеспокоились, зафыркали, прижимаясь

к скале и тесня своих хозяев: над их головами промелькнула тень — и неподалеку послышался удаляющийся шорох щебня.

— Барс,— шепотом сказал Мукай.

Теперь они ехали с интервалом в двадцать — тридцать шагов. Впереди — Хакимджан, потом — Махмут и Мукай. Условились — не отступать ни при каких обстоятельствах; если встретятся китайские солдаты (черики), постараться задобрить их опием или обезоружить по возможности без лишнего шума. При встрече с людьми Дутова живыми не даваться.

Границу они прошли незамеченными, однако на рассвете, уже направившись к городу, заметили спускавшихся с восточных склонов трех всадников. Вскоре они добрались до ущелья и преградили путь чекистам, ехавшим вдоль реки.

— Приближимся к ним спокойно. Разделим цели,— сказал Махмут.— На саврасом, в середине — мой, слева, Мукай, твой.

— А мой, значит, справа, на сером,— добавил Хакимджан, незаметно готовя револьвер и кинжал.

Встретившись лицом к лицу, обе группы остановились, поудобнее перехватив оружие. Минута показалась и тем и другим бесконечно длинной, и нервы были натянуты до предела, готовые бросить каждого на любое безрассудство. Глядя на среднего всадника, Махмут вспомнил, как две недели пуля снесла ему полбинокля. Не было сомнения, что этот черноусый человек с густыми сросшимися на переносице бровями был не кто иной, как Дара. Однако Дара не узнал Махмута. Между двумя государствами, покрывая сотни километров, могут бродить только такие же, как мы, думал, наверно, он.

— Кто вы такие? Откуда и куда? — спросил он строго и надменно.

— Из вашего же племени,— ответил Махмут.

— Значит, джигиты Хевуллы?

— Вы угадали, Дара-ака! — сказал Хакимджан.

— А ты откуда меня знаешь, сопляк?

— Это же сын Хевуллы, разве вы не видали его никогда?

— Нет, не приходилось... Значит, сын Хевуллы? — Дара сушу обрез под колесо, молитвенно вознес руки к ли-

ду.— Твоего отца поймали, сынок. Но мы, его друзья, всегда с тобой... Итак, вы только что перешли границу... Без приключений?

— Благополучно...

— Что там о нас говорят?

— Ходят слухи, что вы погибли в последней перестрелке...

Дара расхохотался.

— Вы что-нибудь слыхали о моем Акжале? Не раз он выносил меня, вынес и в тот раз... Теперь еду его искать. Дугов, дурак, собирался отправиться на Акжале в поход, а прогляпил коня.

— Значит, не зря в Джаркенте и Чилике распространили слух! — воскликнул Хакимджап.

— Что за слух? — нетерпеливо спросил Дара.

— Будто ваш дулдул<sup>1</sup> будет участвовать в Алма-Ате на скачках.

— Какие же скачки теперь, зимой?!

— Русские и на льду устраивают скачки, бега.

— Это для ишаков — скачки на два квартала! Для Акжала пужна степь... Ладно, не сегодня завтра начнется суматоха, попробуем воспользоваться ею и вернуть Акжала.— Сказав эти слова, Дара хотел было продолжить свой путь, но Махмут остановил его вопросом:

— А что за суматоха, Дара-ака? Может быть, дадите нам какой-нибудь совет?..

— Атаман собирается в поход. Но вас это не касается. Запимайтесь своим делом... С чем возвращаетесь?

— Да так себе, у наших русских денег немного...

— Ай, что деньги! Как насчет курева?

— Есть кое-что...

Глаза Дары сузились, желтоватые зрачки заблестели, словно он только что закурился опиумом.

— Деньги вам обменяет Джамалдин-ходжа, вы должны знать его, этого бога Джанашара, волостного Джамхана. А со своими дурманшными комочками будьте осторожны, опасное теперь это дело. Я сам помогу. Бог даст, вернусь через неделю с Акжалом и в придачу еще захвачу табак. Найду вас у Джамхана-ходжи. А сейчас — прощайте! — сказав Дара и поскакал дальше.

<sup>1</sup> Ду л д у л — крылатый конь.

По мере того как чекисты приближались к Суйдуну, беспокойство овладевало их мыслями. Только теперь они ясно почувствовали всю ответственность предстоящей задачи.

— Значит, Джамхан-болус для Дутова свой человек, — вслух рассуждал Махмут.

— Ты, Хакимджан, придешь к нему раньше нас. Если мы не встретимся с солдатами Дутова, походим по базару и приедем позднее. Если же нас не будет, значит, мы приступили к делу сразу же. В этом случае сам знаешь, что делать.

Опасения Махмута подтвердились. Как только они растались с Хакимджаном, их остановили два казака и начали допытываться, откуда они и кто такие.

— Мы из Джаркента с важным донесением для господина генерала, — уверенно ответил Махмут.

Казаки переглянулись, и один из них приказал:

— Вручите адъютанту атамана. Идите впереди нас.

Они остановились у каких-то ворот. Загремели засовы, ворота открылись. Пропустив казаков, постовой солдат встал рядом с прибывшими. Должно быть, в штабе белогвардейцев ждали это сообщение, потому что казаки, доложив, тут же вернулись.

— Кто из вас зайдет? — спросил один, и, когда Махмут двинулся с места, его проворно обыскали.

Махмут сам вынул один из своих револьверов и протянул солдату, который повел его в помещение. Однако до встречи с Дутовым было еще далеко. Его приняли сначала дежурные по штабу и осведомились, с каким сообщением он прибыл. Махмут повторил, что должен вручить пакет генералу лично, и только показал послание Чанышева.

Наконец один из казаков повел «упрямого связного» к личному адъютанту Дутова. Другой казак куда-то исчез. За движением в крепости наблюдал Хакимджан с крыши дома Касыма-саллаха, который стоял на другой стороне улицы. Он держал наготове свой маузер, беря на мушку то казака около Мукая, то окна и двери штаба. Перестрелка могла начаться в любую минуту.

Обыскав Махмута еще раз, адъютант скрылся за дверью генерала. Махмут незаметно нащупал браунинг,

спрятанный под рубахой, переложил его в карман так, чтобы оружие можно было выхватить в пужный момент. «Пять патронов. Тут придется убрать троих, при выходе остается только два. У Мукая два маузера, значит...»

Вышел адъютант, весело похлопал Махмута по плечу и сделал знак, что можно зйти.

Атаман сидел за дубовым столом в большой комнате, стены которой были увешаны хотанскими коврами. Как истинный дворянин, он, конечно, не подал руку простому туземцу и движением головы показал на стул рядом со столом. Дутов положил какую-то бумагу в ящик стола, но руку обратно не вынул.

— Когда и на какие участки собирается напасть Чанышев? — спросил он. — Мы должны соотнести наши планы.

Махмут, внимательно следя за рукой генерала, сказал первое, что пришло в голову:

— В Алма-Ату, господин генерал, прибывают красноармейские части. Мы должны выступить до их прибытия, значит, через два-три дня.

Атаману это, видимо, очень понравилось, он, по своему обыкновению, поднял обе руки и восхищенно произнес, вставая из-за стола:

— Вот это самое главное!

В эту секунду Махмут сделал два выстрела — в упор, в сердце атамана. Дутов дернулся вперед, будто хотел кинуться на Махмута, широко раскрыл глаза и повалился на пол, руками смахивая со стола приборы и бумаги. Через мгновение в кабинет ворвался адъютант, на ходу выдвывая из кобуры пистолет, но Махмут успел первым — офицер шагнул вперед и рухнул на ковер во весь рост. Пистолет выпал из его уже мертвой руки и скользко полетел по паркетному до блеска полу.

Когда Махмут вышел — он постарался сделать это спокойно, неторопливо, — штабс-капитан преградил ему путь: офицеру показалось подозрительным, что Махмут покидает кабинет атамана один, без сопровождения. Вдруг он напугался и, уже падая, начал беспорядочно стрелять. Махмут понял, что это дело рук Хакимджана. Когда Мах-



мут побегал, Мукай выстрелом убрал постового и открыл ворота.

Но в последнюю минуту, когда Махмут уже коснулся ногой стремени своего коня, пуля ударила его в правое бедро. В это же время была убита лошадь Мукай. Схватив гранату, он швырнул ее что есть силы в сторону солдат, которые уже опомнились и вели прицельный огонь. Воспользовавшись замешательством после взрыва, Мукай посадил Махмута на лошадь, вслед за ним прыгнул сам в седло, и они погнали коня вон из города в сторону гор.

На окраине Суйдуна их нагнал Хакимджан, он отдал Мукаю поводья своего коня, а сам на скаку прыгнул из седла через дувал одного из окраинных домов.

Казак проскакали мимо Хакимджана с криком, беспорядочно стреляя. Хакимджан видел, что им уже не догнать Махмута с Мукаем. Теперь он хотел убедиться, что кровожадному атаману действительно пришел конец. И еще ему нужно было забрать своего отца, обманутого несколько лет назад волостным Джамханом и находящегося теперь у Касыма-саллаха. Хакимджан вышел на улицу и уверенно зашагал, как это подобает истинному «барчуку», хотя с трудом владел собой от охватившего его глубокого волнения.

В тот же день молодой чекист своими глазами увидел разоренное гнездо атамана Дутова. Офицеры и солдаты начали растаскивать все, что было на складах и в амбарах атамана. Казак уходили кто куда — одни в Советский Союз с раскаянием, другие — в Кульджу, Харбин. Самые отпетые белогвардейцы-мародеры грабили население маленького городка.

В полдень Хакимджан направился к дому Касыма-саллаха, где жил отец. Там уже были приготовлены две лошади, которые Хакимджан купил на свои деньги. Радость не покидала его — вот сейчас он вместе с отцом уедет на родину, в тот дом, который отец когда-то построил сам...

Войдя во двор Касыма, Хакимджан увидел, что бывший волостной Джамалдиди-ходжа, от допосов которого пострадали многие люди Джетысу, стоял на коленях перед своим работником Ваханом-тамчи, отцом Хакимджана, и о

чем-то с плачем просил его. Сперва Хакимджан забеспокоился, не узнал ли этот старый лис, кем он, Хакимджан, является на самом деле, и не поэтому ли молит отца о пощаде, но через минуту понял, в чем дело: Джамалдин-ходжа скулил о том, что все его богатство, до последней копейки, разграбили белогвардейцы, и теперь он просил отца дать ему на время лошадь и телегу, чтобы добраться до Кульджи, за что сулил большие деньги.

— Чем же ты будешь платить, если тебя ограбили подчистую? — насмешливо спросил Хакимджан.

Джамалдин-ходжа пополз к чекисту на коленях, словно не услышал схидного вопроса.

— О, сынок, как хорошо, что ты пришел! Только ты можешь меня понять!..

Хакимджан смотрел то на отца, то на Джамалдин-ходжу. Ему хотелось сейчас пристрелить этого бывшего волостного. Разве он не заслуживал этой кары! Но молодой чекист сдержал себя. «Пусть он умрет от рук себе подобных!..» — подумал Хакимджан.

— Я вам ничем не могу помочь, ходжа, как бы я ни хотел этого,— сказал он.— Я сам скрываюсь от палачей покойного джандрала.

— Тогда, дорогой мой, скажи им, пусть дадут мне одну лошадь, и я уеду.

— Как же так, дорогой ходжа? Мало того, что грабили нас белогвардейцы, теперь мы своих же будем разорять? Если этот старик отдаст нам лошадь, то Касым-саллах ведь спросит с него, так?

Бывший волостной посмотрел на Вахапа-тамчи с откровенным презрением:

— Да что с этими негодями может случиться? С них как с гуся вода... Иди оседлай одного коня, мне нужно ехать! — приказал он Вахапу.

Вошел Касым-саллах. Он, должно быть, был под хмельком, потому что еще от ворот навалился на ходжу, размахивая кулаками:

— Убирайся, мерзавец! Такие, как ты, виноваты в этой жизни! Жрете друг друга. Так тебе и надо.

Ходжа, не на шутку испугавшись мясника, быстро заземенил к выходу. Касым широко раскрыл объятия, толкнул сына к отцу и с большим удовольствием наблюдал, как они обнялись.

Задание было выполнено, но в самом конце, уже достигнув границы, Хакимджан с отцом попал в переделку. Узнав о происшедшем в Суйдуве, китайские пограничники перекрыли границу, и, когда Хакимджан, пройдя большой лог, стал подниматься на перевал, по ним началась отчаянная стрельба. Свесившись на правый бок лошади, Хакимджан скакал вперед, прислушиваясь к топоту другой лошади, на которой ехал его отец. Видно, среди китайских пограничников был хороший стрелок — он ранил лошадь отца. Хакимджан остановился.

— Хакимджан, уходи, уходи, сын мой!.. — шептал старик, придавленный лошадей.

Хакимджан быстро поднял исхудавшего, костлявого отца и посадил на своего коня. И снова была бешеная скачка, стрельба. У самой границы Хакимджан вдруг застонал и, падая, схватился за луку седла.

— Гони, отец, гони вперед! Осталось немного...

Через минуту они пересекли границу.

В больнице Хакимджан долго пролежал без сознания, в бреду. Пулю, засевшую в груди, извлекли, и ему стало лучше. На третий день он открыл глаза и сразу спросил об отце.

— Отец ваш в безопасности. Завтра встретитесь, — сказал хирург, улыбаясь. — А знаете, с кем у вас будет первая встреча? — сказал он и сделал знак сестре.

Вошел Чанышев. Он долго сидел молча, положив руку на плечо Хакимджана.

— А Махмут-ака, Мукай, они уехали в Алма-Ату? — тихо спросил Хакимджан.

Чанышев утвердительно кивнул, и Хакимджан, закрыв глаза, вздохнул с сожалением.

«Он действительно врожденный чекист», — с гордостью думал Чанышев.

Не успев еще оправиться от болезни, Хакимджан уже сожалел о том, что он не сможет участвовать в поимке Дары. И когда он встретился с отцом, и когда читал телефонограмму Абдуллы Розыбакиева, он думал об операции, которая должна быть скоро выполнена в Алма-Ате.

Однако и с помощью Акжала нелегко было взять Дару и его новых людей. В первый же день после выполнения операции Махмут Ходжамьяров приехал проведать Хакимджана и подробно рассказал обо всем.

— Помнишь, ты рассказывал Даре про скачки. За это-то мы и ухватились. Улица Ташкентская была превращена в ледяную дорогу. Собралось огромное количество наездников. Дистанция была не длинной. Помнишь слова Дары? Он был прав. Акжала все в галоп тянет, а пока заставлю его перейти на рысь — отстаю. Но в конце концов он все же обогнал всех.

Когда закончились состязания, началась бойкая торговля скакунами. Я тоже торгуюсь. А торговля шла «в рукаве», то есть никто вслух цену не называет, а соединяют рукава и пальцами показывают цену. Покупатель жмет тебе большой палец — сто рублей. Я ему сую два пальца — двести. И сразу же отпугиваю его. Мне-то продавать Акжала не надо, я ждал Дару.

— А для чего торгуются в рукаве?

— Тут много хитрости. Во-первых, чтобы другим покупателям дать возможность оценить самостоятельно, а во-вторых, чтобы посредники могли поживиться: они могут получить определенную мзду и с продавца и с покупателя за то, что одному помог купить, другому — продать. Так вот, один, похожий на башкира, дал за Акжала триста. Я сперва вздрогнул, но пригляделся — нет, не Дара.

Наконец я подозвал мальчика, прогуливающего Акжала под пышной попоной, и, купив два снопа клевера на базаре, отправился в дом, где «остановился» на ночлег. Наши следили за мной издалека. Они сказали, что ничего подозрительного не заметили. И все же мы попросили хозяев освободить дом и ночевать сегодня у соседей, и с Мукаем залегли в засаду. Собаку тоже убрали. Но люди Дары не появились. На следующий день, к вечеру, мы выехали из города. За нами должны были следовать чекисты на санях.

У села Байсерке наперерез нам выскочила группа всадников. Мы не прибавили ходу. Всадники, скакавшие во весь опор, не заметили, как следом за ними пристроилась тройка с чекистами. Мы повернули в поле и по глубокому снегу погнали коней. Снежные вихри поднимались за нами, и, воспользовавшись этим, мы бросились в

снег и затаплился. Акжал пробежал еще сотню метров и остановился.

На тройке открыли огонь по бандитам. Стиснутые с двух сторон, люди Дары падали под нашими пулями, и наконец остался один, который был ранен. Однако, когда наша кошевка приближалась к нему, тяжелораненый Дара — а это был он — свесился на бок лошади и поскакал от нас. Когда он поравнялся с Акжалом, раздались два выстрела. Подъехав, мы увидели, что Акжал был мертв, а рядом — Дара!..

Коня жаль... Дара — зверь, зачем ему было убивать Акжала... Но не в этом дело, свой долг перед родиной мы исполнили!

— И всегда готовы служить родине, Махмут-ака! — ответил Хакимджан, сжав руку Махмута. Искренность Хакимджана, боевого друга, согрела душу Махмута, и это тепло казалось ему могучей силой в будущих боевых делах.

## ВОЖАК

Маленький, с пузатыми бортами буксир медленно тащил через море плот. На плоту, за высокой изгородью, сколоченной из неотесанных жердей, плотным косяком — один к одному — стояли куланы.

У большого острова, поднимавшегося из Арала горбатой песчаной спиной, поросшей чахлой, измученной солеными ветрами травой, буксир пришвартовал плот к самому берегу и застопорил ход.

Куланы, едва коснувшись копытами тверди, метнулись прочь, но, почуяв замкнутое пространство, затихли, разбрелись по острову, настороженно обнюхивая незнакомую землю.

Работники зановедника, сопровождавшие косяк, облегченно вздохнули — рискованный путь был позади. Тут же руководству отравили срочную радиограмму: дескать, транспортировка куланов, с целью эксперимента по их акклиматизации, имеющего важное научное значение, проведена успешно!

На радостях начальник экспедиции Николай Степанович Зорин закатил торжественный обед, по мере которого

успех представился еще более значительным, и обед незаметно перешел в ужин. Только глубокой ночью работники заповедника улеглись спать.

А перед рассветом людей подняла на ноги ошеломительная весть: куланы бросились в море и поплыли к большой земле!

Через несколько минут прожектор буксира осветил берег. Когда слепящий сноп света лег на черные крутые водны, все увидели напряженно вытянувшиеся головы куланов. Зорин догнал плывущий табун на глиссере, несколько раз пронесся перед ним, пытаясь повернуть беглецов к острову. Но тщетно. Куланы властно стремились к родным местам, туда, где лежала их степь, их пастбища, туда, где они родились, и ничто не могло их остановить на этом пути.

— Передайте в ближайшие рыбколхозы, порты, поселки! Все, кто может, пусть выйдут в наш район на лодках, катерах! — распорядился Зорин. — Так и передайте, гибнут куланы! Надо спасти редких животных!

Вскоре со стороны моря начали подходить лодки, катера, фелюги, сейнеры. Несколько часов рыбаки, моряки, грузчики сетями, арканами, даже лебедками вытаскивали из воды обессплевших куланов... Спасти удалось только половину табуна...

Измученные, наглотавшиеся соленой воды, куланы смиренно пролежали на берегу до восхода солнца, а потом медленно поднялись, пошатываясь, разбрелись по острову. За несколько часов они потеряли весь лоск и осанку. Старые работники заповедника уверенно решили:

— Теперь не удерут! Баста!

Зорин кивнул, соглашаясь, и тихо спросил:

— А остальные?... Жалко ведь?

Все удрученно молчали. Зорин опустился на землю, закурил. Спичка подрагивала в его пальцах.

— Жалко, черт... Особенно того, игреневого. Помните?..

— Да, красавец был, — огозвался кто-то. — Он бы косяк здесь водил, потомство бы дал крепкое. Жаль...

Уже не было видно земли. Вокруг, качаясь, проходили одна за другой пенистые волны. Солнце тускло поблескивало на стылой тяжелой воде. Игреновый кулан плыл

из последних сил, задыхаясь, он запрокидывал голову, когда волны били его в грудь. Глаза его стекленели от усталости, страха и отчаяния. Тело уже налилось холодом, мышцы сжались, истерзанные судорогой. Наконец волна захлестнула кулана, ударила его в бок, стремительно повесла куда-то в сторону, вниз, и небо, солнце, соленый воздух, наполнявший легкие колкой болью, — все исчезло...

...Первое, что он увидел, открыв глаза, — солнце. Уже мутное багровое, оно медленно тонуло в штилевом море. День иссякал. Кулан лежал на боку, прижавшись мордой к холодному береговому песку, и сквозь прерывистое сознание чувал, как в его теле вновь теплеет и крепнет жизнь. Рядом лежал куст с корявыми корнями. Вялый прибор ворошил его истрепанную, пожухлую от горькой воды крону.

Кулан медленно оглядел куст и решил встать. Он напрягся, опираясь на передние ноги, но лишь дрогнул телом и опять бессильно распластался на берегу.

Ночью он второй раз поднял голову. И вдруг ясно почувал знакомый сладкий запах степи... Кулан лизнул шершавым опухшим языком горько-соленый берег, шумно всхрапнул и встал. Далеко-далеко перед ним, за чередой горбатых холмов, светлело у земли небо — там варождался новый день. Кулан неторопливо повернул голову, долго смотрел на море, туда, где вяло дыбились покатые волны, и медленно, еще выдавая каждым шагом смертельную усталость, двинулся на восток. Ветер нес ему навстречу аромат родной степи.

Несколько дней он провел на злаковых пастбищах, чувствуя, как в нем нарастает неукротимая сила, как ноги становятся тугими и легкими. Сухой степной ветер, в котором уже не было соленой сырости, ласково обтекал тело, зализывал верхушки барханов, покачивал миражи... Кулан часто останавливался, подолгу смотрел на горизонт, зорко перебирая взглядом каждый кустик, каждый бугорок, и опускал голову, не увидев ничего, кроме родной степи...

На рассвете следующего дня он заметил куланов. Они паслись, двигаясь к нему равнодушно и холодно. Кулан заволновался, нетерпеливо кинулся навстречу чужому косяку. Самки выжидающе застыли при виде игреневого, а

вожак косяка — старый, весь в шрамах от схваток, в которых ему приходилось отстаивать право на первенство в этом косяке, — как опытный боец, сразу пошел на игреневого и больно ударил его — сначала головой, а потом несколько раз копытами. Игреньевый был красив, силен, редкой масти, но был он чужим для этого косяка, и кулан отступил, повернулся и побрел прочь — в степь.

Ночью ветер окреп и принес к нему запах моря. Кулан напрягся, стараясь уловить и запах родного косяка, но ветер был чистый, морской, и в нем не было ничего, кроме запаха соли и тины.

Еще издали бродил он по степи, а когда игреньевый вновь увидел чужой косяк, он ударил копытом сухую горячую землю и понесся туда, откуда почью ветер принес в степь запах моря.

Степь была горяча и безмолвна, только совсем редко где-то произительно покрикнула какая-то птица, и этот звук был как вскрик только что народившегося существа. Кулан несясь легким наметом, рассекая грудью степной воздух.

Еще издали он заметил, как, пересекая ему путь, мчатся табунок джейранов. Кулан внутренне напрягся, увидев, что джейраны очень напуганы и бегут в жутком страхе. Он не сбавил хода, но мгновенно насторожился, напряг зрение и тотчас увидел волка. И волк, гнавший джейранов скорее из сытого озорства, тоже заметил игреневого.

Волк остановился, сразу потеряв интерес к взбалмошным джейранам, и уставился на кулана. Волк не привык видеть в это время одинокого кулана, в котором он сразу узнал вожака табуна, и потому сначала удивился, а потом сразу же присел, осканился, решив, что кулан одинок, потому что болен, и может стать легкой добычей.

Кулан все понял, ударил копытом, властно и угрожающе повел головой. Волк молниеносно отпрыгнул подальше, зная силу копыт куланов и поняв, что он ошибся. Некоторое время они стояли поодаль друг от друга, но шевелились, напряженно следя друг за другом, первым принял решение кулан, он стремительно развернулся и, косясь на волка, понесся галопом дальше. Волк порыскал следом, вывалив красный язык, с которого на песок скрывала слю-



па. Кулан бежал ровно, легко, словно позади не было врага, но каким-то особым чутьем он чувствовал, понимал волка и не давал ему приблизиться.

Уже ушло солнце, воздух охладел, стал густо-синим, а в низинах и вовсе черным, непроглядным. Волк пока носился следом, но бег его уже не был бессмысленным, кулан почуял, как волк прижимает его к морю, гонит напрямую к воде, видимо решив там сделать решающий прыжок... И когда ноги вынесли кулана на гряде барханов, в носдри его ударил соленый сырой ветер, тугой, властный, и море расплеснулось перед глазами — подвижное, с горбатыми волнами — до горизонта, еще хранившего последний солнечный свет. И кулан коротко, будто пронеслась в сознании молния, вспомнил свой кесяк, ослиц, молодых куланов — его потомство... И он бросился с бархана вниз, вздымая копытами зыбучий песок, в котором тускло поблескивали кристаллы соли.

И в беге волка исчезло спокойствие и неторопливость, он распластался в намете, и кулан услышал, как в глотке врага возник нетерпеливый рык. Потом не стало слышно вичего, кроме морского наката, тягучего шипения волн. Кулан с ходу бросился в море. Прохладная волна смыла пот, охладила разгоряченное долгим бегом тело. Волк осадил у кромки воды, осел на зад и замер, ошеломленный. Так сидел он, не сводя глаз с кулана, быстро удалявшегося в море. А когда игрневый исчез, потерялся меж волн, волк поднялся на бархан, обнюхал следы кулана, вскинул морду и взвыл — коротко и тоскливо. Вой этот еще достиг кулана, хотя игрневый уже не видел земли, он плыл, пока еще полный сил, к своему косяку...

## НА СМЕРТЬ МАСТЕРА

Этот рассказ я слышал от молодого, начинающего поэта, влюбленного в свое родное село и учительствующего там. Я знал, что он должен рассказать мне о том, как был счастлив в течение двух лет в обществе старого мастера музыкальных инструментов — уйгурского Страдивари, как любил он говорить о нем. О мастере много был слышан

и я, но мне не посчастливилось увидеть его. Старик умер. Не прошло и двух лет с тех пор, как перешел он нашу восточную границу. Слишком мало было оставшейся жизни, которую он спас, найдя убежище на нашей земле, и которую должен был спасти — не ради себя, а ради искусства, искусства своего народа.

Молодой поэт говорил тихим голосом, несколько сбивчиво, часто замолкал, будто хотел найти нужное слово.

— Много переслушал я рассказов старого мастера, — продолжал он. — Не знаю, они ли больше мне нравились или я любил больше его игру на инструментах, им же созданных. Но знаю одно — пленила меня не только неторопливая умная речь старика, но даже красноречие его безмолвия. Все было прекрасно в нем: гладко выбритая большая голова под простой тюбетейкой, густые седые брови, блестящий впалый взор, глубокие морщины на лице.

Он обладал большой силой воли, закаленной жизнью, испытанной безвременьем. Только этим можно было объяснить, как он мог пережить гибель старухи жещы и четырехлетнего внука при переходе границы. О! Если б кто только знал, как осиротила его потеря внука, заменившего ему сына, томимого теперь в одном из так называемых «трудовых лагерей» Восточного Туркестана!

Он оказался счастливым старцем только для окружающих его односельчан — поклонников его искусства. Он, казалось, не был одинок, хотя и жил один. Домик мастера с резными окнами стоял в самом центре села, на шумной улице, в соседстве со школой. Однако мог ли он забыть то, что потеряно навсегда — родина и близкие?! Забыть, что его соотечественники теряют их каждый день, каждый час?..

Каждый вечер, возвращаясь из школы после окончания уроков, я вижу свет в окне маленького красивого домика. Я мысленно представляю себе старого мастера, склонившегося над инструментом, чтобы вдохнуть в него жизнь.

Мастер всегда был рад моему приходу. Его худое старческое лицо смягчалось умной улыбкой, и я видел, что он доволен нашей встречей.

Каждый раз я находил что-то новое в его мастерской. Но мне казалось, что старик больше удивлялся своему

творению сам. Показывая мне рубаб, он вертел его в руках, удивленно разглядывая деку из змеиной шкуры, как будто никогда прежде не видел ее узорчатой поверхности.

— Ну, сын мой, рассказывай, как твой достан. Закончил, должно быть? — спросил он однажды, испытующе глядя мне в глаза.

— Нет, отец, едва ли закончу в ближайшие дни.

— Ну ничего. Не все делается быстро. По капле и озеро наполняется, — говорил он, рассматривая обрубок древесины. — Вот, смотри на этот кусок дерева. Это особый вид шелковицы. Он был срезан не менее ста лет тому назад. Еще столько же времени до этого — дерево было посажено или выросло из семени. Свыше тридцати различных наших инструментов сделано в основном из такого прочного материала. Поэтому их звуки проникают в душу, и мы слышим в них мечты наших отцов. — Мастер подал мне чурбак и, к моему удивлению, он оказался тяжелее, чем я мог предположить. — А вот головка старинного ситара, — продолжал он со свойственной ему простотой. То, что мастер назвал головой ситара, был только один корпус этого инструмента без грифа и деки. — Вот эти тончайшие линии на ней говорят не только о возрасте дерева, из которого она выдолблена. Это и свидетельство голода и колода, зноя и гроз... К тому же заметь: это не основной ствол шелковицы, а побочный. Он прочнее. Сердцевина основного ствола часто бывает полый... Конечно, чтобы родился настоящий инструмент, мало одной добротности, невучести материала.

— Вы настоящий чародей, отец! — воскликнул я. — В ваших руках оживает безжизненное, мертвое дерево, которое может заговорить, как живое существо. Это истинное творчество!

Старик замолк на мгновение. Его лицо, иссушенное под знойным небом Кашгарии, стало суровым, брови его сдвинулись. Еще больше углубились морщины на щеках.

— Вы не видели всего, что было создано мной... — тихим голосом произнес он, будто говорил сам с собой. — Все уничтожили, дикари!.. То, что я мог спасти и взять с собой, — были одни обломки. Я не мог восстановить и десятой доли того, что создал, на что ушла моя жизнь... О!

Сколько было старых мастеров, музыкантов, шаири в одном только Кашгаре!

Весной здоровье мастера стало ухудшаться. Я не надеялся уже, что могу прочесть ему свою поэму, которую закончил. Однако он настоял на том, чтобы я прочел.

Он терпеливо слушал, но без какого бы то ни было оживления, одобрительного жеста или возгласа, которыми обычно сопровождал чтение многих моих стихов. Он был искренен и тогда, когда говорил о моих стихах, искренним было холодное его внимание к моей поэме и на сей раз... Я хорошо знал его и никогда поэтому не удивлялся неожиданным его выводам, неожиданности его мысли, даже некоторой его странности. Но на этот раз он меня удивил, даже немного испугал, потому что, когда я прочитал свою небольшую поэму, он сказал:

— Должно быть, гриф не тот, да и обложка из сосны... Ничего не получилось из ситара... Ведь что такое красота? Это когда мы чувствуем — в чем бы то ни было — меру, видим соразмерность частей... Красота должна угадываться не только по внешнему виду, но излучаться изнутри...

...В этот день старый мастер посвятил меня в свою тайну, поведал заветную свою мечту: он работал над старинным рубабом и флейтой. По его расчетам, флейту можно спрятать в грифе рубаба таким образом, чтобы определенные лады рубаба соответствовали пальцевым отверстиям флейты и создавалось при этом интонационное сходство между голосом флейты и звучанием рубаба. К флейте же он предполагал провести подвижную трубку. Однако ему не удалось осуществить свою мечту... Силы покидали его. Иногда, бывало, на несколько мгновений совсем терял сознание.

\* \* \*

Когда я его навещал, уже последний раз, он был очень взволнован, в глазах я увидел не то испуг, не то озлобленность.

— Хорошо, что зашел, сынок, — обрадовался он мне. — Присядь... Слава богу, что это был всего лишь сон... Попробуй, они опять хотели съесть все это!.. Слава богу,

меня разбудили в это время... просыпаюсь, подушка вымокла от слез, сердце застряло в горле... и в висках стучит... Шутка ли, опять очутиться в Китае и снова увидеть весь этот ужас!

Заметив вошедшего врача, которого уже успели вызвать, старик кивнул ему, стараясь быть, сколько мог, приветливым и преодолевая какую-то мучительную боль. Потом, обращаясь ко мне, произнес:

— Скажи, сынок, доктору, тысячу ему благодарностей. Ни на час не оставлял меня... Добрый человек! Хочет сам отвезти меня в больницу, в город... Но это бесполезно...

Лицо старого мастера скривилось в судороге, и, не договорив, он опять потерял сознание. Доктор поспешил с уколom, но укол уже не мог ему помочь...

Его недуг был неизлечим, и средство от него осталось вместе с отнятой родиной.

## СВЯТОЙ ИЗ АЙДЫН-БУЛАКА

— В этом году, косматая голова, ты пойдешь в школу,— сказал отец, не слезая с коня, вытащил из-под халата черный портфель и бросил его мне прямо в руки.

Я онемел от неожиданности, остановился на пороге как вкопанный.

— А сейчас собирайся в дорогу. Я покажу тебе горный яйлак,— добавил он весело, прищипнул коня и ускакал в правление колхоза.

Две таких радости в одно утро! Какой семилетний мальчишка не взлетит от них на седьмое небо! Новый портфель и сразу поездка на высокогорное пастбище, где я никогда не был...

— Ур-р-р-ааа! — закричал я, всполошив мать.

Это солнечное июньское утро в начале тридцатых годов у меня до сих пор в памяти. И поездка, будто открывшая мне дорогу в неведомый мир.

Наше село стояло у зеленых предгорий, и мы, мальчишки, давно излазили его окрестности. Но рассказам старших представляли все, что там, за предгорьями, но увиден-

ное в течение трехдневного пути поразило мое воображение: неприступное великолепие гор, цветущие долины — пастбища не только нашего колхоза, но и всего района — Асы, Ой-джайляу, перевалы Киясу, Туюксу, Гимса-джра... Моя лошадка привычно шагала по каменистой тропе, я вертел головой, оглядывался и видел, как незаметно исчезало за моей спиной наше село — вся долина в синей дымке тумана — и надвигались горы. Мы свернули за крутую скалу. Перед нами открылись далекие снежные пики и яркое солнце над ними. Я почувствовал себя крохотным ягненок перед громадами скал, их величием, красотой. Сердце замерло и, казалось, перестало биться.

Третий день пути. Мы одолели последний перевал Гимса-джра, остановились. Меня удивило, что среди отвесных скал, напоминающих мне неприступные стены древних крепостей, которые я видел в книжке с картинками, лежит настоящая широкая равнина, блестят осколками зеркала голубые озера, течет речка, узкими высокими пирамидами чернеют густые тьяп-паньские сля. И все это высоко в горах.

Начался спуск. Лошади, будто на ощупь, шли по узкой тропе. Справа, почти отвесно, текли впиз ручьи каменных осыпей. А впереди, это я видел еще с перевала, ваш путь преградила глубокая щель. Она была похожа на раскрытый клюв гигантского итенца.

Я сленился, подошел к краю, примериваясь, как буду перепрыгивать. Отец рассмеялся.

— У тебя сколько ног?

— Две,— наивно ответил я.

— А у лошади четыре. И каждая сильнее твоих. Садись в седло, не бойся. И запомни: когда прищоришь, поводок отпусти, дай лошади волю. Для нее это не в первый раз.

Он подождал, пока я взобрался на свою лошадку, скавал:

— Смотри как.— И, дав своему коню короткий разбег, легко перемахнул на ту сторону.

Не долго думая, и я поскакал и через секунды полета оказался с ним рядом. Даже испугаться не успел.

Путь к горной долине Ой-джайляу теперь был не опасен.

Отец был колхозным зоотехником. Два дня мы осматривали строящиеся овчарни и загоны, пастбища, юрты животноводов, пили кумыс.

— А теперь,— сказал на третье утро отец,— поедем с тобой на стоянку, где готовят скакунов к байге. Увидишь своего друга Эшбая.

Эшбай — мой ровесник. Наши дома в ауле стоят рядом. Я знал, что он будет участвовать в скачках, и немного зазидовал ему.

— Они готовят новую лошадь? — спросил я, польщенный тем, что все это время отец разговаривает со мной, как с равным.

— Кто это «они»? — спросил отец, будто не понимая, о чем идет речь.

Я насупился. Ведь понятно же кто: дядя Касымбек и его сын Эшбай. Разве не ясно, о ком мы говорим?

— Ну ладно, ладно, не сердись. Они выставят трех скакунов: гунана, дунена и жеребца — дунена-беш<sup>1</sup>.

— А гнедка?

— Он уже старый, сынок. Отбегал свое,— ответил почему-то со вздохом отец.— Пойдет дунен — сын гнедка. Его вполне можно допустить к скачкам в одном заезде с лошадьми любого возраста. Силен конь. А впрочем, узнаем, как решил Касымбек-ака.

У юрты табушников нас встретила Купия-дженгей<sup>2</sup>, пригласила войти, но отец отказался. Я понимал его нетерпение: ему, бывалому любителю скачек и знатоку лошадей, хотелось поскорее увидеться со своим давнишним другом, посмотреть коней. Я устал за дорогу и с превеликим наслаждением растянулся бы на кошме и подушках в прохладе юрты, но ожидание встречи с Эшбаем придало мне сил.

— Они там,— Купия-дженгей указала рукой на острый клин поднимающихся по склону елей,— у табуа.

...Взрослые при встрече разговор начинают издалека: как доехали? что нового на джайляу? как ожеребилась каяра кобыла? не беспокоят ли волки? — о житье-бытьи

<sup>1</sup> Гуна н — трехлетний жеребенок, дунена — четырехлетний,  
дунена-беш — пятилетний.

<sup>2</sup> Дженгей — тети.

разговор. И, лишь заложив под язык насыбаю или выкурив по закрутке табаку, как бы незаметно переходят к главному: как идет подготовка к бегам?

Не нарушили эту древнюю традицию и сейчас. Будто невароком отец сказал:

— Что-то не видно в табуве потомка гнедого жеребца. Не под твоим ли батыром потеет?

— Ты угадал, Абеке, — ответил, опершись локтем на колено, Касымбек-ака. — Вон, под ельником, он как раз и скачет. И ты смотри, улкенбас<sup>1</sup>, твой глаз как у птицы, — добавил он, и его тяжелая рука грубовато коснулась моей головы.

Я вообразился на свою лошадку и уже тронул повод, чтобы ехать навстречу Эшбаю, но отец жестом остановил меня. Однако Касымбек-ака, увидев мое огорчение, сказал:

— Поезжай к дружку. Только не торопись.

О чем мы с Эшбаем говорили? О моем новом портфеле, новостях в селе, какой у меня конь и конечно же о нашем гнедке-дунене под Эшбаем — сыне того гнедка, который в прошлые годы не раз брал призы. У него последняя пробежка перед выстойкой, а там и скачки. Он совсем не вспотел, только за острыми ушами мокро, и потому была необходима эта последняя пробежка. Гнедко мне не приглянулся: слишком невзрачен. Все другие лошади в табуве, оппаясь рядом на склоне, как лошади — крепко сбитые, шерсть на них так и лоснится: ведь тучные горные луга с хорошим разнотравьем, прохлада гор, нет мух, оводов — нагуливайся. А дунен, о котором столько разговоров, худ и явно неуклюж. И ходил как-то странно — вперевалку, широко расставляя задние ноги. Голова у него, и без того маленькая, кавалось, усыхала. Только глаза нетерпеливо поблескивали. Дунен то и дело вытягивал шею, вырывая из рук Эшбая повод, будто требовал от седока продолжить бег.

Знатоки лошадей из нас, мальчишек, были аховские, но мы с особым пристрастием прислушивались к разговору старших о гнедке у табуна и в юрте. Толкостей миролюбивого спора отцов мы не понимали, но видели, что они расходились во мнении о возможностях гнедка на предстоящих скачках.

<sup>1</sup> У л и е н б а с — дословно: большоголовой.



Разговор окончился тем, что наши аксакалы решили показать гнедка старику киргизу из Айдын-булака — Абдуману.

— Джаксы, Абеке, — сказал Касымбек-ака. — Пусть третий рассудит нас. Завтра с утра и поедем. А вы, дружки, почему не спите? Пора.

Взрослые взяли нас в эту поездку, и я благодарен им за это до сих пор. Мы выехали лишь тогда, когда солнце заглянуло в нашу долину Ой-джайляу. И я спросил Эшбая — кто такой этот старик Абдуману из Айдын-булака, если даже бывалые люди, какими были наши отцы, решили сделать его судьей у них. И Эшбай рассказал, он был хороший мастер на рассказы. По его словам выходило, что айдын-булакскому старцу сто десять лет. Раньше он был манапом — середняком, а сейчас великий знаток лошадей — синчи. Славится на всю округу. Когда создавали колхозы, он первым отдал свой скот. Себе оставил верблюдицу, кобылу с жеребенком и несколько овец. Каждую весну, когда на джайляу Асы поднимаются отары и табуны — с юга киргизов, а с севера казахов, — он тоже переезжает туда и ставит свою юрту между ними — у озера Айдын-булак.

— А далеко до него?

— Рядом, — спокойно ответил мне Эшбай. — Перевалим вон тот хребет за нашим табуном, а там — рукой подать. Те земли — нашего колхоза, но живет там он. И начальство сказала, чтобы никто не трогал святого старика.

— А он правда святой?

— Все так говорят, — солидно сообщил Эшбай.

— Он не похож на обыкновенных людей, да?

— Говорят, что он очень много знает. Все. Например, из какого гнезда можно взять лучшего итенца беркута, чтобы получилась хорошая ловчая птица. Откуда появится барс или волк. Или какая лошадь придет на скачках первой... Самый лучший шубат — напиток из верблюжьего молока — на всем горном джайляу у него. Люди уважают его, из всех аулов везут ему мясо, масло. Не болеет. У него две жены и больше ста внуков, правнуков и праправнуков.

Еще более загадочными казались мне Айдын-булак и его ховяин.

Айдын-булак — озеро тихое, небольшое. Впадает в него маленький громкий ручей, который начинается у самых снегов, петляет между отвесных скал и стройных тяньшаньских елей. И маленькую уютную долинку, и озеро под скалой, и белую большую юрту недалеко, и маленькую рядом с ней мы увидели, перевалив хребет.

Поводья коней у старших, когда они снешились, принял у юрт молодой высокий парень и повел их к коновязи. Мы с Эшбаем последовали за ним. Другой, пожилой человек с проседью в бороде, пригласил наших отцов в юрту, но они, узнав, что старика Абдуманапа там нет, направились к озеру. Почтенный аксакал отдыхал там после обеда.

Мы подошли. Наши отцы уважительно поздоровались. На цветастой кошме — текемете — рядом со стариком сидели еще двое, но я не рассмотрел их: все мое внимание было обращено к полулежащему на густом меху и подушках старику неизмеримо крупного телосложения. Длинная белая борода делала его скуластое с крупным носом лицо более выразительным, глубоко сидящие под белыми бровями глаза были светлы и ясны, как само озеро Айдын-булак. Зубы крупные, но редкие. Руки большие, жилистые.

— Похож на льва, — шеннул я Эшбаю.

— Говорят, с медведем боролся...

Старшие обратили внимание на паше шушуканье, и мы притихли, прислушались к их беседе. Касымбек-ака, представляя моего отца Абдуману, добавил:

— Кстати, Манан-ата, он тоже из тех краев, откуда пришли и ваши предки...

Старик улыбнулся, привстал.

— Это верно, — сказал ровным голосом он. — Мой дальний прародитель — мне говорил об этом еще отец — родился в Атышаре. Но перебрался сюда. Здесь уже третье поколение нашего рода. Самому-то уже больше ста лет...

— У нас говорят, — достойно ответил мой отец, — родниковая вода не иссякает, славный род не исчезает. Пусть будут счастливы и многочисленны ваши потомки.

— Спасибо, баурым<sup>1</sup>,— ответил на слова мсего отца старик и склонил голову.— А теперь попробуйте нашего кумысу и шубату. А если останетесь на ночлег, зарежем барана. Гостям я всегда рад. Тем более — своим землякам...

Наши отцы поблагодарили Абдуманапа за приглашение.

— А что? — тут же обратился он к ним.— Приближается пора испытаний для скакунов на джайляу.

— Мы готовимся,— тут же ответил Касымбек-ака.— Вот хотели показать вам одного скакуна.

Абдуманап, не глядя в сторону коновязи, спросил:

— Гнедого, с белым пятном на лбу?

Я раскрыл от удивления рот. Старику сто десять лет, а у него такое зрение! Выходит, он даже пятно на лбу рассмотрел, когда мы подъезжали к юрте. На таком расстоянии?

— Его,— подтвердил Касымбек-ака.

— Пусть подведут.

Касымбек-ака посмотрел на Эшбая, и мы тут же побежали с ним к коновязи.

Гнедой дунев, будто понимая, что его внимательно рассматривают, шел за Эшбаем с достоинством, легко, все так же широко расставляя задние ноги. Мне показалось, что Абдуманап неодобрительно сжал губы. Это заметили и взрослые. Тень волнения мелькнула на лице Касымбека-аки. Абдуманап поглаживал бороду и смотрел на гнедка, потом он сказал:

— Ты перестарался, Касымбек. Перестарался,— добавил он, не отводя взгляда от коня.

После затянувшегося молчания Касымбек-ака с трудом вымолвил:

— Вы считаете, что на приз нет никакой надежды?

— Решай сам,— уже глядя Касымбеку-аке в глаза, скавал он тихо.— Сам решай. Ведь и ты не первый день живешь на белом свете. И лошадей знаешь. А я, может быть, стар стал...

Он сказал все это, будто признаваясь в своей неправильной оценке, с каким-то тайным смыслом. Это я сейчас понимаю, что с тайным смыслом, а Касымбек-ака это тогда поняли... И поняли другие.

<sup>1</sup> Баурым — родич, свой.

Абдуманап сказал свое слово, и наступило долгое тягостное молчание. Никто не пил кумыса. Все сидели, опустив руки. Было слышно, как журчат по камням ручей, истоки которого у самых снегов, верещит в ельнике какая-то птица, радуясь солнцу и жизни.

Эшбай понурил голову, нежно гладил гнедка, будто успокаивая его и защищая, а у самого на глаза навертывались слезы.

Наконец Абдуманап кашлянул и заговорил тихо, но четко, словно расставляя все знаки препинания в запутанном тексте или разъясняя простую истину, которую никак не возьмут в головы непослушные ученики.

— Случилось это лет сто тому назад. Никого из вас еще па белом свете тогда не было. Немного лет и я к тому времени прожил. Вот как они, — Абдуманап кивнул на нас. — И отец готовил к скачкам очень похожего на вашего гнедого жеребца. Очень похожего. Жили мы здесь. И байга проходила там же, где и сейчас проходит. Жеребца Акжала показали перед скачкой казахским и киргизским знатокам. Мне отец велел проехать перед ними, и я проехал, остановился подальше — тогда боялись дурного глаза. Дунен-беши должны были скоро открывать скачки, расстояние — день пути. Тогда-то я и увидел, что мой отец громко спорит с главным знатоком лошадей. Отец сам был манапом, известным на всю округу чабандос. Он что-то резко сказал знатоку и полоснул кнутом по земле. Я услышал главные слова. Отец сказал тогда:

«Вас называют провидцем. Но не забывайте о своем возрасте, аксакал. Старость зоркости не подспорье. Вот увидите, Акжал придет первым!»

Я радовался за отца — его смелости и крепкой вере в нашего питомца. Поскакал с легким сердцем. После ночевки в далеком горном ауле. Утром всех участников байги выстроили в ряд, и мы поехали дальше. За аулом аксакал, который вел нас, крикнул, чтобы мы повернули коней назад, и... скачка началась. Мой Аюкал уже разгорячился, и, когда я потянул повод, он встал на дыбы, будто вспугнутая птица, и сразу же взял в галоп. Я с трудом удержался. Но удержался. Не заметил даже, как вырвался вперед. Когда опомился — передо мной никого уже не бы-

ло. Конь летел стрелой, но позади меня слышался топот коней соперников. Где-то на полпути нагнал меня парень на пегой кобыле с короткой шеей. Несколько минут мы шли вровень, но вскоре пегая показала мне круп. И я стегавул Акжала. Он быстро, почти без усилий, обогнал соперницу и ушел далеко вперед, но на пологом склоне, в версте от юрт, где нас ждали, Акжал будто споткнулся, сбавил бег. Пегая кобыла настигала нас. И к черте мы пришли почти одновременно.

Я радовался, что был на полголовы впереди пегой, но мой отец плакал. Я не понимал его. И никогда раньше не видел его плачущим. Я подумал, что плачет он от радости, но это было не так. Плакал он от горя: оказывается, у Акжала порвались жилы на передней правой ноге. В толпе кричали: «Акжал на трех ногах скакал»...

После долгих споров судей первенство присудили все-таки Акжалу, но эта радость была омрачена новой бедой. Тот самый главный знаток, который спорил с отцом, скавал кадию<sup>1</sup>, что Акжал принадлежит ему: его украли, когда он был еще жеребенком...

Абдуманап прервал свой рассказ, начал пить кумыс, ни на кого не глядя. Потупил глаза и Касымбек-ака. Остальные тоже молчали.

— Чем же это закончилось? — спросил один из незнакомцев.

— Верх вначале взял знаток лошадей.

— Он же клеветник! — сказал в запальчивости мой отец, всегда сдержанный и хладнокровный. Во время многодневного пути сюда, на высокогорные пастбища, он ни разу не повысил голоса. И с людьми говорил спокойно, уважительно, а здесь...

Абдуманап покачал головой:

— Нет. Не клеветник, а настоящий клад ума, баурым. Он ведь доказал свою правоту.

«А ну-ка скажи, какие метки знаешь на теле Акжала?» — спросил знаток моего отца.

Он назвал: шрам под гривой, где растет клоч белых волос, давший Акжалу кличку «Белая грива», надколотый зуб... Назвал еще всех предков, но знаток лошадей только улыбнулся:

---

<sup>1</sup> Кадий — судья.

«Все это я знаю. И другие могут знать. Но Акжал мой. Я знаю еще одну метку, о которой ты не мог не сказать, если бы конь был твой. Под языком у него должна быть родинка величиной с горошину. Взгляните».

Помощники судей открыли рот жеребцу, еле стоящему на трех ногах, и увидели горошину...

— Черт возьми! — воскликнул изумленный Касым-бек-ака, вспомнив, что и у его гнедка под языком есть горошина...

— Мой отец сказал тогда то же самое, — невозмутимо продолжал Абдуманап. — Он тогда думал вот о чем: у нас в табуе было еще несколько жеребят от Акжала — и надо ждать, когда они теперь подрастут... чтобы можно было участвовать в скачках. Акжала он не отдавал знатоку лошадей. Отец перевязывал ногу Акжалу и думал. Долго перевязывал и долго думал. А когда поднялся, сказал кадию вот что:

«Почтенный кадий. Я доверяюсь твоему справедливому сердцу и мудрости твоей. Скажу вот что. О родинке с горошину я забыл, так как сердце мое было переполнено сразившей меня бедой: конь мой остался на трех ногах. И я забыл о родинке под языком».

«Хорошо, — ответил кадий. — А откуда же знал о родинке этот почтенный знаток лошадей, если он впервые увидел Акжала?»

«Скажу, — не растерялся отец. Он ждал этого вопроса. — Когда мой сын Абдуманап проезжал мимо знатоков лошадей, Акжал два раза зевнул, открыл рот. Этого было достаточно для знатока. У него острый взгляд, и он заметил родинку величиной с горошину. Так я понимаю этого провидца... И еще. Можете спросить любого из почтенных аксакалов, и никто не вспомнит, что у знатока лошадей когда-либо пропал жеребенок. Коня пять лет тому назад задрали у него волки, а жеребята все целы были. А если жеребенок пропал, то почему его хозяин никому не сказал об этом? Про коня сказал, а про жеребенка нет?»

Кадий решил спор в нашу пользу, — заключил свой рассказ Абдуманап. — Посмотрите на тот берег озера — прямой потомок того Акжала. — Все повернули головы туда, куда показал старик, и увидели там ладно скроенного жеребца трехлетку-гуанаа. — Ты прав, Абоке, мой земляк: родинкован вода не псеякает, славный род не исчезает...

Мудрым был тот старик Абдуманап, так поразивший меня в детстве на высокогорном пастбище. Мудро и изречение: и родник, и хороший род не должны исчезать.

## РАЗЛИВ

Много лет тому назад в одном из округов Сяньцзяня, по ту сторону Тянь-Шаньского хребта, закончилось строительство большого оросительного канала. Три года работали на канале бедняки дехкане, жили впроголодь, за свой труд ничего не получали и успокаивали себя тем, что теперь на их жалкие клочки земли, выжженные солнцем, наконец-то придет долгожданная влага и они вырастят хороший урожай. Но вода, которую с огромным трудом взяли у бурной реки Тарим, не досталась таким вдовьим сынам, как Тохтахун. Посевы на его поле с каждым днем желтели все сильнее, а байские мирабы, сколько бы он ни просил их, воды на его поле не давали.

— Жди своей очереди, не мешайся, — говорили они.

Тохтахун отходил от байских прихвостней, и его сердце сжимала обида: «Я рыл канал собственными руками. Сколько же можно ждать? Посевы гибнут».

В один из этих дней тягостного ожидания в селение пришла тревожная весть: вода прорвала канал и опять уходит в реку. В тот же день прискакал сотник и приказал всем молодым и старым мужчинам идти на спасательные работы.

Двадцатилетний Тохтахун заткнул за кушак кукурузный хлеб, взял свой большой кетмень и собрался в путь.

— Дорогой Тохти, сын мой, — сказала ему старая мать на прощанье. — Береги себя. Не надорвись, как было в прошлом году. Будет голодно, сходи на ту сторону канала к дяде Дараму. Он был хорошим другом отцу и не оставит тебя в беде. А нужно что, его семье помоги и ты, не поленись.

— Хорошо, мама. Я сделаю так, как сказала ты. Дядя Дарам будет доволен мной. — Тохтун обнял мать и улыбнулся. — Я обязательно зайду к дяде Дараму.

Мать не случайно так напутствовала сына. У старого

Дарама была дочка Гульсум, и Тохти любил ее. О лучшей невестке мать и не мечтала. Дарам, несмотря на слепоту, навещал их, помогал, чем мог, и породниться с такой семьей было бы большим счастьем. Гульсум боевая девушка, смелая, будет толковой хозяйкой в доме. Она сама призналась в своей любви к Тохти.

Пусть они будут счастливы, думала мать, глядя вслед уходящему по переулку сыну.

Слепой Дарам тоже одобрял выбор дочери и не стеснял ее свободы, но набожные старушки шептались в селе и предрекали Гульсум дорогу своего отца-безбожника: «Аллах покарал Дарама за отступничество, а он все равно распустил свою дочь...»

Злоязыкие не понимали, что Дарам, заботясь о Тохтахупе, помнил о своем долге, чтит память безвременцо умершего от болезни друга.

Гульсум же не обрапала внимания на старушечьи сплетни, держалась свободно и независимо. Весной она сама пришла к строящемуся каналу, угостила Тохтахуна и его друзей лепешками, которые испекла сама.

Сотники неодобрительно посмотрели на девушку, но ничего не сказали. Они боялись отпугнуть приходящих из ближайших селений жителей, которые приносили строителям еду. Однако мулл и муэдзинов, присланных на канал для укрепления религиозных убеждений работающих, возмутил этот, на их взгляд, предосудительный проступок. «Здесь, где свершается святое дело, появление незамужних девушек может повредить...» — говорили они простым людям.

Мать запретила Гульсум ходить к каналу, Дарам заболел и слег, а Тохтахун после окончания строительства не зашел к ним — праздничной одежды у него не было, а в рваной рабочей идти постеснялся. Теперь же, думая о предстоящем свидании с Гульсум, он втайне радовался, что канал прорвало: значит, снег в горах пачал от жары сильно таять — и воды теперь хватит всем.

Ждала встречи со своим любимым и Гульсум.

К месту прорыва они пришли в полдень следующего дня. Еще издали услышали все усиливающийся шум воды и заторопились. Увидевшее еще больше встревожило дох-



кан. Там, где канал начинал огибать склоп холма, зияла широкая промоина. Вода с грохотом падала к основанию холма и до краев заполняла давно высохший овраг.

— Беда нам! Беда! — запричитал кто-то из аксакалов.

— Справимся, — весело сказал Тохтахун и подвнял свой большой кетмень. — Воды с гор становится все больше. Теперь и нам, беднякам, достанется.

Молодости свойственно переоценивать свои силы, но на то и аксакалы рядом, чтобы соединить эту силу с мудростью. Но мудрость мудрости рознь.

Вблизи прорыва, особняком от толпы дехкан, на бугорке совещались бек Апрутдин, кадии, баи, муллы. Они, должно быть, не знали, как приступить к спасению канала, и громко переругивались — их голоса было слышно даже сквозь шум водопада.

Подшли старые каризисты и показали русло старого канала. Спор несколько стих, но вскоре разгорелся с новой силой. Каризисты предлагали отсечь воду выше прорыва, увести ее в сторону и здесь посуху укрепить размытый край канала. А лучше подождать, пока вода в реке спадет и половодье утихнет. Баи возражали — жара не спадала и промедление с поливом посевов грозило им убытками, на что они не могли пойти, требуя немедленно приступить к работе.

Спор зашел в тупик. Все смотрели на жирного бека, шея которого сливалась с плечами, и подобострастно ждали, что скажет он. Бек не торопился. Он, переваливаясь с ноги на ногу, подошел ближе к прорыву и покачал головой. Что это означало, предположить было трудно, но один из богатеев, маленький и подвижный, и тут успел лизнуть руку бека.

— Я подсчитал, — сказал он, переламываясь в поясице, — здесь надо не менее ста бревен, двести мешков камня и столько же песка. Все это можно приготовить и завезти до завтра с помощью жителей всех близлежащих сел. Как вы думаете, уважаемый бек?

— Конечно, в бедствии все должны помогать друг другу. Возьмите моих людей и пачипайте, — наконец вымолил бек важно, и горстка богатеев пошла на толпу.

— Слушайте, правоверные, — раздался резкий голос муэдзина...

Воля бая — божья воля. Бай может делать свои дела и с помощью бека, потому что все зависит от денег. Богатеи усердствовали — на лстивые слова не скупились, и уже к вечеру к месту прорыва было завезено все необходимое.

Утро настало сухое и жаркое. После молитвы двести молодых дехкан с мешками камней и песка группами стали подходить с двух сторон к промоине. Несколько пар быков подтащили возы с бревнами и связками жердей, и юноши по команде начали сталкивать все это в поток. Вода подхватывала сброшенное людьми и легко уносила к водопаду. На перекате бревна вздыбливались, ломались, как соломинки, огромные снопы длинных жердей развзывались, и их разматывало по сторонам. Одну жердь кинуло на стоящих у обрыва с тяжелыми мешками дехкан, и в числе сбитых ею оказался Тохтахуп. Хлыстом ему стегали по ногам, он упал как подкошенный. С противоположного берега из толпы женщин до него донесся истощенный крик, ему показалось, что он услышал голос Гульсум. Подняться, как другие, Тохтахуп уже не мог — пестерпимо болело колено. Юношу подняли на руки одпосельчане и отнесли на склоп холма.

Сотники подговяляли к промоине новые группы дехкан с мешками, но увеличивающийся с каждой минутой поток глотал сброшенное и не унимался. Тохтахуп видел, как откололась от края промоины глыба земли с людьми и парой быков и тут же была снесена в воду. Через несколько минут они были далеко ввизу, там их, побитых потоком, по живых, жещины вытаскивали на берег вместе с бревнами. А здесь шли и шли цепочкой к воде уже измотанные неравной борьбой люди.

Пятый, шестой, седьмой раз летят вниз мешки и бревна, но напрасно, все так же несется бурный поток, сокрушая все на своем пути.

— Коп-ча-а-ай! — раздается наконец команда бая, и сотни людей облегченно вздыхают, валясь от усталости на землю.

— Надо отвести воду в пачале канала, как говорили каризисты, — сказал кто-то из бедняков и тут же получил по спине крепкий удар плеткой.

— Твое дело работать, — сказал сотник, замахнувшись

еще раз, но не ударил.— Смотри у меня, глупец. И пошел вон.

Бай, которые упорствовали в своем решении, переглянулись, зашухукались. Тот, который первым вчера заговорил с беком, и здесь нашел что предложить.

— По-моему,— начал он осторожно,— нужно пригнать еще тридцать — сорок пар волов с возами бревен. Бревна и жерди привязать к веревкам, сбросить, а веревки укрепить на берегу. Тогда поток не увесет бревна, а мешки и снопы джиды зацепятся за них и тоже останутся на дне. Не так ли, уважаемый бек?

— Конечно,— подтвердил бек.— В любом деле нужно терпение.

— На все — воля аллаха,— подхватил мулла.— Я думаю, надо прочитать молитву, надо просить аллаха о помощи. И потом, я думаю, нужна жертва...

Бай с вниманием слушали говорившего и после его последних слов притихли, потому что хорошо понимали, о какой жертве он сказал.

В тот же вечер мулла пришел под сделанный на скорую руку навес, где лежал Тохтахун, прочитав молитву.

— На все воля аллаха,— сказал он.— И если аллах захочет, колено перестанет болеть.

Но молитва не помогла, колено распухло, и боль становилась невыносимой. Друзья решили помочь Тохтахуну.

— У тебя вывих,— сказал один из них,— и надо резко дернуть за ногу, чтобы кость встала на место. Потерпи, не валяйся, Тохтахун.

Тохтахун согласно кивнул. Говорить у него не было сил.

Друзья крепко взяли его под мышки, а предложивший дернуть резко сделал это. У Тохтахуна перехватило дыхание, зрачки расширились, голова бессильно упала на плечо. Он потерял сознание.

— Тохтахун! Тохти! — шептали друзья, но он не слышал их.

— Ну очнись же!

Тохтахун вздохнул, обвел лица друзей певидищими глазами, сказал чуть слышно:

— Не надо больше. Сердце разорвется.

Если бы знали друзья, что у Тохти не вывих, а смещенные коленной чашечки! Теперь, когда колено распухло еще сильнее, даже опытный костоправ не смог бы определить, что с ним.

— Посадите меня,— сказал Тохтахун.— А сами ложитесь спать. Завтра опять будет трудный день. Слышите, как шумит вода?

— Мы посидим с тобой.

— Эх,— скрипнув зубами, прошептал Тохтахун.— Была бы рядом Гульсум, она что-нибудь придумала бы. Где ты, моя Гульсум? Как давно мои глаза не видели тебя! Помнишь ли ты обо мне, знаешь ли, что попал твой Тохти в беду? Эх!..

Друзья вскоре уснули, а Тохтахун, еще вчера так же сладко предававшийся сну, остался один со своей болью среди черной пустыни ночи.

Забрезжил рассвет. Звезды на небе померкли, с гор потянуло прохладой. Где-то далеко несмело пропел петух, явственнее стал шум водопада. Тохтахун, проворочавшийся всю ночь от боли, незаметно для себя успокоился, перестал чувствовать ногу. В тягостном забытии между сном и явью увиделось ему лицо матери, вдруг сразу постаревшей после смерти отца. Мелькнула в цветастом платье и шароварах непоседливая Гульсум, которая вела за руку ослепшего Дарама, цветущий куст урюка, увидел себя, маленького, на пороге родного саманного дома, жующего только что испеченную матью лепешку, согнутого отца с кетменем... и опять все скрылось в тумане какой-то долины, возникли из него мокрые камни и на них остроглавое, злое лицо муллы, визкие облака, послышались голоса незнакомых людей, и он очнулся, пытаясь удержать в памяти то, что пригрезилось ему, но тишину утра разбудил протяжный и резкий голос муэдзина, призывающего правоверных к утренней молитве.

Друзья Тохтахуна вскочили испуганно, поспешно разостлали свои матерчатые кушаки, сели на них для совершения намаза.

Тохтахун ясно почувствовал запах кипящего масла, захотел есть. Со вчерашнего обеда у него в крохи во рту

не было. Он вытащил из кушака кукурузный хлебец и жадно стал есть.

— А что ты лежишь, несчастный?! — услышал он рядом с собой неприятный, чавкающий голос, повернул голову и увидел над собой человека с козлиной бородкой и длинными торчащими бровями над узкими щелчками глаз.

— Мне ногу вчера отбило, и встать я не могу.

— А горло? С горлом все в порядке? — спросил человек, еще сильнее сузив глаза и поднимая подбородок. Тохтахуна рукояткой плети.

Тохтахун замер в немом ожидании, боясь расплакаться от обиды и боли, сжал зубы.

— А? Так это тебе вчера разбило ногу? Ну-ну. Полежи. Обойдешься и без молитвы... — незнакомец улыбнулся ехидно, как хорек, засеменил ножками.

«Ну и противное же у него лицо, — подумал Тохтахун. — Мерзостное».

Тохтахун и не подозревал, что этот человек всю ночь стерег его, охранял жертву<sup>1</sup>. Не подозревал Тохтахун, что жить ему осталось совсем немного...

Поднялось над зелеными горами солнце — день обещал быть таким же жарким и сухим, как предыдущий, и все было так же: мычали запряженные в скрипучие телеги быки, лениво отмахиваясь хвостами от мух, лежали бревна, их еще увязывали дехкане, и за их работой следили сотники, молодые юноши несли к прорыву мешки с камнями и песком, разматывали веревки; кричали, подгоняя дехкан, охрипшие от команд баи, стояли муллы, потный бек, муэдзины, но вскоре все замерло в тягостном ожидании. Двое помощников муллы побежали к навесам с плетеными носилками, остановились перед Тохтахуном.

— Садись. Мулла сказал, что тебя отправят домой.

— Меня?

— Кому ты нужен тут, калека?

---

<sup>1</sup> Жертвой, предназначавшейся для усмирения водной стихии, становились обычно молодые люди, посещающие ритуальное имя Тохта, что означает «Остановившийся».

— Мулла и повозку не пожалел...

Его положили и повесили к прорыву. Тохтахуну стало не по себе — вдруг увидит его, беспомощного, любимая Гульсум, он попытался оглядеться, но боль в колене замутила глаза, и он различал только очертания людей, гор, повозок. Он сжал зубы, чтобы не показаться перед людьми беззащитным и слабым, а мужественным, как подобает мужчине, но чувствовал, как по его лбу катятся холодные капельки пота и замирает при каждом толчке от боли в логе сердце.

Он не слышал страшного слова «Аминь», завершившего молитву, которую всегда читают перед погребением, и даже тогда, когда его бросили в ледяную воду и его повесило течением, он не осознал еще, почему он там оказался. Ледяная вода с гор привела его в чувство, он вынырнул, хоть и успел хлебнуть от неожиданности, и тут его кинуло вниз, ударило коленями о берег, он вскрикнул от короткой боли и здесь же почувствовал легкость в ноге и всем теле: должно быть, коленная чашечка встала на место, и он понял, что его привесли в жертву разбушевавшейся стихии. Он поплыл к берегу, но валетевшее сверху бревно больно ударило его по плечу и сильно царапнуло по спине. Он опять вынырнул, теперь уже оглядываясь, увидел еще одно бревно, вцепился в него — оно выскользывало, но Тохтахун не выпустил его, продолжал барахтаться, а когда сладил с ним, услышал крики бегущих по берегу мужчин. И опять ему показалось, что есть в этих криках родной голос Гульсум, он взгляделся в другой пустой берег и увидел ее — в цветастом стареньком платье и шароварах, одну...

— Тохти, ко мне плыви! Ко мне! — кричала она. — Они опять бросят тебя в водопад.

Тохтахун огляделся. Несколько всадников скакали по обоим берегам оврага. Он бросил бревно и поплыл изо всех сил к Гульсум.

Тохти доплыл до берега, встал на ноги, упал в прибрежную траву. Гульсум напрасно старалась поднять Тохтахуна — сил у него уже не было. Но он все-таки попытался встать на ноги и даже сделал несколько шагов... Подъехали на конях преследователи, связали его и повезли вверх, к прорыву.

Страшное время! Страшные обычаи! Но страшнее все-

го дракон по имени «религия» и ее служители, пользующиеся неистребимой силой предрассудков среди темного народа.

По воле бека и муллы бедного сироту Тохтахуна опять бросили в воду, привязав на шею камень и выкрутив руки назад. Гульсум, вырвавшись из рук старых женщин, бросилась вслед за любимым...

Только через два дня после того, как спали воды реки и удалось запрудить прорыв в канале, нашли утопленных. В мрачной тишине похоронили их, и на могиле долго был слышен безутешный плач Дарама и его старухи, оплакивающих безвинную смерть двух молодых сердец — Тохтахуна и Гульсум,

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОД НЕБОМ ТУРФАНА. Роман. Перевод <i>И. Щеголихина</i> . . . . .	3
--	---

### РАССКАЗЫ

Мой Баяндай. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	234
Друг моего отца. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	254
В вшелове. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	262
На переломе. Перевод <i>Б. Марышева</i> . . . . .	268
После бури. Перевод <i>Б. Марышева</i> . . . . .	274
Мои соседи. Перевод <i>Б. Марышева</i> . . . . .	282
Свадьба на чужбине. Перевод <i>Ю. Герги</i> . . . . .	306
Чужой. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	322
Возвращение. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	334
Джухаза. Перевод <i>С. Маркова</i> . . . . .	341
Мечта мираба. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	349
Схватка. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	356
Вожак. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	372
На смерть мастера. Перевод <i>А. Самойленко</i> . . . . .	376
Святой из Айдын-булака. Перевод <i>Б. Марышева</i> . . . . .	380
Разлив. Перевод <i>Б. Марышева</i> . . . . .	390



*Хизмет Мигалинович Абдуллин*

**ПО ДРЕВНИМ ТРОПАМ**

М., «Советский писатель», 1981, 400 стр.  
План выпуска 1981 г. № 305

Редактор Н. И. Голосовская

Худож. редактор Д. С. Мухин

Техн. редактор Г. В. Климушкина

Корректор И. Ф. Сологуб

ИБ № 2734

Сдано в набор 25.12.80. Подписано к печати 12.06.81. А 02883. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 21,48. Тираж 100 000 экз. Заказ № 53. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Советский писатель», 121089, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.

